

Н О В Ы Й

М И Р

**ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И**

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ

Ж У Р Н А Л

К Н И Г А

Д В Е Н А Д Ц А Т А Я

Д Е К А Б Р Ь

М О С К В А
1 . 9 . 2 . 8

СОДЕРЖАНИЕ

	<i>Стр.</i>
1. Леонид ЛЕОНОВ. — Белая ночь, <i>повесть</i>	5
2. Бор. ПАСТЕРНАК. — Три стихотворения	38
3. Михаил ПРИШВИН. — Рассказы, из книги «Журавлиная родина»	42
4. Артем ВЕСЕЛЫЙ. — В походе (из романа «Россия, кровью умытая»)	49
5. Э. БАГРИЦКИЙ. — <i>Cyprinus carpio</i> , <i>стихотворение</i>	59
6. Дм. УРИН. — Клавдия, <i>рассказ</i>	62
7. Ник. УШАКОВ. — Осень, <i>стихотворение</i>	82
8. Ник. ТИХОНОВ. — Река и шляпа, <i>рассказ</i>	84
9. Вера ИНБЕР. — Место под солнцем, <i>лирическая хроника</i> , окончание	104
10. Мих. ГЕРАСИМОВ. — Два стихотворения	145
11. Петр ОРЕШИН. — Досадное счастье, <i>стихотворение</i>	147
—	
12. А. ВОРОНСКИЙ. За живой и мертвой водой, продолжение . . .	148
13. Н. МЕЩЕРЯКОВ. — Просветитель пролетариата (эскиз углем)	176
14. А. БОНЧ-ОСМОЛОВСКИЙ. — Англо-американское соперни- чество.	183

ДОМА И ЗА ГРАНИЦЕЙ.

15. Н. ЗАМОШКИН. — Сердце кооператора (об Иване Катаеве) . . .	208
16. И. МАШБИЦ-ВЕРОВ. — Разговор по душам (о романе М. Чу- мандрина)	215
17. А. ЗОРИЧ. — Об одном «инциденте»	221
18. А. ЗАЛКИНД. — Очерки школьной жизни в СССР	227
19. Б. АЛПЕРС. — Новый этап в советском кино	236
20. Андрей ПЛАТОНОВ, Бор. ПИЛЬНЯК. — Че-Че-О	249
21. АДАЛИС. — Путевые очерки	258
22. Н. ВОЛКОВ. — Письма о западном театре (немецкий театр) . .	266
23. Л. НИКУЛИЦ. — «Парадиз»	276
24. Борис АНИБАЛ. — Сатиры и пародии (с шаржами Бор. Ефимова)	282

КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ.

	<i>Стр</i>
Ник. СМИРНОВ. — «Перевал», сборник шестой	287
Владимир ШИШОВ. — Борис Губер «Простая причина»	289
А. СТАРЧАКОВ. — Милий Езерский «Самоядь»	289
Арк. ГЛАГОЛЕВ. — Е. Бражнев «Стучит рабочая кровь»	290
К. ЛОКС. — Вера Инбер «Соловей и розы»	290
Ник. БОГОСЛОВСКИЙ. — С. Бройде «Дни и ночи»	291
Ник. СМИРНОВ. — Лесник «Щучья свадьба»	291
К. ЛОКС. — Мария Домбровская «Люди оттуда»	292
И. ПОСТУПАЛЬСКИЙ. — Семен Кирсанов «Моя именная»	293
И. ПОСТУПАЛЬСКИЙ. — С. Обрадович «О молодости»	293
Н. АШУКИН. — П. Е. Щеголев «Пушкин и мужики»	294
А. ДИВИЛЬКОВСКИЙ. — Ю. Соловьев «25 лет моей дипломатиче- ской службы»	295
А. ДИВИЛЬКОВСКИЙ. — И. Емельянов «На этом берегу»	295
СОДЕРЖАНИЕ ЖУРНАЛА «НОВЫЙ МИР» за 1928 год	297

В номере 11 иллюстраций в тексте.

Белая ночь

Повесть

ЛЕОНИД ЛЕОНОВ

1

Огромная розовая лужа стоит на в'езде в Няндорск; она спит, потому что утро. В неверном, опрокинутом виде отразились в ней смешное, растрепистое облако и косматая придорожная ветла, — вот так же, розово и зыбко, явь отражается в снах. Белая ночь тает, ржавой позолотой расцветивает тундру день... все еще длится прохладная тишина, насыщенная тонким комариным звоном. Но вот конь ступает в воду, проваливается в черную жижу колесо, и скрипит ось, мутится ил, и меркнет розовое очарованье лужи.

— Э, расступается никак земля? — спросонок бормочет Кручинкин и с неохотой открывает глаза. Телега проходит по воде, холодок сочится сквозь сермягу; Кручинкину кажется, что утро серо, и ветер дует с севера. Сердце его спокойно: вокруг обступила тундра, знакомая, как свой дом. — Эка, край неиссячный!.. — Она снова едет, усыпляемый поплескиваньем молока в бидоне; он дремлет и улыбается удавшейся хитрости — уехать из дому в тот самый день, когда жене родить. Должно быть, так улыбается большая, глупая рыба, идя в вершу.

Он так до самого конца и не прнял, что в городе нехорошо. У заставы его разбудил патруль, и офицер, натуго затянутый в походные ремни, был печален и пронзительно вежлив. Потом на постоялом дворе, где всегда он оставлял подводу, отправляясь с молоком по знакомым домам, напрасно пугали его знакомцы рассказами и про красных партизан, прорвавшихся на Пундож, и про знаменитого бандита, уловленного в позапрошлую ночь, и про английского полковника, которого застрелил накануне сумасшедший гимназист. Жевал свою баранку Кручинкин и посмеивался занятому предположению, что, пожалуй, и жена и овца разродятся в один и тот же день. Он слушал и зевал, потому что бандит не состоял ему ни в родне, ни в свойственниках, а военный англичанин, должно, и впрямь заслуживал постигшей его неприятности.

Глаза этот мужик имел хитрецкие, на щеках его редкая, как в плохой урожай, произрастала солома, а усы торчали врассыпную... сразу видно было, что хозяин их — веселый, безопасный человек. И верно: кроме своего мужицкого дела, не разумел Кручинкин ничего. Потому лишь и не поразил его ни привязной аэростат, маячивший над городом, как нудное напоминание, не привлекли вниманья и черные флаги, еще с ночи развешанные по улицам. В душе он даже посмеивался над пустым обычаем людишек тратить добротную ткань на свои печали; безучастный свидетель грозных лет, он явственно видел, что вот и высохли вдовьи слезы, и сироты, подростки, водку хлещут, а потраченного коленкору не вернуть...

Кроме того, застал он серые афишки на заборах; словами, торжественными, как шелест склоняемых знамен, горожане призывались в них к скорби об утрате английского, испытанного друга России. И еще там же, в немногих пунктах, отрывистых, как треск взводимого курка, сообщались жителям правила поведения, сочиненные безвестным поручиком Пальчиковым. Безвестность этого нового няндорского господина пугала больше, чем даже мертвый английский полковник, незримо требовавший себе отмщения и жертвы. Мутные клейстерные слезы выступили из-под афишек, а Кручинкин ехал и думал: «Эки драхмы висят!».

Самой природе, видно, отныне вменялась в обязанность грусть. Зелень полиняла, светило затмилось, а ветер поволок с севера плоскодонные шаланды облаков. В опустелых улицах стало тревожно и пыльно, собаки сидели на цепях, а дети точно вымерли. «К вечеру надо домой. Получу вот только деньги с толстого доктора—и домой. Соску еще не забыть купить, как наказала повитуха... И хлынет к ночи буря, а я уж дома сына стану нянчить, хи-хи!» — так рассуждал Кручинкин, проходя мимо знакомого церковного двора. Сухое дерево стояло там, полное галок; они сидели в нем, как в огромной плетухе. Метнулась, точно шавка под ноги, мыслишка, что галки не к добру, но тут отвлек его вниманье смешной человек с бадейкой. Он сутуло бежал по обезлюдевшему проспекту, изредка приплюскиваясь к заборам, и всякий раз после того оставался квадратный бумажный следок.

— Эй, отдохни, жулябина... весь город заследил! — вдогонку покричал ему Кручинкин, но тот лишь молча погрозил ему бумажным свертком и пропал.

Кручинкин завернул на Мшаник.

Черный флаг, как укрощенный змей, качался на воротах и все норовил лизнуть его в лицо, но мужик схитрил, изогнулся и, гремя бидоном, скользнул во двор,—он всегда так гремел, давая знать о себе заране. Дверь к толстому доктору стояла отпертой, но и этому последнему предостережению как-то не внял Кручинкин. В прихожей, куда из кухни падал скудный свет, он осторожно поставил на пол свою ношу и ждал, но никто не выходил к нему навстречу,—ни сам, ни его свояче-

ница, точно никто не нуждался более в знаменитом его молоке. Тогда он принялся,—в доме пахло солдатским, пахло бедой, а на подзеркальнике, в соседстве с черной докторской шляпой, лежала офицерская фуражка; ее немигающая белая кокарда в упор наблюдала Кручинкина.

— Ну-ну, чего смотришь... — суеверно махнул он в ее сторону, думая, что его никто не видит.

Он замигал виновато, завертелся и, лишь увидев человека, спрятанного за дверь, облегченно вздохнул. Но человек был солдатом, в руках он держал военное ружье, бедой пахло именно от солдата. Из его аляповато раскинутых скул сквозила родная, мужицкая раса, но безмолвствовала она, закованная в английскую шинель и военные обмотки.

— Ишь, куда поставили-то тебя... — оторопело молвил Кручинкин и, вдруг рещась, бережно коснулся солдатовой руки. Теплота человека повеселила его: человек был живой, значит—друг Кручинкину. Тогда он заликовал и завертелся, на радостях давая волю языку:— Стоишь, чудодей?... а безжизненно стоишь, без искорки. Я и сам семь лет у царя в гостях отшагал... и ранили меня, милчек, в эко место, что и довериться совестно. Уж располагал—всему роду пропадать, а ноне, глянь, сына жду! — Он пел сразу всеми голосами птичьими, и по тому, как восторженно морщилось у него переносье, всякий мог видеть, что ему очень это нравится — жить. — И, как рожу я сына, слеплю себе домок новый и по всему саду крыжовнику насажу... Эх, милчек, всех плодов я в военные годы отведал, а краше крыжовника не нашел в свете ягоды!

Его заведомая хитрость с головой выдавала его волнение, а солдат все молчал, уставясь в свою солдатскую неизвестность.

— Да, милчек, кто к чему прикован. Ты, вот, прикован стоять, а я ходить прикован, а иных, станет время, без отдышки летать прикуют. Порхай, скажут, жулябина, а то и ползать не станешь!.. Все мы на сладкую цепь прикованы и неволю свою больше жисти возлюбили.— Он все ждал толстого доктора, который выйдет и раз'яснит дурацкое недоразумение, но время шло, хваленое красноречие мужика иссякало, а барин все не шел.

Тишина беды,—воистину она была непереносима; эта военная тишина,—и Кручинкин упал духом, если бы не нарушил ее докторский голос, такой ровный, точно читал по книге, такой глухой, точно доктор произносил слова в стакан, тесно прижатый ко рту.

— Мой мальчик застрелил его за то, что тот пристал к его невесте. Так сделали бы и вы, поручик, на его месте! Кроме того, мой мальчик...

— Ваш мальчик глуп,—перебил его другой голос, резкий и неприятный.

— Не раздражайтесь, поручик, а рассудите без истерики. Англичане ведут с нами скверную игру. Игра с болваном, поручик! Они

собирают на наших окраинах всех, кому дорого имя России, а потом уходят... или уйдут!.. а оставшихся зальет красная волна. В прежние времена это каралось по тысяча четыреста пятьдесят четвертой статье... поинтересуйтесь. А мы орем «ура» на собственных похоронах... — Он задохнулся, и какая-то мебель яростно поскрипела вокруг него. — Приятнее, разумеется, быть кнутом палача, чем спиной жертвы...

— Я все-таки расстреляю вашего идиотского гимназиста,— очень сдержанно откликнулся другой.

...Со смятенным сердцем Кручинкин внимал разговору за портьеркой, и вдруг, точно мраком его осенило, он догадался, что флаги, пожалуй, не для красоты, и к слезам бумажки на заборах, что солдат поставлен тут не для забавы, а для уловления всяких сокровенных преступников, подобных ему, Кручинкину. Бормоча что-то про забытый внизу лестницы сыр, он робко взялся за скобку двери, и тотчас же солдат заученно и лениво отпихнул его назад, лишая последней надежды.

— О, сердитый какой... — подивился Кручинкин, понимая, что он уже не принадлежит самому себе, но закону. Именно закон отражался скукой и равнодушием в лице солдата. И оттого, что иного выхода отсюда не стало, он осторожно раздвинул бахрому портьерки и заглянул в комнату.

За круглым, со свисшей скатертью столом сидел сам толстый доктор, весь в табачном дыму. Он курил и безотрывно глядел на каланчу с перебитым шпилем и в тундру за окном, где пятнисто, седые и рыжие, мешались мхи. Там накрапывало. Другой, в форме старшего английского сержанта, деловито потрошил докторские книги и слегка улыбался; в ту минуту он как раз достал оттуда аккуратную пачку николаевских билетов. К нему шла эта снисходительная улыбка; он был очень приятный, какой-то наливной весь, и, кажется, если бы проткнуть его булавкой, оттуда брызнула бы розовая, гугая струйка сгущенного молока. В третьем, сидевшем к двери боком, Кручинкин сразу признал начальника. Молодой и высокий, он как-то естественно прямо сидел в кресле, выпуклым затылком упираясь в резную спинку, такую вычурную, что казалась курчавой. Машинально, в такт недобрым мыслям, он ударял кулаком по локотнику, и бархат шипел, пылил, лохматился, и вот уже языками взвивалась пакля из непоправимой раны. И хотя все в нем, от гладких офицерских сапог до великолепного пробора, вопило о некоем самодовольном благополучии, Кручинкин видел, что поручик скоро умрет.

Это и был Пальчиков, новый господин Няндорска, и Кручинкина неотвратимо ловлекло к этому громадному начальнику, который мог умереть немедленно, не успев распорядиться его, кручинкинской, участью. Трепеща, он просунул голову в щель портьерки и, памятуя, что начальство любит веселых, улыбнулся проникновенно и сладостно, ото всей души и во всю рожу; потом, неся впереди себя бидон с молоком, как доказательство безвредности своей, он смело сделал первый шаг.

Скосив в его сторону впалые и неживого цвета глаза, поручик дико взирал на приближение Кручинкина; казалось, он был затравлен событиями предыдущих дней. А тот все двигался, сам восхищаясь доблестю своей, не сводя глаз с просторного поручикова лба; в котором сосредоточилась теперь, как в темнице, участь его дома, его крыжовника и всего рода его. Он все шел, им обоим показалось—вечность, мысленно шикая на шумливые свои сапоги; шел, улыбаясь все страшной и ласковой; шел сказать суровому начальнику, что солдат его обидел зря, что товар его дозволен свыше, что он чтит всех полководников в мире и единственную грешную страсть питает лишь к крыжовнику, потому кто краше нет на свете ягоды... и еще, — если податлив окажется начальник на дружелюбную беседу,—что не следует зря портить ножичком такой красивенький стульчик.

Он шел, а поручик все бился в кресле, как при галлюцинации, и помраченная мысль текла из его недвижных и белых, как две кокарды, глаз.

— Кручинкин я... — весь вытягиваясь и замирая, подобно птице на току, начал Кручинкин и не кончил.

Пальчиков выгнулся, сжался как в удушьи, и выпустил на пол звонкое лезвие из кулака. То, что по всем основаниям представлялось перочинным ножичком, оказалось просто пилкой для ногтей. Но прежде, чем кто-нибудь успел понять истинное назначение предмета, Пальчиков со всего маха оттолкнул мужика ногой.

Все это произошло так быстро и нелепо, что никто не сумел предотвратить событие, ни даже сам Кручинкин, с прежнею блаженною улыбкой сидящий на полу. Белая, с легкой синцой, лужа ползла к его ногам; в ней отражались часть окна и тяжкие, подкованные железом ботинки сержанта. Водя пальцем по своему расплеснутому богатству, Кручинкин ошалело соображал, что соску купить теперь стало не на что, что напрасно, пожалуй, он покинул жену в ее трудный родильный час... Какое-то время они все оставались на своих местах.

Вертя головой в тесном воротнике, точно ему только жарко стало, а не стыдно происшедшего, Пальчиков первую минуту хотел броситься подымать мужика, но раздумал: Кручинкин явно был цел и невредим. Поручик отвернулся, а какой-то палец—недуга или провидения—неотступно давил ему в затылок.

— Вот видите, доктор... — начал он, конфузясь недавнего испуга.

— Вижу, — как-то бессмысленно отвечивал тот.

2

Он ударил Кручинкина именно потому, что испугался его лица. За время гражданской войны он привык не доверять чужим улыбкам, за которыми люди носят ядовитые свои намерения. Кроме того, как все неизлечимо-больные, он во всем подозревал худшее и, уж такова была

его задача, он редко ошибался. Никто не ведал названия его недугу, но, когда он сам небрежно определял его как переутомление, он лгал. В этом тошном месиве вина и скуки он один из немногих вел трезвую и размеренную жизнь; приятели бежали его подчеркнутого аскетизма, а он любил жизнь больше и с большими основаниями, чем любой из них. Он и недуг-то свой принял как издевку той самой жизни, которую боготворил.

То случилось в великую войну,—Пальчиков был юнцом и еще носил на груди иконку—благословение матери. Тогда еще кипели патристические страсти, не разбавленные покуда ни предательством, ни разочарованием, и ему тоже захотелось стать героем. На зыбком влечении этом он вырастил юношеское свое мирозерцание; покинув политехникум, он на войне искал встреч с гибелью, чтоб, насмеявшись над ней, ее позором укрепить свою собственную волю. Судьба подарила ему эту возможность: конная разведка, в которой участвовал и прапорщик, наткнулась на газовую волну. Отряд ускакал, а кобыла Пальчикова застряла копытом в мостовине. В лихую эту минуту, когда уже гаснул мир, Пальчиков и открыл под мостом неприятельского телефониста; тот пристально наблюдал прапорщикову суматоху, прикрытый резиновой харей со слюдяными глазами—противогаз. Произошла беззвучная и беспримерная схватка; кусаясь и скрежеща, прапорщик отнимал эту спасительную резиновую харю, и скоро уже сквозь захватанную пальцами слюду ее он увидел искаженное лицо врага. В тишине смерти плелся он домой, и музыка переутомления сладостно гремела в его ушах. Мир разверзся перед ним, обнажая свои красоты, именно тем и обольстительные, что были им собственноручно вырваны у смерти. А через установленные сроки на его растрескавшихся губах явились первые язвы.

Втайне от товарищей он старательно заделывал дырки, которые проедала в нем скверная его болезнь; временами это ему удавалось, но сам он как-то отяжелел и на ноги, и на любовный порыв, и на дружескую попойку. Уходила испакощенная юность, ненужной стала девушка, в чистоту которой тем приятней было верить, что она предназначалась для него одного, он разучился играть на виолончели, и бинном Ньютона становился для него мудростью недостижимой. Дичая и грубея, он дрался за идеи, менявшиеся, как дни в календаре... В последний час свой он с горечью припомнил все те истлевшие идеалы, за которые приходилось отдавать молодость и силы. Потом страна шатнулась, сместились политические координаты, подобно паровозу из мрака явился Няндорск, и Пальчиков уже на нем помчался навстречу своему злему жребию.

Няндорск!.. никогда прежде не засорял он памяти полупочтенным этим городишкой. Но, как невеста украшает себя в преддверьи жениха, эта непорочная российская щель превратилась в Няндорск блистающий, с кабаками и штабами, с иностранными комендантами и женщинами, одно появление которых на улицах будило в няндорских дикобразах

вождедение и ужас. Впрочем, практические англичане предпочитали визгливых офицерских жен и мечтательных няндорских поповен; протоиерей Иван Градусов, коему за многосемейность и название дали — в о с е м ь д е в о к, грустно шутил, что девственницы теперь попадают только при крещении. Волшебством века гриб зацвел пестро и ядовито, и выпал один страшный день, когда про Няндорск узнал весь мир.

Значение Няндорска возрастало по мере приближения фронта: белые отступали, открывая проход к морю. Англичане сердились, грозились уйти, но не уставали давать мундиры, галеты, какие-то нелепые пушки, почти единорогов, оставшихся от бурской войны, а на духовную потребу — ром. Взамен они требовали безусловного подчинения, прославленной русской храбрости и, наконец, известное количество леса с местных лесопилок. Ликование шло повальное, и, хотя впоследствии многие утверждали, что без разрешительной английской печати воспрещалось даже жену любить, медовый месяц протекал благополучно. Она жадно веселилась, эта снежная Африка, и музыке военных оркестров нестройно вторили ропот фронта и глухой арктический буран. Вдруг гриб зачервивелся, поползла генеральская заваль, негодная ни на какую затычку, и Пальчиков гневно преклонялся перед почтенными сединами этих воскресших теней. Все чаще нападала хандра на поручика, все неотвязней давил незримый перст в затылок, все настойчивей мытарил призрак великой России, которую, как печать и бремя, положил в сердце своем.

Когда веселого ротмистра Краге выгнали из контрразведки за нерадивость, — это случилось после скандала с английским полковником, — его место занял Пальчиков, командир Волчьей сотни. Так желали в штабе фронта, где Пальчиков имел доброжелателей, но повышение не порадовало молодого офицера. Цинической беспечности к новому ремеслу он за год работы не успел бы приобрести, а пользоваться готовою моралью веселого ротмистра означало для него степень крайнего падения. «России нужно приказать, чтобы она просветлела. Для этого следует учредить институт чиновников, которые должны ездить по всей стране и давать всем под ряд в морду без объяснения причин» — такова была приблизительная установка Краге, которая со времени военных неудач у белых вызывала в сферах достаточное сочувствие.

После ночи пьяных проводов Пальчикова, на которых лишь сам виновник торжества сидел трезвый и угрюмый, он ездил отказываться от назначения, ссылаясь на неопытность в делах секретной психологии и на недобрую боль в затылке; он просил о переводе на фронт, но высокое начальство посмеялось его доводам и не одобрило поручиковой скромности.

— Пустяки, голубчик... Холодный душ снаружи, горячительное вовнутрь, и вы станете, как молодой бог. Дело ваше простое: ловите прохвостов и вешайте, вешайте их, голубчик. Укрепляйтесь на малом,

и когда-нибудь мы вас сделаем всероссийским комендантом... Прямая дорога в историю-с!

Пальчикова коробил гаерский тон начальства:

— Тот гимназист уже арестован, ваше превосходительство.

— Да, кстати... мы имеем секретное предписание от английского командования насчет сугубых репрессий. Это по поводу убитого полковника... Вы уж распорядитесь там, голубчик!

— На какое количество вы рассчитывали, ваше превосходительство? — сухо осведомился поручик.

— Ну, десяток там, два десятка... я не знаю, — с видимой досадой нахмурилось начальство.

— Я не располагаю таким количеством арестованных, — двигая затекшими пальцами в сапоге, сообщил поручик.

Начальство явно сердилось:

— Надо найти... Что-о? Надо найти, говорю. Разве в России люди перевелись, чорт возьми! — Оно смутилось пристального взора Пальчикова. — Ничего не поделаешь, голубчик. Россия плодovitа, но в ней не растут, к сожалению, английские полковники... — Начальство улыбочато поюлило глазами, как бы показывая, что принуждено заискивать даже в подчиненном. — Наше дело подневольное, мы на харчах у них, мы не гимназисты, мы военные...

— Африка мы или не Африка, ваше превосходительство? — сдержанно спросил Пальчиков.

— Э, батенька, британцū везде Африка! — откровенно кряхтело начальство.

Ему, повидимому, не легко давались такие признания. Начальство неожиданно хлопнуло носом, и вдруг подчиненный с негодованием увидел, как прозрачная слеза выкатилась из начальственного глаза на сверкающий лак стола.

Тогда Пальчиков нагнулся к пресс-папье и очень вежливо промакнул этот горький залог начальнического расположения и искренности. Удерживаемый бешенством, он продолжал стоять, высокий и жесткий, как шпигутен, и все глядел, все глядел, не отрываясь, на дрожащую, склерозную руку начальства.

— Трупы прикажете доставить в английское командование? — спросил он, наконец, с лицом серым, как оберточная бумага.

Начальство дрогнуло и опустило глаза:

— Взашей мне вас, что ли, гнать, поручик?..

...Ему не стоило особого труда побороть в себе приступ, как ему показалось тогда, малодушия, но, когда он пришел на следующее утро в дом частного поверенного Фидунова, где помещалась контрразведка,—принимать наследие веселого ротмистра,—его об'ял вдруг брезгливый холод. На столах, чинно разложенные Флягиным, караулили его папки о подозрительных няндорцах, живых и мертвых; там заключалась вся подноготная грязь городка, оскорбительная помесь вымыслов и правды, худшей, чем клевета. Пальчиков едва

успел перелистать одну из них, когда начались какие-то необыкновенные явления. Приводили на допрос пленных, еле стоявших от изнурения; из штаба звонили о квартире для японского военного атташе, который нарочно приехал полюбопытствовать о российской сумятице; приходили подпрапорщики из артиллерийской школы с просьбой о крепких напитках для выпускной попойки, а в довершение всего тюремная охрана отказалась есть пайковое лимонное варенье, от которого якобы у нее опухали языки, и потребовала родного, малинового... Во времена веселого ротмистра все это стало обычным явлением, но Краге умел потрафить всем, и близкие его утверждали, что даже на допрашиваемых уединенно он производил иногда неплохое впечатление. Полагаясь на разум и врученную свыше власть, Пальчиков разогнал этот клуб и посадил новых, за что и возненавидели его сразу, как по сговору, потому что никто кругом уже не верил в начатое дело. Первые дни должности ошеломили его, и хотя внешне он оставался прежним щеголем, письмоводитель Флягин видел, что Пальчиков уже одряхлел, выветрился и падает неудержимо к ногам судьбы.

Все утро этого второго дня занял обыск у толстого доктора, которого он втайне уважал за его воловью непреклонность в принципах; конечно, у доктора ничего преступного не нашли, но, когда подручный по обыску стал извлекать из переплетов припрятанные кредитки, Пальчиков обиженно морщился, точно это он сам верил в реставрацию. Еще больше чем Кручинкина, ему стало стыдно доктора, который весь как-то с'ежился и помельчал; не дождавшись конца, он уехал прямо в штаб фронта, где ему сообщили о возможной эвакуации Няндорска. Только к вечеру он попал к себе в управление и на столе нашел письменное подтверждение приказа о репрессиях. Потирая ноющий затылок, он все вчитывался в казенную бумагу, дивясь подлому могуществу языка, способного и требованию убийств сообщить изящную деловитость.

Тут-то и начиналось испытание поручиковой находчивости. Всех доморощенных няндорских бунтовщиков уже истребил веселый ротмистр, а новые не об'являлись, да и неоткуда было. Фабрик в Няндорске не существовало, а жило тут полоторговое, тихходное племя, безымянная людская трава. «В России живут преимущественно ктитора!» — вспомнил он сентенцию Краге и насильственно усмехнулся:—«Ктитора!.. паршивый городок, не сумевший породить ни одного большевика или иного какого именитого злодея. Ктитора!.. да где же люди-то в России?». Мысль его подозрительно шархнула туда, за линию фронта, откуда надвигалась на него огнедышащая новь, грозя уничтожением и мукой. Нечаянно он вспомнил самого себя, с красной тряпочкой на кокарде, и это обозлило его. — «Да, сперва Радищевы, Новиковы, Чаадаевы... эти домодельные свободоискатели и подстрекалы, эти проклятые жернова на шее русской интеллигенции... Двести лет в голоде душевном бились о вековую

стену, двести лет у нас ни дня не пустовал эшафот. Ха, они взошли теперь, багровые дрожжи девятнадцатого века, она пришла, эта свобода, самовластная хозяйка, беспощадная, как хлеб. Радуйтесь, дьяволы...». Он длинно выругался и, перейдя к окну, долго стоял там. Густой слой пыли покоился на подоконнике, и на бриджах его отпечатлелись две серых полосы.

Поручик глядел в окно.

Дождик не удался; далеко в тундре опускался на ночлег кудлатый, петушиного цвета, шар. Звонили ко всеюшней, и на малую минутку это давало обманчивое успокоение. Но перед самым окном — обсажен березкой, обведен струганой загородкой — силуэтно торчал ненавистный дом. Пальчиков знал: под этой зеленой крышей живет баба Анисья Крытых, живет и живет, трава при большой дороге, милостью ветра да прохожих людей. К ней ходят офицеры за хмельными сладостями и молодайки за судьбой; она варит знаменитую брагу и разводит кур. Как раз крупный белый петух пел у калитки, но, как ни вытягивал он шею, его не было слышно: все покрывал густой вечерний благовест. Теперь он уже утешал, этот поповский грохот, как бы чугуном одеялом накрывал Няндорск, — оно дрожало, и все дрожало под ним. Из-за кустов ломаной струйкой вился дымок: наверно, Анисья варит варенье — крутое, морошковое. В праздники, близ полдня, она выходит за ворота посидеть на табурете, который выносит с собой. На ней тогда черное, апельсинными дольками, платье, и в волосах гребень с фольгой. Она сидит неподвижно и пышно, как молодая сова, лушит тыквенное семя, запасенное от прежних лет, и именно тогда зорким вниманием своим она болезненно раздражает молодого человека.

Порой род безумия овладевает им... — Лишь для того, чтоб дать ей одной, бабе Анисье, незабываемый спектакль, собрались сюда все эти одичалые и разномастные люди. Она сидит, неподкупный судья и неусыпный свидетель, а перед ней маршируют ряды сытых заморских войск, плетутся пленные красноармейцы, парадируют бритые, в клетчатых юбках, шотландцы, шествуют невиданные оркестры, и капельмейстеры выше поднимают свои нарядные булавы в стремлении отличиться перед Анисьей; едут пушки, бредут попы с хоругвями, острыми, как секиры над плахой, качаются в седлах неслыханные полководцы... весь старый мир со всем его дурацким скарбом ярился в Няндорск ради одной Анисьи! И она довольна, ей нравится вся эта напыщенная комедия войны. Когда солнечный петух замрет на своем нашесте горизонте, она унесет свою табуретку и, завернув фольговый гребень в носовой платок, сядет пить чай с морошковым вареньем. Провидя будущее, она спокойна, как Сивилла. Ее сон крепок, сундуки объемисты, здоровье чудовищно. Она знает: гриб отцветет, обмякнет, пожрет останки червь и разотрет сапог, и, может быть, прежде чем изойдет морошковое варенье, прежняя скука оденет неудачную столицу.

— ... вот Анисью-то и шлепнуть в честь английского полковника! — вслух и с ожесточением произнес Пальчиков, но ему не стало весело, как Краге, когда тот тешил друзей своими армейскими афоризмами.

Он упруго повернулся на каблуках и увидел Флягина. Прислонясь к притолоке, он жевал что-то, и вся его румяная старческая харя принимала в этом участие.

— Что ты жуешь? — враждебно спросил поручик, но тот уже успел выплюнуть.

Флягин шагнул к нему навстречу:

— Эх, покомарить бы вам, господин поручик! — вздыхая, произнес письмоводитель; он служил здесь давно и видел многое. Пальчиков молчал, и Флягин поощренно затормошил. — Скучаете вы... и прыщик, гляньте сами, вскочил от отсутствия женщины. Доверились бы, уж постараюсь...

— Не уважаешь ты меня, Флягин, — брюзгливо сказал поручик.

Флягин принял это, как дальнейшее позволение:

— Мать не уважает, она любит! — и он даже пожевал что-то, оставшееся за щекой. — Высохнете вы у нас, господин поручик: я уж скольких перевидал. Быки ломались... Рази ж это легко — заграничной рукой да собственного брата тяпать. — Поручик сощуренными глазами изучал осмелевшего Флягина, и тому неудобно стало скрываться долее. — Давешнего мужичка привели, в засаду попал... отпустить его?

— Подоконники вымыть завтра! — мельком приказал поручик, отряхивая пыль с бриджей.

— С молоком он ездит, его все знают... — недобро щурясь, настаивал Флягин.

— Я тебе не Краге... я стрелять стану! — загремел Пальчиков, и все вокруг смолкло, а Флягин как-то незаметно всочился в дверь.

Вслед затем Пальчиков оделся и, на ходу пристегивая кобуру, вышел в канцелярию. Разговоры разом стихли, и одни только размашисто стучали фидуновские часы на стене. На лавке, возле изразцовой печи, в которой малиново пылал вечер, он увидел Кручинкина. Та самая Россия, комендантом которой собирался быть, сидела перед ним, моля нищими, бестодковыми глазами.

— Лошадку бы мне попоить. Лошадка у меня не поена, — кланяясь, сказала Россия.

— Убрать этого растрепая! — мимоходом бросил поручик и вышел на улицу. Лютое мечтание его сменилось вдруг ненавистью, непосильной для одного человека. «Э, кажется, в должность вхожу!.. а, впрочем, покомарить, покомарить надо...» — мелькнули соображения, и холуйское флягинское слово уже не раздражало. Именно с этим намерением он пересекал площадь, направляясь к проспекту, где находилось гарнизонное собрание.

Косые лучи вечера падали в Няндорск. По густейшей пыли беззвучно проехал водовоз и тотчас скрылся за поворотом. Два облака

в небе, дилловых и длинных, лучами расходились от заката; похоже было на то, будто мертвый полковник, погружаясь в вечность, простирает в последний раз над городом свои незрячие руки... Теперь навстречу ему, путаясь в полах кавалерийской шинели, шел новый господин Няндорска, мимоходом сбивая стэком колючие головки с татарника. Где-то в отдалении, не мешая тишине, мычала корова, и дробной струйкой доносилась учебная стрельба. В этот час Няндорск был поистине великолепен своей тишиной обреченности...

Впрочем, все это неточно и неверно, как круги по воде, под которыми иная скрывается пучина.

3

— А, возлюбленный соперник мой! — неискренне закричал Краге, едва тот появился в дверях. — Одного тебя и не хватало на нашей ладони... — Если он пытался сострить на фамилии гостя, то на этот раз у него сорвалось: их и без того было пятеро. Однако пятый этот, помощник английского коменданта, свершив все должное, спал в углу на диванчике и мог поэтому в счет не итти. — Вот и славно, будем делать ночь сообща! — В этом месте все как-то неопределенно погудели, что означало удовольствие видеть Пальчикова.

Неизвестно, всех ли одинаково порадовал приход поручика, сдержанность которого и подозрительность всегда угнетали. Оттого-то Краге так сразу и решил, что вечер потерян. Все же он задернул шторы, сшитые из военных английских одеял, зажег свечи, потребовал еще вина и кофе, и в прокуренной этой комнате с провинциальным граммофоном в углу и с красотками в пышных рамках сразу стало уютней и умней. Потом он повернулся в сторону поручика и досадливо поморщился; тот стоял у большого зеркала, разглаживал пробор, охорашивался, и делал это с таким спокойствием, что никто не заподозрил бы его в пренебрежении к друзьям.

— Ладно, всех уж пленил! — посмеялся Краге, заранее наливая вино и придвигая к столу порожнее место. Он действительно выглядел весельчаком, неунывающий ротмистр; стриженные усы молодили его многоопытное лицо, а на голове пенился густой и темный каракуль, а походку он имел такую, что правдоподобно казалась шутка, будто уже одним мужественным видом своим он лишает девиц невинности. — Ну, как в новой должности?.. все воюешь? Смотри, завянешь ты, брат, как гвоздь в тесине. А меня вот собираются зрителем на кладбище сделать... — Кажется, он шутил. — Читали, читали на заборах сочинение твое!

Пальчиков вежливо обходил стол, здороваясь со всеми.

— Празднуете скорую сдачу Няндорска, господа? — приветливо сказал он, и хотя это даже и в устах Пальчикова звучало шуткой, всем стало как-то не по себе. — Я, кажется, прервал беседу вашу?.. продолжайте, прошу вас.

Он вовсе не нуждался ни в ответе, ни в позволении, но Ситников, молодой и незамысловатый генерал из северодвинских пароход-

чиков, никак не смог отказать себе в удовольствии пообщаться с приятельным поручиком.

— Что ты, мы так рады! Капитан, понимаешь ли, кое-какие случаи из жизни рассказывал... — Он дружелюбно хлопнул Пальчикова по колену, и ему, видимо, лестно было, что тот не воспротивился его фамильярной ласке. — А то историей сватовства своего поделился, так, веришь ли, у Мишки подтяжки лопнули! — Он похохотал восторженным фальцетом, а Мишка, прапорщик с ушами, вислыми и мягкими, как губы, басовито прибавил что-то про высокое качество подтяжек.

Ни от кого не было секретом, что он заискивает в Пальчикове, этот простоватый малый с генеральскими погонами. Да и в самом деле, — все, о чем мечталось ему в долгие часы ночной вахты на отцовских пароходах, все было достигнуто, и ныне одно огорчало его: что высокий чин еще не давал ему права на дружбу этого повелительного офицера. Деда его, беломорские капитаны, в Норвегу на малых шкунешках хаживали, а сам он сохранил от предков лишь приземистый рост, прозрачные, цвета рассветной волны, глаза да еще лютую храбрость, доставившую ему почесть и славу местного пехотного героя. Деда — дедами, а внук не стеснялся носить **очень** странную прическу винтом, отчаянный фортель какого-то знакомого парикмахера; кроме того, он приобрел вредную привычку гулять по городу, опираясь на обнаженную шашку... оттого-то и создавалось впечатление, что ограбили своего потомка могучие деда.

— Рассказывайте, капитан, прошу вас, — повторил Пальчиков, чувствуя неловкость за тишину, которую принес с собою.

— Да ведь при тебе неудобно, ты ведь аскет, дева непорочная! — придумал Краге, но поперхнулся и смолк под пристальным взглядом Пальчикова. Он не боялся его, но у ротмистра вошло в привычку избегать неприятностей, мешающих веселью в жизни; все, однако, посмотрели на него с недоумением. Чтоб поправиться, он вернулся к какому-то разговору, бывшему у него с Ситниковым до поручикова появления. Разговор шел, видимо, об устройении человек на земле. По его словам выходило, что стоит только переделать тюрьмы в театры, и сразу расцветет благодарное человечество, как подсолнечник в огороде. А так как полны тюрьмы, то полезно истребить сперва заключенных во имя всемирного счастья, а там уж и переделывать, декорируя освобождающиеся помещения зеленью и флагами. Сентенция его, которую он собирался посмешить, пришлось некстати, засмеялся один только Пальчиков, и это было всего обидней. — Я всегда подозревал у тебя красные мысли! — с'язвил он при этом. Краге чертыхнулся, махнул рукой и сдался: — Что-то не в ударе я нынче... Вали уж ты, Егоров.

Так звали рассказчика; то был штабс-капитан, с калмыковатым лицом, из сереньких, и без особого труда угадывалось, что дальше своего чина он не пойдет. С самого прихода Пальчикова он все вре-

мя незаметно петушился под этакого забияку и наглеца, стараясь делать это в противовес заискивающим Ситникова. Упрашивали его недолго, но, приступая к повествованию, он несколько раз с заносчивым достоинством покосился на Пальчикова.

— Философия губит молодых людей, — сказал он и браво тряхнул бритой головой. — Трата времени, и волос от нее падает. Но случаются камуфлеты, господа, когда только она способна утешить душевное отчаяние молодого человека. Так случилось и со мной, когда я заболел триппером в Вологде в прошлом году. Дело произошло нижеследующим образом...

— Это уже уморительно! — вставил прапорщик Мишка, располагаясь попросторней. — Я ее тоже, матушку, не долюбиваю.

... Последние два года Пальчиков не пил, но вот ему понравился яптарный цвет ликера, он посмотрел его на свет и отхлебнул ради любопытства. Теплый ветер подул ему в грудь, он задохнулся, пожмурился и палил еще. Ему понравился этот веселящий гной, да и совет флягинский пришелся кстати: именно теперь следовало отдохнуть от мысли, что Няндорск под ударом, что не сегодня—завтра новые хозяева войдут в убогий этот дом, где штабс Егоров потешает друзей своих, уже обреченных на гибель. Он выпил еще и, жмурясь на свечу, забавлялся, как на ресницах его, радужно и спокойно, играет отраженный свет.

Он слышал:

— ... уже отправляться на фронт. А тут иду с покупками по Петровке, подходит дамочка в вуальке, с девочкой, каковой никто больше тринадцати годков... с половиной не мог бы дать. И сразу: «Не угодно ли, говорит, прапорщику развлечься?..». Словом, понимаю? Меня так и кинуло сразу в краску, а потом — все равно, думаю, убьют. Перед смертью-то и грешить! Эх, рискнем десяткой за такую диковинку... Дамочка поняла. «Вы ступайте, говорит, а если плакать станет, вы не верьте: это у нее прием такой». — Эге, значит опытная! А вы-то, спрашиваю, на лавочке посидите? — Нет, отвечает, я домой пойду. Она адрес знает...—Взял я ее за ручку, повел.—Егоров вопросительно взглянул на Пальчикова, но тот все еще изучал свет на ресницах. — Ну, пришли, посадил я ее на диванчик и виноградцу сунул, чтоб жевала...

— Тонкий подход! — одобрил прапорщик, покрываясь пятнами; каждое отражало какой-нибудь порок, пятен было множество.

Отодвинувшись с креслом поодаль от стола, Пальчиков затуманенным взором наблюдал случайных собутыльников. Внимание его поразила одна какая-то общая черта, роднившая все эти лица, почти сходство. Он долго мучился над отгадкой, а когда понял, ему стало как-то и холодно, и любопытно в этой тесной компании пирующих мертвецов. Он перевел глаза на Краге и испытал новый приступ удивления. Слегка припав к столу, ротмистр раздумчиво поглаживал стакан, и в напряженных его глазах застыл острый точечный блеск

стекла. Наедине со своими мыслями, он переставал быть весельчаком, но этот невоенный, с круглой спиной, почти уродливый Краге был ему во сто крат приятнее того, которого все любили. Удовольствие становилось невыносимым... Пальчиков закрыл глаза и знал твердо, что если взглянет — увидит черную дырку в крутом ротмистровом лбу. Он заволновался и привстал.

— Передвиньте мне содовую, ротмистр, — в замешательстве произнес он.

— Пожа, пожа, я вас катаю... — пошевелился мертвый рот Краге; никто не примечал поручиковых странностей.

Егоров рассказывал:

— Вдруг она плакать... тетя, дескать, обещала притти, а все нету. Ревет и ножонками в дверь колотит, понимае? Позволь, думаю, тут уж не прием! Надел я ремешки свои обратно, спросил где живет, повел ее...

— Опять за ручку? — завистливо спросил толстый прапорщик.

— Да, конечно... трамваи там, автомобили летят. Привела: дом большой, в плитках, швейцар, как господь бог, в окошечко глядит, а на двери дощечка врачебная. Отпирает нам милый такой толстячок с бородкой, шпак в сюртучке, а в галстук змейка золотая, понимае? Я девчонку вперед пихнул, а сам рапортую, вот, дескать, какое досадное недоразумение... Он мне: «Пардон-пардон, одну минутку» — а сам, двери не закрыв, прыг вовнутрь. И тут слышу треск и крик, как бы по мордасам лупцование, кроме того — посуда. Я все стою, закручиваю усы, смерть курить хочется, а папиросы в номере забыл. Вдруг выносит он мне за самый кончик пятерку, сам мешок—мешком, а челюсть, как канарейка. «Получите, говорит, но ручки вам за это одолжение пожимать не стану, не ждите!». Ну, я и пошел...

— Пятерку-то, значит, придержали все-таки? Это у них подстроено, и девчонка в компании была, заодно! — уверенно объяснил Ситников, радуясь, как ребенок, проницательности своей. — А ты бы сразу в полицию!

Егоров не ожидал такого оборота:

— Да нет же... ведь он по растерянности! Сука-то эта мачехой была и к покойной жене толстячка своего ревновала. Ясно, и решила пакость покойнице устроить через падчерицу... понимае?

— Ну, ей богу, это прямо Жюль Верн какой-то! — восхитился прапорщик Мишка.

— Дайте же кончить, господа! — искусно взмолился Егоров, заранее предугадывая успех истории своей. — И вот, в прошлом году шагаю я по Вологде, а навстречу мне этакий пончик катится, совершенный цветок, прелесть... и хватъ меня за рукав. — Вы, говорит, наверно, забыли меня, а я вас всегда помню... — Рад стараться, отвечаю, мадам, но, пардон-пардон, тороплюсь по службе. — А сам думаю: непременно сейчас кислотой по ошибке плеснет. — Да нет, говорит, а вы вспомните, как и где вы меня виноградом угощали!.. Тут точно

кожу с меня сняли и перчиком посыпали. Она, представьте, та самая, девчурочка моя! Но выросла, конечно, расцвела и уже вдова на третьем месяце! — А мы, говорит, сюда переехали, в бабушкин дом... и папа здесь! Заходите...—Егоров почесал подбородок.—Тут-то я и налетел на него, голубчика. И занятнее всего, что у папы же ее лечился впоследствии... Прелестный, надо сознаться, врач, старичок такой!

Он замолк, предоставляя слушателям аплодировать.

— Не особенно весело на этот раз,—заметил вскользь Краге.— Про такие вещи молчат, а когда вспомнится ненароком, так водку до забвения пьют... Понял, милый человек?

— Да и конец-то, наверно, присочинил, мошенник! — смягчая неловкость, подмигнул Ситников. — Присочинил ведь, кайся!

Пожимая плечами, поигрывая темляком, Егоров отшучивался. Он и сам жалел, что сподлил из жажды угодить приятелям; стыд тем более мучил его, что на деле он целыми вечерами просиживал у этой самой Наташеньки, изнывая от бестелесной любви. Потом наступило безразличие; завтра, так же как и в тот памятный день, он отправлялся на фронт, и что-то подсказывало ему, что на этот раз его убьют наверняка. Кусая усы, он отошел в угол и завел граммофон; сразу стало шумно и толкотливо, ожили красотки на картинах, и заворочался спящий англичанин, едва в тягостной тишине раздались сильные вступительные звоны Корневильских колоколов. Прапорщик меланхолически подзванивал им ножом по стаканам.

— А не порезвиться ли нам еще? — бахвалясь конфузом своим, спросил Егоров.—Можно барышень Градусовых позвать... я бы черкнул им записочку, а? Британца разбудим, танцы соорудим... — Немолодой и невеселый, он играл обтянутыми коленками, весь выгибаясь в своем напусном озорстве.

Откуда-то снизу, где находилась общая зала, донеслась музыка и отрывочный плеск нерусской песни; заглушая граммофон, она прошла между друзей, нудная, как напоминание, и снова притаилась где-то в стенах.

— Скажите, капитан, из какой семьи вы приходите? — неожиданно и через всю комнату спросил поручик.

Заставал капитана врасплох поручиков вопрос:

— Дорогой друг, к чему это? — барственно поморщился Егоров, но почему-то, наощупь протянув руку, остановил граммофон.

— Я вам объясню потом, — очень тихо и ласково отозвался Пальчиков.

Мгновенье Егоров раздумывал, сивый ус его брюзгливо опустился:

— Если хотите... мой отец был мастер в депо. Ну, просто слесарь... да, слесарь, — с неожиданным вызовом и нажимом на слове признался он.

— Он был богат?.. владел поместьями? — продолжал Пальчиков свой допрос.

Егоров прищурился:

— Что это, служебная любознательность?— запальчиво напал он, но поручик улыбался так успокоительно, что Егоров не посмел обидеть его молчанием. — Вы же знаете, как живут слесаря. И, кроме того, я двенадцати лет ушел из дому, сам работал и учился... Ну, теперь ваша очередь объяснять.

Пальчиков слегка наклонил голову, как бы в знак почтения к трудностям капитанова детства.

— Я объясню. Видите, мы сидим за этим столом, возможно, в последний раз. Сохраняйте спокойствие, господа: взята Шеньга!.. — Он отпил из стакана, и все переглянулись. — Мне кажется, что в последний час свой каждый обязан знать, за что он отдает свою жизнь... мне интересно. Каковы ваши цели, капитан?

— Пardon, не понимаю... — виновато ухмыльнулся Егоров.

— Я и объясняю... Возьмем прапорщика. Он знает, что отвоевывает свое лентяйское право кушать и хохотать на скабрзные истории...

— Это метко, а? — хихикнул толстый Мишка, беспокойно вращаясь.

— У Краге это наследственное, — отчетливо продолжал поручик. — Война — его труд. Все его деды были военные и кого-нибудь убивали: тут голос крови. Отнимите у него труд, и он сохнет... Ситников дерется потому, что большевики отберут у него пароходы. Но ведь у вас нету ничего, вам наплевать на идеалы прапорщика или имущество этого милого военачальника. Вас убьют свои же, верьте слову. Какое же право вы имеете драться против большевиков?..

Все более наливалось краской растерянности и тревоги капитаново лицо:

— Я дерусь потому, — тяжело и торжественно, как в присяге, произнес он, поднимая руку над головой, — потому, что жида отняли русское золото. Как золото отыщем, так война кончится...

Все в этом месте снисходительно улынулись на капитанову прямоту.

— Согласитесь, дружок,—сказал Пальчиков просто,—что с такой программой нельзя воевать. На той стороне русских больше, чем у нас англичан. Вы поднатужьтесь, милый, подумайте... а то ведь солдаты смеяться станут!

— Я, может быть, и дурак... — задыхаясь и вытирая испарину, ответил Егоров, — но я делаю то, что велят мне совесть и бог... — Он смолк и стоял одиноко, как на расстреле, и никто не смел притти к нему на помощь перед лицом иронического поручика. — Да, именно совесть и бог...

— Он даже и в бога верует! Фу, какая роскошная жисть... — решив примкнуть к сильнейшему, снова хихикнул прапорщик и немедленно осекся.

Подняв кулаки над головой, капитан шатко двинулся к прапорщику; однако, не дойдя двух шагов, он остановился и стоял с закрытыми глазами.

— Молчать! — гаркнул он, как в строю, но крик его одинаково походил и на всхлип; вслэд затем он медленно пошел к двери. Делая знаки, чтоб все молчали, Краге поспешил за ним.

Ситников едва успел сходить в угол и спустить граммофон, как тот вернулся.

— Ну, вот, и рассказывать стало некому. Смутил парня... и день-то выбрал, чертила! — упрекнул он Пальчикова. — Ведь он именинник нынче, на именины ты попал...

— Кстати, он очень познакомиться с тобой искал... — укоризненно прибавил и Ситников.

Они видели, что именины Егорова для него пустяки, не заслуживающие даже обсуждения, и ждали каких-нибудь оправданий. Поручик медленно обвел их глазами; ему хотелось внушить им, что с падением Нядорска начинается новая эра в существовании страны, где им уже не будет места; хотел сказать, что красным уже дан приказ взять город до двадцатого числа, потому что валандаться долее на этом комарином фронте и впрямь бессмысленно... но он взглянул в тусклые глаза тучного Мишки, в квадратное, сердитое лицо Краге, на парикмахерский завиток Ситникова и понял, что поражение этих людей принесет стране меньший вред, чем их победа.

— Простите, господа, я испортил вам вечер. Но я вообще не компанейский человек!.. — Он подошел к окну и раздернул штору. Таинственно курясь, белая ночь вступила в комнату. По безлюдным улицам протянулись слабые и длинные тени строений. Тишина ночи пленяла, как наваждение, но окно в нижнем этаже было раскрыто, и оттуда бестолково неслась английская песня *Tipperegy*. Должно быть, в этом унывном мычании и выражалась завоевательская тоска по родине. — Белая ночь, господа... вот в чем дело! — дрогнувшим голосом произнес Пальчиков, но никто не уловил злого смысла его замечания.

И он уже собирался покинуть комнату, когда прапорщик Мишка предложил отправиться всей компанией к Анисье Крытых, мириться и гулять. Из его слов получалось, что в укромном этом месте даже огонь с водой можно помирить. Пальчиков прислушался и, решив не увертываться от волны, которая его захлестывала, переменял решение.

— Кстати, там наверняка и Егорова найдем. Больше ему итти некуда, — сообразил Ситников. — Эй, инглишмен, каман к Анисье! — Тот безнадежно открыл глаза, но дальше своих зрачков, кажется, не видел ничего.

В настроениях крайне прохладных и подавленных они спустились в раздевалку.

— Эх, маркиз... — сказал Краге поручику при выходе на улицу, — не удивлюсь, если и застрелится теперь Егоров. Он такой, —

он, если горлышко у графина отбито, так и остатки о пристенок бьет. Жить ты не умеешь! Брал бы пример с меня: до сорока двух лет дожил и со всеми во всем согласен... Вот как надо жить!

4

В темной прихожей у Анисьи пахло квасом и монастырем; это привлекало и настраивало на особый, полудомашний лад. Все пятеро толпились в сенях в ожидании хозяйки; при этом прапорщик Мишка наступил на что-то ногой, и в темноте зашипело. Он испуганно отдернул ногу, утерял равновесие и почти повалился на Пальчикова.

— Что у вас там? — осведомился поручик.

Присев на корточки, толстый Мишка шарил руками по полу:

— Тряпка... просто мокрая тряпка, господин поручик. Я на нее и наступил!

— Она вас укусила? — с холодком спросил поручик и, не дожидаясь ответа от посрамленного Мишки, первым открыл дверь в Анисьино обиталище.

Его ударил свет большой керосиновой лампы, подвешенной к потолку и украшенной абажуром из зеленой пропускной бумаги. Волчий тулун, криво распятый над окном, защищал Анисьиных гостей от уличного любопытства надежнее, чем армия филодендронов, франциссей и столетника, которым мещане лечатся от чахотки. Еще стоял тут комод красной фанеры, а на комод, сквозь вязаную белую накидку виднелась колода замусленных карт. С наивным достоинством соблюдался этот дом, и, хотя он был попросту питейным заведением, на стене висел лубок — демон в водке и табаке.

Егорова тут не было, но зато какие-то два молодые человека — один из них военный — сидели тут, и, войдя, Пальчиков услышал, как один советовал другому не мешать эфир с кокаином. Узнав Пальчикова, они быстро поднялись и с поклоном удалились в соседний чуланчик, где и пропали на всю ночь. Вслед за Пальчиковым вошли и остальные, сопровождаемые самой хозяйкой. Тут-то Пальчиков и разглядел ее.

В этой умной и упругой бабе было что-то от анисового яблока: одинаковые неприхотливость, цвет, и, наверно, вкусовая кислинка. Вряд ли она когда-нибудь обольщала, но раз познавшему ее трудно было бы сбежать от нее на волю. Нестарая, она ухитрилась уже три раза побывать замужем, — три серебряных кольца, воспоминания о покойниках, втесную ютились на ее пальце. Наверно, незавидная доля была у этих трех Анисьиных супругов, которых она в разное время держала, как петухов, при своем хозяйстве.

Пальчиков поймал на себе ее совиный, изучающий глаз, и тотчас же она отвернулась итти за хвалеными своими дарами. Скоро на столе явился плечистый кувшин-самохвал, глиняные кружки и уйма всяких квашений и маринадов, распускавших вокруг себя цветистые

запахи — то лесной прели, когда пора вылезать петрову кресту, то свежего укропа или копытня, то меда и хмеля, то самого июньского ветра, когда лишь зацветает дрок на лугах. Во всем, что она ставила на стол, лежал отпечаток заботливости и умения: звездчатая морковь и рядки брусники, алой, как тетеревиная бровь, украшали шинкованную капусту, а гриб даже и в свирепом отваре сохранял свой первобытный лесной цвет... Обдернув камчатую скатерть, она присела на укладку, постеленную чистым половиком, и молча наблюдала гостей, готовая к услуге и пахнущая травами.

Никто не знал ее секретов, она варила брагу по стародедовским заветам, и, право, слава ее была заслуженна. Дразня и не насыщая, оно вливалось прямо в душу, это колдовское снадобье, и стоило глотнуть его разок, чтоб навсегда остаться подверженным темной Анисьиной власти. В пропадающем городе, где всякое мечтание упиралось в грозные думы о завтрашнем дне, Анисья обладала могуществом не меньшим, чем Пальчиков.

За виночерпия трудился прапорщик Мишка, но еще прежде, чем он успел убогаторить всех, явился Егоров с двумя сестрами Градусовыми.

— Так и знал, что вы здесь. А я вот зазнобин своих приволок... — пошумел он, и не заметно было, чтоб он собирался ударить о пристенок свой обезгорленный графин. Барышни жеманились, согласные на все, лишь бы развлечь свои топкие девичьи будни. — Катилена, садись за хозяек! — Катей звали младшую.

Сестер Градусовых капитан рассадил так, что Катя оказалась рядом с Пальчиковым; его попытка проявить незлопамятность к обидчику своему еще больше раздражила поручика. При каждом ее движении до Пальчикова доносился тошный женский запах, которого не могли отбить ни табак, ни душистое мыло.

— А я вас знаю... — сразу призналась она, хохоча и сверкая жемчужной россыпью зубов. — Знаете, тот гимназист, который полковника застрелил... это он из-за меня его застрелил! Его тоже расстреляют, Женю... Да? — Ее забавляло приключение с английским полковником. — А, знаете, вы совсем не страшный...

— Мерси, душечка, — скривился весь Пальчиков, вспомнив приказ о репрессиях. — А скажите, душечка, вы часто моетесь?

Она не поняла, высоко задрала брови и кокетливо толкнула поручика.

— Ленка, — громко сказала она сестре, — а он за мной уже ухаживает! — Лишь после милого этого хвастовства она улыбулась и поручику. — Ну, конечно, моемся... Только, знаете, зимой как-то холодно, а летом некогда...

— Чем же вы летом-то заняты? — издевался поручик, как в чаду соображая, что весь его нынешний день, полный ссор и столкновений, походит на предсмертную судорогу.

— А летом мы воздуха вышиваем с сестрой. Знаете, при богослужениях платки такие. Мы обещание дали с сестрой по сотне вышить, но только сейчас золота такого нет... — Она была все же мила, и явная глупость ее сходила за очаровательное легкомыслие. — А я сегодня без корсета! — совершенно неожиданно призналась она.

— Ай, как нехорошо... — с ненавистью сказал Пальчиков.

— А я всегда, когда в плохом настроении, то без корсета...

— Занятно! — И, наклонясь к ней, сразу подавшейся в его сторону, он шепнул ей несколько слов, более оскорбительных, чем вошлых. — Ладно? — вслух спросил он.

Она певуче смеялась, — и ничем ее было не пронять:

— Нахал, нахал... — И закрывала кружкой лицо. — Но милый, милый нахал! — Разумеется, она боялась утратить такого редкостного поклонника.

Пальчиков стал глядеть на тулуп, что было ему приятнее. Он думал о времени и людях; людские судьбы представлялись ему как бы волокнами, висящими где-то в отвлеченном пространстве. Вдоль них опускается плоскость — время, и жалкие проекции их, точки на плоскости, лихо мечутся по ней, потому что именно так изогнулась их кривая. «Предназначенность?» — спросил он себя, и оттого, что ответ определял одно очень важное его решение, он не ответил. Его удовлетворили средние формулы, — что время есть только ощущение умирания, а жизнь есть кипение остывающего вещества. Однако эта философия предназначенности и была философией обреченности... Он перевел глаза на Краге и почувствовал, что тот думает о нем. И верно: ротмистр поднял глаза на поручика и стал решительно отодвигать от себя посуду, точно готовился к побоищу.

— Вот вы давеча ошельмовали нашего общего друга, поручик, показав, что вы умный, а он дурак...

— Опять все то же самое, — взмолился Егоров.

— Позволь, ты, что ль, один здесь дурак?! — нетерпеливо осадил его Краге. — Вот я и спрашиваю... разве вы, Пальчиков, не хотите работать, а хотите непременно жить на счет тех, которые уже привыкли работать?.. Нам также любопытно, за что ратует начальник няндорской контрразведки! — он торжественно умолк.

Все еще думая о своем, поручик рассеянно глядел на руки Ситникова, брошенные на столе, и находил, что именно руки могут порою рассказать о человеке больше, нежели любой его словесный портрет. На мизинце у Ситникова был отпущен холеный и сверкающий ноготь, а на остальных — из-под коротких, полушаровой формы ногтей — просвечивали каемки голубого траура. Вдруг Ситников спрятал руки, и лишь тогда Пальчиков вспомнил о Краге, который терпеливо ждал.

— Имя России вас удовлетворит, ротмистр?

— Простите, вы о чем, собственно, толкуете?.. о той катавасии, которая постыдно была, или о той, которая будет?

— Я говорю о России, — угрожающе прищурился Пальчиков, чувствуя на себе Анисьин взгляд.

— Так ведь ее ж нету, вашей России, да, пожалуй, и не было совсем. Эй, помолчите, девушки!.. — прикрикнул он на сестер, которые слишком расшалились с толстым Мишкой. — Играли вы в детстве с казаков-разбойников, поручик? Есть такая уличная детская игра.

— Простите, я роу не на улице, — огрызнулся Пальчиков.

— Но я и не хотел заподозрить ваших родителей в низком происхождении, — снисходительно кивнул Краге. — Игра эта весьма походит на высокий тот предмет, о котором речь. И если бы мне предложили: желаете, мол, чтобы еще на двести лет затянулась эта катавасия...

— Я имел в виду Россию не для вас, а для народа, — уже с трудом отражал тот удары Краге.

— Да в народе смеются про это, поручик! Я двадцать три года в армии, и я ни разу не слышал, чтоб солдаты говорили между собой о России... Россию чорт сочинил, когда еще он служил в херувимах, вот что-с!..

— Пустяшный разговор! — кинул Пальчиков, зная наперед все, что скажет Краге. — Что вам нужно от меня, ротмистр?.. драться хотите, так я непрочь. Ночь еще не на исходе, свидетели есть... Мы еще успеем наделать дырок друг в друге.

Краге взбешенно поглядел на Пальчикова, побарабанил по столу и сдержал себя.

— Нужно иметь великую, непогрешимую идею, чтоб вести себя так, как вы, поручик! — сказал он напоследок.

Наступило молчание, барышни перестали пудрить носы.

Раскидистый филодендрон сидел в кадке сзади Пальчикова; ему не приходилось бороться ни за еду, ни за место, — он рос жирно и похабно, благословляя свою неволю. Один из его лапчатых листьев свисал над самой головой поручика, который, к слову сказать, еще несколько раз поймал на себе пристальный, ведовской Анисьин взгляд. Охваченный вдруг самыми обжигающими образами, — и тут ему представилось, что она парится с ним в жаркой до озноба русской бане, — он машинально протянул руку и, оторвав краешек листа, вплотную прижал к губам. Теперь он не сомневался, что совет флягинский по комарить касался именно Анисьи. Влажный холодок листа слегка отзывал землю.

— Ты цветов не трожь, — сказал мягкий Анисьин голос, и Пальчиков увидел ее возле себя. — Ты допивай свое в жизни, а цветы не трожь. Цветы не воюют...

— Как она на него глаз-то наложила, — развеселился прапорщик, который был, кроме того, что пошляк, вдобавок и миротворец. — Вот и поженим, а? чем не пара!..

Ему невдомек было, какая тут происходила игра, а игра происходила крупная. Один и тот же шальной вихрь в один сноп споясал

Пальчикова с Анисьей, и его уже не раздражало, что ставят вместе их имена. Анисья знала это и, рожденная на радость, радовалась; она одна теперь была здесь, в этой комнате, остальные лишь присутствовали.

— Почему же ты знаешь, сова, что я допиваю. А, может, только начинаю пить...—нашелся Пальчиков, заливаясь краской.

— Я все знаю, совы-то по сту лет живут. Когда сове делать неча, она судьбу пытается,—сказала она, и глаза ее призывали сильнее слов.

— Помилуйте, так ведь она ж гадать умеет!—вспомнил толстый Мишка, и тотчас все захотели взглянуть в будущее свое, но она медлила, пока сам Пальчиков не попросил ее о том же.

Взяв карты с комода, она села с Пальчиковым рядом, так что колени их соприкасались; потом, сдвинув посуду, она вынула из колоды пикового короля, и хотя она колдовала молча, все догадались, что пиковый—это Краге.

— Веселье тебе, офицер!—развела она плечами, смешивая и растасовывая карты заново.—Богато живешь, вино и дружба к тебе отовсюду...—Она все кидала карты на стол и вдруг горделиво подняла бровь:—...а потом застрелят тебя, господин хороший, как собаку.

Уже никому не приходило в голову принять ее прорицание за шутку.

— Врешь, баба!—хрипло сказал Краге, втягивая голову в плечи.—Гадай еще... я не хочу умирать.—И сделал бессильный жест рукой, точно пытался стереть уже написанное.

— Больше некуда,—усмехнулась баба.—Поди, покричи на них, на карты, может, и испугаются...—Она еще много раз полукругами раскидывала колоду.

Так она обошла всех; потешила поповен намеком на замужество, порадовала прапорщика предсказанием карьеры, Ситникову наобещала крест, и непонятно было, какой крест она имела в виду.

— Теперь тебе,—взглянула она на Пальчикова, и открытое ее лицо осенила еще не ласка, но уже обещание ее. Все молча глядели, как происходило это добывание будущего, как в чернофигурной рамке поместился червонный валет, а вправо упал пиковый туз, а влево легла крестовая дама. Она раскинула карты еще раз, и пиковый туз, неотступно, как коршун, кружил над поручиком, но дама уже не приближалась.

— Вишь,—без воодушевления сказала она,—встретились, погляделись и разошлись.

— Крестовая-то, это ты, что ли?—перевалилась через стол, спросил Ситников.

— Крестовая—это я,—сказала она и отставила ногу под столом. Она еще несколько раз, заметно волнуясь, спрашивала у карт о Пальчикове, но вдруг смешала карты и встала из-за стола.—Не стану гадать!

Прежняя, непроницаемая, она удалилась на свое место, и тогда в сенях раздался топот ног, внезапно стихший за самой дверью. Кто-то,

стоя там, шумно переводил дыхание. Таился в этом происшествии какой-то черный замысел...

— Входи, дьявол!—заорал Ситников, ножами ударяя в пол.

Дверь открывалась медленно, потом показался бледный Флягин, он делал немые знаки своему патрону, вызывая его в сени. Здесь он доложил, что начальника несколько раз вызывали из штаба фронта, сердились и грозили словами, которые сам он, Флягин, не смеет и произнести. «Настойчивые!»—подумал поручик, догадавшись, что дело шло все о той же несчастной десятке.

— Я приду скоро, ступай. И потом, чтоб подоконники были вымыты!—почему-то и с раздражением вспомнил он.

Одолеваемый бессвязными мыслями—и, прежде всего, тем, как догадался прибежать именно сюда Флягин,— он стоял во мраке, и ему представлялось, как огромная крестовая дама приходит к нему ночью в контрразведку. Из чуланчика доносился сдавленный шопот:— Ты к Нине Павловне сходи на ночку!— Да ведь она ж старая, противно.— Дурак, она за ночь-то по пять грамм дает!— Пальчиков со всего маху стукнул в дверь ногой, и там смолкли, точно юркнули в подполье. «Гноятся, а еще не мертвые...». Он вернулся в комнату за шинелью и фуражкой.

— Я принужден покинуть вас... спешное дело, господа!—Он избегал глядеть на Анисью, точно она могла удержать его от неминуемого.—Прощай, сова!—неудержался он напоследок и рывком затворил дверь.

...Все еще гостевала белая ночь в Няндорске. Под ее укрытием, прильнув к оконной щели, подглядывали в Анисьин дом три какие-то фигуры. То были местные жители, которые не пропускали случая узнать настроение временных няндорских хозяев. «Они встречали нас крестным ходом, они англичанам вопили *Welkome*, они и красных встретят красными флагами. Вот она, великая широта русской души...». Он с отвращением прошел мимо этих трех микробов паники, застигнутых на месте; проводив поручика рачьими глазами, они тотчас растворились в бесплотной дымке ночи.

Начинался рассвет; на севере это означает, что диск, перекочевав по горизонту, снова всплывает в голубые, призрачные небеса, а вещи снова дают тень. Из окон заспанные выглядывали хари, силясь угадать, что означает в общей цепи событий ночная прогулка няндорского господина.

У гарнизонного собрания он догнал англичанина, того самого помощника коменданта, который спал на диванчике в углу. Проспавшись, он совершал утренний моцион и, видимо, рад был поболтать с кем-нибудь в этот предрассветный час. Некоторое время они шли рядом.

— *Do you like our white nights?*—спросил из вежливости Пальчиков, примеряясь к не вполне устойчивой походке англичанина.

После выпивок тот всегда пребывал в состоянии крайнего благодушия.

— I like every thing in Russia! — потрянул тот угловатыми плечами и поскалил зубы. — Russia means plenty of timber, plenty of grain and a lot of golly girls...

— And what do you say of Russian culture? — спросил хмуро поручик.

— There has never been any culture in Russia. Russia has only had destroyers of culture. Some of them had talent, some had courage, but it seems to me that these are mere budes of stupidity!.. — развязно сказал англичанин.

«Так... украшение дураков... очень хорошо» — подумал Пальчиков и промолчал оплеуху. Впрочем, англичанин и сам догадался, что и в Африке обижаются; видимо, для того, чтоб смягчить заминку в разговоре, он покопался в бумажнике и достал оттуда скоробленную от близости тела фотографию какой-то девицы.

— This is the girl I am engaged to! — сказал он не без мечтательности, дыша винным перегаром в самый лоб Пальчикова. — Ви тож имеете одна? — почему-то приспичило ему спросить по-русски.

— Нет, я не имею ни одной... — сухо поклонился Пальчиков. Он смотрел на длинный нос английской девицы, на ее тощие губы, похожие на шрам, и думал, что девица эта, наверно, стервоза, и когда выйдет замуж, то они станут пить вместе. — Good buy! — сказал поручик и покинул гостеприимный перекресток, где они обменивались этими приятными речами.

На телеграфном столбе сидела ворона и, глядя на отливающий золотом купол собора, оглушительно кричала: агава, агава... Она замолкла, когда приблизился неравномерный звон поручиковых шпор; был особый военный шик в том, чтоб одна шпора волочилась по земле...

И вдруг он понял, что идет в тюрьму.

5

Тюрьмы в Няндорске так и не удосужились построить. Бунтовщиков и опасных мечтателей не заводилось, так как в счастливом этом городке все были довольны своею участью, а воров крепко поучали при поимке и оставляли в канаве на милость божию. Едва же столицей стал Няндорск, и новые у него объявились потребности, под тюрьму переделали местную богадельню. К тому сроку прежние старики перемерли, а новые разумно скрывались по своим норкам, и оттого никому не доставило ущерба это диковинное превращение... Расплюснутое строение окружили проволокой в два кола, койки списали местному лазарету, а в окна вставили решетки работы местного кузнеца Тяпина. Старовер и богомол, он всем изделиям своим придавал благообразный облик: решетки вышли изрядные, с лилейными шипами, как в церковном окне.

Угловую, плоскую комнату, из окон которой можно было наблюдать громоздкие, цветистые, как пасхальная крашенка, закаты, отвели

под смертников. В самом начале деятельности веселого ротмистра здесь бывало полно и шумно, но иссякли запасы подозрительных няндорцев и, как ни шарили по домам тайные и добровольные агенты Пальчикова, все бедней становились их уловы. И правда: любой из горожан мог служить примером благонадежности при всякой власти: все владели собственностью, но малюсенькой, все ходили в храм, но лишь потому, что театров в городе не имелось, и пока дело не касалось медяков в кармане, все единодушно поддерживали любую власть. В вечер, когда в эту комнату, оранжево разлинованную закатом, попал Кручинкин, здесь находилось всего четверо. То были: гимназист, красный матрос, осужденный скорее за дерзость, чем за преступное свое звание, какой-то необъяснимый хлюст в технической фуражке,—при чем, когда распахивалось пальто, на нем оказывались длинные дамские панталоны,—и, наконец, Стенька с Вилёмы, потерявший тут свою грозную репутацию неуловимого. Все они догадывались о предстоящем и потому ничем не прикрывали друг от друга истинных сущностей своих.

Стеньке, дородному и пегому парню с насмешливым взглядом, было здесь привольней всего. Он восседал на единственной табуретке и, даже когда покидал ее размять ноги, никто не смел хотя бы и временно занять ее. Посвистывая, еще лишь вскидывая бровь, которая дугой перебегала в длинную прядь волос за ухо, он подходил к разбитому окну и смачно затягивался из папироски, которую ему протягивал сквозь решетку часовой; того, должно быть, пленяло предсмертное Стенькино молодечество. Действительно, было в его статной фигуре такое, что так и подсказывало: дескать, «у нас, на Вилёме, все такие!»

Иногда к нему, как к самому спокойному из всех, подходил отвратный хлюст в фуражке и, юля всем телом, спрашивал:

— Простите, что отрываю вас от вашего почтенного раздумья. Как вы думаете, на ваш глазомер, кокнут меня? — Он разнообразил вопросы, но смысл их всегда оставался один и тот же.

— Непременно, гражданин! — у Стеньки был перешиблен нос, и он слегка гнусавил.

Ему не хотелось делать секрета из своего прискорбного знания, и гимназист всякий раз умоляюще взглядывал на Стеньку, если улавливал его недвусмысленный ответ. Тогда он торопливо одергивал свою вышитую, с форменными пуговицами, рубашку и старался отыскать хотя бы в мыслях спасительную лазейку. Ему представлялось, что удастся бежать и, хоть кругом лежала цельная тундра, целый лес непроходимый вырастал в его разбудораженном сознании. В лесу он поведет дикарскую жизнь, станет жить на дереве и питаться дичью, ловить которую силками он большой искусник. Но много лет спустя, все такой же молодой и красивый, он выходит из своего убежища в мир, и толпы большевиков, этих простодушных людей с кинжалами в руках и ногах, приветствуют его, качают, плачут, а ему и стыдно,

и страшно—вдруг узнают, что полковника-то он застрелил просто из страха, что Катя Градусова сочтет его трусом...

Кручинкин спит, и грандиозные сапоги его спят возле, в богатырском раздумьи уткнув руки в боки: так отражается это в бессонном гимназистовом глазу. Храп его заразителен и такой тоненький, будто все спрашивает о чем-то, о такой ерунде, что и отвечать совестно. Гимназист закрывает глаза, и образы иные наплывают к нему из тюремных сумерек. Наверно, как всегда бывает при казнях, к нему пришлют священника с крестом, хитрягу и дельца. Он сядет возле и заговорит длинно и тоскливо, как на уроках закона божьего, а потом даст целовать крест. А Женя вцепится и не будет отпускать, потому что в тот холодный металл уже всочится вся его последняя надежда... А священник, конечно, рассердится и скажет: — Да отпустите же мой крест, молодой человек!.. — Камера просторна, как пустой спичечный коробок; из разбитого окна бодрый холодок бежит к ногам; ночь светла, как день осенний; на стене горит лампа во исполнение английского закона.

Кручинкин спит, и продолговатые богаделенные клопы семейственно жуют его, но ничто не может прервать его обольстительного сна. Малые струйки его сопенья сливаются в гульливую, половодную реку, усы его качаются, как колос в бурю, он храпит, точно перегрызает Тяпинское изделие, и с минуту все враждебно прислушиваются к его ненасытному гуденью. Не разбудить его—он спал бы век, все не утоляясь чудесными виденьями крыжовника.

— Кончай свой храп, оглушил совсем!—мрачно сказал матрос, готовясь вторично ткнуть его ногой в бок. — Нашел время для сна, моржовина!

Все еще лениясь открыть глаза, Кручинкин шарил сапоги и виновато улыбался:

— А сам-то, думаешь, не спишь? Все мы спим, как листья на дереву. И ты спишь, милчек, и сон видишь, будто в тюрьме сидишь...

— Э, лучше проснуться, чем такой паршивый сон досматривать!—прошумел Стенька от окна, и не понять было, о каком пробуждении он говорил.

Чихая от запахов, которые оставались здесь еще и от прежних постояльцев, Кручинкин раскрыл глаза и догадался, что ночь на исходе, что скоро залотошат в своих ящиках петухи, и пора станет возвращаться домой, к сыну; не покидала его тайная уверенность, что за ночь отойдет у начальника сердце, и все окончится очень хорошо.

— Продаешь, что ли?—спросил матрос про сапоги, которые Кручинкин хозяйственно прошупывал, томясь без дела.

— Купи, у меня нога крупная!—молвил тот, и матрос счел это за позволение присесть на сермягу.

— Мне не нужно. В земле и без сапог в самый раз!

— О, никак надоело в сапогах-то?

Матрос понял, что имеет дело с хитрецом:

— Дурачок аль прикидываешься? — подмигнул кручинкинский собеседник. — Думаешь, дурак, так и помилуют? Нечего, брат, прятаться. Полковника-то кто угрохал?.. я тебя сам видал.— Кручинкинские усы шевелились, как бы исследуя, откуда шло недоброе слово.— То-то, моли своего бога, чтоб большевики пришли скорей!..

Но, хоть и глухим уродился мужик на совет чужой и беду людскую, тут уразумел, что моряк этот человек опасный, и на корабле его из тюрьмы не уплывешь. Быстрехонько схватив сермягу с полу, он отошел от зла в сторонку, и долго прохаживался по камере взад и вперед, прежде чем оказался возле Стеньки. Тот стоял у окна, держась обеими руками за решетку и не сводя глаз с пустой улицы; зайдя чуть сбоку, Кручинкин заглянул туда же.

В слабых лучах восхода бестелесно желтели березы в палисаднике напротив, и еще видно было, как поднимали над городком дозорную колбасу. Потом по улице неспешно, как в прогулке, прошла женщина, повязанная платком; на щеку из-под платка выбивался клин темных волос. Она возвратилась, прошла еще раз и остановилась у окна, где ждал ее Стенька.

Должно быть, заранее на этот час была условлена у них разлука. Стенька сопел, а та не плакала, знающая все вперед, привыкшая к мысли о расплате. Она стояла с покорными руками, воровская жена, и вдовый облик ее был неотделим от образа белой ночи, проходящей по няндорским пространствам. Вдруг багровая волна, подымаясь снизу, залила Стеуныкино лицо; оно распухло, исказилось, и рот его, развороченный страданьем, мучительно метался в нем. Он крепко держался за решетку, точно какой-то вихрь, набежав сзади, мог продавить его сквозь линейные эти шипы; так прошла минута. Стенька прощался с миром и со всем, что было ему дорого в нем. Потом багровость отлила, и краска, серая, как небесный саван, одела безразличное лицо. Он махнул рукой и отвернулся. Прощание кончилось.

Рискуя получить смертный удар от вора, Кручинкин сунулся к окну, но увидел только спину женщины, которая удалялась.

— Стыдись... куда заглядываешь!—сказал Стенька расслабленно и не ударил, даже не отпихнул.

Уже отбуйнила в нем душа, и все бывшие с ним приняли это как недобрый признак и начало их общего конца. Как только что окно, сейчас дверь сделалась самым значительным местом в камере: оттуда придут. Каждый шорох или даже слабое скольжение вещи стало привлекать настороженное внимание осужденных. Никто не двигался. Всходило солнце. Легкий рисунок окон отпечатлелся на полу. В тишине полз еле слышный безостановочный всхлип: это плакал хлюст в фуражке, плакал без всякого оживления, плакал о мерзости своей, доставлявшей ему радость.

— Эй... наизнанку выверну!—сквозь зубы крикнул на него матрос, и с этой минуты к нему перешла власть в камере.

Тогда—и его нельзя стало забыть навеки—раздался звон шпор, и одна дребезжаще призывкивала при каждом шаге. Потом, точно крался вор, в скважиче осторожно простучал ключ, но почему-то все подумали, что к ним ведут нового временного сожителя по камере.

— Ловись, ловись, рыбка, большая и маленькая... — умышленно громко пошутил матрос, но он ошибся.

Впальми глазами шаря перед собой, вошел Пальчиков; следом за ним конвойный солдат внес на цыпочках стул и поставил у стены. Дверь закрылась, но замок не прозвучал никак. Медленно, точно соблюдая ритуал, поручик сел на стул и глядел на матроса, пока тот не зашевелился.

— Ежели в гости пришел, так в тюрьму за этим не ходят. И потом: сам на стуле расселся, гад, а мы, ровно поленья, по полу... — сказал матрос, подходя ближе.

— Садитесь, если вы устали,—сказал поручик, приподымаясь.

Отступив, матрос размышлял о странном этом поведении:

— Скоро нас кончат?

— А вам очень хочется?—поднял брови поручик.

— Затем и шел!—резко сказал матрос. Он внимательно приглядывался к Пальчикову.—Ты из Волчьей сотни?.. Ну, я так и знал. Это твой отряд Кодшу обходил?

— Мой,—сказал поручик.

— Собачья публика... зачем же было мост-то подрывать! Ты уж людей коси, а мост, кто б ни победил, все равно заново надо строить. Эх, грамотные!.. Ну, гад, кончат-то нас скоро?

Пальчиков заговорил лишь через минуту, когда потребность в прямом ответе уменьшилась.

— Скажите...—он помялся,—гражданин, у вас найдено письмо из Вятской губернии... за хлеб благодарят... это от жены?

— Нет, сестра,—сказал матрос,—а что?

— Хорошая у тебя сестра.

— Ну, это не твое дело. Ну-ка, дай папироску, раз пришел. Твое дело хозяйское...—Он, видимо, хотел поскорее закончить бесцельный разговор.

— Я не курю,—ответил поручик. Однако он поискал в карманах и беспешно достал деньги.—Если хочешь курить, возьми деньги и сходи к Анисье... знаешь, это угол Вознесенского и Соборной. Купи себе папирос... для всех купи. Возьми с собой вон того парня, он все знает...—Он указал на Стеньку, окаменело стоявшего у стены и уже как бы простреленного.

Матрос зорко оглядел поручика, но он ошибался, полагая, что понял его намерение.

— Нет, голубок,—сказал он твердо, и темные жилы разбежались по лбу,—отсюда нас только силой выведут!

Пальчиков молчал, и оттого, что он равнодушно принял отказ матроса, того посетила последняя и верная догадка.

— Давай деньги!—тихо сказал он.—А там нас пропустят?—кивнул он на дверь.—Эй, пойдем, воряга. Ну, спасибо тебе... за папироски!—очень просто сказал он, толкая впереди себя перетрусившего Стеньку; Пальчиков не обернулся.

Очевидно, часовые уже имели распоряжение поручика. Скоро мимо окна прошли двое; Стенька все оглядывался, а матрос шел тихо, чуть опустив голову. Они не разговаривали, и, хотя шли по ровному месту, было в ногах ощущение, точно спускались с горы.

— Слушай...—сказал Пальчиков гимназисту, проследив их уход глазами,—иди, навести отца. И не беги по улице, а то стрелять будут...

— Потом прикажете вернуться сюда?—взволнованно шупая пряжку ремня, спросил гимназист.

— Дурак,—брезгливо кинул поручик и ему стало скучно. Гимназист торопливо собирал вещи с пола—шинель и берестяник, которым снабдили его дома в последнюю дорогу.—Оставьте вещи здесь. Надо же соображать иногда...—резко прибавил он и почти в лицо отпихнул его, когда тот послушно кинулся к его руке.

Он все же побежал по улице, этот глупый малый, и в окно видно было, как из подворотни выскочила собачонка и облаяла его, а он, все забыв, с искаженным лицом отбрыкивался от нее ногами.

— Иди со мной,—сказал потом Пальчиков мужику, и вышел в дверь первым.

В камере оставался теперь один лишь хлюст в фуражке, которому предстояло пойти в обмен на английского полковника. Нервно и суетливо, как гиена в клетке, он бегал по камере и мучительно искал в самом себе доказательств, что уже сошел с ума.

6

Прибавлялось солнца в улицах, шумели долгожданные петухи, и стаи галок кружили над ненавистой Пальчикову каланчей. Слегка пророзовев, отплывали дальше в безбрежные степи неба облака. Приступало утро, и у Пальчикова рождалось такое ощущение, точно захватывает день, ему уже не принадлежащий.

Два квартала Кручинкин бессловесно бежал за поручиком.

— Ты не беги, а то я ровно песик за тобой...—попросил Кручинкин,—не поспеваю!

— Ты издалека?—замедляя шаг, спросил поручик.

— А из села Горы я!—восторженно отозвался тот, радуясь вопросу, как милости: почти затекал от долгого молчания его непоседливый язык.—Из села Горы я, лешишки вокруг... опять же море шибко гремучее. Многие дачники наезжают молоко наше пить, за полагашку гривенник, дарма даем. Приедет—в иголку его проденешь, а к от'езду жога то уж как фонарь светится!—Он заглотнул побольше воздуха для дальнейших описаний родных красот.—А то надысь кит в реку-то к нам заплыл, заплыл да и обмелел, обмелел да и обмяк весь, ровно

студень на солнышке... Так, веришь ли, два часа мы в него палили, шуму что навели... всех и гагар-то распугали. Всяко били, еле прикончили!..

— Зачем же вы его так? — Пальчиков представил себе, как десятки мужичков, подобных Кручинкину, толкнутся на спине кита, пластуя и деля дар великого моря.

— А что ж, в трактир, что ль, его весть, раз заплыл? — встрепнулся Кручинкин, и в руках его скользнуло что-то от жаворонка, когда взвивается он над полем. — В киту сало есть... полезно, когда горло заболит, сапоги его тоже любят. Англичана торговали, деньги давали, а мы его на ром да на резиновые сапоги... Гляньте, мол, кит-то каков, первый сорт кит, такая жулябина... на всю Англию вам хватит!

— Продали? — Пальчиков прислушивался точно к голосу из иного мира, уже покинутого им.

— А то как же... Три дня мы того кита пропивали, а потом колышками щекотаться зачали. У нас это только и радости! На петров день двенадцать человек положили, а на казанскую, бог даст, еще того боле положим. Англичана все в аппараты сымали, на память... Главное дело, если кровь при пробитии головы вытекает, это хорошо. Ставь его на ноги, и снова годный боец. Вот, народ, сказывают, мельчат, а я думаю каб губернию, скажем, на губернию каждогодно напущать, так и народ бы от развития крепше стал...

Уже надоедала Пальчикову кручинкинская болтовня.

— Ты ступай... ступай, куда тебе надо, — попробовал он отвяжаться от неотвязчивого, но тогда оказалось, что при обыске Флягин отобрал у Кручинкина паспорт и все пропуска с английскими печатями. — Приходи завтра, завтра и получишь... — Но Кручинкин не отставал, дорожа бумагами больше жизни. Впрочем, теперь он следовал за поручиком на достаточном расстоянии.

У окна местной газетенки Пальчиков остановился подвязать шпору, шарканье которой вдруг показалось ему непристойным. Заспанный человек вывешивал в окне новую военную сводку; там сообщалось, что под Ньюкшей красные немного потеснили белые части, что отступление носит лишь стратегический характер, что настроение частей остается бодрым и неколебимым... Она была особенно крупна на этот раз, доза успокоительного вздора. Пальчикова потянуло домой, к дому частного поверенного Фидунова.

Часовой у крыльца отчетливо сделал на караул, но поручику безразлично стало, крепка ли дисциплина в его собственной охране; однако он задержался. Ему никогда не нравилось смуглое, не северное лицо солдата, про которого он знал, что тот был председателем батальонного комитета депутатов в первую революцию.

— Никто не приходил ко мне? — ни к чему спросил он.

— Никак нет, господин поручик, — выпалил солдат, помнивший муштру веселого ротмистра.

— Ты с удовольствием приколол бы меня, — колюче посмеялся поручик. — Но ты обожди, всему свое время...

— Точно так...—как-то не по-военному ответил солдат и смутился.

Мимо спящего Флягина поручик прошел к себе и скинул шинель на спинку стула. В памяти все вертелся навязчивый отрывок из Корневильских колоколов. Поковыривая в зубах, поручик подошел к карте, сплошь исколотой флажками, и внимательно осмотрел ее. Под Нюкшей, которая на карте походила на мушиное пятнышко, красные флажки густо выбились клином, и в неумолимой петле их одиноко торчал белый флажок Няндорска. Поручик вытащил белый и вколочил на его место красный флажок, самый ближний с запада. Странное облегчение, точно демобилизовался вдруг и волен стал занять любое место в жизни, испытал он тогда: больше не за что стало драться. В ту минуту загудел полевой телефон на столе.

— Да,—сказал поручик, беря трубку,—это я. Не орите, а говорите толком,—заметил он, хотя и понимал, что по ту сторону провода волновалось высокое начальство. — Эвакуация?.. Да, у меня уж все готово. Нет, никаких бумаг. Нет, никаких арестованных...—Он откинул трубку, подумал и достал из ящика стола револьвер, подарок штаба, когда еще был командиром Волчьей сотни. Потом он снова взялся за трубку: — ... Да, нас прервали, ваше превосходительство! Что?.. а вы топните на них ножкой, ваше превосходительство! А у вас уже есть билет на пароход?.. Бросьте угрозы: и вы не казак, и я не разбойник. Покойной ночи...—Он не дослушал грозного начальственного внушения и бросил трубку.

Кончалась белая ночь; неистовые розовые светоплады за окном слепили. Поручик закрыл глаза и мысленно наспех проследил свою жизнь; так листают альбом выцветших фотографий, на которых изображены смешные и старомодные покойники... Как на параде, истекая вышнюю благодатью, перед ним проходила империя, и впереди ее почему-то шли мохнатоголовые гренадеры, которых в солнечный день однажды Пальчиков ребенком видел из окна; потом двигались металлической лентой кирасиры, и медные орлы их готовы были лететь и когтить врагов династии и самодержавия... Потом краски посерели, и в серое вмешалась кровь... Раненые ковыляли на обрубках, и убитые шли смеющимися рядами, подмигивая империи, вставшей на костыли. Пальчиков перевернул сразу несколько страниц этого богатого и пышного альбома, и на последней, жалкой его странице увидел прапорщика Мишку, Ситникова, Краге и себя.

В зыбытье он не слышал, как Флягин, ругаясь, искал кручинкинские документы, как благодарил Кручинкин и все звал его вместе с начальником к себе, в преславное село Горы пить знаменитое молочко. Он очнулся, когда кто-то, ступая босыми ногами, — наверно, баба, — вошел в канцелярию; потом раздался плеск воды и грохот переставляемого ведра. «Подоконники пришла мыть во исполнение вчерашнего приказа» — как бы сквозь туман догадался поручик. Приглушенная возня за дверью еще раз отвлекла его от раздумий о самом себе.

— ... И не стыдно на старости-то лет!—сказала тихо баба, а Флягин шикал на нее, и, видимо, ничто не было ему стыдно на старости лет.

«Комарь, раскомаривай ее!» — хотелось крикнуть поручику, но одолевала дремота... А уже приближался день; он входил одновременно всюду, множественный и всемогущий; он будил мысль и оживлял вещи. Неожиданно скрипнул и как бы покашлял стул в простенке, слегка в непонятном ветерке качнулась занавеска, а в канцелярии поспешно пробили часы. Это напомнило поручику о времени, и он уже знал, что конец Няндорской эпопеи начнется с его собственной гибели. Никогда он не видел своего револьвера с дула и потому не узнал его, — черный Анисьин глазок наблюдал за ним и тут; потом он стал двойтаться, раз'ежаться, и наступило одно мгновенье, когда он совсем походил на пикового туза...

А Кручинкин, зайдя на постоялый двор, поил коня и кормил его щедро, прежде чем собрался в обратный путь. И опять, торопливо едучи через весь город, минуя заставы да патрули, он пугливым глазом соглядатая наблюдал пустые улицы, в которых еще болтались невеселые флаги, и грозились афишки поручика Пальчикова. Лишь теперь осмыслив злое их значение, он гнал своего конягу и не щадил кнута. В душе он уже простил чудаков, проморозивших его целую ночь в тюремной богадельне, и, если не забыл еще своего забавного приключения, то лишь потому, что все почесывались клопные укусы.

И опять он переезжал знакомую лужу близ городской заставы, но на этот раз была она синяя, точно бросили в нее горсть ализарину. И опять кряхтела подвода, утопая в грязи, а лошаденка так выбивалась из сил, что, казалось, вот-вот перервется ее жидкий позвоночник. И опять пошла дорога, а при дороге мох-деряба, да брусника, да сиха голубая, да клюква, да редкая подорожная сосна. Здесь он чуял себя хозяином, и никакая сила, кроме сна, не настигла бы его тут. Так он и ехал по пылям большой дороги, дремля и улыбаясь; должно быть, так же улыбается большая глупая рыба, уходя из верши.

Домой он приехал задолго до полдня и не прежде вошел в избу, чем распряг конька и втащил телегу под укрытье. В доме непривычный стоял ребячий рев, и Кручинкин, заслышав, тотчас сдернул с себя шапку. Еще не взглянув на жену, не помолясь в угол, не поклонясь соседке, хлопотавшей вокруг печи, он на цыпочках, как к огромному начальнику жизни, приблизился к корзине, подвешенной на верёвках возле окна. Обернутый в старую, выстиранную материну юбку, мальчишка слюнявился материнским молоком и голосисто оповещал мир о своем появлении на свет.

— ... а иные орать прикованы! — продолжил он обрывок какой-то мысли. Толстая щечка ребенка так и влекла к себе его узластый и грязный палец. Но тут лоб его наморщился и колюче распрямилась солома на щеках. — Эх, а соску-то тебе я и забыл купить! — с огорчением вскричал он, и похоже было на то, что он только одного себя считал виновником неисполненного обещания...

Три стихотворения

БОР. ПАСТЕРНАК

I. ИЗ КНИГИ «ПОВЕРХ БАРЬЕРОВ».

Переделка

Оттепелями из магазинов
Веяло ватным теплом.
Вдоль по панелям зимним
Ездил звездистый лом.

Лом, перед тем как дрогнуть,
Соками пух, трещал.
Как потемневший ноготь,
Ныла вода в клещах.

Капала медь с деревьев,
Прячась под карниз,
К окнам с галантереей
Жался букинист.

Клейма резиновой фирмы
Сеткою подошв
Липли к икринкам фирна
Или влекли под дождь.

Вот как бывало в будни,
В праздники ж рос буран
И нависал с полудня
Вестью полярных стран.

Небу под снег хотелось,
Улицу бил озноб.
Ветер дрожал за целость
Вывесок, блях и скоб.

II. МЕЛЬНИЦЫ

Из книги „Поверх барьеров“. Переделка

Стучат колеса на селе.
Струятся и хрустят колосья.
Далеко, на другой земле,
Рыдает пес, обезголосев.

Село в серебряном плену
Горит белками хат потухших,
И брешет пес, и бьет луну
Цепной кудлатой колотушкой.

Мигают вишни, спят волы,
Слезятся щетки первых жнивьев,
И кукурузные стволы
Сопят и ищутся, завшивев.

А над кишеньем всех естеств,
Согбленных бременем налива,
Костлявой мельницы крестец,
Как крепость, высится ворчливо.

Плакучий Харьковский уезд,
Русалочки начёсы лени,
И ветел, и плетней, и звезд, —
Как сизых свечек, — шевеленье.

Как губы, — шепчут; как руки, — вяжут;
Как вздох, — невнятен; как кисти, — дряхлы;
И кто узнает, и кто расскажет,
Чем тут когда-то дело пахло?

И кто отважится, и кто осмелится
Из сонной одури хоть палец высвободить,
Когда и ветряные мельницы
Окоченели на лунной исповеди?

Им ветер был роздан, как звездам — свет.
Он выпущен в воздух, а нового нет.
А только как судна, всему вопреки,
Воздушною ссудой живут ветряки.

Ключицы сутуля, крыла разбросав,
Парят на ходулях степей паруса;
И сохнут на срубках, висят на горбах
Рубахи из луба, порты-короба.

Когда же беснуются куры и стружки,
И дым коромыслом, и пыль столбом,
И падают капли медашками в кружки,
И ночь подплывает во всем голубом,

И рвутся оборки настурций, и буря,
Баллоном раздув полотно панталон,
Вбегает и видит, как тополь, зажмурясь,
Нашествие снега слепит небосклон.

Тогда просыпаются мельничные тени.
Их мысли ворочаются, как жернова,
И они огромны, как мысли гениев,
И несоразмерны, как их права.

Теперь перед ними всей жизни умолот.
Все помыслы степи и все слова,
Какие жара в горах придумала,
Охапками падают в их постова.

Завидевши их, паровозы тотчас же
Врезаются в кашу, стремя к ветрякам,
И хлопают паром по тьме клокочущей,
И мечут из топок во мрак потроха.

А рядом весь в пеклеванных выкликах,
Захлебываясь кулешом подков,
Подводит шлях, в пыли по щиколку,
Под них свой сусличий подкоп.

Они ж, уставая от далей, пожалованных
Валам несчастной шестерни,
Меловые облака пространств обмалывают
И судьбы, и сердца, и дни.

И они перемалывают царства проглоченные,
И, вращая белками, пылят облака,
И, быть может, нигде не найдется вотчины,
Чтоб бездонным мозгам их была велика.

Но они и не жалуются на каторгу.
Светясь в грядущем и в былом,
Неизвестные зарева, как элеваторы,
Преисполняют их теплом.

III. ОТРЫВОК ИЗ НЕИЗДАННОЙ ПОЭМЫ

Я спал. В ту ночь мой дух дежурил.
Раздался стук. Зажегся свет.
В окно врывалась повесть бури.
Раскрыл, как был, — полуодет.

Так тянет снег. Так шепчут хлопья.
Так шепелявят рты примет.
Там подлинник, здесь — бледность копий.
Там все в крови, здесь — крови нет.

Там, озаренный, как покойник,
С окна блужданьем ночника,
Сиренью моет подоконник
Продрогший абрис ледника.

И в ночь женеvскую, как в косы
Южанки, югом вплетены
Огни рожков и абрикосы,
Оркестры, лодки, смех волны.

И будто вороша каштаны,
Совком к жаровням в кучу сгреб
Мужчин — арак, а горожанок —
Иллюминированный сироп.

И говор долетает снизу.
А сверху, задыхаясь, вяз
Бросает в трепет холст маркизы
И ветки вчерчивает в газ.

Взгляни, как Альпы лихорадят!
Как верен дому каждый шаг!
О, будь прекрасна, бога ради,
О, бога ради, только так.

Когда ж твоя стократ прекрасней
Убийственная красота,
И только с ней, и до утра с ней,
Ты отчужденье облита,

То атропин и белладонну
Когда-нибудь в тоску вкрапив,
И я, как ты, взгляну бездонно,
И я, как ты, скажу: терпи.
1916.



Рассказы

(Из книги „Журавлиная родина“)

МИХАИЛ ПРИШВИН

ОДИНОКИЙ ЖУРАВЛЬ

По утрам прилетал на пойму одинокий журавль и не трубил, а только свистел. В деревне его заметили, и каждый раз о нем разговаривали.

Почему он свистит?

Одни говорили — болен. Другие — стар. Третьи догадывались — во время перелета убили его самку. Последняя догадка была бы совсем хороша, но только являлся вопрос, почему же он не подобрал себе другую? Тогда опять приходили к тому, что стар, не хватило сил отбить себе.

Слушая все это, я спросил:

— А осенью, когда молодых самок будет довольно, может ли по журавлиным законам он, старый, выбрать себе молодую жену?

Охотник Федор Иванович, отлично знающий жизнь журавлей, ответил:

— Возьмет молодую.

Жена его заворчала:

— Молодую, молодую, а что будет хорошего,—сам старый свистун, а она молодая.

— Ну, с молодой-то,—ответил Федор,—он перестанет свистеть, с молодой женой и старик затрубит.

Все засмеялись. А жена Федора очень разозлилась и сказала ему при всех в глаза:

— Бессовестный!

Она очень его ревновала.

СКОРАЯ ЛЮБОВЬ

Мать моей подсадной утки была просто русская, домашняя, но дикий селезень ее потоптал несколько раз, и вышли утята — вылитые кряквы. Из них я выбрал самую голосистую и стал ею приманивать диких селезней к своему шалашу. Нет числа красавцам в брачном наряде, плененным погибельным голосом этой крикуши... Безжалостно сердце охотника, но случилось однажды — дикий селезень взял мою утку, и я не осмелился выстрелить.

Было это на вечерней заре. Я вышел к плесу на пойме, достал из корзинки свою крикушу, привязал к ее ноге длинную веревочку с гирькой на конце, забросил гирьку в воду, пустил утку на плес, а сам напротив сел в шалаше и стал в щелки смотреть на пойму.

Летела пара крякв: впереди серая утка, за ней селезень в брачном наряде. Вдруг навстречу им откуда-то вывернулась другая пара. И вот обоим парам только-только бы встретиться, вдруг ястреб кинулся на утицу из второй пары, и все смешалось. Ястреб промахнулся. Утка бросилась вниз и на пойме скрылась в кустах. Ошеломленный ястреб медленно ушел под сиюю тучу. А селезень из разбитой пары, придя в себя после нападения ястреба, сделал маленький круг: нигде в воздухе его утицы не было. Вдали первая пара продолжала свой путь. Одинокий селезень, вероятно, подумал, что это за его потерянной уткой гонится чужой селезень, пустился туда и стал нагонять.

Потерянная утка скоро опомнилась от нападения ястреба, выплыла из кустов на плес и стала кричать. Прилетел новый одинокий селезень. Между уткой дикой и моей подсадной завязалась борьба голосами. Моя утка разрывалась на части от крика, но дикая все-таки ее пересилила. Селезень выбрал дикую и потоптал.

Совершив огромный круг, вернулась первая пара, и за ней мчался селезень, потерявший свою утицу при нападении ястреба. Неужели он все еще воображал, что это не чужая, а его утка летит, и за ней гонится чужой?

Его настоящая утка, довольная, очищала на плесе перышки и молчала. Зато моя подсадная взялась одна без соперницы достигать селезня. И он услышал ее... Так ли верно, что в их любви все равно, какая утка,—была бы утка! А что если время у них мчится гораздо скорей, чем у нас, и одна минута разлуки с возлюбленной равняется десятку лет нашей безнадежной любви? Что если в безнадежной погоне за воображаемой уткой он услышал внизу яркий голос естественной утки, узнал в нем голос утраченной, вся пойма тогда стала ему, как возлюбленная...

Он так стремительно бросился к моей утке, что я не успел в него выстрелить: он ее потоптал. После того он стал делать вокруг нее свой обычный селезневый благодарственный круг на воде. Я бы мог тут спокойно целиться, но вспомнилась своя горячая молодость, когда весь мир явился мне, как возлюбленная, и я не стал стрелять этого селезня.

МОРАЛЬНЫЙ ЧЕЛОВЕК

Мой хозяин, как почти все крестьяне Московской губернии, говорит на двух языках: один—чистый деревенский, другой—ломаный, газетно-городской. Я упросил его говорить со мной только по-деревенски. Он согласился и говорит очень хорошо, но в исключительных случаях не выдерживает, хотя при этом всегда спрашивается:

— Разрешите сказать с точки зрения?

В тот раз мы говорили о злоупотреблениях в нашей кооперации. Он взволновался, не выдержал и спросил:

— Разрешите сказать с точки зрения?

Я ответил:

— Валите!

И он загнул:

— М о р а л ь н ы й человек в настоящее время совершенно запутался в паутине.

— А что это значит — моральный человек?

— Это вы сами знаете,—ответил Николай Карпыч,—деревенский человек способен только на одно дело, и, когда ему дают другое, он путается. Вот у вас собака по бекасу ходит, — умственное дело; если она идет по бекасу, то можете приучить ее и по грубому делу, по зайцу и по волку. Так ли я говорю, можно птичью собаку приучить по волку ходить?

— Пусть будет так.

— Хорошо, пусть будет, а ведь ту собаку, которая на волка определена, нельзя приучить по бекасу? Вот так и торговый человек, он, как собака по бекасу, должен быть способен на все...

И стал рассказывать, как мальчиком он жил у хозяина в лабазе и поступил в лабаз по экзамену.

— В лабаз по экзамену!

— Экзамен был на обеде. Хозяин позвал нас, двух мальчиков, на обед и смотрел, как мы едим. После обеда говорит моему товарищу:

— Ступай, ты мне неудобен: вяло ешь.

— Не выдержал экзамена!

— Не сдал. А мне сказал: «Оставайся, ты весело ешь, значит, на все способен, ты человек моральный».

ПАПАНЯ

Пятнадцать-двадцать рублей, которые оставляю на охоте я в семье К.,—в их крестьянстве большое подспорье. За мной ухаживают, но люди очень хорошие, все полагают, чтобы скрыть свой интерес. Перед самым моим отъездом, когда я расплавиваюсь, папаня непременно исчезает, и деньги я отдаю Анисье Ефимовне. Всегда она отка-

зывается от лишнего, потом и возьмет. А везет меня обратно Сережа, их сын, 20-летний паренек, дочка еще есть у них Шура, девочка лет 15, славная, все они милые, очень милые люди. Я прощаюсь по-родственному, но папани при этом никогда не бывает. Мало-по-малу догадался я, отчего везет меня всегда Сережа, и отец при расставании прячется. Папаню нельзя одного в город пустить, нельзя дать ему на руки деньги. Семья дружно оберегает его от беды. Конечно, он прячется из опасения, что деньги я дам ему, сын грубо ввяжётся, жена заплачет.

Так было множество раз. Но вот случилось в последнюю мою поездку—я пришел к последнему моему обеду, и не папаня, а все другие спрятались. Он сам доставал из печки горшки, нес тарелки, резал хлеб. После обеда он запряг лошадь, оделся для поездки со мной в город.

Разгадывал я на-двое: или папаня взбунтовался и разогнал семью, или исправился, и все спрятались, чтобы не поставить меня в неловкое положение передавать жене деньги на глазах мужа.

«Взбунтовался или исправился?—думал я.—Если исправился и поедет со мной, то надо деньги теперь же отдать, чтобы избавить его от искушения в городе: он, конечно, оставит их здесь. Но что, если я отдам деньги, а он не исправился, а лишь взбунтовался?».

После некоторого раздумья и промедления, в надежде, что те придут, а папаня скроется, я решил, наконец, деньги отдать: мне больше ничего и не оставалось. После того я стал смотреть в зеркало, будто мне надо оправиться. В зеркале отразилось, как папаня открыл ящик комода, вынул оттуда большой кожаный кошелек, и, когда открывал кошелек и опускал туда мои деньги, видно было, что там еще были деньги и довольно много, вероятно, все деньги семьи. Потом папаня запер комод и ключик положил на видном месте, чтобы нашли его сразу после отъезда.

Я был очень рад,—так это редко бывает на свете: папаня, конечно, исправился.

СОЧИНИТЕЛЬ

Коровы наелись и грудой стяжали у болотного бочага. Подпасок Ванюшка лежал на кочках дугой. Не сразу и догадаешься, как вышла дуга, он, должно быть, лег на кочку головой, но, пока спал, кочка умялась, голова опустилась, получился высокий живот, а голова и ноги внизу. Я стал будить его. Он открыл один глаз на мгновение, запустил руку за пазуху, вынул немного начатую полбутылку, протянул мне и опять уснул. Я стал хохотать и трясти его.

— Пей,—сказал он,—вчера гулял на празднике, тебе захватил.

Когда он совсем пришел в себя, опохмелился, я вынул из сумки последний номер «О х о т н и к а» с моим рассказом и дал ему:

— Почитай, Ваня, это я написал.

Он принялся. А я закурил папироску и занялся своей записной книжкой на пятнадцать минут, так уж замечено, что курится у меня пятнадцать минут.

Когда кончилась папироса, а пастух все читал, я перебил его вопросом:

— Покажи, много прочел?

Он указал: за четверть часа он прочитал две с половиной строки, а всего было триста.

— Дай сюда журнал,—сказал я,—мне надо итти, не стоит читать. Он охотно отдал и согласился:

— Не стоит читать.

Я удивился. Таких добродушно откровенных читателей мне еще не приходилось встречать, даже как-то немного понравилось. Он зевнул и сказал:

— Если бы ты по правде писал, а то ведь, наверно, все выдумал?

— Не все,—ответил я,—но есть немного.

— Вот я бы так написал!

— Все бы по правде?

— Все. Вот взял бы и про ночь написал, как ночь на болоте проходит.

— Ну, как же?

— А вот как. Ночь. Куст большой, большой у бочага. Я сижу под кустом, а утята—свись, свись, свись.

Он остановился и задумался. Я подумал—он ищет слов или образов. Подождал. Он очнулся, вынул жалеюку и стал просверливать на ней седьмую дырочку.

— Ну, а дальше-то что,—спросил я.—Ты же по правде хотел ночь представить.

— А я же представил,—ответил он,—все по правде. Куст большой, большой. Я сижу, а утята всю ночь—свись, свись, свись.

— Очень уж коротко.

— Что ты коротко,—удивился он,—всю-то ночь напролет: свись, свись, свись.

Соображая этот рассказ «Сочинитель», я сказал:

— Хорошо!

— Неуж плохо,—ответил он.

И заиграл на дудочке, сделанной из волчьего дерева, тростника и коровьего рога.

РЕБЯТА И УТЯТА

В деревне Федорцово у озера Полубарского последний дом к полям—кузница. Тут на дороге в пыли я увидел деревенских ребят, бросавших во что-то шапками. Когда я к ним подошел, возня была кончена, и у ребят в руках было по дикому утенку. Я узнал у них, что это маленькая дикая утица чирок-свистунок переводила своих утят

через дорогу в обход деревни к озеру Полубарскому. Путешествие семьи было очень понятно: весной озеро далеко разливалось, и прочное место для гнезда можно было найти версты за три от озера, на кочке, в болотном лесу. А когда утята вывелись, подросли, стали способны к переходу в озеро, вода спала, и озеро от леса оказалось в расстоянии не менее трех верст. В местах, закрытых от глаза человека, зверя и ястреба, мать шла впереди, утята, посвистывая, назади. В опасных местах мать пускала детей вперед, и сама шла назади, чтобы утят не выпускать ни на минуту из вида. И около кузницы, при переходе через дорогу, конечно, она их пустила вперед. Вот тут их увидели ребята и зашвыряли шапками. Все время, пока они их ловили, мать бегала за ними с раскрытым клювом или перелетала в разные стороны на несколько шагов. Ребята легко бы могли сбить мать шапками и поймать, как утят.

— Что вы будете с ними делать?—спросил я ребят строго.

Они трусили и ответили:

— Пустим!

— Вот то-то «пустим»,—сказал я сердито,—зачем вам было надо ловить? Где теперь мать?

— А вон сидит!—хором ответили ребята.

И все указали мне на близкий холмик парового поля: наверху его действительно сидела уточка с раскрытым от волнения ртом.

— Живо!—крикнул я ребятам,—идите и возвратите утят.

Они как-будто даже обрадовались и побежали с утятами на холмик. Мать отлетела немного и, когда ребята ушли, бросилась к утятам. По-своему она им что-то быстро сказала и побежала к овсяному полю. За ней побежали утята, пять штук. И так по овсяному полю, в обход деревни, семья продолжала свое путешествие к озеру.

Радостный снял я шляпу и, помахав ею, крикнул:

— Счастливый путь, утята!

Ребята засмеялись.

— Что вы, смеетесь, глупыши,—сказал я ребятам,—думаете так-то легко попасть утятам в озеро, вот погодите, дождетесь экзамена в вуз! Снимайте живо шапки, кричите: «До свиданья!».

И те же самые шапки, запыленные на дороге при ловле утят, поднялись в воздухе, все разом закричали ребята:

— До свиданья, утята!

П О Й М А

Я проснулся до рассвета. Лень было протянуть руку, чиркнуть спичкой и посмотреть на часы. Но дрожащий от звуков пойменный воздух или земля под досками пола и по ножкам кровати передали мне на подушку один звук, и я догадался, что во мраке ночи начался первый свет, и, значит, на часах теперь половина второго. Я проверил

звук, сосчитав его до четырех: четыре — и оборвалось. Потом опять началось, я сосчитал до пяти. Не было никакого сомнения, это ухала выпь в зарослях поймы. Хозяин вышел задать коню овса: мы с ним сегодня дальше поедем. В тот момент, когда дверь отворялась, я успел расслышать последнюю вопросительную фразу токующего тетерева. Он токует, для новичков непонятно кажется, просто бормочет, но для меня он отчетливо выговаривает:

— Обор-ву, обор-ву!

— Круты перья, кру-ты перья!

Пропев это, он спрашивает противника:

— Кру-ты перья?

Чмокнет и опять:

— Обор-ву, обор-ву...

Петух меня вызывает. Я не могу, услышав это «обор-ву», оставаться в покое. Быстро натянув сапоги и накинув куртку, выхожу на темный двор, мимо коня и коровы пробираюсь к выходу на огород, на гумно и дальше...

Из-под синего видна полоска зари. Замираю под звуки молящихся птиц; на небе рассыпаются барашком сотни бекасов, на земле где-то очень близко священнодействует тетерев, трудится, ухая, как бык в пустую бочку ревет, тоже по-своему любит и молится выпь.

Не буду скрывать, я тоже, обращенный в ребенка, пытаюсь прочесть богородицу, но скоро, выискав в ней непонятное мне в детстве слово ее: *п л о д ч е р е в а*, повторяю молитву вкратце за птицами:

— И благословен!..

Какой-то:

— Плод-че-ре-ва.

Кряковые утки кричат, селезни чвякают. Мало-по-малу показывается белый, как накрахмаленный очень туго, подхвостник тетерева и, наконец, весь он виден, ходит кругами, подняв свою лиру, пригнув к земле голову с красным цветком, неустанно твердит:

— Кру-ты перья, кру-ты перья?

Потом журавли дали сигнал. Этот их пронзительно радостный клик на восходе нельзя передать прямо словами, но это все равно, как если бы по-человечески таким же их голосом крикнуть:

— По-бе-да, по-бе-да!

Брызнуло золотом света само солнце, и тогда все журавли хором затрубили:

— Победа, победа!

Я замер в ознобе восторга. Я хорошо помню, отчего это случилось со мной: тень тучи прошла, луч пронзил меня, и с ним: вот теперь это уже навсегда!

Солнце поднялось над поймой, а леса так и остались синими.

Хозяин вышел на двор. Конь наелся овса и, как из пушки, ударил.

— Будь здоров! — ответил хозяин коню.

В походе

(Из романа „Россия, кровью умытая“)

АРТЕМ ВЕСЕЛЫЙ

(Окончание ¹)

В России революция, всю-то Расеюшку
дикой кровью забрало.

По Закубанью — стон стеной.
Революция подняла на дыбы и стравила казака с мужиком, мужика с черкесом, черкеса и с мужиком и казаком.

Отрыгнула давнишняя вражда.

Казаки точили зубы на горцев еще со времен кавказских войн, а с мужиками лютовали из-за земли и поговаривали о выселении их с Кубани.

Мужики, величая себя большевиками, организовывались в красногвардейские отряды, захватывали панские пашни и на митингах кричали, что горцев надо перебить, а с казаками устроить передел земли на равных началах.

Черкесские князьки и султанишки мыкались по аулам и собирали на защиту краевого правительства национальные отряды. Наиболее горячие головы из туземных дворян и духовенства во сне и на яву видели, как бы отложиться от России и восстановить, под покровительством Турции, «великую Черкесию», границы коей когда-то простирались от Эльбруса до Азовского моря.

Краевая рада противилась земельному переустройству и призвала население дожидаться учредительного собрания. Рада заседала в Екатеринодаре в атаманском дворце—ни один штык не мог достать до нее, а потому вся ненависть хуторян упиралась в аулы и станицы, поддерживающие краевое правительство.

Черкесы, объединившись с казаками, нападали на хутора — жгли, грабили, убивали, насиловали, угоняли скот. Хуторяне, при поддержке тех же казаков, устраивали набеги на аулы — жгли, грабили, убивали, насиловали, угоняли скот. Так были разгромлены аулы Габукай, Жи-

¹) См. «Новый Мир» книги 10 и 11 с. г

джихабль, Асоколай, Кошехабль, Шенджий, Вочепший, Лакшукай и много хуторов, разбросанных по рекам Шишу, Лабе и Белой.

Русских было больше — туземцам больше попадало.

Корнилов ввалился в Закубанье, как в осиное гнездо. Черкесы выставили под его знамена конный полк, собранный из всадников бывшей Дикой дивизии. Хуторяне, опасаясь мести, поголовно поднялись на защиту своих животов. Казаки отошли в сторону и стали ожидать событий.

... Кадету Юрию Чернявскому война окончательно разонравилась. Он отупел от усталости. Безразличное отношение ко всему окружающему нарушалось лишь взрывами ожесточения. Частенько после боя он оставался со сверстниками на поле сражения добивать раненых. Страдания не трогали, и кровь больше не волновала его. Не радовал и георгиевский крест, полученный за Кореновский бой. А давно ли он робел от грозных окриков классного наставника, боялся выходить ночью в полутемный коридор, трепетал при встречах на ученических балах с кудрявой и совсем нестрашной гимназисткой Стасей... И только о собственной смерти юноша не мог размышлять спокойно. Каждым ударом своего маленького задубевшего сердца он торопил армию выйти из-под ударов противника, забраться в дикие, недоступные горы... Первым-наперво вымоется он, Юрик, в бане, потом влюбится в черкешенку, потом займется охотой, потом отправится в большое путешествие на Восток, потом...

— Огонь... Цепь, огонь... Пулеметы, огонь... Чернявский, какого чорта не слушаете команду? Ложитесь.

Юрий очнулся и увидел невдалеке в канаве своего взводного, присевшего на корточках.

Не успел еще кадет ничего сообразить, как рядом что-то бякнулось, обдав брызгами, и под ноги медленно подкатился снаряд... «Конец, вот» — мелькнуло в сознании, но снаряд не взорвался: Юрий перешагнул через него и, поймав взгляд взводного, покраснел от удовольствия. Он еще раз с любопытством оглянулся на снаряд и задорно крикнул:

— Вот стерва... С поросенка.

Затем припал на колено и, почти не целясь, начал стрелять по мелькавшим на бугре шапкам красногвардейцев.

Сыпал дождь.

Взвод, рота, полк, вся армия лежала в болотистой низине и беспорядочной стрельбой отгоняла нападающих со всех сторон большевиков.

Из обоза, по распоряжению командующего, были выгнаны на линию огня все способные защищаться. Профессора, адвокаты, социалистические вожди, волоча за собой винтовки, ползли резервными цепями и тоже стреляли. На невымытых, обросших лицах обозников — ужас, обида, недоумение.

Временами кольцо красных настолько суживалось, что они перекидывали снаряды через головы врагов и разили своих.

Бой длился до вечера.

Корниловский полк головным входил в хутор.

— Ну, как, Юра, струхнул? — подмигнул Николай и рассмеялся. — Екнула селезенка?

— Никак нет, господин взводный, — бодро ответил кадет, смахивая рукавом капающий с носа и бровей пот.

— Господа, — обратился Николай к взводу и, для пущей важности кое-что прикрасив, рассказал о снаряде. — Герою — честь, герою — слава...

Смущенного Юрия схватили и принялись качать. Взлетая над головами соратников, он крепко держал над собой в вытянутой руке винтовку и чуть ли не впервые за весь Закубанский поход почувствовал себя счастливым.

— Песенники, вперед.

Несколько человек выбежали из строя. Запевала — румяный, улыбающийся Володя — повернулся к полку лицом и, легко отбегая на носках, высоким звонким голосом начал рубить:

Во городе во Ростове
Случилась беда
Молодая гимназистка
Сына родила...

Полк ухнул —

— с невеселым весельем подхватил и понес по тихой вечерней улице казарменную песню.

Внезапно из ближайшего двора выбежали два солдата и полураздетая, растрепанная баба — все с винтовками. Они встали перед хатой в ряд, локоть в локоть, вскинули винтовки и открыли частую пальбу.

Первым упал запевала. За ним — другой, третий...

Все растерялись от дикой неожиданности. За время длительного боя каждый растратил весь запас хладнокровия.

— Пулемет сюда, — истерически взвизгнул кто-то.

— Корниловцы, стыдитесь! — крикнул насколько голосу хватило командир полка полковник Неженцев и, выдернув из кобура револьвер, быстро и прямо пошел к троим... Почти в упор он застрелил одного солдата, другой бросился бежать, но, пробитый сразу несколькими пулями, повис на заборе.

Подскакавший черкес конем сшиб женщину, и не успела еще она упасть, как легким и мастерским ударом шашки азиат ссек ей голову начисто — по самые плечи. Голова покатилась офицерам под ноги, завертываясь в разлетевшиеся пышные волосы.

— Зажечь хату, — приказал командир.

— Разрешите, Митрофан Осипович, оставить до утра, а то людям под открытым небом ночевать будет холодно. Перед выступлением запалим весь хутор.

Неженцев согласился с адъютантом.

Двигались марш-маршем.

Непокорные хутора оставались позади в пепле, прахе и крови.

Начали попадаться аулы.

Гор, о которых мечтал не один Чернявский, и в помине не было. Царское правительство расселило черкесов на равнине, окружив кольцом линейных станиц. Аулы почти ничем не отличались от русских поселений: знакомые, крытые камышом и соломой, хаты; те же, упирающиеся хвостами в речку, огороды; и кое-где... церкви. Вместо воспетых «праздных гордых черкесов» пришельцев встречали воюющие жалкие люди. Благообразные старики, ползая на коленях, седыми бородами вытирали грязь с сапог победителей.

Однажды, в глухую ночь, раз'езд юнкеров наткнулся на заночевавшую в голой степи армию кубанского правительства, позорно бежавшего из своей столицы — Екатеринодара.

Бродячие армии возликовали.

В сарай, где на сене отдыхали корниловцы, забежал штатский. Он огляделся, и, заметив в темном углу людей, строго спросил:

— Какой части?

— Корниловцы. Что угодно?

— Не может быть?.. Разрешите представиться — член законодательной рады Константин Михайлович Чернояров.

Все, точно по уговору, промолчали и остались лежать в вольных позах.

— Вы, господа, не подумайте обо мне дурно. Мы, члены правительства, находимся в таких же условиях, что и рядовые чины отряда. Наравне со всеми голодаем, спим по-казацки на кулаке, сами ухаживаем за своими лошадьми.

— Позвольте узнать, какие стратегические или тактические соображения побудили вас вчера заночевать в степи под проливным дождем? — спросил кадет Чернявский и, довольный своей выходкой, оглянулся на своих.

— Лиха беда заставила, — ответил Чернояров. — В ту проклятую ночь даже курить было запрещено, чтобы не обнаружить своего местопребывания.

— Ха-ха-ха... Вы — законная власть на Кубани и боитесь себя обнаружить?

— Ничего не поделаешь... У нас только было начала разворачиваться законодательная работа, а тут, извольте, война. Так никогда и никакого порядка в крае не наладишь.

— Сами и виноваты, — отозвался кто-то простуженным голосом. — Партийные и социалистические интересы вы ставите выше интересов государственных и национальных.

— Как бы там ни было, а большевикам скоро крышка. По секрету могу сообщить, час назад состоялось заседание рады по вопросу о соединении и, понимаете, — никаких разногласий. Полное едино-

душе. Мы, кубанцы, весьма довольны тем, что вы присоединяетесь к нам.

— А почему не наоборот?

— Кажется, ясно? Вы мало знакомы с местной обстановкой, вы пришли на нашу территорию, вы...

— Чепуху городите, не знаю как вас титуловать, — сердито сказал Николай. — Кубань не африканская республика, а, всего-навсего область государства российского.

— Я вас не понимаю...

— И напрасно.

— Мы, радяне, не разделяя политических убеждений монархистов, разумеется, склоняем головы перед светлыми личностями Корнилова и Алексеева, но, тем не менее, будем отстаивать самостоятельность края, ибо имеем на таковую историческое право. Мы стремимся создать собственную кубанскую армию и в этом нет ничего зазорного. У нас, могу сообщить по секрету, уже выработаны и принципиальные условия, при строгом соблюдении которых только и может произойти соединение нашей армии с вашей.

— Во-первых, у вас не армия, а отряд, — сказал Николай, — во-вторых, интересно знать, что вы предпримете, если Корнилов потребует полного и безоговорочного подчинения?

— Ну, знаете, если вопрос будет так заострен...

— То?

— Мы, разумеется... подчинимся.

Николай захохотал. Потом он спросил уже другим тоном:

— И так, говорите, поход полон неудобств?

— Приходится мириться. Сегодня, например, нам отведено помещение школы, где и спим на грязном полу все сорок человек. Бывает и хуже. Под Тахтумукаем большевики окружили наше войско и, не хвалясь, скажу: только присутствие членов правительства на линии огня спасло положение. Когда казаки и простые отрядники видели нас, своих избранников, рядом с собой, то воодушевлялись и смело бросались в контратаки, шли на верную смерть, кололи, рубили, резали, — красота... Да этого простыми словами и передать невозможно.

— А вы — стихами, — посоветовал Чернявский и отвернулся.

— Не до шуток, молодой человек; вам, вероятно, ничего подобного и видеть не приходилось.

— О, да. Мы от самого Ростова едем на линейках, хлебаем молочко и наслаждаемся вашей кубанской природой, чтоб ее чорт побрал.

— В ауле, где мы последний раз дневали, — простодушно продолжал повествовать Чернойров, — большевики разграбили все до последней нитки, и, смешно сказать, мне, члену законодательной рады, пришлось пить чай прямо из конного ведра, через край.

— А где же ваша рада растеряла чайные сервизы?

— Куда там... Отступление было настолько поспешным, что войсковой атаман Филимонов впопыхах забыл в городе булаву, без ко-

торой; по старым казацким традициям, он и власти-то над войском не имеет.

— Значит, большевики как следует наломали вам хвост?

— Эка важность, счастье изменчиво. За нами Кубань, казачество и, наконец, правда. — Он взвалил на горб вязанку сена и ушел.

— Фрукт, — сказал поручик Дабижа. — И за каким лядом нам с ними связываться?

— Вы не политик, князь, — сказал Николай, укрываясь с головой шинелью. — Оставим эти неприятные вопросы на усмотрение начальства.

— И горжусь тем, что не политик. В свое время всех нас учили воевать, а не рассуждать.

Скоро все захрапели.

— Иван Павлович, объясните ради бога, что это за ге-не-рал Покровский? — обратился Алексеев к начальнику штаба. — Я что-то не помню такого имени.

— Проходимец, ваше превосходительство, каких свет не видал, — ответил Романовский. — В старой армии сей гусь служил в авиации в чине штабс-капитана. В революцию прибыл на Кубань и за несколько месяцев сделал карьеру. Рада пожаловала его сперва полковничьими, а через недельку и генеральскими погонями. К тому же, по сведениям разведки, преотчаяннейший интриган и политикан.

— Странная публика эти провинциальные властители. С ними каши не сварить. Еще перед рождеством из Новочеркаска выслал я в Екатеринодар представителя Добровольческой армии генерала Эрдели. Почему они не воспользовались услугами этого энергичного и умного человека, если уже не имеют своего полководца?

Романовский пожал плечами.

Дверь распахнулась, и дежурный офицер доложил:

— Его превосходительство Лавр Георгиевич Корнилов.

Корнилов быстро вошел и поздоровался:

— Иван Павлович, по какому это случаю на площади весь вечер ревет оркестр? Прилег было вздремнуть — не могу. Вся голову разломило. Пошлите выяснить и нельзя ли прекратить.

— Сию минуту. — Романовский вышел распорядиться.

Корнилов с Алексеевым остались вдвоем.

Некоторое время они молчали, потом Корнилов крепко, до хруста в суставах, потер маленькие сухие руки и заговорил:

— Бродить по степям и болотам дольше невыносимо. Люди измучены, потери весьма значительны, армии грозит гибель, если... если в ближайшие дни мы не возьмем город. Ваше мнение, генерал?

— Полноте, Лавр Георгиевич, зачем вам знать мое мнение? Чтоб не согласиться с ним? Вы — командующий, вам и вожжи в руки.

Судорога бешенства промелькнула в лице командующего, но он сдержался и спокойно продолжал:

— Нас раздавят. Немыслимо вести войну с ордой сброда. Нам нужна база. Город может спасти положение. Поднимем сполох, кликнем клич, верхи казачества и всякий честный человек, в ком сохранилась хоть искорка патриотизма, будут с нами, не могут не быть с нами.

— На Дону мы допустили ошибку, понадеявшись на казачество. Мне кажется, что на Кубани вы, Лавр Георгиевич, эту ошибку повторите.

— Неправда. Вы не понимаете или не хотите понять теперешней обстановки. Риск...

— Риск уместен в картежной игре, — перебил Алексеев и поднял лобастую лысеющую голову. Расстроенное лицо его болезненно морщилось, а пронизательные глаза в золотых очках были строги, как поплавки на тихой воде. — Я сторонник расчета и плана.

— Три хороших перехода, и мы будем в городе. Смелым бог владеет...

— Простите меня за вольность, но на войне приходится больше рассчитывать на штык, а не на святителей. Хорошего командира полка я не променял бы и на десяток угодников. Понадеялись на бога, — японскую кампанию проиграли, да и германскую тоже... Силы неравны, и с этим нельзя не считаться.

— Что ж, я должен избегать встречи с большевиками? Должен беречь своих людей от пуль неприятеля?

— Нет, нет. Борьбу необходимо продолжать со всей решительностью. Всякая армия, как известно, загнивает от бездействия, но, повторяю, силы неравны... Оттяните войска в Сальские степи, дайте людям и коням отдых, сократите обоз и там, поверьте, недолго придется ждать настоящего дела. Под боком — Дон, на Украине — чехословацкий корпус.

— Сальские степи, — зло усмехнулся Корнилов, — не я ли месяц назад настаивал на том, чтобы идти именно туда? Весь генералитет — Деникин, Марков, Богаевский, Лукомский, Боровский, Иван Павлович и, наконец, вы — уговорили меня повернуть на Кубань. Теперь о Сальских степях думать поздно, это у чорта на куличках, а у нас снаряды и патроны на исходе, продовольственные запасы иссякли, конский состав разбит, в обозе шестьсот сорок раненых, люди вымучены до последней степени... Я возьму город во что бы то ни стало. Так честь, так долг, так совесть велят.

— Авантюра, — гневно и без малейшего колебания выговорил Алексеев. — Город вряд ли удастся взять, а рискуете вы всем. Ваш долг перед родиной...

— Я прекрасно сознаю свои обязанности перед Россией, — с надменной улыбкой сказал Корнилов и поднялся; раздувающиеся ноздри его трепетали, губы дрожали. — Простите, генерал, но вы не понимаете простой истины: пусть поражение, но только не срам.

Вошел Романовский и доложил:

— На площади, по приказанию Покровского, под музыку вешают местных жителей, заподозренных в сочувствии большевикам. Я распорядился прогнать музыкантов.

— Отлично, — сказал Корнилов. — С рассветом мы выступаем на Ново-Дмитровскую. Авангардом пустить марковский полк, а то его офицеры жаловались, что я им не даю возможности отличиться. Арьергардом — юнкеров.

Начальник штаба молча поклонился.

Всю ночь сыпал спорый весенний дождь.

Было еще темно, когда по размокшим дорогам выступили передовые полки. Потянулся обоз, штабы, повозки с больными и ранеными. (Главный лазарет, по чьему-то мудрому распоряжению, оставался в этот день в ауле Шенджий.)

Станица Ново-Дмитровская, раскинутая по широкому бугру, встретила наступающих огнем пулеметов и шести батарей.

Армия замаялась.

Путь к станице преграждала буйствующая речка, на которой все мосты и переправы были уничтожены. Всадники, высланные на поиски бродов, вернулись ни с чем.

К полудню грянул холодный ветер, мокрыми хлопьями повалил снег.

Люди покорно мокли и дрогли.

Ветер густел.

Застонала вьюга.

Тьма окутала снежное поле.

Расстроенные полки стояли по колена в ледяной каше и ждали распоряжений начальства, которое и само не знало, на что решиться... Возвращаться в Калужскую и Пензенскую было невыгодно и позорно: за все время похода армия еще не разу не пятилась, к тому же не миновать было брать Ново-Дмитровскую. Вести полки в лобовую атаку вплавь через речку представлялось немыслимым. Остаться на ночь в чистом поле было невозможно: давно уже ни на ком не осталось ни одной сухой нитки, из обоза летели зловещные вести — такой-то замерз, такой-то застрелился.

— Николай Александрович, терпенья не хватает, в атаку бы, что ли... Так и так пропадать.

— Бегай, Юрик, грейся. Всем плохо и все терпят: Командующему, поди-ка, не жарче, чем нам с тобой.

Корниловцы, составив ружья в козла и не обращая внимания на высокие разрывы шрапнели, боролись, тузили друг друга по бокам и прыгали, как бесноватые. Кадет, не теряя из виду своего взвода, начал бегать от межи до какого-то столбика и обратно. Обмерзшая шинель гремела на нем, как лубяная, заочоленные пальцы еле держали винтовку, на прикладе которой настала ледяная корка.

Офицерский марковский полк, пользуясь темнотой, подобрался к самому берегу.

— Господа, господа,—агитировал Марков, бегая по цепи и хлопая себя по голенищу плетью, которую никогда не выпускал из рук,— за ночь мы перемерзнем здесь, как суслики. Помощи ждать неоткуда. Надо решиться.

— Мы за вами в огонь и в воду,—полушутливо сказал кто-то, и кругом одобрительно загудели.

— Благодарю, господа! Благодарю за доверие!—Генерал сорвал залепленную снегом папаху и перекрестился.—Ну, с богом! За мной!— и первым полез в речку.

Станица была взята.

Армия, передохнув, переправилась под Елизаветинской через реку Кубань и с трех сторон обложила город.

Бой гремел второй день, но победы не было.

Корнилов вызвал в штаб Неженцева.

— Здравствуйте, дорогой.

Неженцев начал было рапортовать о состоянии полка, но командующий раздраженно перебил:

— Отставить. Не до церемоний. Садитесь и рассказывайте.

— К сожалению, Лавр Георгиевич, ничем не могу порадовать. Полк тает. Сегодня два раза ходили в атаку и не продвинулись вперед ни на шаг.

— Знаю, знаю. Я уже распорядился выслать на пополнение полка две сотни мобилизованных казаков. Хватает ли патронов? Каково настроение? Когда будем в городе?

— Патроны на подборе. Люди измотаны, засыпают в окопах. Частроеение падает. Час назад, когда я приказал возобновить атаку, цепи... не поднялись.

— Как? Корниловцы отказались итти в атаку? Позор.

Командир полка опустил голову.

— Значит, действительно дела не важны,—сказал Корнилов и задумался.

— Старого состава в полку осталось меньше половины, воспитанием пополнений заниматься некогда...

— Все это я прекрасно понимаю и лично вас, Митрофан Осипович, ни в чем не виню. Нужно поднять дух людей и внушить им, что город должен быть взят во что бы то ни стало.

— Слушаюсь.

— Почти два месяца, как мы выступили из Ростова, и до вчерашнего дня армия с честью выполняла все приказы своего командующего Неужели теперь, когда осталось сделать одно усилие, ряды дрогнут? Нет. Я скорее застрелюсь, чем отступлю от города,—так и передайте полку.

— Лавр Георгиевич...

— На один наш выстрел большевики отвечают залпом. Против одного нашего бойца выставляют десяток. Медлить нельзя, иначе

войска потеряют сердце. Сегодня же... Я вас больше не задерживаю. Желаю удачи. С богом.

Неженцев ушел, и в тот же день был убит на позиции.

Начальнику штаба полковнику Барцевичу—Романовский был уже ранен—командующий продиктовал:

П Р И К А З ¹⁾

в о й с к а м Д о б р о в о л ь ч е с к о й а р м и и.

Ферма Кубанского экономического общества.

№ 185

Марта 29, 1918 года,

12 час. 45 мин. утра.

1) Противник занимает северную окраину города Екатеринодара, конно-артиллерийские казармы у западной окраины города, вокзал Черноморской железной дороги и рощу к северу от города. На Черноморском пути имеется бронированный поезд, мешающий нашему продвижению к вокзалу.

2) В виду прибытия ген. Маркова с частями 1-го Офицерского полка, возобновить наступление на Екатеринодар, нанося главный удар на северо-западную часть города.

а) Генерал-лейтенант Марков—1-я бригада. 1-го Офицерского полка 4 роты, 1-го Кубанского стрелкового полка один батальон, 2-я отдельная батарея, 1-я инженерная рота—овладеть конно-артиллерийскими казармами и затем наступать вдоль северной окраины, выходя во фланг противнику, занимающему Черноморский вокзал, и выслать часть сил вдоль берега реки Кубани, для обеспечения правого фланга.

б) Генерал-майор Богаевский—2-я бригада. Без 2-й батареи. 3-я батарея и второе орудие 1-й отдельной батареи. Один батальон 1-го Кубанского стрелкового полка и первая сводная офицерская рота Корниловского ударного полка—наступать левее ген. Маркова, имея главной задачей захват Черноморского вокзала.

в) Генерал Эрдели—Отдельная конная бригада, без Черкесского конного полка—наступать левее генерала Богаевского, содействуя исполнению задачи последнего и обеспечению его левого фланга и портя железные дороги на Тихорецкую и Кавказскую.

3) Атаку начать в 17 часов сегодня.

4) Я буду на ферме Кубанского экономического общества.

Ген. Корнилов.

Вечером были заняты сады, артиллерийские казармы и окраины почти вплоть до Сенного базара, но город не сдавался.

На реке всплывала дохлая рыба. Нырять в крутой кольчатой волне и покачиваясь, плыли вздувшиеся лошадиные туши и трупы людей. Несло тухлятиной.

Всю ночь в небе пласталось зарево пожаров—горели кожевенные заводы, артиллерийские казармы и многие дома в городе.

¹⁾ Этот последний приказ Корнилова до сих пор в советской печати не опубликован. Нет его и в «Очерках русской смуты» Деникина.—А. В.

Сyrpinus Carpio

Э. БАГРИЦКИЙ

...из-за осенних дождей разлились разводные пруды. УЗУ не в состоянии помочь. Штат служащих рыбоводной станции не может справиться с наводнением. Мальки ценных рыбных пород гибнут.

Из письма рабкора.

Романс карпу.

Закованный в бронзу с боков,
Он плыл в темноте колеи,
Мигая в лесах тростников
Копейками чешуи.
Зеленый огонь на щеке,
Обвисли косые усы,
Зрачок в золотом ободке
Вращается, как на оси.
Он плыл, огибая пруды,
Сражаясь с безумным ручьем,
Избранник проточной воды, —
Он пойман и приручен.
Лягушника легкий кружок
Откинув усатой губой,
Плывет на знакомый рожок
За крошками в полдень и зной...
Он бросил студеную глубь,
Кустарник, звезду на зыбях,
С пушистой петрушкой в зубах,
Дымясь, проплывая к столу...

О д а

Настали времена, чтоб оде
Потолковать о рыбоводе...

Пруды он продвинул болотам в тыл,
Советский водяной,
Самцов он молоками налил

И самок набил икрой...
 Жуки на березах... Туман... Жара...
 На журавлей урожай...
 Он пробует воду, —
 Теперь пора:
 — Плывите и размножайтесь!
 Ворот скрипит (стопорит ржа),
 Шлюзы раз'езжаются визжа...
 Тогда запеваает во все концы
 Вода, наступая упрямо,
 И в свадебной злости плывут самцы
 На стадо беременных самок...
 В парное течение,
 В забор травяной,
 В коричневой тины гниенье
 Уходят самцы
 На бесшумный бой, —
 На бой за оплодотворенье...
 Распахнуты жабры,
 Плавник зубчат,
 Обложены медью спины;
 В любви молчат,
 В смерти молчат,
 Молча валяются в тину...
 Идет молчаливая игра:
 Подкрадыванье и пляски...
 И звездами — от взмаха пера, —
 Взлетая, путается икра
 В зеленой и клейкой ряске...

 Тогда, закурив, говорит рыбовод:
 — Довольно сражаться, получен приплод!..

Элегия

Он трудится, не покладая рук,
 Сачком выгребая икру...
 Он видит, как в студне точка растет:
 Жабры, глаза и рот.
 Он видит, как начинается рост,
 Как прорастает хвост...
 Как первым движеньем плывет малек
 На водяной цветок...
 И эта крупинка любви дневной,
 Этот скупой осколок,
 В потемки кровей, в допотопный строй
 Вводят тебя, ихтиолог...
 Над жирными водами встал туман;
 Луна над кустом косматым...
 И этот малек, как Левиафан,
 Плывет по морским закатам...
 И первые ветры, и первый прибой,
 И первые звезды под головой...

Э п о с

До ближней деревни пятнадцать верст,
До ближней станции — тридцать...
Утиные стойбища — гнойный ворс,
От комарья не укрыться...
Голодные щуки жрут мальков,
Линяет кустарник хилый,
Простудная жижа промежду швов
В'едается в бахилы.
Ползет на пруды с кормовых болот
Душительница-тина...
В расстроенных бронхах
Бронхит поет,
В ушах завывает хина...
Рабочий в жару,
Помощник пьян,
В рыбозаводе — холод,
По заболоченным полям
Рассыпалась рыба молодь...
На помощь!..
Звенит телеграфный зуд
Сквозь морок болот и тленье..
... Но сычи угукает УЗУ
Над ящиком заявлений..
Утиные стойбища широки,
Трясина, вода и камень...
От шага шарахаются мальки
Болотными огоньками...
Из черной куги,
Из прокисших вод
Луна вылезает дыбом...
Луной открывается ночь...
Плывет
Чудовищная Главрыба...
Крылатый плавник и сазаний хвост
Шальных рыбозаводов ересь...
И тысяча студенистых звезд —
Ее небывалый нерест...

О, сколько ножей и сколько багров
Ее ударят под ребро!..

В каких витринах, под звон и вой,
Она повиснет вниз головой!..

Ее окружает стеклянный лед,
Огонь стережет белесый...
Пред ней остановится рыбозавод,
Пожевывая папиросу...
И в улиц бульжное бытие
Она проплывет в тумане...
... Он вывел ее,
Он вскормил ее —
И отдал на растерзанье...

К л а в д и я

Рассказ

ДМ. УРИН

Что его делать с памятью, когда она становится поперек жизни.

Около тридцати лет тому назад поздней осенью, в дождь в квартиру молодого врача Шварца пришла совершенно продрогшая и промокшая женщина в худом жакете, без платка и без галош. Она остановилась в передней, и, тяжело дыша, расставила руки, чтоб по рукавам, как по трубам, стекала вода. Лицо ее было красным и мокрым, и спутанные белобрысые волосы прилипли к нему. Она забирала волосы с лица не кистью, а всем предплечьем, она водила им по лицу, как палкой, как протезом, морща нос и гримасничая, — ей казалось, что от этого волосы скорей отклеются. Сбросив жакет и немного отряхнувшись, она прошла в новенький кабинет к доктору. Шварц встретил ее у двери, она подала ему руку и, сжимая после каждой фразы зубы, чтобы не дрожать, сказала:

— Здравствуйте, Шварц. Суньте меня куда-нибудь в печку и, если можно, дайте комнатные туфли. Я — Клавдия. Вы меня знаете?

— Клавдия, — обомлел доктор Шварц. — Да. Знаю.

Он засуетился, посадил ее в кресло к печке, в которой тлели, потрескивая, мокрые дрова, укутал ее ноги пикейным одеялом и побежал в спальню за туфлями. Он суетился смешно, как всякий мужчина смешно суетится в холостом доме в присутствии женщины. Через минуту он возвратился, неся в каждой руке по туфле, — коленки его черных брюк были в пыли, — видно, он лазал за туфлями под кровать.

— Какой богатый прием, Шварц, — сказала Клавдия. — Это вы так гостеприимны потому, что у вас нет жены. Жена бы научила вас практической жизни. Она бы не позволила вам давать приют таким людям, как я.

Клавдия улыбнулась, и доктор Шварц, глядя на нее, тоже улыбнулся. Он улыбнулся совершенно механически, в то время как ему было не смешно, не радостно, а только любопытно и даже немного страшно, что вот у него в квартире находится женщина, о которой

говорят сейчас все его друзья, и через некоторое время, может быть, заговорит вся Россия. Женщина эта улыбалась мелкими, слишком склеенными глазами, и он заметил, что чем больше она улыбается, тем уже становятся ее глаза.

— Знаете что, — сказал доктор Шварц, — я вам дам вина. Хорошо?

Она ответила, кутаясь в пикейное одеяло и подвигаясь все ближе к сыроватой дымной печке:

— Ну, конечно. Вино согреет меня.

Тогда он вынул из белого, похожего на аптечный, шкафа бутылку со стеклянной пробкой, налил ей и себе по рюмке и хотел чокнуться, но женщина, не глядя на него, сразу выпила свою рюмку и сказала:

— Тепло и очень вкусно. Скажите, Шварц, вино дорогая вещь?

— Рубль двадцать бутылка. Это дешевый портвейн. А вы что? Вино пьете редко?

Клавдия снова сгримасничала, скорчила подслеповатую улыбку и, посмотрев сначала прищуренными глазами на граненую, отливающую спектром рюмку, опрокинула ее на язык и вылизала последние капли.

— Вы, Шварц, чудак, — сказала она, облизываясь. — Я пью вино первый раз в жизни.

— Ну? — с благоговейным любопытством протянул Шварц. И, выпив свою рюмку, почувствовал новый вкус. Так всегда, — ощущаешь почти то же самое и когда узнаешь, и когда даешь узнавать.

— Поймите, — говорила Клавдия, — где я могла пробовать вино? Дома у нас и квасу не было, а в Казани мы учились на колбасе да на кипяточке...

Она говорила так, как-будто Шварц должен был знать ее жизнь, как-будто словом «Казань» она что-то ему напоминала.

— Где ж я могла его пробовать? В Петербурге вы знаете, как такие люди живут, или, может, в те два года, которые я учительствовала в деревне?

— Учительствовала в деревне, — радостно повторил про себя Шварц. Он все время старался вспомнить, на кого Клавдия похожа, — и вот теперь ему стало ясно — она похожа на сельскую учительницу. Ну, да. Белобрысые, гладкие волосы, серые глаза и уши, проглядывающие сквозь редкую прическу, как облака сквозь листву. Он очень обрадовался, что она оказалась учительницей, хотя угадал это и оформил свою неясную мысль об этом уже после того, как она сказала ему о своей работе в деревне.

Как по чужой комнате, ходил он по своему кабинету, как по ожидальне, приемной, фойе, и думал о том, что вот эта небольшая озябшая женщина четыре дня тому назад бросила бомбу в известного жандармского полковника, убила одного и ранила трех человек. Совершила поступок, о котором говорит, пишет и шепчет вся страна.

И вот как странно это получилось: сейчас она сидит в кабинете у него, доктора Шварца. Он прячет ее, а она пьет портвейн и улыбается крысиными глазами.

— Дайте что-нибудь почитать, Шварц, — сказала Клавдия. — Я не могу сидеть без дела.

— У вас есть дело, — ответил доктор, — вы согреваетесь.

Она посмотрела на него строго и сказала наставительно, как на уроке, когда зудят мухи и хочется дерзить.

— Согреваться — это занятие слишком для себя.

— Простите, Клавдия, — мягко дерзнул Шварц. Ему очень хотелось заставить ее спорить, говорить, рассказывать. — Ведь вы читаете не вслух, ведь читаете вы тоже для себя?

— Вы, Шварц, чудак, — ответила она. — Про себя — это не значит для себя. Ну, конечно, бывает, что читаешь просто для себя самой. Но все-таки, когда читаешь, кажется, что это кому-то можно рассказать, что это кому-то интересно. А вот то, что я согреваюсь, не интересно никому. Давайте лучше книжку, вон у вас целый шкаф. Больше чем у нас в школьной библиотеке.

— Но это все медицина.

— А вы поищите, найдется что-нибудь.

Шварц в верхних полках не искал, там были все похожие, в одинаковых блестящих переплетах книги. Он нагнулся и, стоя на корточках, вытащил снизу толстый том.

— Вот. Пушкин. Больше как-будто ничего нет.

— «Мой дядя самых честных правил» — опять улыбнулась Клавдия. — Что ж, давайте сюда, почитаем дядю.

Когда он положил книжку ей на колени, ему показалось, что тонким ее ногам будет тяжело держать грузный том. Шварц пошел закрывать ставни, отделять себя и Клавдию в своем доме от шуршащей за окнами осенней вьючи. Стекла были тусклыми и черными, и ни луна, ни фонарь не просвечивали сквозь них. Когда он снова подошел к печке и сел под лампу — в свет, Клавдия прочитала ему вслух:

Янтарь на трубках Цареграда,
Фарфор и бронза на столе
И, чувств изнеженных отрада,
Духи в граненом хрустале.

— Правда, здорово, — воскликнула она. — Какой пафос! Хорошая все-таки, должно быть, вещь богатство, довольство. Ведь никогда в жизни, даже тогда... когда хорошо будет, никто не сможет, никто не вздумает писать такие стихи о труде, о тяжести, о работе. Дым, сажа, копоть, грохот, — что хорошего? А если кто и напишет, так скажут, что это не поэт, а трубочист. И читать про духи в граненом хрустале приятней. Потому что, по правде говоря, это верно, духи — хорошая вещь. Только дорогая. Если бы все...

На парадном позвонили. Клавдия насторожилась.

— Это вас так поздно к больному? Это может быть?

— Чорт его знает, — ответил Шварц. — Кто там? — спросил он у двери.

— Откройте. К доктору, — ответили за дверью.

Шварц открыл, и в его дом вошли жандармы, понятые и городовые. У Клавдии был револьвер, но ее обезоружили прежде чем она успела выстрелить. Доктора и Клавдию арестовали. Одним из понятых был сын домовладельца, семинарист Юлимов. Из чувства симпатии к доктору, а может быть, от дерзости — ею легко было заразиться в присутствии этой маленькой белобрысой женщины — он решил помочь арестованным и бросил в печь книгу, которую читала Клавдия.

Пушкин сгорел до тла.

Арестованных отвезли в тюрьму.

Через два месяца вместе сидели они на обыкновенной скамейке. Такие самые скамейки стоят для ожидающих просителей в долгих коридорах присутственных мест. Их судили. По бокам и за спинами стояли солдаты в бескозырках с шашками наголо. Солдаты лениво держали легкие шашки на плечах и следили за судебным приставом, у которого от суеты краснел затылок, и лакированная кобура покрывалась матовым потом.

Здесь, на суде, доктор Шварц второй раз в жизни встретил Клавдию. Она улыбалась попрежнему, и Шварц решил, что это — нервная улыбка.

Когда председательствующий — старик с широкими расписанными золотыми зигзагами генеральскими погонями — спросил, понимает ли она, в чем ее обвиняют, она ответила:

— В чем обвиняют,—понимаю плохо. Но к чему приговорят,—понимаю хорошо.

Председатель оторопел и замялся. От этого в зале остановилось дыхание, задержался шопот, и в напряженной паузе Клавдия добавила: — Повесите.

Доктору Шварцу смертная казнь не угрожала. В предварилке он оброс бородой, но в день суда к нему в камеру привели цирюльника, и доктор, когда его стали брить, попросил оставить ему часть волос на подбородке. Веселый цирюльник заявил, что такая бородка придает солидность и называется «буланже».

— Беранже?—с удивлением переспросил доктор.

— Не могу знать,—ответил цирюльник.

На суде Шварцу стало очень стыдно этой бородки, он беспрерывно ее щипал и ему казалось, что он оставил ее специально для того, чтобы щипать и что все, кто знал его бритым, догадываются, для чего он оставил бородку.

Его приговорили к каторжным работам и к вечному после отбытия работ поселению в отдаленных местах, а Клавдию, как и ожидали, к смертной казни через повешение.

Объявив приговор, суд ушел, публику немедленно удалили, и осужденные, окруженные усиленным конвоем, остались в большой зале, где плавала еще туманная духота.

Обессиленная Клавдия смотрела на дверь, куда уходила удаляемая из зала публика. Глаза были расширены до предела — большие, светлые глаза, ими близорукий человек не видит. Стекла в высоких окнах запотели, но никто не навел на них скучающим пальцем узора, и казенные стекла просвечивали ровный, матовый день.

Судебная зала была, как жизнь в эти последние дни, надышанная многими ртами, непрветренная, замыганная и пустая.

Что мог сказать Клавдии Шварц, когда он дрожал, как тревожащая струна, как провод от выстрела?

Их выводили, и молодой офицер напомнил перед тем, как отвести Шварца в другую сторону:

— Прощайтесь.

Клавдия поцеловала дрожащего доктора в пошерхшие губы и сказала:

— Вы больны. Попроситесь в тюремную больницу. Вы чудак, Шварц.

Но доктор Шварц не попросился в больницу. Он, как врач, считал это по какой-то нелепости неудобным, стыдным и даже глупым, в роде как если бы тюремный начальник попросился в тюрьму. Переболев в карантине, Шварц пошел на каторгу. Три месяца дороги пыльным этапом, грузной баржей, и новая на много лет жизнь.

На каторге доктор познакомился с группой анархистов и с одним тифлисским социалистом, очень высоким человеком, у которого были жесткие, колючие волосы, как щетка. Анархисты называли его Дуракошвили. В свободные часы эти люди пели песни. Шварц тоже научился петь. Чаще всего пели анархистский гимн, мрачный, как похоронный марш, и вместе с тем боевой, как «Марсельеза».

Не надо позорной и рабской любви,
Мы горе народа утолим в крови.

Часто затягивали хором «Красное знамя», и в камеру прибегал начальник. Он говорил, растягивая одно только слово:

— Господаа-а-а...

При его появлении многие переставали петь, и в воздухе повисал одинокий фальцет самого смелого и самого безголосого грузина.

Лэйся вдал наш напэв,
Мч'з кругом.

И, несмотря на то, что начальник, появление которого оборвало пение, находился еще в камере, фальцет этот звал, ему нужно было подсобить, как одинокому, беспомощному человеку, раздирающемуся за людей, среди людей. И всё подхватывали:

Над миром наше знамя веет,
И несет ключ сорьбы, мести гром,
Семя грядущего сеет,
Оно горит и ярко рдеет:
То наша кровь горит огнем.

Кровь действительно горела. Если после каторжных работ (эпитет этот вошел в поговорку) все тело ныло, как натертое ворсяными бечевками,—люди пели. Работали молча, скрепя душу, сердце, зубы, а вечером, истомленные, полулежа на нарах, пели старую песню. И от дедов к отцам, от отцов к сыновьям эта песня идет по наследству:

Коль работа невмочь,
Чтобы делу помочь,
Мы к дубине, как верному средству...

Фактически Шварц пробыл на каторге меньше года. И этим, пожалуй, легко объяснить то, что он запомнил на всю жизнь не упрямых, как вековые учения, товарищей, не жестокий режим каторжной тюрьмы, а эти вот песни, томительные и боевые.

Начальник тюрьмы посоветовал доктору подать покаянное прошение на высочайшее имя и принес готовый текст. Шварц с радостью подписал. Прощение попало к каким-то государевым именинам, и через месяц пришла высочайшая резолюция: «помиловать».

Шварц был освобожден и оставлен под надзором.

Университет был окончен шесть лет назад: пять лет несмелой полуплатной врачебной практики и год каторги—вот они, эти шесть лет. Человек вышел из тюрьмы жадный к жизни, жадный неразборчиво, как всякий голодный, и все, что было у него до этого часа, до этой основной жажды, казалось ему несерьезным, детским и непродуманным.

Жизнь начинается с жажды. Все остальное свое существование доктор Шварц называл:

— Когда я был студентом.

В это понятие у него входили и Клавдия, и суд, и каторга, и песни.

Если хорошо подумать, какое время обозначает фраза: «Когда я был студентом»—если продолжить ее, то выйдет, что доктор Шварц считал каторгу университетом потому, что, только перейдя через нее, он студентом перестал быть.

Часто до самой старости он вспоминал это время, необычайно просто и неожиданно перевернувшее его судьбу.

В резкий холодный дождь, ночью, пришла к нему Клавдия. Шелковый дождь блеснул в ее склеившихся волосах. Первая женщина в его жизни пришла в его дом, как товарищ, и как новая неловкая хозяйка. Она просто скинула свои промокшие башмаки, просто просила читать и говорила о вине как исследователь и вместе с тем как ребенок. Было в ее непосредственности что-то от провинциальной невесты, от жены.

За год каторги Шварц совершенно свыкся с выдуманной им самим мыслью, что если бы Клавдию тогда не арестовали, она осталась бы жить в его доме, стала бы его женой. Никаких причин допускать подобный оборот событий у доктора, конечно, не было. Но Клавдия была единственной женщиной, о которой он мог думать в тюрьме,

Клавдия прошла сквозь его жизнь неожиданным страхом и стала кандалальной мечтой, каторжным сном доктора Шварца.

Но, выйдя из тюрьмы, Шварц ничего даже не пытался узнать о ее судьбе. О том, как встретила она смерть, могли рассказать только ее друзья, а к ним после подписания прошения на высочайшее имя было и стыдно, и боязно обращаться. Мысль о Клавдии не изменяла ему, не покидала его, и мысль эта еще больше заставляла его бояться узнавать о подробностях казни. Шварц пугал себя: «Вдруг она осталась в живых».

— Она живет.

Предполагая это, он буквально дрожал. Клавдия была единственным человеком, перед которым ему было стыдно, который мог вернуть его в прежнее студенческое состояние, а он хотел жить.

— Я не мальчишка,—говорил он себе.—Я доктор, врач.

В скверном юго-западном городишке, где по утрам в низкие стекла обывательских квартир стучатся районные бублечники, где до сих пор еще ходят зажигать фонари с невысокой лестничкой, где в шесть часов вечера мычат гудки мельницы-крупорушки и возвращающиеся коровы, и по коровам, по крупорушке проверяют часы,—Шварц начал новую практику. Он прибил у дверей эмалированную вывеску, и первую неделю по совету своего домохозяина ездил с чемоданчиком в руках на извозчике из одного конца города в другой.

— Ой, не так, доктор, ой, не так,—учил его хозяин после первого дня этих поездок. — Вы держите одну ногу на ступеньке, как будто вот-вот вам надо слезть и вы пугаетесь за лишнюю минуту. Чтоб публика видела спешку. Как-будто у нас столько практики, что ее некуда сунуть. И на часы смотрите. На часы.

От извозчика пахло конюшней и тулупом, провинциальная пролетка была грязной, в ногах валялась солома. Похожие одна на другую улицы мелькали однообразно, приходило на ум, что топчешься на одном месте, и Шварц мучительно стеснялся извозчика.

Через неделю пришла практика, а через год — жена, высокая полная, выгодная, с выездом и обставленной квартирой. И во время сватовства и во время венчания Шварцу казалось, что он изменяет Клавдии, обманывает ее память. И позже уже, на новой квартире, такой новенькой, что жалко было двигать стулья и ходить по полу, он хотел рассказать жене, что вот у негс была Клавдия. Но р а с с к а з ы в а т ь б ы л о н е ч е г о, жена или ничего бы не поняла, или испугалась бы—это все равно, что рассказывать сны. Часто он начинал:

— Когда я был студентом...

Но всегда переходил на другое, и кандалальная его мечта о Клавдии осталась для жены тайной.

Без особых мыслей прочно входил в жизнь Шварц. С рецептурными бланками в кармане, с лаконическими диагнозами «юг» и «бог» там, где нельзя было прописать розового лекарства. Он подымал руку к недосягаемому небу, качал по-козлиному головой и говорил:

— Юг.

Так же точно он произносил и другое слово: «бог».

Ландо, покрытое блеском, с кучером в потном кафтане, служило крепким подспорьем его врачебному авторитету. На всамделишные уже визиты он ездил сонным. Русский кучер-бородач бил коня традиционным вишневым кнутовищем, несмотря на то, что рядом с козлами торчал новенький высокий английский бич. Уездные врачи звали уже Шварца на консилиумы. Он ездил туда и возил с собой немного латыни, гастрольного авторитета и бога.

Оливковая жирная Россия встречала его в своих усадьбах. Коричневая и промасленная, в клейкой черной пыли слесарских инструментов, обращалась она к нему в приемном покое гигантской крупорушки. Россия тратилась бессмысленно и вяло, и вялой платонической любовью любила свою погоду, свои картины и недавно умершего писателя в пенснэ на черной ленте, предсказавшего эти годы и этих людей. Трагедия этих людей началась позже, когда они, переплыв три океана времени, попали в нашу неисследованную страну. Но об этом потом.

— В моем логове тепло, и я люблю свое логово.

Смешно было слушать, когда короткой, но солидной комплекции человек—доктор Шварц—уверял, что если бы его завезли за тысячу верст, он, как почтовый голубь, по воздуху нашел бы свою голубятню. Возвращаясь из уезда третьим классом, он закрывал глаза двумя растянутыми пальцами—указательным и большим—и начинал вспоминать дом и жену, которых он не видел двенадцать часов. Дом Шварц начинал вспоминать с подушек, жену—с грудей, потом в памяти наплывали письменный стол, глаза жены, ее слова и вещи.

Поступив на военную службу, Шварц начал богатеть. Чтобы освободить себя от военной службы, люди надрывались, взваливали на себя комоды, чтобы получить грыжу, ездили в Туркестан за вечной лихорадкой. В 1909 году в городе Мелитополе, Таврической губернии, маклер Вергун и лавочник Игнатьев открыли вонючий колодец. Отведав воды из этого колодца, молодые люди получали лихорадку ничуть не хуже туркестанской. В больницах на испытании, для того, чтобы поднять температуру, терли казенные термометры о ворсяные одеяла. Притворяющихся больными черной болезнью насчитывали в те годы сотнями. Симуляция эпилепсии была почему-то в то время самой популярной. В этой обстановке Шварц зарабатывал тысячи.

За пятьсот рублей он отправлял призывника на испытание, как подозрительного по туберкулезу. Плотный молодой человек скучал в больнице и плевал сладкой розовой слюной. Отправляя мокроту на исследование, доктор менял наклейки: на баночке чахоточного он писал фамилию молодого человека. Молодого человека освобождали, а чахоточный шел служить. Если же в больнице туберкулезного не оказывалось, Шварц покупал мокроту у истощенного книгоноши Нухима. Кроме жалкой своей кровавой слюны, Нухим торговал еще еврейскими календарями, которые у него покупали из жалости.

Нищий Нухим умер в начале войны, когда ни жизнь его, ни болезнь никому уже не были нужны. Доктор понял опасности военного времени и остановился. Кое-кто из друзей его и воинского начальника сочли это патриотическим актом. Нухим умер в чужом парадном ходу, у дверей ювелира Кофмана, захлебнувшись непроданной мокротой. Голова его покоилась на кошелке, заплатанной кошелке книгоноши, в которой лежал один единственный календарь за 5675 год по старому лунному летоисчислению. Это был год начала войны. Тысяча девятьсот четырнадцатый солнечный год после рождения Христа.

У воинского присутствия голосили в песне и в плаче бабы, и танцевали в присядку под гармонь новобранцы. Нелуженые чайники из серебряносветлой жести, привязанные к поясам, прыгали в танце, как новенькие, плохо прикрепленные детские барабанчики. Товарные вагоны пахли уже табачком, табачком и человеческим дыханием. Запретили продажу водки и заколочили монополюшки.

И вот однажды, поздно вечером, когда прислуга взбивала перины, и из спальни несло ее уютное пыхтение, а доктор Шварц в столовой рассказывал сонной жене о том, как принимали его в прошлом году в Урусовском имении, на парадном раздался звонок.

— Меня нет дома,—крикнул Шварц прислуге.—Я ушел. Я заболел. Я умер.

Вместе с теплым, но шумным ветром, когда прислуга открыла дверь, в комнату ворвался нервнодвигающийся, но комкающий собственную суету молодой человек.

— Где доктор?—спросил он сразу.

— Их нет дома,—ответила прислуга.—Не принимают.

— Что вы, милая,—сказал молодой человек. Снял пальто и бросил его на руки растерявшейся женщине.—Мне и не нужно на прием. Он остановился у зеркала и стал поправлять прическу.

— Скажите,—сказал он расчесывая пробор,—что пришло письмо.

— Письмо?—удивленно переспросила прислуга, не видя в руках посетителя ни пакета, ни конверта.

— Вы что, плохо слышите?—повторил тот.—Ну да, письмо.

Прислуга прошла в столовую и растерянно доложила:

— Говорят, что письмо.

Ее положение было самым нехорошим. Впустишь больного—неприятности, пропустишь письмо—опять. И, может быть, поэтому с большим ожесточением стала она взбивать хозяйские постели, бурными кулаками бить и месить упругое тесто подушек и перин.

Предполагая дворника или посыльного, Шварц вышел в коридор, но, увидев чистенького молодого человека, пальто которого висело уже на вешалке, поспешил пригласить посетителя в кабинет.

— Чем могу служить?—спросил он, не садясь.

— Сядем,—вкрадчиво, но вежливо предложил молодой человек.

Сразу почувствовав не служебную и не специальную цель визита, Шварц сел не за стол, в свое обычное и спокойное кресло, а на один из стульев, стоявших у его стола для пациентов. Молодой человек сел на другой. Они сидели друг против друга у делового стола, за которым никого не было.

— Может случиться, что я и ошибся,—сказал посетитель, вглядываясь в полное, ленивое лицо доктора.—У вас столько однофамильцев. Шварцев в России бесконечное количество — и немцы, и евреи, и русские.

— Да,—повторил доктор,—и евреи и русские.

— И я не знаю, тот ли вы Шварц, которого я ищу, или не тот.

Тут молодой человек встал и бесцеремонно начал разглядывать доктора. Он смотрел на него и этак и сбоку, внимательно, время от времени задумываясь и как бы примеряясь: такой ему нужен Шварц или не такой? Все это время доктор поворачивал голову в сторону его взгляда, следуя за ним, как за ищущим объективом суетливого фотографа. Молодой человек не решался.

— Я боюсь ошибиться,—произнес он, наконец.—Но я надеюсь на вашу честность. Я дам вам сейчас письмо, и вы честно ответите: вам оно адресовано или не вам.

— Хорошо,—ответил Шварц, прорезав толстое тесто своего ленивого лица круглыми линиями улыбки.—Я вам отвечу честно.

Что-то чрезмерно новенькое, манекенное, только что выпущенное из магазина было в наружности молодого человека. И неожиданным пятном казался старый клеенчатый, битком набитый бумажник, вытасканный им из кармана.

— Я заранее приношу извинение за несколько неизящное поступание,—сказал посетитель,—но если вы тот именно Шварц, которого я ищу,—вам все будет понятно.

При этом он подал доктору неровный обрывок бумаги, на котором чернильным карандашом были выведены такие же мятые и оборванные, как бумага, буквы.

«Шварц,—было написано на этом клочке.—Вы, вероятно, живы. Очень прошу вас помочь подателю сего, мужу моей соседки. Мне нужно думать, что я еще способна помочь человеку. Во имя памяти. Клавдия».

Вероятно, по тому, как Шварц читал, посетитель догадался, что записка эта попала по адресу.

— Вот,—радостно сказал он,—как хорошо. Я долго искал вас. Мне очень нужны, особенно в этом чужом городе, помощь и сочувствие.

Шварц молчал. Он смотрел на молодого человека и зевал тяжело, как задыхающийся.

— Мамка,—крикнул он вдруг,—иди сюда.

И тотчас в кабинет вошла жена доктора—высокая и пышная.

— Мамка, я, кажется, нездоров,—сказал ей Шварц так, как-будто в комнате никого не было.

— Еще бы. Ты переутомился.

Жена произнесла это с горечью и гордостью, как-будто это сама она переутомилась, работая для неблагодарных людей. Поцеловав мужа в лоб, она поправила редкую прическу, сказала: «Нужно отдохнуть» — и вышла.

Как только жена вышла, Шварц снова начал, тяжело задыхаясь и бессильно вбирая воздух, зевать. Очутившись с глазу на глаз с молодым человеком, Шварц снова потерял время, как-будто упустил его только что из-за какой-то неуловимой своей неосторожности. Так путают время спронежия, и Шварц хотел оправдать напоминание, смутившее его покой, каким-нибудь сном или нездоровьем. Проще говоря, он хотел проснуться, в то время как не спал.

Во сне, конечно, всякое бывает.

Лежишь ты, например, спишь, храпишь,—время твое у ночного сторожа, в загнутом листике календаря, в седилах, смятых и растрепанных подушкой. И вдруг начинается игра в прятки. Времени ужасно как много. Кажется, можно играть столетия. Все прыгают, все знакомые дети.

— Считай,—говорят они тебе,—и плавающая в воздухе детская твоя рука считает:

— Эне, мене, рес, квинтер, квинтер, жес...

Потом ты прячешься в какой-то закоулочек, и все начинают тебя искать. Ищут долго-долго. И так хорошо стоять в этом закоулочке и, волнуясь, думать, что никто тебя не найдет, не отыщет, что ты выигрываешь, выигрываешь!

Но ты просыпаешься. Тебя находят.

— Вы уже опоздали на десять минут,—говорит хозяйка. И ты, только что отдававший все запасы своего волнения пряткам, темному закоулочку, куда ты схоронил себя во время игры, ты, тот самый ты,—вдруг должен волноваться, что опоздаешь на службу.

Спеши! Зашнуровывай неверно ботинки!! Прошло сорок лет, а ты опоздал уже на десять минут, а если будешь медлить, то опоздаешь и на полчаса.

Вот какие фокусы показывает время.

Шварц недаром хотел подвести неожиданную записку Клавдии под сон. Во сне всякое бывает. Но, не засыпая, нельзя проснуться. В мучительной, душевной зевоте Шварц начинал понимать эту слишком простую мысль.

— Я отвечаю честно,—сказал Шварц в страхе, заморозившем его сердце. И стало казаться, что оцепеневшая кровь пульсирует с хрустом и покалыванием.—Это письмо адресовано мне. Кажется, мне.

— Я так и думал,—ответил молодой человек.

И, услышав его быстрый и живой голос, доктор Шварц решил поскорей закончить этот мучительный процесс напоминания. Он казался Шварцу припадком, который нужно во что бы то ни стало оборвать, прекратить, закончить.

— Я так и думал,—повторил молодой человек.

— Тем лучше, — резко оборвал его Шварц. — Ну, так вот, что я вам должен сделать?

Человек, принесший письмо, встал, выпрямился и сказал гордо.

— Это письмо вам,—и вы так разговариваете со мной?

— Что? Что я вам должен сделать?—почти истерически крикнул Шварц.

— Что?—Посетитель вдруг стал серьезным и строгим.—Ничего.— Он подошел к Шварцу вплотную, как гипнотизер к зверю, посмотрел на него и вдруг рассмеялся.

— Впрочем,—сказал он смешно и спокойно,—с паршивой овцы хоть шерсти клок. Это хороший принцип. У вас есть деньги?

— Сколько?—нетерпеливо простонал Шварц, хватаясь за бумажник, как за сердце.

— Двести!—выругался посетитель.—Триста, четыреста, чорт бы вас побрал.

Минут через десять молодой человек ушел, не оставив после себя никаких следов, кроме мятой и оборванной записки. Больше никогда в жизни доктор его не встречал, и он действительно был для Шварца только припадком напоминания, приступом невозвратимых лет.

Сам с собой сидел Шварц в кабинете. Зажигал спички, гасил их и думал. Кто его знает, о чем он думал?

Есть какая-то неуловимая ритмичная последовательность в окончании всех ощутимых процессов. Так угасает огонь, так затихает звук, так наступает покой. Только память человеческая вся в провалах, только ее не может никто затоптать, оборвать, прекратить.

Память тяготила Шварца всю жизнь.

Каждый почти день он вынимал записку, перечитывал ее и терял спокойствие. Он ничего не рассказал жене об этой записке, и то, что не только старая, старинная, когдатощняя его мысль о Клавдии, но и эта вот недавняя записка стала для жены тайной,—больше всего коробило его. Но рассказывать жене было нечего. Она ничего бы во всей этой путанице памяти не поняла и только бы назвала глупостью и пожалела отданные молодому человеку деньги.

Клавдия, значит, осталась в живых. Вот в бумажнике лежит смятый, недавний ее почерк, а где-то далеко, может быть, в каторжной беседе, может быть, в песне звучит, безусловно звучит ее голос. И эта живая Клавдия вспоминает в той Сибири его, Шварца, потому что ей нужно думать, что она еще способна помочь человеку. Значит, эта женщина не повешена, значит, она существует. Все это почему-то совершенно не удивило доктора Шварца, как-будто он все это знал раньше и только не хотел останавливаться, думать, трогать.

Практика отнимала все время и почти все мысли доктора, между тем, он стал заметно сдавать и чувствовал себя больным. Причины его болезни никого не интересовали, потому что о чужих заботах чаще всего говорят по почину озабоченного, — Шварц же молчал, а жена

его, не отходя часами от зеркала, в папильотках похожая на папуаску, ровная, как юнкер, стянутая спинодержателями, набрюшниками и корсетами, с лицом, блестящим от кольдкрема и противным от этого, как невытая посуда, вся в заботах задержать время, — мало интересовалась мужем.

— Брось,—говорил он ей.—Парикмахер господа не обманет.

Она становилась красной, набрякала бурым соком обиды, так что казалось, что вот-вот разорвется кожа, лопнет раздутая оболочка, и бураковая злая кровь хлынет с треском.

— Тебе не нужна молодость,—кричал она.—Я знаю, ты можешь купить ее у Рупанера за двадцать пять рублей! Старый дурак! Наверное, для этого ты таскаешься на четвертые этажи, шупаешь заразу и собираешь по рублю. Посмотри, на кого ты похож.

Она протягивала к нему растопыренные белые пальцы, и он отшатывался брезгливо—ему казалось, что на ее пальцах густым слоем лежит жирный и скользкий кольдкрем.

Но в общем они жили мирно, прилично и считались примерным, любвеобильным, гостеприимным семейством, и всем казалось, что просто дело не оставило времени для детей или хотя бы для собак.

Образ Клавдии — та оживающая в сознании форма, которая может сниться, казаться или возникать — совершенно пропал для Шварца. Образ этот стерло время, как стирает оно карандашный рисунок за пять лет, и за тысячелетия—человеческие культуры, города с колоннадами, красоту, задрапированную пурпуром, и пергамент, на который капали слюна и слезы.

Образ Клавдии исчез давно. Остались только ее имя и полустертая записка.

В уборной, в этом маленьком, как одиночка смертника, тайничке, где люди с неопикуемым удовольствием обнажают свое раздутое уродство, свои квахчущие муки, похожие на кошачьи роды, в этом предусмотренном архитекторами и строителями тайничке, о котором врачи говорят мягко, смущаясь, а пошляки—тихо смеясь,—в этом благоустроенном сарайчике, где, может быть, Эдиссон сочинил мембрану, а Гете—«Фауста», куда дети ходят прятать от бога детские свои грехи,—Шварц обычно перечитывал записку Клавдии. Это была его неразумная, одиночная тайна, и он обнажал ее только здесь, у канализационной ямы, где никто не смог бы смеяться над ним, одержимым этой привычкой.

Он был уже в достаточной мере стар, отчетливая седина белела в его волосах, и все чаще, — он заметил это, — разговаривая с ним, люди вспоминали о старости. Даже дворник, когда был пьян, спросил у него:

— Сколько тебе, доктыр, лет?

— Пятьдесят, — ответил Шварц, скромно улыбаясь пьяному человеку.

— Ого-го, — рывкнул дворник, — обыкновенная собака давно бы уже померла. На пятьдесят годов считается никак не меньше двух собачьих жизней.

Однажды к доктору пришла поблекшая и какая-то ненапудренная женщина, небрежная, но вместе с тем изящная наружность которой говорила о том, что только недавно перестали обращать на нее внимание. Не снимая шляпы с большой вуалью и высоких перчаток, женщина села и пригласила сесть Шварца. Он опустил в свое обычное кресло и спросил по привычке:

— На что жалуетесь?

— Это не ваше дело, на что я жалуясь. Я жалуясь на жизнь, — сказала она грубо и предложила доктору Шварцу купить у нее дом.

— Дом? — переспросил Шварц. — Зачем мне дом? — спросил он у нее и у себя. — С меня и этого хватит.

— Вы уже не молодой человек, пора вам позаботиться о спокойной старости.

— Покойная старость? — опять переспросил Шварц, привстав. — Так. Значит... — он зашагал по комнате. — Спокойная, говорите, старость? — Он остановился. — Нет, мадам, я не куплю вашего дома.

Немолодая эта женщина ушла. Прошло время, промелькнуло время с чужими людьми в доме, парикмахерами, корсетницами, массажистками, пациентками и другими ремесленниками, обманывающими господ; записка Клаудии и привычное ее имя все еще непонятно мучили Шварца и, думая о спокойной старости, он года три под ряд собирался начать лечиться.

— Это болезнь, — говорил он себе. — Очень простая и понятная болезнь. У меня чисто рефлекторное отношение к этому кусочку бумажки и к этому имени.

И тут же он спрашивал себя:

— К какому имени?

И тут же отвечал себе:

— Клаудия.

И снова ему становилось мучительно стыдно себя, своего дома, своей жены, своего возраста, и снова становилось досадно, как-будто недавно по своей вине он упустил какую-то возможность, проворонил неясное счастье и простую направленную жизнь.

Но лечиться он так и не начал. Тут подоспела, как сам он говорил, революция, и люди если уже и лечили что, так только слишком явные язвы. Это правильно. Революция действительно подоспела. Она зрела, питаясь соками смазочных масел, клейких, как грязный человеческий пот. Она попевала на могильном перегное войны, которую неправильно называли царской, в то время как военные кладбища называются братскими. И она действительно подоспела, как большой падающий на землю плод, как красное яблочко, начиненное динамитом.

«Красное яблочко», «падающий на землю плод» — все это, конечно, слова, возникшие для объяснения странной фразы доктора Шварца

о подоспевшей революции. Слова эти, пышные и торжественные, не могут, конечно, дать представления о том, почему перестали лечиться люди, в частности, почему не ампутировали у Шварца его мысль о Клавдии, выросшую до размеров мании.

Первые дни революции, те самые, о которых Александр Федорович Керенский говорил, как о весне русского народа, были действительно до какой-то степени весной. Март прежде всего. Темная, снежная грязь, тающая на улицах, колкая грязь, брызгающая фейерверком из-под колес министерского автомобиля. Весна. Шварца лихорадило от всех этих дней, расстегнутых студентов, ветра, кошачьих концертов, митингов и «Марсельезы».

С зонтиком, прихрамывая для ощущения медленности и покоя, пошел он однажды на митинг памяти павших, где говорили очень короткие речи, и, чем корявее были слова человека, тем лучше его принимали. После каждой речи пели «Вы жертвою пали», и доктор Шварц подпевал, опустив голову, чтобы никто не видел раскрывающегося его рта. Он подпевал и думал о Клавдии и о том времени, когда он был студентом. Кто-то или что-то—он чувствовал это—пал в этом времени жертвой, но он плохо отделял в памяти, кто же это пал: Клавдия или он сам.

Люди пели в торжественном покое, удлиняя минорные тона мелодии, как во время похорон или панихиды.

— Вот тебе и аллилуйя,—сказал Шварцу какой-то мастеровой.

Шварц почему-то улыбнулся и приторно и фальшиво, как лакей, ответил:

— Так точно, действительно.

Хор заканчивал, дотягивал аллилуйю о том, что вы честно прошли свой доблестный путь благо-о-о-одный. И снова кто-то начинал говорить о жандармских нагайках или о тайге.

Возвратившись домой, доктор решил сам себя вылечить от своей навязчивой памяти.

— Стой,—говорил он себе в тяжелой одышке, в неоправданной спешке поднимаясь на лестницу.— Подожди. Мы сейчас выясним.

Старый доктор, знающий мучительную медлительность всех процессов, он думал вылечить память, как зуб,—мгновенно, сразу, скоренько, и, вбежав в кабинет в пальто, он запер дверь на ключ, сел к зеркалу, сказал: «Стой» и передохнул. Дышал он плохо.

— Вот, — говорил он, разглядывая себя в зеркале, — смотри, волосы какие у тебя. Видишь? И кожа какая, и глаза. Видишь глаза? Ну вот, и ты к тому же доктор, уважаемый доктор...

В зеркале плавал неровный свет улицы, и от пыльного цвета стекла казалось, что смотришь на себя в окошко или из окошка замурованной комнаты.

— Ну так вот. Чего ты хочешь? Чтоб бегать по улицам с расхристанным пиджаком или чтоб кричать на митингах? Ты доктор. Смотри на кожу, на волосы, на глаза—ты знаешь, что это значит, ты знаешь?

Портится машина, изнашивается, как говорят. Вот смотри на кожу. Носил ты эту кожу, тер ее, мыл, пылил, позволял брить, скоблить и слюнявить, раздувал ее и морщил пятьдесят четыре года под ряд. Пятьдесят четыре. Ну, и никуда твоя кожа не годится,—Шварц ущипнул свою щеку.

— Носил, носил, и под конец изнасил. Под конец. Вот. А что тебе дороже всего?—он говорил все это вслух, ни на мгновение не теряя серьезы, полный лечебной веры и невозможного желания разбить одну сторону сомнения другой стороной.

— Что тебе дороже всего? Отвечай. Дороже всего тебе машина. Скажем прямо,—смотри сюда,—скажем прямо—жизнь.

И вдруг, услышав свой голос, этот как-будто чужой или нарочный, если прислушиваться, звук, Шварц порвал нить своих мыслей. Почему говорят нить? Как четки или как бублики, нанизаны мысли на какую-то упрямою нитку. Но вот она рвется, и мысли летят, катятся, падают, рассыпаются,—иди потом шарь, отыскивай.

Доктор Шварц хотел доказать больному Шварцу, что, когда человеческая машина глохнет и тормозится, когда, работая с перебоями, она тяжело вздыхает стертыми своими шатунами, когда дороже всего жизнь, то-есть это скрипучее трение шатунов, это скребущее душу дыхание, нельзя бессмысленно мучиться из-за неудавшейся, скажем, молодости, из-за какой-то, положим, ошибки, и стыдно перед последней ямой, которую, может быть, пора уже начать потихоньку рыть, —стыдно бояться имени, когда оно не вызывает в памяти никаких картин, кроме белобрысых волос и подслеповой улыбки.

Подошедшая революция, значит, помешала лечиться.

Путаница людей, идей, привычных слов, названий участков, обращений, возникновение завистливых человеческих мыслей о правах, о праве собственности, праве мужа, праве сына, праве партийца, праве вообще живущего на земле — отвлеченная философия с винтовкой в руках, голодная, неумолимая,—все бы это могло казаться пожилому человеку издыханием жизни, по тайному невысказываемому представлению многих и диких и культурных людей о том, что весь мир, вся жизнь, все существование кончатся вместе со смертью его, должного умереть. Это представление, если покопаться в душах, гораздо распространеннее представления о бессмертии.

Но доктор Шварц, чувствовавший кое-какие «детали старости и намеки смерти»,—это его выражение,—не разбираясь ни в названиях, ни в событиях, все-таки видел во всем происходящем бунт жизни, и даже где-то глубоко за невысказываемой тайной мыслью о Клавдии была другая мысль, слишком фантастическая, чтобы думать ее хотя бы одну сознательную минуту,—мысль о том, что в революции, в этом бунте жизни будет такая битва, такой бой, такой диспут, такая перестрелка, в которой отвоюют ему право быть опять молодым, право начинать судьбу сначала так, чтобы не думать о Клавдии, не стесняться и не бояться воспоминаний.

С их балкона революция была видна отлично. Столб, поддерживающий систему проводов, сначала упал и лежал со сбившимися растрепанными проводами, потом опять был поставлен, потом опять упал и снова был поставлен. Один раз его украшали флагами. Однажды рядом со столбом лежал труп, голый и желтый, в драных мертвых сапогах.

Мимо балкона прошли однажды похороны жертв с музыкой. Глядя на процессию, Шварц думал, что доктора всегда нужны. Как-то на рассвете под балконом проехала телега, истекающая кровью, груженная свежим мясом растерзанных где-то людей. Под балконом проходили также демонстрации. Вся революция прошла под балконом.

Осенью, заседа в военном комиссариате, доктор Шварц забрал какого-то молодого человека цыплячьего телосложения, нервного и худого.

Но призывник обиделся.

— Папаша,—сказал он доктору,—желаю служить.

— Вы чудака,—ответил ему доктор, покидая комиссариат.

Но молодой человек не отставал от него, он шел за ним следом, кланя военную службу, как милостыню.

Доктор Шварц стал его отговаривать.

— Люди вольные, гражданские или, проще сказать, гражданские, штатские, особенно женщины плохо понимают, что такое военная служба,—отговаривал он.—Да и как им объяснить? Забрали человека на несколько лет и сделали его жизнь хуже тюремной. В тюрьме можно читать книги, мечтать, лежать на койке, смотреть на кое-какое небо, выходить на прогулки и ругать начальство. А на военной службе человека заковывают в кандалы дисциплины, заставляют трудиться, утомляться и поработают даже его утомленный, ничего не выдумавший мозг. За что? Скажем, за веру, царя, за отечество. А если нет в душе у меня никакой веры, если я никогда не видел царя, он для меня чужой человек, и я его не люблю, если я не знаю, что такое отечество,—отечество у нас Орлюха, тарантасная станция, село,—все равно об этом не спросят и надо служить. В старое время, чтобы откупиться от военной службы, освободиться по призыву, продавали последнее имущество: халупу, козла, наследственную николаевскую шинель. А вы на меня, молодой человек, обижаетесь за то, что вас не приняли в армию. Ну, другое время! Это я понимаю, что другое время. Но что же я вам могу сделать? Вы больной, слабогрудый. Вам в армии делать нечего.

Доктор Шварц высморкался в скомканный платок и, отвернувшись от молодого человека, сказал извозчику.

— На Первозвановскую, сорок копеек.

Трясаясь в пролетке, он подумал, что обманул молодого человека, сказав ему для примера о тюрьме.

— Он, небось, полагает: вот человек мучился, знает где что.

И Шварц вспомнил, что ведь ждал же он когда-то, что ему придется прожить в ссылке целую жизнь, и, безусловно, он тогда бы с удовольствием променял это на целую жизнь военной службы.

И в тот же день,—он начался с ленивого заседания в комиссариате, потом был консилиум у scarлатинозного, потом был визит к одному больному, еще к одному, и еще,—в тот же день к нему пришла Клавдия, маленькая старушка, похожая на высохшую, не знавшую цветения монашку, в черной шляпе, смешном пальто, с черными бантами на боку, на груди и даже сзади, на поясе.

Был уже вечер, слякотный туман курился над влажной немощной землей, и фонари отсвечивали в лужах, как в потных зеркалах. Шварц приехал домой на извозчике, ему открыла жена. Работница ушла с вечера куда-то по своим делам.

Забирая у доктора палку, шляпу и помогая ему раздеться, жена сказала:

— Вас ждут.

Она говорит «вы»—значит, ждет больной. Он сидит в соседней комнате, в приемной и все слышит. Но Шварц не стеснялся больных и считал, что в некоторых случаях даже хорошо быть грубоватым.

— Подождут,—сказал он,—я еще не обедал!

Тогда в коридор быстрыми шажками выскочила маленькая смешная старушка, и такими же быстрыми, как шажки, словами проговорила:

— Нет, Шварц, я не могу ждать.

Доктор вошел с ней в кабинет, попросил сесть, спросил в чем дело.

Она встала, суетливо закружилась,—непонятно, словно обнюхивая кабинет.

— Так, так,—остановилась она почти возле Шварца.—Вот мы и живы.

— Мадам,—протянул Шварц.—Я очень утомлен, что вам угодно? Хитро, как человек, знающий секрет, усмехнулась старушка.

— Я—Клавдия, с которой вы судились лет тридцать тому назад,—сказала она,—помните?

Шварц бросился к ней так, что ей пришлось отступить и сесть в кресло. Он сжал ее руку, подвинул столик и пригласил сесть ближе к печке.

— Сюда, сюда, здесь теплей.

— Что это вы меня всю жизнь у печек принимаете,—улыбнулась она, едва расправляя морщины.

— Всю жизнь?—переспросил Шварц.

Они пили чай. Жена доктора предлагала печенье. «Спасибо, милая»—говорила Клавдия и беспрерывно тараторила о своей жизни. Она торговала шляпами. У нее было оптовое дело, и она приехала в этот город по делам.

С ужасом, с дрожью от обиды, от оскорбления слушал ее Шварц.
— Это что еще за шляпы?—перебивал он ее.

Ласковая подруга студенческих лет,—так представил ее Шварц жене,—она смотрела на него щурясь и говорила:

— Вы чудак, Шварц.—И видно было, что она несла эту фразу с собой, вспоминала ее там, откуда видать только кой-какое небо, кой-какие облака, и, может быть, весь истершийся и пропавший его образ был для нее в этой фразе: «Вы чудак, Шварц», как для него было только ее имя «Клавдия» и смутное проглядывание по-иному светлых тогда ее волос.

Она ушла, шляпочница, студенческая подруга, смешная старушка, может быть, член общества политических каторжан.

Заснуть он не мог, потому что в верхней квартире было какое-то сборище — вечеринка или именины — и много шумели.

Ленивый и безвольный, сидел он на кровати в одном чулке и говорил жене:

— Вот кто вы такие. Вы—шляпочницы. Женщин нужно выгонять отовсюду.

— Ты что, сдурел?—спрашивала жена.

— Нет, я не сдурел.—Он говорил тихо, выдавливая слова, долгие, прожеванные, тягучие.—Она, эта женщина... Клавдия, бомбы когда-то бросала. Да перестаньте вы!—крикнул он на потолок.

Наверху танцевали и пели. Он укрыл голову одеялом и хотел уснуть, но не мог. Наверху пели:

Лейся вдаль наш напев,
Мчись кругом!
Над миром наше знамя веет.

— Га-а-а! Ага!—стонал доктор.—Прекратите.

— Сволочи,—сказала жена.—Покоя не дают.

Одев халат, на халат — пальто, она пошла наверх и громко позвонила. К дверям подбежали сразу десять молодых людей. Они стояли тесной кучкой, глядя на ее дрожащую пышную, дряблую фигуру в узкой рамке дверей.

— Ради бога,—сказала она,—не пойте этих песен. Мой муж был на каторге. Ему тяжело.

— Хорошо, товарищ,—сказал какой-то юноша, и крикнул.—Тише.

В это время толпу молодых людей растолкала хозяйка квартиры, краснощекая, вся в суете, в сутолоке,—суета была и в глазах ее, и в волосах, и в оправляемом платье.

— Простите, гражданка Шварц,—сказала она—У нас именины и...

— Пожалуйста, — смутилась докторша. А какой-то голос сзади добавил к словам хозяйки:

— И помолвка.

Жена возвратилась. Наверху было тихо. Муж еще стонал.

— Спи уже,—сказала она и легла.

Ночью она проснулась. Сверху слышалась песня, в которой нельзя было разобрать ни слов, ни смысла:

А кто любит Сашу,
А кто любит кашу.

Шварц в нижнем белье стоял на стуле и половой щеткой стучал в потолок так, что начала сыпаться штукатурка.

— Что с тобой,—вскочила она с постели.—Да дай ты им помолвку справлять!

Но он не слушал ее и стучал серьезно, сосредоточенно, будто хотел пробить потолок, протолкнуть щетку через крышу в небо, будто была у него в этом серьезном стуке какая-то злая, давно задуманная цель.

Киев.



О с е н ь

НИК. УШАКОВ

... Мне нравится она,
Как, вероятно, вам чахоточная дева
Порою нравится. На смерть осуждена,
Бедняжка клонится без ропота, без гнева,
Улыбка на устах увянувших видна;
Могильной пропасти она не слышит зева
Играет на лице ее багровый цвет;
Она жива еще сегодня—завтра нет.

VII

Унылая пора, очей очарованье...

Рябина в огороде
рдеет и горит,
и в тот же срок приходят
ангина и плеврит.

В редакции со светом
пьют чай и говорят.
Месткомщицы,
поэты
и лифты шумят.

И, вторя им нехстати,
по сизой мостовой
упрямый ветер катит
зерно
и лист сухой.

Всего, всего несносней,
что ветер всюду вхож —
под кепи папиросниц,
под зонт
и макинтош,

что, рассердясь сверх нормы,
он рвать и путать рад
над дачною платформой
седых гусей отряд,

что начало смеркаться
почти что в три часа,

что на стручки акаций
упали небеса,

что стекла санаторий
дрожат от черных слез.

При темных лампах спорит
с больной туберкулез.

С лица ее не сходит
багровый цвет:

она жива сегодня,
а завтра нет.

Унылая пора,
очей очарованье(?).

Река и шляпа

Рассказ

Н. ТИХОНОВ

ГЛАВА ПЕРВАЯ

Разнообразие огней под навесом полотновского дома неприятно удивило Василия Васильевича. На первом столе возвышалась тяжелая лампа с домовитым пузатым стеклом, облепленным блуждающими мушками, на втором столе вытягивалась из зеленого подсвечника свеча, на третьем — какое-то подобие пламени время от времени вырывалось из консервной коробки, при чем фитиль в коробке шипел и потрескивал. Четвертый стол был пуст и темен.

— Что это ты гостиницу завел? — спросил усталый и унылый Василий Васильевич, тряся рукомойник.

— Вселенцы, — отвечал Полотнов, выставляя свою лысую голову в смешанное освещение. — Тот рыжий с семейством—угольщик, этот мизгирь — книжка из кармана торчит — избач наш с женой, а тот чумовой, крайний—Рогулин, наизобрел посудину—ни горит, ни светит, одна вонь стоит. Сохозяева мои, благодарю покорно... Дай-ка два рубля, самогон тут у нас особый имеется — угощу.

Василий Васильевич уже дорогой неоднократно слышал убогую эту просьбу, но отказать не посмел, вытащил ему две жиденькие бумажки, и Полотнов ушел.

Под навесом у сарая гулко фыркали лошади, в боковушке жена Полотнова ворча укладывала спать свое потомство, за окном видел Василий Васильевич только черные доски ночи. Ноги у него подкашивались от усталости, он устало водил глазами, как таракан. На печке были навалены жбаны и корзины, в углу, в сумраке, пыльно дымились седла и холм тряпок, увенчанный шваброй.

Василий Васильевич медлил ужинать. Он снял свою белую войлочную шляпу, осторожно сложил ее и положил на подоконник. Полотнов пил самогон высокими стопками и говорил, как-будто сердился:

— Ну, и с приездом вас, Василий Васильевич, хоть ты мне и раз'яснял, что за приключение с тобой **стряслось**, а дорогой при тряске уши не те. Певтори-ка мне еще **разок**...

Василий Васильевич вздрогнул; необ'яснимая подозрительность напала на него: от неизвестного места, от темноты ночи или от мрач-

ной веселости хозяина,—он не мог понять. Не сразу решился он раскрыть себя и еще несколько минут ел молча и лениво.

— Не могу я жить в городах,—сказал он, наконец, отодвигая тарелку и хлеб.—Разуверился в человеке, сумятица чувств нашла, всю нитку жизни оборвал я, словом, прикрывай, Василий Васильевич, свою галантерейную лавочку, и иди ты на все четыре стороны.

— Может, кто и виноват тут? — спросил Полотнов, вытаскивая свою трубку земледела, похожую на чугунный корешок.

— Рассуди сам: Ванька Голунов на биржу пошел, прикинулся там безработным, Телещенко—благо сила—в грузчики, Ипатыч повесился, значит, а я жену к брату ее в деревню, а сам—а куда самому тронуться—вспомнил я тебя и вот потянуло увидеться...

— Отчего ж потянуло? — неожиданно прервал Полотнов.

Тогда Василий Васильевич наклонился и зашептал поспешно:

— Обижают нас, брат, до смерти налогами обижают. Но мы придумали потолковей, кто книги наши писали торговые, как тебе сказать, с изворотцем. Враги наши, фининспектора разные, как нагрянули среди бела дня, ну, погром, Куликово поле. И кто вылез из того побоища, как басурмане побитые, ковыляют в разные стороны от тех мест и норовят подальше...

— Не признаешь, значит, сегодняшнего дня не признаешь? — сказал Полотнов, падая в тучу зелено-черного дыма.

— Не признаю,—вскричал Василий Васильевич почти радостно.— Восстал я на мир, на себя, и ничего я знать не хочу, города мне поперек горла, и вот я еду к тебе и осесть хочу, и крестьянством упиться по конец жизни, и вот, что ты мне скажешь?.. А чего это, скажи, в роде как дождь?..

Однообразный шум рассекал воздух и, казалось, ежеминутно рос. Если долго вслушиваться в него, то лицо суживалось, как от тоски.

— Эва,—Полотнов вынырнул на отмель стола из чудовищных глубин дыма.— Да это река наша, день и ночь гудит, как песни поет. Ты ж день-деньской над ней ехал, где уши были?..

Тут сознался к своему ужасу Василий Васильевич, что он действительно видел реку весь день, но мысли, однообразные и тяжелые, не давали ему смотреть и слушать. Теперь, выпитывая этот упорный, торопливый и бесконечный треск, он понял, что это ему тоже враждебно и ненужно.

— Тебе нет, а мне—да, везет, трех домоседов тех видал,— продолжал Полотнов.— В семнадцатом я клад зарыл в роще, а роща-то и сгорела, ни гвоздя там теперь не найти. Хлеб по ночам гоним нынче. Сад-то у меня отобрали, ну, мы спекуляцию развели. Так вот увязал я давеча мешки, они с дырой, муку порассыпал, а мука первач, а бить меня по щекам некому...

Василий Васильевич взялся за стакан, и только вялые губы его ощутили холодный пламень самогона, как жилистый и винтообразный человек вошел неожиданно в комнату и сказал:

— Здравствуйте, мне бы огонька, прикурить...

Василий Васильевич поставил стакан на стол и смотрел на незнакомца с опаской, не подслушал ли он чего, но незнакомец приветливо искал изрытое оспой лицо, и Василий Васильевич услышал:—Из приезжих будете, меня еще не знаете, а я Рогулин, веселый человек, право.

— Прикуривай,— оборвал его Полотнов,—да осторожней, плюнешь еще в лампу, стекло треснет, дома ведь запасов не держу. Что ж твоя коптилка разладилась?

— Сгасла,— отвечал покорно Рогулин.— Банка не той конструкции, прошлая из-под сардинок была, а это— старые мясные консервы.

— Чего ж ты у избача огня не просил, рядом ведь, а то вокруг дома танцуешь.

— В ссоре пребываю с избачем, не поделили мысли одной, он в одну сторону норовит, а я не покоряюсь.

— Колбасник ты, фантазер,— закашлявшись, проговорил Полотнов, пуская мрачный клуб дыма в лицо Рогулина.— Плутуя живешь.

Рогулин спокойно проглотил дым, отошел от стола и уронил белую войлочную шляпу Василия Васильевича.

— Сию минуту,— он шатнулся за ней и, отряхивая о колено, рассматривал.— Наша работа, здешняя, почему плачено?

— Полтора,—неохотно отвечал Василий Васильевич.

— В самый раз.—Рогулин уже уходил.—Если я вам понадобится, скажите Полотнову,—как лист перед травой.

— Проваливай,— закричал, топая ногой, Полотнов.—Понадобюсь, несусветное трепло, понадобится. Бочки затыкать им, паршивым, а он—понадобюсь!

ГЛАВА ВТОРАЯ

Василий Васильевич распаковал нехитрый свой чемоданчик, вынул зеркальце и сейчас же увидел обветренные свои щеки, рыжий нос и седые виски и бороду клинышком—аккуратный кусочек городского порядка, исчезнувшего за темнотой, громадной скучной дорогой и непрерывным рыканьем реки.

Он убрал зеркальце, подошел к двери, хотел замкнуть ее на засов—засова не было, тогда он поставил поудобнее свечу и стал осторожно разоблачаться. Он подрезал ножиком подкладку брюк в разных местах и вынимал оттуда незначительные пакетики, аккуратно завернутые в полотняные тряпочки. Он складывал пакетики на одеяло и прикрывал их подушкой.

Войлочную белую шляпу долго вертел он, нюхал и слюнил войлок и, успокоившись, достал иголку и нитку. Тут без стука вошла пышная туша Полотнова. Полотнов окинул беспорядок комнатки, увидал шляпу и в соседстве с ней иголку.

— Подкладочку подшить хочешь, велика шляпа,—бесцеремонно начал он.—У меня такая ж, только я ей кожаную подкладку сотворил:

голова не потеет от кожаной; у нас все такие носят, я тебе сейчас принесу, той кожи кусочек уцелел как раз.

Хорошо, что он не смотрел в лицо гостю. Василий Васильевич побледнел, и даже дыхание у него, как у канарейки, опрысканной водкой, пошло завиваться. Полотнов, не обращая внимания на неясное молчание его, уже исчез. Василий Васильевич быстро собрал свои пакетики и смел их в чемодан; он взял в руки шляпу — была она спокойная, большая, мягкая, он одел ее на голову и вдруг беспричинно засмеялся. Шляпа делала его лицо суровым и почти красивым, но не добрым. Полотнов вернулся шумным и огромным, дым его трубки сделался совсем оглушительным. Полотнов потрясал длинным и широким отрезком.

— Ну, шей и спать ложись, а я пойду качать в ночную—самая горячка: по ординарной цене зерно,—кому ж охота гнать. Мы сбоку государство об'езжаем на мельницу—чувалы пойду свои посмотрю, не с дыркой ли опять. Как дома-то у тебя, в городе, голодище стоит?

— Я уезжал — очереди были, — сказал Василий Васильевич, сержась, что Полотнов не уходит.

— Может, и чемодан разобрать помочь? — не успокаивался Полотнов.

Василий Васильевич даже рукой помахал над чемоданом:

— Нет, нет, я сам разберусь, не магазин.

Но Полотнов не уходил, он топтался и дымил над головой Василия Васильевича, изнемогая от любопытства.

— На землю хочешь сесть, моя старуха плакалась: еще, говорит, один аспид на шею. А я ей: дура, молись своему богу, он богате́й, он тебе на платье подарит. Подаришь ведь? Она у меня стряпуха, пирогом с печенкой закормит.

— Подарю,—быстро ответил Василий Васильевич.—Галантереей, ни чем другим торговали. Разберусь завтра и подарю.

— А деньги у тебя есть?—Полотнов так вытянулся, что достал бы потолок, но, сразу опомнившись, втянул голову, сел на табурет и стал похож на турка лысого и длинноусого.

— Деньги у меня в верном месте,—Василий Васильевич неопределенно потряс рукой.—Деньги теперь, даже если надобно, при себе не держат.

— Не держат? — недоверчиво спросил Полотнов. — Скажи пожалуйста. Неужели землю копают, иль впереди себя с курьером шлют?

— Ак-кре-ди-ти-вы пишут, — по слогам отрезал Василий Васильевич—Так что украсть нипочем нельзя. Бумажки такие, как квитанции, в жизни никакой им цены нет, а нужно—пошел и тебе отстригут и по надобности получи. Порядок.

— Ну и хорошо, ну и ладно. — Полотнов встал. — Пойду лошадей покормлю. Спи ты себе спокойно, я до света вернусь. Если куда надо во двор, далеко не заходи, собак я спускаю. Без собак невозможно у нас.

Проводив его, Василий Васильевич, не торопясь и прислушиваясь, взял снова иголку, нитки, шляпу, и скоро пакетики один за другим

успокоились за кожаной обшивкой белой мягкой шляпы. Василий Васильевич, сосредоточенно наморщив брови, раз за разом прошивал подкладку по краям. Зато, когда он потянул ее в разные стороны, она не поддавалась. Осмотрев еще раз свою шляпу, он положил ее под подушку, постелился, разделся окончательно, сказал: — Эх, Василий Васильевич, заехал ты на край света к другу детства, а друг-то—кислый случай—в роде тебя, да еще ночами промышляет.

От лихорадочной неизвестности, обступившей его, он долго не мог заснуть.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Самовар поблескивал, как человек в резиновом пальто. Небо не предвещало непогоды. Полотнов гладил лысину.

— Свез, — сказал он милостиво. — Слава богу, без дождика, без потерь, ну и свез.

Его жена, тарактя, кормила поросят. Василий Васильевич пил чай, и день ему представлялся воскресеньем—потому ли, что природа вокруг была праздничной или потому, что он с утра в гостях и делать ему решительно нечего.

Первый раз он назвал Полотнова Алешей, сказав: — Деньги, Алеша, частные деньги,—великие деньги. Я, может, обманывал, добывая, гнулся, как гвоздь, а добился их, себя да жену в черном теле держал, унижался, и вот их, что ж, так и отдать? Прямо скажу—убежал я. Имею я право за свои деньги изменить жизнь?

— Имеешь, — сказал Полотнов, рассматривая его загоревшееся лицо. — Только не ори — донесут. Да сними ты шляпу, что сидишь, как антихрист.

Василий Васильевич испуганно замолк и покосился на дом. Он снял шляпу и нарочно небрежно бросил ее на скамейку.

— У меня сердце плохое, — сказал он. — Меня испугать легко, потому врачи определили: пугаюсь не я, а мой внутренний клапан. Тут же, как я подумаю, народ тоже испорченный, жулики не хуже городских.

— Ты про что это? — вдруг, раскачиваясь, заорал Полотнов. — Галантерея!

Василий Васильевич увидел, что он уже пьян, и потому так яростна его посадка за столом.

— Ты наших местов не обижай, мы на чистой земле руками работаем, это тебе не мадаполам с грехом пополам, ты вот с полями повозись, навозом повоняй, на мельницу с хлебом при да крестись, чтоб не зацапали, а то мечтанья—деньги великие.

— Ты понял-то меня не так, не сказал я деньги великие, это ты сказал.

— Ну, скажешь, — шумно отплевываясь, махал рукой Полотнов. — Я ведь в темную живу, да хлебом, а не потрохи разноцветные распускаю.

Василий Васильевич побледнел:

— Ссориться со мной хочешь, да? Я к другу поднялся новой жизни искать, а он меня в грудь бьет.

— Поймают тебя—под суд тебя как таракана упекут.

— Тебе за спекуляцию орден повесят.

— Сажай меня в тюрьму, я там огород разведу, овец стричь буду, пчеловодство поставлю.

— Хрен с ручкой ты там поставишь.

Вдруг упругая туша Полотнова обмякла. Он растерянно блеснул глазками и забормотал, будто что вспомнив:—Брось ссориться, брось ссориться, дай два рубля.

Василий Васильевич засуетился, об'явить войну он не посмел.

— По дружбе даю, цени, — сказал он значительно.

Схватив шляпу, нахлобучив ее, ощущая холодную подкладку, он почувствовал себя много бодрее и увереннее.

— Пойми ты меня, я не ссорюсь, — уже домашним голосом ораторствовал Полотов. — Я сказать хочу—засоренье от городов идет. Если бы все на землю повернули,—и добро! А что я лаюсь—право мое. Не я к тебе в город, а ты ко мне...

Тут он увидел проходившего по двору избача, еще больше сгорбился и засосал потухающую трубку, подмигивая Василию Васильевичу. Василий Васильевич, потрясенный и злой, продравшись сквозь смородинные кусты, вышел на бережок тонкого белого ручья, лег на траву и затих. Откуда-то с другой стороны набежали мальчишки в разноцветных рубахах и стали старательно забрасывать его камнями.

— Вы что, хулиганы? — закричал он на них. — Вы что людей не уважаете?

— А что, — кричали они, — тебя уважать, какой папаша! Тебе жалко, что бросаемся, у тебя камней больше будет, а то весь твой сад по ветру пустим.

Василий Васильевич смутился, каменным шагом покинул он поле битвы и стал спускаться с холма по ручью, придерживаясь за деревья. Он уходил все дальше от людей и ссор, в дебри прохладные и темно-зеленые, навстречу дикому и непрерывному гóлосу, всю ночь и все утро отдававшемуся в ушах.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

— Благодатная природа, — согласился Василий Васильевич, садясь на камешек. Звонкий и сытый лес теснился вокруг него. Внизу, взявшись неизвестно откуда, широко бежала пестрая вода, она завивалась у камней, она гудела в дырах берега, она была разноцветной, как одеяло из кусочков, и, как одеяло, чуть выцвела. Однообразный голос ее наполнял окрестности. Он был бесконечен и порой печален. Хотя вдруг в этом шуме являлись не то лихие вскрики, не то глухие сигналы. Главное чудо было в том, что вся эта вода двигалась вниз и в сторону

непрерывно и оглушительно, не иссякая. Она играла ветвями, деревьями, камни катились в ней, как металлические орехи. Она распухла внутренними водопадами, очаровывала и пугала. Камней над водой в реке было немного, они походили на дикарей, начавших переправу, раздумавших и окаменевших.

Василий Васильевич обозревал землю, радуясь своему одиночеству. Он никогда не видел ничего подобного, и его недоверие перешло в изумление. Тут никакие мальчишки не смутили бы его камешками, тут кончалась власть людей и их закона, тут, может быть, начинался сам Василий Васильевич как человек.

И вдруг, отведя глаза вправо, увидел Василий Васильевич того незнакомца, кого вчера назвал Полотнов фантазером. Рогулин сидел на берегу чуть дальше Василия Васильевича, у самой воды, и превесело брэнчал на балалайке. Видно было, как изо всей силы с немалым удалством терзал он струны, но слышать своей игры он не мог, река шумела так, что до слуха Василия Васильевича не долетало ни одного балалаечного звука. Рогулин весь ушел в свое занятие, сияя, как новая солома.

Присутствие его не раздражало Василия Васильевича. Другие люди, избач или Полотнов или другие мужики, каких они множество встречали по дороге, те несомненно разрушили бы полдневное спокойствие реки своим появлением. С ними явилась бы тень обычного труда, обычных слов, томительных и обязательных, а этот легкий человек, сидя на камушке, своей безнадежной музыкой довершал власть мятущейся воды надо всем живым.

Подобрав ноги, смотрел Василий Васильевич на реку и на камни, вошедшие в воду, а часы шли. Долго сидел под синим разубранным деревом Василий Васильевич, отойдя от невеселых дум, и тут ему захотелось движения свободного и быстрого. Может быть, он не имел права на радость, как другие, по-настоящему живые, люди, но радость была здесь, в этом лесу, он не знал, как ее понять и где ее границы. Он не сумел бы рассказать о ней, но он решил до конца насладиться отдыхом. Он пошел по ветвистому стволу, опрокинутому над водой, упирающемуся в камень, до вершины которого долетали лишь брызги. Он пошел, как фокусник, размахивая картинно руками, в городском своем костюме, косолапый и неожиданный, по легкомысленному мосту.

Уже он вступил на камень, уже он глядел прямо в воду, вздымающуюся к его штиблетам, уже уродство большого камня мог он осязать руками, как вдруг нога его шаркнула, из-под нее выпал неудачный каменный обломок, упал и захлебнулся, а Василий Васильевич оперся на другую ногу, шагнул почти в ужасе, согнувшись, вцепился в мохнатую гриву камня, лег, опасаясь подвоха, и тут его белая войлочная шляпа тихо отделилась от головы и прорезала, как большая чайка, над камнем. Он глядел суженными, непонимающими глазками, как шляпа села в пену, повернулась боком, снова выпрямилась и, тихо кружась, уверенно, как бы кланяясь, пошла вниз по

реке между распластанных облаков пены и подводных камней, показывавших в ней свои черные отполированные куски. Через минуту она исчезла за поворотом.

Василий Васильевич оставался пригвожденным на камне, хотя вокруг ничего не изменилось, так же качались деревья, так же птицы прыгали с ветки на ветку, так же проносилась вода, одетая шумом, и только Рогулин оставил балалайку и, встав, приложил ладонь к своему металлическому лбу, внимательно и беззлобно рассматривал Василия Васильевича.

Потом он взял свою музыку подмышку и пошел по берегу к Василию Васильевичу, пребывавшему в стеклянной немоте, в странно нетвердой позе поверх огромного камня, обратившегося в остров бедствия, окруженный водой, дьявольски хитрой и почти всеильной.

ГЛАВА ПЯТАЯ

Когда Василий Васильевич пришел в себя, голова его лежала на скучных коленях Рогулина, и фантазер обмахивал его липовой веткой, больно стегая по носу и по лбу.

— С добрым утром, — не замедлил сказать он, как только Василий Васильевич пошевелинулся. — С хорошей погодой, что тут расстраиваться, сами ж цену ей назначили—полтора целковых.

Василий Васильевич так стремительно встал на ноги, что они хрустнули, как у металлического человека. Глаза его то закрывались, то открывались, — так играет форточками неуверенная хозяйка.

— Поймите,—зарыдал он, хватая Рогулина за плечо,—жизнь моя в этой шляпе уплыла.

Рогулин приосанился при этой растерянности. Он зашептал торжественно и уныло: — Страсть люблю тайны. Ну-ка, расскажите, в чем тут дело?

Василий Васильевич, потный, не веря, что гибель приходит так просто, сучил ногами и плакал. Его обманули, никакой радости в природе не было. Его заманили в ловушку, где в лицо злорадно выла вода, деревья грозно рычали, жуткие склоны нависли над его головой, и с этих склонов птицы свистали насмешливые ругательства. Теребя Рогулина, как плюшевую игрушку, хватая его за пуговицы, за руки, за рукава, терзаясь и унижаясь, он умолял спасти ее во что бы то ни стало, немедленно спасти ее—его погибающую белую, войлочную беглянку, забыв о том, что она давно уже скрылась из вида.

Рогулин увеличивался в росте. Больше всего на свете любя необычные происшествия, будучи неоднократно бит за них и угнетаем мрачной кличкой «фантазер», презираемый в кругу земледелов и скотоводов, он получал реванш. Он сел на своего боевого коня и приподнялся на стременах. Он гарцовал на невидимом своем буцефале вокруг Василия Васильевича и пальцем пронзал воздух в разных направлениях.

— Молчание, — поучал он. — Полное доверие мне и молчание, никому—ни одна душа, ни одна собака не должны знать про это. — Он поднял руку, точно поражал реку. — Потом быстрота... сейчас, сейчас, у меня мелькает план. Я буду готов, но я должен знать, о чем идет речь, по долгу дела, я должен знать, что в шляпе, что превращает ее в вещь полноценную?

Он наклонился к Василию Васильевичу и застыл, изобразив рожу непередаваемую, но искреннюю. Василий Васильевич взирал на растопыренные его глаза тоскливо и сгорбившись.

— Я не могу пояснить ее, — задыхаясь, отвечал он, — пока не поверю, что вы серьезно добра мне желаете. Не могу.

Рогоулин взмахнул руками, точно отгонял от себя все недостойные подозрения.

— Я понимаю: семейная тайна; в святом семействе незаконная дочь, выписка из загса и прочее. Портрет любимой особы.

— Насмехаешься, — грустно и громко всхлипнул Василий Васильевич.

Рогоулин не обратил внимания на его грустное топтание. Он бродил между кустами и, срывая листья, грыз их и бросал. Он наслаждался положением. Мысль его бежала, спотыкаясь, по самым непутевым извилинам мозга и вдруг осветилась так, что он подпрыгнул, повернулся и почти в экстазе сказал: — Вы видите реку перед собой?

— Вижу, — прошептал Василий Васильевич, и в груди его выросла ледяная гора.

— Эта самая река, с позволения сказать, за тридцать с небольшим верст отсюда делает три поворота (он даже изобразил их) туда, сюда и вокруг меня, места тут все как у меня на ладони, с детства присутствую при этой природе. Там есть отмели, и сплавщики гонят бревна, на отмелях всякая дрянь задерживается за малостью воды. Правда, когда там и бумажный рубль находить можно, а когда и лошадь не сыщешь, — капризы всюду бывают.

Он мотнул головой к небу: — Дождя не предвидится, вода малая, я найду вашу шляпу, мы найдем вашу шляпу, ждите меня здесь. Я сбегаю домой, возьму вам и себе хлеба—и в путь.

— Как в путь? — безнадежно сказал Василий Васильевич. Куда ж мне идти, да я и ходить не могу, расстроился я и стар.

— Вам никуда сейчас, туда ходьбы тридцать верст, пустяки,—не больше. Вы ждите здесь меня. Никому ни звука. Полная тайна.

— Я в милицию заявить хочу, — сказал Василий Васильевич.

Рогоулин взвился, как ужаленная лошадь. От него отнимали чудный эликсир неизвестности и подменяли колодезной водой. Он встал перед Василием Васильевичем, сделавшись печальным и снисходительно страшным.

— Или я, на выбор, или я или милиция. Должен присовокупить, что милиция наша частью занята на хлебозаготовках, порядком и составлением протоколов, частью пребывает в состоянии опьянения или в отпуску. Конечно, вы ждете меня здесь.

Василий Васильевич погиб. Он был во власти жуткого, неизвестного, легкомысленного человека, но духовные глаза его видели только белый пушистый холмик шляпы, летящей по воде все дальше и дальше.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

Роголин поглядывал хитро и любовно на молчаливого, раздавленного Василия Васильевича. Он испытывал совершенно особое чувство владельца. С ним рядом весь вечер шагал его раб, человек, который будет отныне пить, есть, спать по его слову.

Василий Васильевич двигался как на суд, где придется рассказывать свою жизнь, а делать это будет долго, скучно и стыдно. Покой в жизни кончился. Солнце, вырезанное из красного желатина, застряло в ветвях черноволосого дерева. От этого солнца шла неприязнь и прохлада. Коричневые подростки с визгом поили лошадей. Уже мальчишка угнал кобылу, подстегивая ее кушаком, а два жеребенка, смешно кивая гривами, отбежали и встали каждый мордой к хвосту другого, обмахивали друг друга, смотрели равнодушно по сторонам и не уходили. Роголин говорил о птицах:

— Гнилая древесина у дерева—вертишейку сцапаешь, а уж если засунул руку в дупло, дупло теплое, значит—птенцы, а не птенцы, значит—яйца; пух в воздухе, приметьте, или так стелется, будто по ветвям, непременно это гнездо сарычево; сарыч—у, злющая птица...—Василий Васильевич смотрел на бесприютно стоящих жеребят и тосковал.

— А если там шляпы не будет, — спросил он, — на отмели, бывали такие случаи, что раньше срывало, в роде моего?..

— Да еще как, только кому жизнь не любезна, чтобы за шляпой лезть в такую муть. Да вы не беспокойтесь, лучше слушайте. Разоренное осиное гнездо перед тобой—значит, около осоед промышляет, как собака у жилья. Сколько я гнезд перебрал, одним похвалиться не могу—чижа не видал. Делает он гнездо на такой высоте, на тончайшей ветке—не долезть, а вот синица мох любит—чего ж проще ее найти, иль за корой устраивается...

Жеребята ушли, наконец, подрагивая, мелко ударяя дорогу, и Василий Васильевич взмолился. — Ведь погиб я, если не найду ее, погиб. И жалеть меня некому, жеребята к матери побежали, а куда я?

Они поднялись и пошли дальше. Роголин утешал его.

— Завяжите мне глаза и пустите. Сядьте вы на этом месте, и я двадцать верст пройду и прямо на вас выйду. Ну, медведя встретишь, закричишь ему, он бежать. Мой голос все звери тут знают. Есть тут казачка Устинья, жаль—она не по дороге живет. Девка—солнце и луна вместе в одну юбку запрятаны. Так вот она просит жалобно, как вы меня: убьешь, говорит, ты меня своей любовью. Горяч я в любви особенно, и мучительно ей, и прямо стелется жалобно передо мной. Конечно, рассуждаю, я—первый любовник в этих местах: мужики дики, заняты, да и до баб, как медведи до меда, будто улей наповал кладут.

— Шляпа раньше не потонет, не дойдя отмели, если вдруг отяжелеет? — спрашивал Василий Васильевич, пропуская мимо хвастливую повесть Рогулина.

— В природе такого нет, чтобы шляпа тонула; конечно, если в ней золото, то она ляжет на дно, а так пронесет ее верхом и в самый раз на отмель положит. Жалко, что Устиньи показать не могу. Уехала нынче не в нашу сторону погостить, отпросилась. Она всегда просится. В ежовых рукавицах держу.

Чаша, похожая на кладбище, кончилась. В сырой траве белели цветы, вокруг ходили шорохи, Рогулин не унывал.

— Луна выйдет вся, тут хата есть, там заночуем.

Временами над головой вырастали пригорки, и на нах, среди черных кустов бродили человеческие фигуры, с ясно видимыми берданками.

— Виноград свой окарауливают, — говорил Рогулин. Я ничего на свете не боюсь—ни пропастей, ни рек, зато мне и жить легко.

Он свернул прямо в кусты, прошел поляну и остановился у кряжистого дерева.

— Вам не показалось это хатой, а это лошадьё?—сказал он, указывая на дерево и на кусты.

— Нет, не показалось, — вяло отвечал Василий Васильевич; он озяб от ночи и от тайного страха перед спутником, от сознания, что они заблудились в лесу, что на них выйдет или зверь, или лихой человек, или начнут стрелять сторожа винограда, принимая их за воров. Он хотел остановиться, упасть под деревом, заснуть, но сейчас же перед ним мелькала шляпа, которая плыла во мрак, и он продолжал идти за Рогулиным, гулявшим бесцельно от поляны к поляне, плутовавшим из рощи в рощу, будто блуждал с любимой девушкой, искал места, где бы открыть свою любовь, и не находил такого. От усталости Василию Васильевичу казалось, что он идет уже не по земле, и что такие леса, какие расстилались перед ним, нельзя видеть простыми глазами.

Трава, очерченная луной, текла им под ноги, как подгорелое молоко. На равном расстоянии друг от друга стояли кривые, но хранившие смуглое узловатое свое благородство деревья. Они стояли осмысленно и в чудном порядке. У Василия Васильевича явилась дикая мысль, что, когда они с Рогулиным проходят мимо, то за их спинами деревья качают головами и приседают в беззвучном смехе на корточки, издеваясь над ними. Приглядевшись к деревьям, рассмотрел он белые и желтые плоды, холодно и смутно висевшие среди листьев, и узнал яблоки. Они шли неизмеримыми фруктовыми садами. Это совсем не соответствовало дороге, приводившей их к реке. Голос реки давно утих, и они ушли совсем в другую сторону, куда никогда не заплывала никакая шляпа, потому что воды здесь и не встречалось, кроме как в ручье или в колодце. Рогулин неуверенно, но не без кокетства протянул руку, и, следя за указанием этой жилистой сухой палки, Василий Васильевич увидел мохнатый, высокий ящик с черным боком. Это стоял богатырский стог сена.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

Черный дом высовывал меж деревьев с пригорка подслеповатые ртутные свои окна, и сразу же откуда-то из-под него сбежали три собаки, такие низкие, что Василию Васильевичу показалось, что залагла трава под ногами.

— В'ехали, — сказал Рогулин, сердечно удивляясь тому, куда зашел. — Да это Смоляшкин дом. Вон и сарай и тачанки.

Собачьи голоса вызвали чудо — молчанье. Человеческая возня в рощице прекратилась, и оттуда не то нехотя, не то испуганно спустились двое и остановились, не дойдя до путников.

— Дома хозяин? — спросил не своим голосом Рогулин, пока Василий Васильевич отбивался от невидимых собак.

— А зачем хозяин, хозяина дома нет, хозяин уехавши, — сказали враз силуэты. — А будете кто вы?

— Заблудившиеся, — на зло Рогулину вмешался Василий Васильевич. Дом имел вид зловещий, но лес за их спиной чернил тоже неутешительно. Тут мужик, приглядывавшийся к Василию Васильевичу, спросил:

— На что ночью искать вздумали, очки есть?

— Какие очки? — спросил Василий Васильевич.

— Бумажные, какие, иль липа?

Из рощицы выбежала девица, наглая и плотная, с масляным лунным лицом. Ей вслед закричали из дому:

— Не на то набежишь, Устинья.

Она, отмахиваясь и хохоча, лиловая и стремительная, вплотную оглядела пришедших.

— Да Рогуля ж это. Я и говорю, вправду Рогуля. Прикатилась, сволочь.

Рогулин с'ежился и, забывая о Василии Васильевиче, сделал очень подозрительное движение, оглянувшись на кусты, но, вздрогнув, остановился и без всякой уверенности сказал тихо: — Гостя привел.

Рассматривавшие их мужики успокоились. У дома в черной рощице сидели еще трое и пили самогон. Вozy с сеном тихо шевелились внизу у ворот. После быстрого шопота Устинья вывела из дому черную колючую женщину и, указывая пренебрежительно на Рогулина, остановилась на Василии Васильевиче, после чего чернуха подошла к нему.

— Пойдемте уж, — сказала она.

Василию Васильевичу дали помыться и ввели в комнату, безотрадную и строгую. В ней было темно и прохладно. Внесли свечу. Василий Васильевич увидал диван и матрац, краснополосый и заплатанный.

— Садись, купец, — просто сказала появившаяся Устинья, даря ему медную улыбку огромных губ. Василий Васильевич так устал, что не вспоминал о своем спутнике. Он жадно пил самогон и чай, ел хлеб.

и какую-то рыбу, но виноград жевал тихо, как непривычную сладость и, наконец, отодвинул его.

— Что ж, не нравится?—заметила его движение Устинья.—У нас винный еще не поспел. А этого—воловьего ока—мало.

Без всякого перехода она обняла его плечи и прошептала, как бы упрекая: — Что ты с гусаком этим связался? Не знал кому капитал доверить?

Слабевшая воля Василия Васильевича попробовала проявить себя, но напрасно, он сообразил только, что в кратчайший этот срок Рогулин наболтал о нем такое, что он, пожалуй, живым не выйдет из этого дома.

И тут-же, взглянув на темно-медные губы, безумные щеки Устиньи и страшные глубокие глаза, он неожиданно вынул из кармана пятерку и положил ее на стол.

— Убери, — сказала она, и рука ее взлетела перед его лицом, и пятерка растаяла, точно он не вынимал ее никогда.

— Пей, — сказала казачка, доставая из-за себя новую кружку с пенящейся тьмой самогона. Он выпил залпом, и необыкновенное томление подняло его с табуретки.

— Сиди, сейчас,—сказала Устинья, забирая на поднос посуду и поворачиваясь к двери. Она икнула и ударила об пол ногой.

— Что ж ты икаешь,—спросил он, шагая к ней и стараясь схватить ее.

— Вся серость скоро выйдет, чистая буду, — весело отвечала она, вытерла губы рукавом, вышла и, вернувшись, сейчас же расстелила тюфяк и раскинула одеяло. Василий Васильевич скинул с грохотом ботинки. Нагнувшись к полу, увидел он на полу большое белое пятно, и вдруг его обожгло. По полу, в пестрых переплетах теней, в гривах тумана плыла его шляпа, сокровище и душа его. Она плыла к столу, завернула за ножку и бросилась к двери, маяча и подпрыгивая на серых волнах.

— А! — вскрикнул он, бросаясь к столу, но Устинья поймала его за локоть, и он подивился той силе, с которой она задержала его.

— Так это кот наш белый, чего ты пугаешься, ты ведь не Рогуля.—Она обняла Василия Васильевича, и ее руки начали раздевать его прилежно и бесстыдно. Раздевая его, она продолжала говорить. — Я Рогулю по морде бью, как скота, ей богу. Пристает, пристает, а приставать ему с чем. Одно дыханье в нем, и все тут, в роде как комар.

Руки Василия Васильевича шарили не по женщине, но мимо, точно он собирался плыть.

— Что ты шарить-то?

— Шляпу, — сказал он.

— Да на столе ж твоя шляпа.

— Не ту, — чуть не плача и точно во сне отвечал Василий Васильевич. — Плывет она...

— Ну, не бредь, — строго окликнула его Устинья, оканчивая долгий обряд раздеванья. Василий Васильевич впадал в опасное и

большое забытье. Устиньины руки направляли его на пути беспокойного и жаркого сна. Пышные волны ее закрыли его со всех сторон.

Он проснулся от холода и удивился, увидя себя в одной рубашке; в окне, которого он не помнил, стояла, накинув платок на голую свою грудь, Устинья и зло перекликалась с кем-то. Не думая о том, что уже светло, вскочил он, подбежал к окну и, просунув голову под руку Устиньи, кругло захохотавшей, выглянул.

Под окном желтел и расплывался Рогулин, в волосах его и в одежде застряло сено. Он кривлялся и, увидав Василия Васильевича, нарочно громко сказал:

— Кончайте спать, итти надо, светло давно.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

История их дальнейшего странствования слагается так: ночевали они в смоляшкином доме, где остались у Василия Васильевича часы и обручальное кольцо.

— Вы шли в дом,—мечтательно говорил Рогулин,—вы там спали, вы там утешались, а я на сене страдал. Если хотите, возвращайтесь за вашими убытками, но—должен предупредить по человечеству—ождается дождь и река набухнет, непременно смоев вашу шляпную необходимость,—он старался говорить вычурней, чтобы глубже уязвить Василия Васильевича.

Смутные, как старухи, застрявшие в чужом месте, они передвигались, покровительственно осеняемые громадным солнцем и тенями вековых рощ. К реке они вышли после полудня и не сразу отыскивали нужные им перекаты. Посреди реки, закопав ноги в ледяную пену, трудились два мужика. Они отталкивали длинными баграми толстые чурбашки от камней и перегоняли их в другой рукав. Самая глубина кипела у их ног, злобясь и стараясь слизнуть работавших. Красные ноги их мелькали между камней и отмелей. Они работали старательно и осторожно, словно играли в невеселую и опасную игру. Третий мужик, в закатанных до пояса штанах, равнодушно осмотрел путников.

— Дядя Прохор,—закричал Рогулин,—иди-ка сюда!

Мужик подошел на голос и попросил закурить.

— Откуда меня знаешь?

— Да я — Рогулин, я все знаю.

— Ан не все, дядя Прохор-то не я. Да такого у нас и не ведали; а я Никифор, видно, ты не все знаешь.

— Ну, браток,—засуетился Рогулин,—этот вот человек лечиться сюда приехал, воздухом дышать.

— Это правильно, воздух здесь легкий.

— Да у него шляпу унесло, а в шляпе вся его подноготная.

— А мы что за искатели? — сказал мужик.

— Да у него шляпа в реку упала, в эту самую, да уплыла, куда ж ее мимо вас денет. Наверно, видал, вспомни-ка. Он за ценой не постоит, вся канцелярия в той шляпе.

Роголин, воспламененный чужим событием, вдохновенный, суетился больше, чем всегда. Сейчас он узнает тайну шляпы. Тайну единственную, какую ему хотелось узнать.

Никифор долго перекликивался с людьми, стоявшими в реке, потом повернулся снова к Роголину.

— Какая шляпа из себя, из'ясни.

— Она белая, войлочная, мягкая, — он толкнул Василия Васильевича. — Попросите их.

Василий Васильевич слабо замахал рукой и умирающим голосом пробурчал: — Чорта тут достанешь.

Но сплавщик пояснял, тыкая палкой в край берега:

— Выбросило, ребята говорят, шляпу, выбросило, верно. Только там вода неинтересная. Плыть надо. Десятку положишь — дотяну?

— О, господи, — громко обрадовался Василий Васильевич, — вот десять, вот десять, только пройдешь ли?

Радость уже закипала в нем, но он не давал ей ходу. — Пройдешь ли, милый?

Сплавщик взял деньги, спрятал под камень, скинул штаны, скинул лохмотья с плеч и вошел в реку.

Он ступил по колено, вихри воды ударили его ноги, он рухнул по пояс, вода закрыла его, из водяного бугра вышла похожая на кочан голова: сплавщик плыл стоя, потом он вышел, отряхавшись, на отмель, где работали его товарищи, растер себе руки и ноги и шею, сказал им два слова, прыгнул в следующий рукав, где долго мучался и фыркал, пока снова выбрался на отмель. Остались цепи камней в роде загона, и там взметалась самая яростная вода. Туда ступил он, как на подгнившую лестницу, и его начало швырять об камни со ступеньки на ступеньку. Он счастливо миновал и эту преграду, сизый и дрожащий вылез на последнюю отмель, свободно прошел по ней к грудам нанесенного леса и разной рухляди; покопавшись там, вытащил он шляпу, взвесил ее на руке и начал прыгать, чтобы согреться.

— Пролетариат старается, — закричал Роголин. — Только вы мне, гражданин, вы мне тайну откроете. Я в награду ничего не прошу, только неясность эту устранили с моего пути. За все, мной потерянное, счета не подаю. Дайте только вашу жизнь колупнуть поглубже. Страсть люблю тайны.

— Будет, будет, — каркая и приседая, прыгающим голосом говорил Василий Васильевич. — Дай ему бог до берега, ах, хорош паренек, ах, хорош!

И когда увидал он, как Никифор шагал обратно из бездны в бездну со шляпой, похожей на творожный ком, он приходил в себя все больше:

— Я сразу увидал дернулся как он. Дойдет, в самый раз дойдет.

— Носи барин, на здоровье, — сказал Никифор, фыркая и выходя из реки на гальку.

Руки Василия Васильевича приняли тестообразную массу и свободно вывернули ее на левую сторону. Только на первый взгляд каза-

лось, что шляпа расползется по кускам. Войлок сильно намок, но подкладка кожаная не пропустила воды, а если пропустила, то немного. Он ощупывал подкладку, и вода стекала по его рукам, как вечерний дождь. Рогулин хотел влезть в шляпу с ногами. Он приподымался на цыпочках и заглядывал, как школьник в девичью купальню. Никифор осматривал озабоченно ссадину выше колена. На кожаной подкладке руки Василия Васильевича нащупали то, чего не имела его шляпа: две металлических буквы, из тех, что ставят на галошах. Рогулин высунул руку, выхватил шляпу и, как ясновидящий, сразу разгадав, прочел эти ужасные знаки, загремевшие, подобно грому над рекой:

— А. П.! А. П.! А. П.! да ведь это ж полотновская шляпа, вы не в своей шляпе гулять вышли, гражданин. Ваша шляпа, значит, дома осталась. Не хорошо с вашей стороны, не хорошо. Я вам этого не забуду, не хорошо. Других зря волновать два дня... да, да!

Рогулин обиделся. Случай снова вернул его в смешного неудачника, над которым все, начиная с этого городского человека, будут издеваться, а может, это была непонятная ему, но глупая и кому-то нужная шутка. Он повернулся и пошел прочь чрезвычайно сильными шагами.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

Казачка Устинья, тайная его мечта, которую он в фантазии своей уже покорил, взволновала его снова, и то, как она легко пошла спать с приезжим, заставило его, вспомнив, снова нахмуриться.

— Берегись, — раздалось с косогора, и сельский слоноподобный воз обдал его своим пахучим дыханием. Сено закрыло дорогу перед Рогулиным. Из сена вопил пушистый дядя: — Куда путь держишь?

— Гробницу царя Навуходоносора ищу, — сказал Рогулин важно. — Не видал ли где?

— Пойдешь по дорожке, рядом с моей теткой, третья дыра налево, — отвечал мужик, пронсясь дальше в грохоте своего несложного триумфа.

Навстречу Рогулину пылила линейка. Избач сидел, развалившись, и, узнав Рогулина, тронул возницу за плечо. Линейка пошла тише. — Куда строчишь? — сказал он, раскрывая пыльный рот.

Рогулин вспомнил, что он в ссоре с избачем, но все же ответил с самодовольством: — Да я по делу тут.

— А что по делу?

— Да с той недели в ларьке торговать буду, в кооперации, ей богу.

— Да что ты? Мне в смоляшкином доме рассказывали, как ты ночевал там.

— Устинья назло врет, — отвечал он, прибавляя шагу. Избач захотел, и линейка покатилась, дребезжа своими пыльными костями.

У домика об'ездчика был привязан к дереву конек пегой масти, а за столом у крыльца сидел сам Полотнов, вытирая белую плешь

клетчатым платком и окуривая окрестности дымом своей проклятой трубки, которая никогда не чистилась.

— Пойди-ка сюда, звонарь, — закричал он, узнавая Рогулина. — Понадоблюсь! Вот когда ты понадобился. Куда гостя моего задушевного подевал, убийца? Кайся, пока я не связал тебя по всем направлениям.

Рогулин с достоинством смотрел на него и, войдя в загородку, небрежно сел на поваленные деревья; меж ними земля была усыпана головами иссохшей кукурузы. Играя ногой и топча эту мертвую кукурузу, смотрел он без страха в лицо своего сохозяина, и вдохновение заливало его худое, изможденное, потное лицо. Полотнов кончил обтирать плешь и надел белую войлочную шляпу.

— Полотнов, — сказал Рогулин. — Из тебя скоро сало топить будут. А шляпа-то у тебя не твоя.

— Знаю, что не моя, — отвечал Полотнов. — А вот где приезжий? Я приезжим интересуюсь.

— Намучился я с ним, — покровительственно рассказывал Рогулин. — Извел он меня. Он ведь меня нанял за большие деньги, места показать. Я иду, а он все вперед бежит. То ли нетерпелив, то ли у него живот болит.

— Так ты потерял его?

— Подожди торопить, отбился он, заблудился, кружил, кружил, к смоляшкину дому—видал какая даль—вышел. Хорошо я следы разбираю. Нашел его там, а уж он бедокурит, пьяный, бьет все, кричит: «По-давай мне веселье!», напал на Устинью, изничтожил девку, перепугал всех, дом сжечь хотел. Дом за большие деньги купить предлагал.—Тут Полотнов начал смеяться беззвучно, как животное. Отсмеявшись, он спросил:

— А моя шляпа где?

— Твою шляпу он из каприза в реку бросил, и ее Никифор, сплавщик, за три десятки из реки достал.

— Заливаешь ты все, Рогулин.

— Да он сейчас у сплавщиков сидит с похмелья. Над головой палка стоит, а на палке шляпу ему сушат, а на шляпе буквы твои—А. П. Я же знаю.

— Три десятки, — протянул Полотнов, — значит, деньги-то все при нем.

— Всю ночь червонцы метал, пол устилал. Я, говорит, на всю Россию наворовал.

— Скрытная стерва какая,—задумчиво сказал Полотнов.—А мне пел — новую жизнь начинает.

Рогулин весь втянулся в игру, он уже не знал, чем еще ошеломить Полотнова, как последний, побагровев, встал и, хлопая плеткой по столбикам забора, пошел к своему коньку.

— Где он прохлаждается-то?—спросил он, не оборачиваясь.

— Я тебе покажу, недалеко, — говорил Рогулин, спеша за ним, масляно возводя глаза к войлочной белой шляпе, оседлавшей толстую голову Полотнова.

Полотнов вскочил на конька, закрихтев. Тут Рогулин со злости уколол конька острой хворостиной. Конек, не ожидая подобной невежливости, взлетел на дыбы. Полотнов качнулся, как падающий монумент, шляпа свалилась в пыль. Прежде чем Полотнов понял, что случилось, Рогулин кинулся к шляпе, с особым остервенением схватил ее, прижал к груди и запрыгал между кустами в лес.

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

На прыщавом холме, над рекой, в виду селенья Стоокого, сидел самый счастливый и самый несчастный человек. Это был Рогулин. Пространство мира искушало его, как бес хитрый, но недалекий. Селение воздымало дымы к небу и хоромы свои рассыпало навстречу Рогулину, предлагая к его услугам девиц своих, скот свой, работников и все чудеса кооперации. Тайна шляпы открылась ему.

На коленях Рогулина были рассыпаны червонцы, и какие червонцы! Сам финансовый отдел отнесся бы к ним с уважением. Двадцать бумажек с цифрой десять в радужных кружочках лежали у него на коленях и, совсем затерявшись среди них, отбившись от этих громких, хотя и маленьких грамот, лежала бумажка ценой в три червонца. Почему эти три червонца Василий Васильевич положил сверх своих капиталов,—на счастье или заодно—неизвестно. Солнце склоняло свои лучи, но Рогулин светился полным блеском. Он подымался над рекой и, чуть не сваливаясь в нее, мечтал. Казалось ему: вот выкинет он одну бумажку—и упадут леса, откроют ему дорогу к смоляшкину дому и к Устинье, протянет вторую—и через реку, от прыщавого холма, протянется мост, швырнет он третью бумажку—и подымутся, как на петлях, кровли в селении—и увидит он в каждом доме пир в свою честь. И чего-чего не придумывал он, пока являлись другие видения, в роде серого видения тюрьмы. Он видел позор суда, где его будут трясти, как яблоню, а он будет по силе чувств своих плакать и запинаться. В мрачной области этих мыслей дошел он даже до того, что представил себе, как Устинья вместо любви издевается над ним, как никто не берет от него этих денег, и все чураются его, как проклятого. Выходило даже, что на него свалилась большая обуза, и делать ему с этими деньгами решительно нечего. Разве поиграть ими, как картинками. Так сидел он, меняясь в мыслях, пока солнце не стало совсем лаковым и скользким, и он услышал шаги за спиной. Оторванная подкладка шляпы валялась рядом. Он скомкал свои богатства, и только трехчервонная бумажка никуда не ушла и осталась на коленях. Шедший по дороге человек нес ворох белых, серых и черных шляп, войлочных, мягких, и появление этого неожиданного человека так поразило фантастического Рогулина, что он вскочил, как дикая кошка, и зажег глаза по-кошачьему.

Торговец в испуге остановился. Он думал, что его сейчас ограбят, но никак не ожидал, что одно мирное слово имеет такую власть и так смутит его.

— Покупаю, — в упор закричал Рогулин, разглаживая трехчервонку.

— Покупаю все!

Торговец изучал бумажку. Пока перед ним был только сумасшедший—это еще полгоря, но три червонца пахли одновременно и волшебством, и милицией, и очень сильно прибылью.

Сбросив шляпы на землю, он схватил бумажку и дал такого хода, что Рогулин остался со своим шляпным магазином один на дороге в самый кратчайший промежуток времени. Рогулин не смотрел вслед торговцу. Для полного физического ощущения сказочной минуты ему необходимы были вещи, которыми он мог повелевать. Он мял и тискал войлочные шляпы, потом, захохотав от избытка власти, увидел он реку в угасающем закатном потоке, взывавшую к нему. Оттуда пришло счастье. Там родилось его внезапное и опасное благоденствие, туда будет отправлена благодарственная жертва. Прыгая от восторга, он перетасил шляпы к краю обрыва. Первая шляпа неуклюже, не собравшись с духом, прыжком новичка кинулась в реку. За ней поспешили другие, более упорно кружась и стараясь слететь позатейливей; падая, они казались обрывками тучи. Толпой нырнули они в реку и открыли невиданное состязание: обгоняя друг друга, ударяясь о камни, они спешили как-будто сообщить всему миру о рогулинской радости. И когда последняя шляпа скрылась из вида, счастливый до слез Рогулин увидел, что вокруг него ничего не изменилось, что он не оставил себе даже ни одной шляпы, а свою потерял в кустах еще раньше. Тогда он встал во весь рост на придорожный камень и раскланялся на все четыре стороны. Мир ответил ему вежливым безмолвием.

ГЛАВА ОДИНАДЦАТАЯ

Пегий конек Полотнова обиженными губами своими странствовал по горьким травам, косясь на реку. Полотнов отдыхал, развалиясь на камне, держа в руке конец веревки. Веревка связывала руки Василия Васильевича. Очумелый и темный он лежал, и внутренность его испепелялась. Голова, полная горячего песка, померкла, а глаза видели только зеленые полосы и нивесть что. Полотнов, как татарин, ведущий в орду пленника, разговаривал с Василием Васильевичем, не получая ответа:

— Невозможно развязать тебя, опасно больно. Ты уже и так в реку мордой смотришь. Жил человек-человеком, и вот через силу бедного ума своего мой лучший друг погибает, а ты сидишь, Полотнов, филином на живой его могиле, и нет тебе ни гроша в утешение. И вот жил ты, Полотнов, и отняли у тебя торговлишку, дом, сад, и все это по бумажке, и нет той бумажке никакого оправдания. Набил человек если голову умом,—берут того человека и режут ему голову, чтобы

сразу ему весь ум прикончить, а то ума если нет, берет человек шляпу, кладет в нее пот и кровь трудов своих и бросает в реку.

Тихая покойницкая спина Василия Васильевича раздражала его.

— Веду человека я нынче, как вола на ярмарку, на веревке. Почему я веду его, как вола на веревке и как на ярмарку? Потому что он, видите ли, жить в городах не может. Да скажи мне в тот вечер он: «Алеша, на тебе тыщи мои, будем жить»—так я б его на бархатный стул посадил на всю жизнь. Баба б моя его по субботам мыла, а он взял, да принял шляпу за сберегательную кассу.

Один глаз, свинцовый и узкий, открыл Василий Васильевич.

— Ты же мою шляпу и потерял ведь, — без упрека, но с чувством сказал он.

Полотнов перекатился по камню, как бревно.

— Взял я ее в руки, истинно. Вижу, как бы дно подбитое, на тот, соображаю, случай, что голова велика; да разве б я упустил, зная то... Да я б тебя сам в бочке утопил. Теперь стелет твои денежки Рогуля, дерьмо человечье, по лицу земли задарма раскидывает. Судить тебя надо за это, жесточайшими мерами осудить.

Он помолчал, тяжело думая, потом вынул свой нож из кармана, попробовал его на палец и убрал.

— На что ты мне нужен такой, Василий Васильевич, без денег, без дома, без фундамента, как бы голый; сидишь ты перед рекой и ветер тебя моет, как усопшего,—это раз. И второй раз то, что частные деньги наши, за которые нас нынче гнетут, ты внимания к ним не имел,— и вот тебе приговор. Река, может, это жизнь наша несется без удержу, а ты, как шляпа, в ней полощешься и помираешь для всех незаметно...

Тут вынул он нож и пошел к Василию Васильевичу.

— Развяжи мне руки, — сказал громко и отчетливо, смотря потусторонними глазами, Василий Васильевич, — руки мои облегчи.

Полотнов резрезал веревку. Василий Васильевич протянул затекшие руки к реке и закричал неистово, как пророк:

— Отдай мою шляпу, отдай мою шляпу, потаскуха.

Тогда у поворота мелькнуло что-то в роде тени. Полотнов устался на реку, и нож выпал из его волосатых пальцев.

Река отозвалась на рев Василия Васильевича. Она содрогнулась, открыла полосатую бездну свою, и оттуда мрачно выплыла белая войлочная шляпа. Вслед за ней по реке мчался целый магазин шляп на выбор. Прыгая и трясясь, подбегая к самому берегу, кружились в речной быстрине черные, белые, серые шляпы. Река кишела ими, они угрожали, и голос воды был их голосом, глухим и опасным. Василий Васильевич закричал, схватился за черную, висящую в воздухе, как сук, руку Полотнова и провалился в темноту.

Место под солнцем

ВЕРА ИНБЕР

(Окончание ¹)

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

Мина взорвалась во-время. Вообще в то время действительность поступала с людьми чрезвычайно умно. Если кто-либо начинал чересчур уж благодушно поглядывать вокруг (а это всегда вредно), начинал затягиваться жирком, действительность ударяла его прямо в лоб и спрашивала: — О чем ты, собственно, думаешь, человек? Торопись, думай, принимай решения, не то плохо тебе будет. — И человек спохватывался, начинал торопиться, думать, принимать решения.

Очень скоро после мины нас, вместе с нашими кроликами, выселили из квартиры. Общежитие, разрастаясь, захватило весь дом. Во второй этаж какие-то мужественные люди потащили столы и стулья, у нас в столовой сердито застучал давно нечищенный ремингтон. Прощай, серый высокий дом!

Выселение произошло без всяких нежностей: таких вещей, как предоставление выселяемым жилплощади, тогда не знали. Само слово «жилплощадь» тогда тоже была неизвестно: оно появилось много позднее, когда начали спрессовывать слова и жилища.

Комнату мы нашли себе сами в одной квартире, которая желала самоуплотниться. Наш новый дом был полной противоположностью старому: это было хилое строение на окраине города. Оно выглядело тепло и уютно, но это был обман, какого не видел свет: с пола дуло так, будто в подвале были запрятаны ветры и сквозняки всей улицы.

Наступала зима отмороженных рук и ног и фурункулезов. Мы с Юлией Мартыновной решили печь пироги и продавать их через форточку. Одно из наших окон мы украсили соблазнительной надписью: «Здесь продаются пирожки и пончики». Подоконник мы покрыли белейшей салфеткой и поставили вазочку с нашими изделиями, чтобы

¹) См. «Новый Мир» кн. 11 с. г.

прохожему захотелось есть. Кролики были оставлены за неимением места.

Первое наше тесто всходило медленно и тяжело. Оно вздыхало, томилось, пускало пузыри, пыталось привстать и снова падало. Мы тепло укутали его ватным одеялом, ходили вокруг него на цыпочках и говорили шопотом. Мы вложили в это дело столько почти белой муки, дрожжей и надежд, что страшно было подумать о неудаче. Мука и дрожжи были куплены на деньги Авеля Евсеевича: таким образом, и он являлся пайщиком этого предприятия.

Все мы сидели вокруг теста и думали о нем. Киска бродила вокруг да около, нюхала воздух и говорила:

— Это очень вкусно пахнет. Дайте попробовать. Пожалуйста.

Но мы гнали ее прочь.

— Тсс, тише,—шипели мы на нее. — Не говори громко, не стучи. От твоего голоса тесто может сесть.

— Дрожжи плохие, вот в чем дело, — прошептала Юлия Мартыновна.—Все дело в дрожжах.

— В Египте,—возразил АVELь Евсеевич,—да и вообще на Востоке не знают употребления дрожжей. Там пекут пресные плоские лепешки. Хлеб там пресен и скуден, потому что земля богата. Человек, избалованный роскошными урожаями, привык обращаться с хлебным зерном небрежно. Дрожжи—это измышление скудного Севера, искусственно повышающее количество муки. Пышные северные хлеба...

— Авлисей, говори тише,—прошептала Киска. — От твоего голоса тесто может сесть.

В первый день мы продали шесть штук пирогов. На второй день у нас подгорела мясная начинка, и мы понесли убытки. Через неделю сделалось так холодно, что продавать через форточку сделалось невыгодно:тепла у нас при этом уходило больше, чем притекало денег. Продавать пироги на улицах или на базаре мы не решались: это было запрещено и строго преследовалось.

Обдумав создавшееся положение, мы решили шить детские чепчики и выменивать их на продукты. Выменивать было удобнее, чем продавать и потом покупать. Так, вероятно, рассуждали люди, когда впервые появились деньги.

Наш стол покрылся веселыми лоскутками, которые мы доставали всюду, где только можно было: из них мы шили чепчики и капоры. Мы украшали их обрывками кружев и цветочками, которые вязали из гаруса. Киска бродила вокруг да около и облизывалась, глядя на прекрасные кукольные платья, которые, по ее мнению, погибали так бессмысленно. Мы очень остерегались Киски после того, как она из лучшего нашего модельного капора сделала салазки для Джерри и прокатила их по двору, ухватив за шелковые ленты.

Чепчики наши пошли хорошо, но скоро у Юлии Мартыновны начались нарывы на правой руке: они шли от локтя вверх. Лечить их надо было хорошим питанием, которое было невозможно. Кроме того,

надо было пить дрожжи, те самые, без которых прекрасно обходились в Египте и вообще на Востоке: у нас без них обойтись было трудно. После Юлии Мартыновны у меня началось то же самое, только не в таких размерах. Один за другим нарывали пальцы, и это очень мешало работать.

Наши хозяева—старый газетный очеркист, оставшийся теперь не у дел, и его жена—переселились на кухню и топили там плиту. Это было неслыханным мотовством, о котором соседи говорили шопотом. У хозяина были подагрические ноги, которые никак не могли согреться, и плиту топили исключительно для хозяйских ног. Как только она начинала остывать, хозяин становился на нее ногами, обутыми в валенки, и читал газету. Он говорил, что только в эти минуты он по-настоящему живет.

Но сплошь да рядом, увлеченный бытом провинции, бывшим некогда его специальностью, он становился на плиту слишком рано. И тогда едкий дым от тлеющего войлока полз по коридору и проникал к нам в комнату. Мы спасали от огня валенки и их обладателя, который при этом ворчал, что, как только он начинает ощущать приятную теплоту в ногах, приходим мы и отравляем ему жизнь. Хозяйская плита, входящая одним боком к нам, была для нас настоящим счастьем. Чем сильнее были приступы подагры, тем щедрее клали дрова.

Так называемой «высшей справедливости» не существует: она выдумана неудачниками, теми, которые сами не могут справиться с тяжестью существования и зовут кого-нибудь со стороны, чтобы проводить их до могилы. Но иногда обстоятельства складываются так, как-будто справедливость эта есть на самом деле. В данном случае я подразумеваю подвалы. В то время, как один из них, находящийся под нашей квартирой, едва не умучил нас простудами, второй подвал, центросоюзный, скрасил нашу жизнь.

Одно из немногих учреждений, Центросоюз отапливался центрально. Там сотрудники не сидели в шубах и не дули на покрасневшие пальцы. Но теплее, чем наверху у машинисток, у бухгалтера и даже в кабинете уполномоченного, теплее, чем всюду, было внизу в подвале. Отопление было рядом, трубы, наполненные горячей водой, шли вдоль потолка. Это было длинное помещение с узкими окнами, врытыми в землю, куда скудно проникал дневной свет. Это была комната, напоминающая монастырскую трапезную, блаженное место, сыроватое, жаркое, с легким запахом бани.

В этом подвале была столовая Центросоюза. Здесь подавали на первое суп из ячневой крупы, на второе—ячневую кашу и на третье—ячневый кофе. Против двери было возвышенье, нечто в роде ступеньки, куда ставили котел с супом и где лежал добавочный хлеб, зеленый от примеси гороха. Это возвышение и было зародышем сцены.

Мало-по-малу сцена выкристаллизовалась окончательно: она получила рампу, занавес, заднюю кулису, где был изображен юноша

с ястребом. По воскресеньям сотрудницы пели там злободневные частушки про заместителя уполномоченного, те самые частушки, из которых немного позже развились стенгазеты и сложные клубные постановки с безбожниками, кооператорами и комсомольцами, втягивающими родителей в общественную работу.

Лева Симцис не поехал в Москву. Тщетно московские полотна ждали прикосновенья его магической кисти, Анатолий Васильевич Луначарский тщетно спрашивал у своих секретарей: «А где же Лев Симцис, талантливый товарищ из провинции, которого я жду уже так давно?». Талантливый товарищ сидел без копейки денег: рыбацья артель не дала ему ничего, кроме крепкого загара и запаха рыбы. И то и другое изгладилось только к Рождеству. Лева Симцис, побуждаемый к этому необходимостью, поступил в Центросоюз регистратором.

«Эх, зачем, почему наша жизнь проходит и тает» — напевала я песню, слышанную мной давным-давно, в самом начале этой книги. «Эх, зачем, почему...» — все снова и снова повторяла я, отделявая мехом шерстяной капор.

— Трр, трр, трр, — затряслась дверь под чьими-то ударами.

«Не стоит вставать, — подумала я. — Постучит и отстанет. Кто может притти и что может сказать? Все равно наша жизнь проходит и тает. «Эх, зачем, почему...»».

— Трррр, — угрожающе произнесла дверь, и петли заскрипели. Пришлось подняться и открыть ее.

Лева Симцис влетел, разбрызгивая восклицанья. Слово «театр» мелькало отчетливее других. Когда все это прекратилось, я заметила, что Лева не один. С ним был Аркадий Грам — хитрый и веселый человек. Я его давно знала и встречалась с ним в тех местах, где смеялись и где было весело. Грам не любил, чтобы люди грустили: ему самому нельзя было отказать в умении создавать своеобразное и не вполне благополучное веселье, когда жизнь начинает казаться сборником неизданных анекдотов. У него было и остроумие, но какое-то отраженное: оно должно было оттолкнуться от чужой выдумки. Зацепив чужое слово, Грам начинал нажимать на него, как пресс на виноградные выжимки. Получалось не вино — вино было выпито раньше, — но и это питье имело свою приятность. Аркадию Граму предназначалась роль режиссера в центросоюзном начинании.

Лунатики и дети чрезвычайно смелы, но смелость их проистекает от неведения. Лунатик смело идет по карнизу, потому что спит; ребенок играет разрывной гранатой, думая, что это мяч. Лев Симцис был смел, как лунатик и ребенок, вместе взятые. Только этой двойной смелостью можно объяснить себе то, что он не побоялся взяться за театр.

Репертуар интересовал его меньше, чем постановка. Он мысленно видел себя с кистью в руке и в измазанном халате, ползущим по лестнице куда-то вверх, в то время как яркие краски поют у него под рукой, как фанфары. Я даже подозреваю, что мысль о театре зародилась в нем от ненависти к юноше с ястребом, которого какой-то

реалистически настроенный профан изобразил на задней кулисе. Сам Лева мечтал о левых постановках в трапециях и кубах. Да, несомненно, театр родился от большой ненависти, и это еще раз подтвердило ту истину, что хорошо направленная ненависть плодотворнее беспредметной любви.

Театр был зачат, и он родился. Как истое дитя переходного времени, он был полон противоречий и крайностей. Он вмещал в себя такие противоположности, как Анелю Костырько и товарища Покорного. На Анелю Костырько приятно было смотреть, когда она молчала. У нее были волосы серебристые до седины, пышнее и легче инея, под которыми нежное лицо ее всегда казалось прохладным.

Товарищ Покорный был человек с биографией. У всех людей есть прожитая жизнь, но биография есть не у каждого. В прошлом товарища Покорного было тяжелое детство, юность в подпольи, девятьсот пятый год, арест, тюрьма, ссылка, побег, прозябанье в эмиграции, мыканье по английским и французским верфям и возвращение, но уже не в Россию, а в Союз Социалистических Республик.

Труппа в количестве семи человек впервые собралась в подвале после обеда, когда запах ячневой крупы еще носился в воздухе. Все были серьезные. Казалось, что все ощущают некий родильный трепет, неизбежный при рождении.

Для меня все это было особенно важно. Сравнительно недавно выяснилось, что, регистрируя продовольствие для общественных столовых, я не могла быть полезна родной стране. Затем я читала учителям и учительницам о финикийских купцах; это было уже лучше, но и это кончилось очень скоро. А между тем, мой бывший начальник, продовольственный комбриг Шуляк, недаром ведь стучал карандашом по лбу, говоря: «Что у вас тут жужжит? Может, что нужно нам?». Теперь снова представлялся случай выяснить, что там жужжало и жужжало ли вообще.

Полудетские воспоминания, связанные с театром, хранили в себе нечто вполне трогательное. Это были воспоминания о пьесе «Во дворе, во флигеле» Чирикова, разыгранной гимназистами и гимназистками на дачной сцене, освещенной несколькими свечами и одной керосиновой лампой. Комары тучами летели на свет и липли к загрированным щекам. Занавес из простынь на кольцах задергивался нехотя и только в те минуты, когда находил это нужным. Во время спектакля, рядом в цветнике распускались ночные цветы, падала роса, и квакали лягушки.

Тогда мы знали, как играть и, главное, что играть. Теперь мы не знали ни того, ни другого.

— Госп... Товарищи, прошу вниманья, — начал Аркадий Грам.

Все умолкли, и даже Анеля закрыла свой маленький свежий рот, которым она произносила тысячу глупостей в минуту.

Грам произнес небольшую, но ловко придуманную речь. Он упомянул о том, что в стране война, что в то время, когда бряцает

оружие, музы молчат (так говорили римляне). Но что в данное время война идет на убыль, уже настает время заговорить музам, и что Талия имеет такое же право голоса, как и остальные.

— Простите, я перебыю вас,—сказал товарищ Покорный, напряженно слушавший Грама, — кто, вы говорите, имеет право голоса?

— Талия, муза театра.

— Ага, — снова сказал товарищ Покорный и, опустив голову, стал смахивать остатки с центрального стола.

Грам продолжал. Он указал на то, что в центре, в Москве, революционные зрелища стоят уже на должной высоте, но что мы, вследствие своей оторванности, должны начать всю работу сначала и прежде всего найти собственный репертуар.

— Я все время повторяю, — взорвался Лева, — что необходимо ехать в Москву. Но так как обстоятельства против, то надо попытаться наладить все это здесь. Нет пьес? В чем дело, мы сами напишем их.

Все посмотрели друг на друга, и никто не произнес ни слова.

Потом говорил товарищ Покорный:

— Товарищи, я здесь, так сказать, человек чужой, со стороны человек. Но театр я всегда любил, и если бы не то, что время революционное, я был бы теперь, я так полагаю, известен на сцене. Я, когда еще мальчишкой был, все думал об этом, но опять-таки времени не было: то завод, то кружок, то прокламации распространять.

— А вы бы,—сказала Анеля,—их не распространяли. Их можно было бы по почте псылать, а вы в это время могли бы заниматься любимым делом.

— Надо вам сказать, — продолжал, воодушевляясь, товарищ Покорный,—как это у меня первый раз получилось с театром. Было мне дано поручение от наших бросить с галерки прокламации. Пришел я в театр в первый раз в жизни, а было мне шестнадцать лет. Пришел, билет у меня, все как следует. А на сцене в театре «Кармен» идет, опера. Как запела она, эта женщина, эта Кармен... Соблазняет офицера, во рту цветок, желтый платок на ней. Ведь простая работница, подумайте, на фабрике работала: это меня и расположило к ней. И так я заслушался, загляделся, залюбовался на нее, что забыл о своем деле. В первый раз в жизни забыл. Один товарищ в партере сидел и должен был мне знак подать. Так он потом рассказывал, что едва ума не лишился. Вынул платок носовой, как было условлено, махнул им до неосторожности ясно, а я ничего. Потом только спохватился. В тот раз меня и арестовали. Был я потом еще два раза в театре, — продолжал товарищ Покорный.—Как только из тюрьмы вышел, в театр пошел, «Аиду» видел, это хорошо. А вот «Онегин Евгений» слабовато. Со всем слабо.

— Почему? — спросили мы удивленно.

Но товарищ Покорный не понял нашего удивления и, наоборот, сам удивился:

— Как почему?

И он пояснил нам, что Аида—угнетенная рабыня, и что на ее примере ясно видно, к чему приводит эксплуатация правящих классов. Что же касается «Онегина», то эта дворянская любовная история мало интересна.

Это был настоящий классовый подход к искусству, который до этих пор был нам неизвестен.

Товарищ Покорный выразил желание, чтобы пьесы у нас ставились «вот именно такие: созвучные эпохе и вполне революционные». И еще была одна робко высказанная просьба, чтобы нашлась для него ролька с пением на басах, потому что «верхи у него не выходят».

В этот день новый театр оформился окончательно. У него обозначилось лицо, он получил имя: звали его «Созэп», что означало «Созвучный эпохе». Он начал дышать, молодой «Созэп», сын четырех отцов и трех матерей, потому что труппа состояла из семи человек.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

Одного человека спросили: «Почему вы живете так сложно и хлопотливо? Зачем в вашей жизни столько поступков и встреч? Зачем?».

Он ответил: «Я консервирую воспоминанья. Впоследствии вся сложность и хлопотливость испарятся, как посторонняя примесь, и останется крепкий и чистый жизненный экстракт, которым я буду питать свою старость».

Я не принадлежу к поклонницам этого человека. Его скептическая мудрость и расценивание юных дней, как продукта для консервов, мне чужды. Кроме того, сама эпоха заботится теперь о том, чтобы снабдить нашу старость целым ворохом трогательных и грозных воспоминаний.

Но с «Созэпом» случилось именно то, что предсказал неизвестный: все плохое отлетело от него. Мучительность репетиций, которые не шли, а стояли на месте, когда все не ладилось, когда исполнитель никак не мог войти в свою роль, а суетился где-то сбоку, когда товарищ Покорный хотел спеть тоном выше и не мог, а Анеля Костырько могла бы разговаривать тоном ниже, но не хотела. Все это забыто теперь. Забыты все эти подготовительные муки, остались в памяти только достижения, удачи, славные минуты, когда спектакль шел, как по маслу, и переполненный театр (двести пятьдесят зрителей—такова была его вместимость) аплодировал нам изо всех сил своих пятисот ладоней.

На первом собрании в своей вступительной речи Аркадий Грам доложил, что в центре, в Москве, революционные зрелища стоят на должной высоте, но что мы, вследствие своей оторванности, и так далее... Мы были рады узнать, что Москва так хорошо устроена, но нам было от этого не легче.

На том же заседании Лева Симцис, не знающий сомнений, бросил крылатое слово о том, что—в чем дело,—если нет пьес, мы напишем их. И мы написали.

По совести нельзя сказать, чтобы все написанное нами было вполне созвучно эпохе. Положительно были отклонения от правильной

линии, но это объяснялось тем, что мы каждую неделю давали новую программу: ведь публика у нас всегда была одна и та же. Каждую неделю!.. За это многое простится.

У нас, особенно в начале, был смутный и пятнистый репертуар, похожий на испорченный негатив. Пьесы писали мы с Грамом, и тут-то я сделала открытие, что Шуляк, мой бывший начальник, был до известной степени прав: во мне жужжали ненаписанные вещи, и, как только я коснулась пером бумаги, мне как-будто легче стало жить. Почему же я не делала этого раньше, гораздо раньше, когда еще не было в помине веревочных туфель и шерстяных чепчиков, когда у меня было столько ничем неомраченного досуга, и лампа из-под абажура бросала ровный свет, незадуваемый ветрами? Я думаю, оттого, что мне хорошо жилось и без писанья.

Я предполагаю и даже утверждаю, что вполне счастливый человек с трудом может писать. Счастье утомительно, оно неэкономно тратит свет и тепло души; ему все равно, что будет потом: после него хоть потоп. Мы же бедны. Расходы на творчество и на счастье нам не по силам, потому что источник средств один и тот же. Мы разоряемся, мы нищаем. Мы должны выбрать что-нибудь одно.

В детстве я писала стихи. Я писала их, отбивая ритм мячом, вечером, в полутьме. Точнее говоря, я не писала их, а придумывала. Я хорошо помню большую комнату—отцовский кабинет, где темнеет. Рядом столовая: там свет, там голоса, там на подносе чайник с чашками, как утка с утятами, плывет, уплывает в чайное море.

Но что сказать о кабинете, где вспыхивают тайны? Я кружусь на небольшом пространстве пола, мяч трепещет у меня в руках. Месяц плывет за окном, тучки висят на нем. Мяч у меня такой, что нельзя рассказать какой. Та-та-та-там; и вот—мяч по ковру идет. Та-та-та-там-тит—мяч над столом летит. Летит, подлый, и разбивает нечто стеклянное на письменном столе моего отца.

Из столовой, где голоса и чай, приходят люди и говорят, что разбита чернильница, что стыдно мне, что мяч у меня отберут и в кабинет вечером не пустят. Поздно, поздно: мне не стыдно, яд проник в меня, стихотворение уже написано. И как только за мной перестанут следить, я снова удеру вечером в комнату, полную тайн, буду играть в мяч, напишу второе стихотворение, и, быть может, разобью вторую чернильницу.

Я писала стихи не только в детстве. Я писала их в юности, в возможной юности, когда рифмы слетаются, как пчелы, на ученическую тетрадь. То было время расцвета декадентов, когда вокруг зеркал обвивались девушки фисташкового цвета, состоящие из рук и волос. На уроке физики я писала стихотворение о лилии:

Больной тяжелой головой
Она склонялась над водой,
Больной тяжелой головой....

— Мадемуазель, — вкрадчиво говорил наш физик, наша гроза, — что вы мне скажите о рычаге второго рода?

Молчание. Вздох. Единица... Потом писание стихов прекратилось на долгие годы.

Аркадий Грам, простите меня. Я пустилась в экскурс в туманную область прошлого, в то время как вы сидите один над чистой страницей и обдумываете первую программу для «Созэпа». А ведь мы должны сделать это вместе.

Для первого раза мы написали пренеприятную вещицу, которая нам казалась острой сатирой. Дело происходило в Ноевом ковчеге, приплывшем в наше столетие. Там фигурировали звери, буржуи и пролетарии. Такие построения были тогда распространены, и сам Маяковский написал нечто подобное, только более грандиозное.

Мы с Грамом писали, торопясь, ночью. Холодный и голодный город лежал за окном. Чтобы окончательно не изнемочь в муках творчества, мы приготовили себе чай на всю ночь. Чайник с чаем мы нежно завернули в одеяло, накрыли двумя подушками, чтобы дольше хранить драгоценное дыхание его носика — тепло, которое в те ночи было важнее всего.

Но в конце первого акта настала минута такого изнеможения, что Грам кинулся на кровать и, перевернув подушки, сунул их под свою усталую голову. И тепловатый чай, смочив одеяло, охладил пылающие виски драматурга.

Открытие «Созэпа» произошло в одну из суббот. Отпечатанные программы были нам не по средствам: написанная от руки афиша, как меню дешевых обедов, висела у входа в театр. Занавес отдернулся, и первые два ряда зрителей выступили из мрака. Легкий ропот прошел по рядам при виде елки на сцене, необходимой по ходу действия.

Никто из присутствующих, конечно, не предполагал, что он увидит настоящую елку: это было бы чересчур наивно. На сцене зеленело картонное дерево, взлохмаченное бурей возмущения. Багровые свечи пылали на нем, как факелы: не елка то была, а мировой пожар.

Спектакль начался. Рыжий музыкант, член нашего коллектива, встретил появление елочных огней бичующей музыкой, мало приятной для слуха: но ведь это была сатира. За правой кулисой, незанятый в пьесе и вследствие этого обремененный обязанностями помощника режиссера, стоял товарищ Покорный с тетрадкой в руках: после спектакля он признался, что это было гораздо страшнее, чем тайно переходить границу.

Пьеса не понравилась. Сочетание текста и оформления дало редкий по неприятности эффект, очевидно, вполне оцененный публикой. Конец был встречен неопределенным, скорее недоброжелательным гулом.

В маленькой задней комнате, где все мы одевались и гримировались, товарищ Покорный среди общего гнетущего молчания высказал мысль, что «спектакль, так сказать, провалился».

Совместное творчество мое и Грама было признано малоудачным. Отныне стихия сатиры и стихия лирики были отделены друг от друга, и каждая получила своего изобразителя: нужно ли добавлять, что на мою долю пришлось лирика.

Вторая наша программа была удачнее: она состояла не из одной вещи (опыт показал нам, что это слишком рискованно), а из нескольких. Она была построена по принципу непроницаемых перегородок: если в часть судна попадает вода или возникает пожар, то все это там и остается, и судно не тонет. У нас возможная неудача была локализована отдельными самостоятельными номерами.

Но сначала о Граме: Грам внезапно развернулся пышным цветом, и я почти не узнавала его. Этот холодноватый и насмешливый человек, выбиравший себе «любимых девушек» с точки зрения продовольствия, которое они могли ему предложить, этот умелый рассказчик анекдотов и любитель поспать, он с каждым днем утрачивал свою насмешливость и свою сонливость.

Первая же неудача уколола его: сначала медленно, потом все быстрее и быстрее с него сползло его безразличие, его ленивенькая, холодноватая шкурка. Под ней открылся подлинный жар и умение работать. Он превзошел самого себя, он следил за всем и за всеми. Он ослепил нас разносторонностью своих талантов: не без успеха он дерзал даже на хореографические постановки. На одной из репетиций совершенно неожиданно он встал на носок правой ноги, а левую отвел назад в воздух. Руки его были простерты вперед, его клетчатая куртка, сшитая из пледа, приобрела упругость паруса. Он был в коротких брюках и суконных обмотках. — Раз, два, три, — сказал он. — Потом вы поворачиваетесь вправо, и снова раз, два, три, уже в эту сторону. Поняли? Когда я скажу «и», начинайте. — Танцующая пара выполнила его требования, и все увидели, что он прав. Танец назывался «Освобождение народов».

Используя пребывание товарища Покорного на французских и английских заводах, он придумал ему прекрасный выход с пением на басовых нотах: песню старого матроса, пересыпанную иностранными словами. На женщин он начал смотреть с точки зрения их полезности «Созэпу», и даже Анеле, самой Анеле, прекрасной, как снежная заря над Польшей, он сказал: — Вы здесь для того, чтобы играть, а не разводить улыбки. — И Анеля заиграла, потому что была далеко не бесталанна.

Вся наша труппа, вся семерка заболела любовью к «Созэпу». Это была настоящая любовь, с нежностью, с порывами страсти, с ревностью к другим театрам, с бессонными ночами и самозабвением. Достаточно было взглянуть на жену Грама, нашу костюмершу, когда она, бледная от вдохновения, непричесанная и неумытая, вдувала жизнь в старые отцветшие тряпки.

Она одевала нас необычайно, и костюмы ее обладали только одним недостатком: сшитые всегда наспех и в крайней экзальтации,

они были непрочны, как мотыльки. Они жили один вечер, даже меньше. Иногда здесь же, на сцене, они распадались на две половинки, и актер выпадал из своей одежды, как фасоль из стручка.

Бывало и другое: так как запасы ткани были до смешного незначительны, то жена Грама придумала делать костюмы только на половину, на фасад, которым актер был обращен к зрителю. Были такие счастливые роли, когда не нужно было поворачиваться. — Вы поворачиваетесь? — Это был кардинальный вопрос, интересовавший нашу костюмершу. — Нет, не поворачиваюсь, — отвечивал вопрошаемый.

Но во время хода действия, увлеченный огнями рампы и теплой волной сочувствия, плывущей из зрительного зала, актер все же поворачивался. И тогда все, сидящие там, во тьме, бывали потрясены разительным контрастом роскошно одетой груди и нищенской спины, на которой перекрещивались веревки.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

На главной улице города, в доме без вывесок, в большом пустом и холодном окне затеплилась жизнь. Окно это пустовало два года. Трещина от метко пущенного камня или даже пули паутиной расплзлась по стеклу: отверстие, как паук, сидело в центре. За стеклом, внутри магазина, были пустота и разорение; на прилавке в неудобной позе лежала бочка.

Теперь бочка была убрана, окно почти промыто, и в самом углу его устроена витрина. Там были разложены два куса мыла, мужские подвязки, копченая колбаса и альбом для открыток. Все это можно было купить, не боясь преследований: это было начало нэпа. По вечерам все эти блистательные предметы освещались кухонной лампочкой. И прохожие часами стояли у окна, замороженные возрождающимся блеском частной торговли.

Облик города постепенно менялся: проступали, если не прежние, то, во всяком случае, знакомые черты. Сначала робко, а потом все увереннее начали появляться вывески: на лицо города были наведены брови. Первый трамвай, неумело и нечетко останавливаясь на остановках, пошел по самой важной линии; на два часа в день начали давать воду почти во все этажи. И, наконец, — о, радость! — в квартирах зажегся свет, хотя и не везде сразу. Город был разбит на районы, каждый район получал свет по очереди, и люди ходили вечером в гости туда, где было светло. Позже всего и труднее всего начинали работать лифты. Час возрождения для них еще не наступил, равно как и для отопления.

Менялся не только сам город, но и его обитатели. На смену сапогам шли, хотя еще грубые, но уже башмаки, на смену платкам — шляпы. Все громче, все смелее шли башмаки, все уверенней держались шляпы. И, наконец, первая котиковая шуба, ныряя и оглядываясь, проплыла по бульвару в светлый морозный день.

Милиционеры на перекрестках уже гораздо меньше напоминали бандитов. У профессоров завелись рукавицы, и их пальцы, защищен-

ные от холода, увереннее держали кульки с академическим пайком. В переулке, позади театра, открылся первый ресторан.

«Созэп» приобрел новую публику. Она просачивалась неизвестно откуда. Это были родственники и друзья сотрудников и друзья их друзей. Раньше все было определено у нас в театре: аплодисменты, если они были, долетали к нам спаянными в один крепкий шум, словно град. Теперь все распалось на отдельные градины. «Очень мило» — произносили то тут, то там снисходительные голоса, и неторопливые руки укладывались: левая вниз неподвижно, а правая наносила на нее легкие мазки одобрения. Это были аплодисменты.

Видя все это, товарищ Покорный томился:

— Ох, и публика, ну и публика же пошла, — вздыхал он. — Вон один сидит в третьем ряду, вон платок вынул. Такой что хочешь делает. Такой тебе и цветочки на сцену послать может, в случае чего. Фиалочку в петлицу.

Сказал товарищ Покорный—и сбылось. Неизвестные руки подали нам на сцену корзину, правда, не фиалок, но гортензий. Пышные, как бы накрахмаленные цветы были перевиты шелковой лентой, рыхлая земля прикрыта мохом. В цветах лежала записка: «Молодым женским дарованиям «Созэпа» от постоянного посетителя».

После спектакля вся труппа столпилась вокруг гортензий.

— Бездарные веники, — первым высказался Лева Симцис. — Не сомневаюсь, что скоро будут придуманы новые цветы, основанные на понимании фактуры, а не на анархии природы.

— Недурная корзина, — одобрительно заметила жена Грама. — Мы выкрасим ее и сделаем каску для ближайшего обозрения.

— Можно попытаться выменять ее на сметану, — сказал практичный Грам, очевидно, имея в виду наступающую масленицу.

— Это настоящая сказка, — воскликнула Анеля, — тем более прекрасная, что она посвящена женщинам.

Товарищ Покорный молчал.

В тот же вечер, выходя из театра, мы с Анелей наткнулись на препятствие. Оно предстало перед нами в образе толстого розового человека в инженерной фуражке. Его добротное суконное пальто было распахнуто, из-под него выглядывал прекрасный костюм. Сквозь толстые стекла пенснэ смотрели выпуклые деформированные глаза. Он стоял у фонарного столба и, очевидно, ждал нас.

— Ээ... простите, пожалуйста, — сказал он, и голос его был такой же выпуклый, как и глаза, — я хотел бы... я чрезвычайно счастлив приветствовать молодые женские дарования «Созэпа». — И он расшаркался перед Анелей и мной. — Разрешите представиться, инженер Альберт. Может быть, слышали: Альберт, фабрика сельскохозяйственных орудий. Бывшая, конечно.

Анеля просияла, как роза, опрысканная дождем. Увидя эту улыбку, Альберт в свою очередь улыбнулся. Уверенно и спокойно он взял Анелю и меня за локти.

— Ну, я очень рад, что вы такие простые и милые,—сказал он.— По этому случаю мы немедленно, сейчас же, сию же минуту отправляемся в кафе «Куб» здесь рядом и заказываем блины. Мы заказываем блины,—перебил он меня, видя, что я собираюсь возражать,—и три маленькие рюмочки рябиновой, которые мы пьем за нашу дружбу. Какие могут быть разговоры!

Потом все пошло очень быстро: черная холодная улица мелькнула поворотом одним и другим. Туманная глыба театра осталась в стороне, сплошные темные здания как бы раздвинулись, давая место маленькому, очень теплому, очень красному окну. К этому окну полагалась дверь, и все это вместе представляло из себя кафе «Куб», первый ресторан периода нэпа.

У двери, на мостовой, сидела женщина с ребенком.

— Я голодная, я голодная, я голодная,—повторяла она глухо и монотонно.

В то время у нищих, переполнявших улицы, было в запасе множество жестов, слов, интонаций и выражений лица, при помощи которых можно было извлечь из прохожего кошелек некоторую микроскопическую сумму. Но слова: «Я голодная, я голодная, я голодная» были самыми сильными из всех.

В кафе «Куб» было тепло, в кафе «Куб» было светло, в кафе «Куб» играла музыка. «Миллион Арлекина» играла музыка — сладкий вальс-бостон. И этот миллион этого Арлекина растекался золотом по тарелкам и стаканам. Виолончель, скрипка и рояль скользили по воздуху, жирному от блинов. Хозяин кафе, подергиваясь легким тиком, расхаживал посреди столиков и бережно склонялся к посетителям. Подойдя к нам, он дохнул нежным шопотом в ухо Альберта.

— Есть икра, — прошелестел он, — зернистая икра, крупная, как жемчуг.

В углу на столе стояли поразительные вещи: красные раки, посыпанные зеленью, серебристые кильки, свернутые на половинке яйца, оранжевый окорок и апельсины в вазе.

В двенадцать часов дверь прикрыли наглухо, занавесили окна, скрипач вынул сурдинку, пианист прижал левую педаль, и виолончель притаила голос. С этого часа надо было стараться не производить шума.

Мы выпили три маленькие рюмочки рябиновой и принялись за блины. Я знала, что мне необходимо встать и уйти. Я вообще не понимала, почему я здесь, но дело обстояло так, что я не могла перестать есть. Первый раз за много месяцев я ела такую необычайную и благоуханную пищу. Блины наступали на меня сомкнутыми рядами, золотое масло и серебряная сметана текли рекой. В реке этой водилась рыба—розовая лососина—и метала жемчужную икру. Арлекин снова рассыпал свои миллионы.

Сквозь туман блинов и музыки ко мне доносились слова инженера Альберта. Он говорил:

— У меня была фабрика сельскохозяйственных орудий, моя специальность плуги, но по существу я поэт. Я люблю театр, музыку, искусство. Театр близок мне. Я, прежде всего, эстет. Да здравствуют молодые женские дарования! (Он выпил рюмку вина.) Что я имею против советской власти? Ничего. Что можно иметь против идеи равенства, которая безусловно прекрасна. Рабочий тоже человек. (Он проглотил блин.) Та-ри-ра, — запел он вместе с Арлекином. — Но все это в будущем, мы еще не доросли до этого. Наша страна дика. Не думайте, что во мне говорит жестокость предпринимателя: я очень добр. В детстве я был до смешного добрый мальчик. Когда мучили кошку, я плакал. Мой отец говорил про меня: «Что такое вырастет из нашего Филиппчика. Наверное, меценат». Как видите, он оказался прав, мой старик. Кушайте, не стесняйтесь. Человек, еще сметаны. — Он откинулся на спинку стула и закрыл глаза, покачиваясь в такт вальсу. — Ах, музыка — жизнь моя. Но, между прочим, я хотел сказать вот что: я бы хотел субсидировать ваш театр. Вы все очень талантливы, очень молоды, в вас столько огня. Но ведь вы, простите меня, просто дети. Вы сидите в подвале в то время, как вам надо быть на поверхности. Дайте мне вмешаться — и получится вместо забавы коммерческое дело. С вашей помощью, — обратился он к Анеле и ко мне, — мы сделаем такие, ого-го, дела. Однако позвольте... разрешите...

Он положил салфетку и прислушался. Какое-то движение прошло по всему «Кубу». Музыка сразу прервалась, хозяйский тик разросся до пляски святого Вита. Цветные бутылки на полке исчезли неизвестно куда, прямо под пол. Сквозь занавешенное окно стали доноситься какие-то голоса и шорохи. Стало совершенно ясно, что несколько человек окружили «Куб» и что они сейчас постучат.

— Облава, — простонал хозяин каким-то зеленым голосом. И нас втиснули в темный проход, холодный и гнусно пахнущий мышами и котами. Там мы стояли, прижавшись друг к другу, покуда в помещении кафе хозяйничали спокойные властные люди.

— В чем дело? — спросила Анеля недостаточно тихо. — Что такого мы сделали? Мы ели, пили, говорили о театре. Неужели нельзя говорить о театре? Вы же не против советской власти, вы сами сказали.

— Тише, чорт вас возьми, — зашипел на нее в темноте инженер Альберт. — Неужели нельзя говорить тихо. Я не против советской власти, но советская власть против меня, понимаете вы это...

Я шла домой ночью одна через весь город. Путь этот был так долог, что я успела обдумать всю свою жизнь. Первые несколько улиц я потратила на детство, потом на юность. В начале Канатной улицы я уже думала о самом недавнем прошлом: «Чепчики, отделанные мехом... — думала я. — На Востоке обходятся без дрожжей».

На улице Белинского я занялась настоящим. «Если инженер Альберт находит, что наш театр хорош, — думала я, — то, значит, нужно как можно скорее сликвиднуть его». — В Обсерваторном переулке я перешла к будущему. Там была скамья у каких-то ворот,

я села на нее: глубочайшая ночь, еле окропленная звездами, лежала вокруг. Я села на скамью, и тотчас же из-под ворот вылезла большая собака. Из-за темноты она не имела цвета, почти не имела формы, и только мерное колебание на одном ее конце показывало, что здесь кончалась она и начинался хвост. Она села рядом со мной и зевнула. Таким образом, у меня оказался собеседник.

— Так вот, — начала я, — как же теперь быть? Что бы ты мне посоветовала? — Собака молчала: быть может, она боялась ответственности. Кто ее знает. — Я верю теперь, — продолжала я, взяв ее за большое теплое ухо, — что я могу писать. Я написала несколько вещей, которые... которых... одним словом, это не так уж плохо. Я написала их для театра. Но сам-то театр игрушка. Очень надоели игрушечные вещи, ты знаешь. Хорошо бы делать что-нибудь настоящее... Многие едут в Москву, — продолжала я после паузы, во время которой моя приятельница искала на себе блох. — Москва — это сердце страны: у сердца всегда теплее. Там легче жить. Там много журналов, газет. Что ты скажешь? — Собака, положив морду ко мне на колени, молчала.

С той минуты я начала думать о Москве.

Бывает так, что одна какая-нибудь мысль овладевает многими умами сразу и многими сердцами. В таких случаях говорят, что мысль эта «носится в воздухе». В то время повсюду говорили и думали о Москве. Москва—это была работа, счастье жизни,...полнота жизни, все то, о чем люди так часто мечтают, и что так редко сбывается. Это было кипение. Это было великолепие и блеск часового механизма, разобранного на части и теперь вновь пущенного в ход, лучшего, самого дорогого механизма на алмазах, в то время как в провинции неуверенно и жалко вращались разрозненные ржавые колесики.

Расположившись вдали на просторной и низкой земле, Москва светила и грела, как лампа, поставленная на пол. Вся страна тянулась к этим лучам, и от этого тени в углу казались еще гуще.

Едущих в Москву можно было распознать по блеску глаз и по безграничному упрямству надбровных дуг. Этим людям нельзя было мешать: они ехали за счастьем. А Москва? Она наполнялась приезжими, она расширялась, она вмещала, она вмещала. Уже селились в сараях и гаражах, но это было только начало. Говорили: Москва переполнена, — но это были одни слова: никто еще не имел представления о емкости человеческого жилья. Городу суждено было вместить еще легионы провинциалов, этого жадного племени, непобедимого в бою. Их было много, они наступали со всех концов, летели роями на свет лампы.

Провинция в это время жила, склоняя: «В Москву, Москвой, о Москве».

Наш хозяин, газетный очеркист, был слишком стар и немощен, чтобы лететь на свет волшебной лампы, но с тем большей жадностью с ним читал газеты. Он умел их читать, как никто, извлекая все сведенья,

все соки, все, о чем газета говорила и о чем она умалчивала. Цвет и качество бумаги, типографская краскá, система верстки говорили ему больше, чем сами буквы.

Газета выходила по-разному: иногда это была тонкая розовая бумажка, в которую раньше заворачивали цветы. Иногда, наоборот, толстая бурая бумажища больших светков. Иногда буквы еле касались чрезмерно гладкой поверхности, и тогда газетные сведения как бы реяли над самой газетой. Иногда шрифт глубоко впивался в бумажную рыхлость, и тогда газету можно было читать на ощупь, как это делают слепые.

Вскоре после блинов в кафе «Куб» я возвращалась домой с репетиции. В этот день товарищ Покорный жестоко рассорился с Аркадием Грамом из-за репертуара. Положительно, миленький маленький «Созэп» начинал чувствовать себя гусеницей, из которой должно было вылупиться неизвестно что: в таком виде он не мог больше существовать.

Луна всходила над домами большая, пылающе-красная; облака стали дымными и золотыми. Пламя луны становилось все больше, оно все разрасталось, как пожар, а самой луны не было видно. И внезапно я поняла, что это и есть пожар. «Пожар, пожар», — кричали мальчишки, несясь во весь опор к месту веселого происшествия. Потому что во все времена, у всех народов, при всех правительствах пожар для уличного мальчишки есть сочетание шума, гимнастики и фейерверка, другими словами, настоящий праздник.

Горел наш дом, наш маленький хилый дом на краю города. Из всех домов именно он был отмечен красным пальцем пожара. — «Беда, беда», — кричали дымные галки над крышей. Ветер завивал пламя то в одну, то в другую сторону: у дома выросли рыжие космы, которые мотались от ветра.

Все произошло от хозяйских валенок на плите и бутылки бензина рядом. Слишком интересна была в тот день газета, слишком далека жена, слишком горяча плита. Результатом всего этого явился пожар. У нас сгорело почти все. Чужие люди выхватили Киску из горящих подушек, пока Юлия Мартыновна, полузадушенная дымом, медленно приходила в себя в соседнем доме.

От страха Киска потеряла голос. Она пахла горелым, лицо было в саже, непротекающие две слезы стояли в ее глазах.

— Джерри сгорел, — наконец, сказала она. — И Юля тоже.

Теперь у меня ничего не осталось: разрозненные и неузнаваемые вещи были разбросаны по двору. Страшнее всех были подушки, полураздавленные и мокрые. Из их цветных оболочек вместе с пухом птиц уходило сонное тепло многих ночей, тепло гнезда, которое было теперь окончательно разрушено.

Нужно было начинать жить сначала, и лучше было сделать это в Москве, чем здесь. Пожар сыграл здесь роль друга и помощника. Можно сказать, что это он усадил меня в вагон и махнул на прощанье красным платком.

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

Вагон был суров и стар: бока его потемнели от тысячеверстных путей. Если бы такой вагон был человек, то я бы сказала о нем, что это жилистый и упорный старик, вынесший тяготы революции на своем хребте и могущий служить примером более слабым и молодым товарищам. Это был жесткий кряжистый старик третьего класса, недавно побывавший в бане. Он был тщательно очищен от насекомых и смазан, полит и опрыскан смесью карболки, формалина, иодоформа, страшной жидкостью, от которой задыхались не только вши, но и люди.

Сам поезд был несколько необычен: он был мал, короток и состоял из трех наглухо закрытых товарных вагонов, и вот этого четвертого, о котором я уже сказала. Поезд вез в Харьков, в столицу Украины, украинские деньги, карбованцы, напечатанные у нас в городе: харьковские типографские машины стонали день и ночь, работали без устали, и все же не успевали печатать нужное количество печатных денег. Бумажные деньги тех годов не были, как теперь, обеспечены «всем достоянием Республики». Тогда это были бумажные листки, неисчислимы, как листья осени, которые неслись ураганом по всей стране. Три вагона были набиты денежными тюками, а четвертый — отдан охране.

Товарищ Покорный надоумил меня обратиться к начальнику охраны и попроситься к нему в вагон. Я отыскала начальника охраны на вокзале, где он крупно препирался с начальником станции о дне и часе отправки поезда. Оба начальника были замучены: у первого фуражка была надвинута на самые глаза, у второго — сдвинута на затылок. И местоположение этих двух фуражек как нельзя лучше характеризовало позиции спорящих: один наступал, закрыв глаза на все препятствия, другой был приперт к стенке, но сопротивлялся.

Наконец, путем взаимных уступок соглашение было достигнуто. И тогда выступила я и сообщила, что мне необходимо в Москву. Начальник станции, видя, что это его не касается, исчез. Начальник охраны поговорил со мной подробно.

— Это совершенно невозможно, — сказал он сначала. — Там должна помещаться только охрана, а если там будут посторонние, то какая же польза от охраны. Согласитесь, что, помещаясь в вагоне, можно произвести нападение изнутри. — Потом, поглядев на меня внимательно и, очевидно, придя к заключению, что опасность не так уж велика, он прибавил: — Да и вообще... не могу... неизвестные лица... ценности... мои ребята... В пути мы не застрахованы от неприятностей... — Он упомянул еще о шайках и бандах и заключил твердо: — Не просите, потому что это невозможно. — Он сдвинул фуражку со лба на затылок и обратно на лоб и прибавил: — Никак невозможно. Я Покорного знаю, вместе работали, но сделать никак не могу. По инструкции, данной мне, никак не могу. Да мы идем ведь только до Харькова.

— Ну, хоть до Харькова, а там уж как-нибудь.

— Как-нибудь... как-нибудь,—повторил он с неудовольствием.— Нет, не могу.—И тогда я пала духом. Начальник охраны стал лучистым и туманным, от него пошли колючие лучи: я моргнула и прихлопнула слезы ресницами, но они сейчас же вытекли обратно.

— Эх, — с досадой выговорил начальник, — ну, уж это просто не знаю, как назвать. Я ведь вам по-русски говорю, что инструкция не предусматривает... Эх, — еще с большей досадой повторил он, видя, что слезы, не предусмотренные инструкцией, текут все сильнее.— Ну, тащите свои манатки, — закончил он, отвернувшись. — Сегодня вечером едем. Только, чтобы я вас не видел и не слышал в пути. Ну, и кончено, ну, и довольно. Точка.

И вот, он настал, час отъезда. Стараясь быть по возможности невидимой и неслышимой, я просила не провожать меня, но кое-кто все же пришел. Вот Юлия Мартынова, вся в слезах, вот Лева Симцис, умирающий от зависти, что не он едет в Москву. Вот товарищ Покорный.

— Только не дрейфьте, только не дрейфьте, — повторяет он. — Устройтесь, чего там.

И, наконец, Абель Евсеевич, смутный и неясный, как смутен и неясен мой отъезд. В руках у него свертки, кульки, новый жестяной чайник, светлый, как молодой месяц. И отдельно от всего пузырек с притертой пробкой несомненно лабораторного происхождения.

Подозревая с его стороны желание сказать мне несколько слов наедине, я отвела его в сторону, в конец поезда. Там, возле буфера, я увидела, как грустны глаза Авеля Евсеевича. Там он вручил мне все сверточки и кулечки, повесил на руку чайник и передал пузырек. О пузырьке он сказал особо несколько слов:

— Лорд Байрон, путешествуя, — сказал он, — возил с собой серебряную ванну. В некоторых странах, в частности в Италии, это вызвало открытое возмущение. Добродушные и нечистоплотные венецианцы были потрясены развращенностью британского аристократа. К сожалению, я не могу вам предложить даже подобия ванны, хотя в настоящих условиях это было бы как нельзя более кстати. Поэтому я позволил себе принести вам жидкость, которая на девяносто процентов избавит вас от паразитов. Я изготовил ее сам в своей лаборатории, и мне кажется, я могу поручиться...

В этом месте голос его прервался. Он взял меня за руку и умолк.

Юлия Мартыновна прижимала Киску к сердцу.

— И каждый день ты будешь вспоминать Юлю, утром и вечером,—повторяла она, вытирая слезы.—И каждый день ты будешь аккуратно сама чистить зубы щеткой, утром и вечером. И каждый день...

Лева Симцис со смущенной улыбкой передал мне объемистый пакет, адресованный в Наркомпрос. В нем заключался проект дешевой и быстрой раскраски общественных зданий в радостные и революционные цвета.

Я не смею утверждать, что это отнеслось ко мне, но родное небо плакало в минуту расставания. Крупные капли упали на крышу перрона. В запахе влаги и пыли как бы заключался аромат неродившихся еще трав. Снова наставала весна, пятая весна революции. И внезапно облака разошлись, и высокая нежная радуга, предвестница удачи, приподняла и раздвинула небо: один конец ее упирался в море, другой уходил в степи, далеко на восток, туда, где была Москва.

Не по-теперешнему, не по-мирному, а слишком уж бездомно и раздельно, как в песне, загудел паровоз. Из руки моей, которой я махала на прощанье, выпал забытый меж пальцев чудодейственный пузырек Авеля Евсеевича, моего милого друга. Выпал и разбился о вокзальный асфальт, распространяя невыносимое зловоние. Секунду еще этот запах следовал за нами, а потом отстал. Дождевая ширь незасеянных полей как-то сразу наполнила вагон. И Киска прижалась ко мне пушистой щекой, которую слезы разлуки и капли дождя овеяли влажной свежестью большого цветка.

Путешествие обещало быть долгим. Нам предстояли станции, полустанки и раз'езды, все это сравнительно тихое и безлюдное. Еще так недавно здесь перекатывались тяжелые валы шинелей, идущие с фронта. Здесь брали штурмом вагоны, словно вражеские окопы, наступали, отступали, падали, получали ранения, как в бою. Атаки на проходившие поезда были нешуточны, и от удара дорожной кладью по голове смерть приходила так же верно, как и от удара прикладом.

Нам достался конец вагона с двумя длинными скамьями и двумя короткими. Все остальное было отделено от нас: между нами и охраной была возведена стена из ящиков, мешков и кульков. Мы были одни. Одно из окон было забито фанерой, другое открывалось с трудом. Мы открыли его с трудом и долго смотрели, как, постепенно темнея, проходили перед нами степные пространства, потому что сторона наша степная, просторная сторона. Земля уже была подернута зеленым, она слегка кудрявилась: нетоптанные, немерянные, лежали степи и ждали руки человека.

На первом же полустанке, где мы остановились, нам показалось, что нашего города не было, что нет нигде никаких городов. Возле самого полустаночного дома, в неглубоком овраге лежала «криничка», горсточка светлой воды, отражающая золотое закатное небо. В светлой глубине плыли там облака и уходили под камыш. А камыш там рос задумчивый и певучий, как Тарас Шевченко в юности. И вот, пока мы стояли, и начальник охраны, он же комендант поезда, снова имел какие-то объяснения с начальником полустанка, из травы вышел гусь с гусыней, и оба начали спускаться на дно овражка к прозрачной воде. Гусь прошел первый, он был сильнее и ловчее, он первый очутился у воды, но пить не стал, а поджидал гусыню. Она шла медленно, оступаясь и выбирая дорогу, а он подбадривал ее снизу успокоительным

голосом. Наконец, гусыня сошла, они одновременно опустили клювы в воду, потом поплыли вместе прямо по облакам и золотому небу. И круги пошли по воде, как морщины у глаз, когда смеется старый и добрый человек.

Мы стояли так долго, что успело совершенно стемнеть, гусиное семейство отправилось спать, закат кончился, и большие украинские звезды нырнули в камыши. У наших спутников зажгли огонь, сквозь щели к нам проник свет. Тогда и мы зажгли свечку, покапав стеарином на скамью, потому что вагон наш не освещался никак.

— Мам, — сказала Киска, — это совершенно наш дом. Тут наше все. Больше у нас ничего нет.

И правда, вагон был нашим домом, тут было наше все, и больше у нас ничего не было.

Мы были в пути уже несколько дней, у нас уже отстоялся быт: чтобы не жечь даром огня, мы рано ложились спать, мы умывались на станциях под краном и покупали у баб еду, которая подешевле. Светлый чайник—прощальный подарок Авеля Евсеевича—перезнакомился со всеми котлами и баками на станциях и, быть может, даже отметил мысленно кипяточные и бескипяточные пункты, потому были такие и этакие. Москва словно утонула, растаяла словно в этом раздолье страны. По вечерам охрана пела хором за ящиками, мы с Киской подпевали им. И хотя у нас с нашими соседями не было ни дружбы, ни вражды, и даже голосов наших не было слышно в общем хоре, но нам было приятно, что мы поем, и так, через песни, мы всех узнали по голосам и даже приблизительно определили характеры.

Будучи сжигаема жаждой деятельности и открытий, Киска, несмотря на мое запрещение, провертела пошире щель между охраняемыми ящиками, с наслаждением глядела туда по вечерам и сообщала о всех поочередно: — Курит... Сапог снял... Достал хлеб... Снял второй сапог... — пока я окончательно не запретила ей подглядывать и собственными руками не уничтожила щель.

Все шло хорошо, но на середине пути нас подстерегала беда.

— Вставай, Киска, — сказала я в одно утро. — На этой станции, по-моему, должен быть кипяток. Ну-ка, подымайся.

Но Киска не поднималась. Она припала щекой к чемодану, заменявшему ей подушку. Одна из ее толстых маленьких косичек тяжело, как мокрая, лежала вдоль лица, другая была закинута куда-то назад. Она ответила медленно и как бы сквозь сон:

— Я каждый день чищу зубы, Юля, ей-богу, но сегодня не могу: я их потеряла.

Я тронула ее лоб, ее грудь, попыталась поднять ее: она была тяжела и горяча. Она не желала взглянуть на станцию, не интересовалась кипятком. Она была больна, и что же мне было теперь с ней делать?

Я подозреваю, что щель между ящиками была мной уничтожена не окончательно или, быть может, впоследствии возобновлена, и что

не только моя дочь заглядывала в нее. В тот же день моим спутникам сделалось известно положение дел. И в тот же вечер, когда я, сидя в темноте возле тяжелой и горячей Киски, слушала равнодушный говор колес и размышляла о железном равнодушии мира, охранная преграда без всякого предупреждения распалась от толчка с той стороны. Образовалась брешь, в которую неровно вплыл махорочный дым и теплый воздух, пахнущий кожей и шинелями, и начальник охраны переступил через мешки...

— У вас девочка больна, — сказал он, — так вот, не тиф ли: как бы всех не перезаразить.

— Буржуйские детлаки, они завсегда квелые. Ты на его дунь, он и скапунится, — произнес из глубины язвительный нехороший голос.

— Ну и дурак — возразил кто-то другой, тоже невидимый, но, несомненно, большой, медлительный и справедливый. — Сам-то ты от таких буржуев происшедши, а сколько в тебе тифов перебивало. Каково тебя карежило, — забыл, небось. Только бы языком трепать.

— Ну-ка, помолчите там, — опять заговорил начальник. — Гусятников, дай фонарь; есть у нас в углу, где винтовки.

Заггли фонарь, Гусятников вышел из полутьмы, неся свет перед собой: это был тот самый человек, который вступился за Киску и признал за буржуазией право болеть тифом наравне с пролетариатом. Гусятников, как я и предполагала по голосу, был чрезвычайно велик, медлителен, сапоги его гремели, словно каменные. Он поднял фонарь над Киской и осветил болезненно длинные, слипшиеся ресницы и рот, подпухший и надтреснутый, как вишня. Начальник, придерживая тяжелую кобур, стал рассматривать Кискину шею — нет ли сыпи.

— По инструкции, — сказал он, — если кто подозрительно заболевает в пути, того оставляют на ближайшей станции.

— Я так предполагаю, не сыпняк это, — решительно поставил диагноз Гусятников. — Простыла дивчина, и все тут. Рюмку водки если с перцем дать, как рукой снимет.

— Ну, как знаете, — сказал начальник, уходя. — До утра подождем, а утром, если что не так, ссадим.

— Товарищ Гусятников, — обратилась я к нему потихоньку, чтобы другие не слышали. — Вы ей водки с перцем внутрь не давайте, не надо. А вот, если у вас найдется что-нибудь спиртное, хоть немного, я вам большое спасибо скажу. Я разотру ее: мне тоже почему-то кажется, что это не тиф, а простуда.

Он молча, при неопределенном молчании остальных, принес мне какой-то жидкости в кружке и к этому еще небольшую твердую подушку в наволочке из алого бархата. Театральное кресло, с которого бархат этот несомненно был содран, пронеслось передо мной в образе скальпированного индейца.

— Неловко ей лежать, — сказал Гусятников про Киску. — Вы, что же это, даже подушки с собой не захватили: здесь вам не ресторан-салон, удобств никаких.

Я об'яснила, что подушки сгорели во время пожара.

— Никакого разумения нет, — проворчал он. — Чем бы остричь девчонку, чтобы в дороге вошь не завелась, вы ей волосы отпустили. Обязательно постричь надо.

— Гусятников нянькой заделался, — зло засмеялся прежний голос, но никто не поддержал его. Гусятников не взглянул в ту сторону.

Я крепко вытерла Киску принесенным спиртом и тепло укрыла ее. Испарина пришла, наконец, обильная, как дождь. Она смочила косы, ресницы, щеки и даже подушку кардинальского пурпура. И, ослабев от счастья, от почти невыносимого чувства облегчения, что это не сыпняк, что нас с Киской не оставят, согласно инструкции, на захудалой станции в приемном покое, а не то просто на перроне переживать все фазы сыпного тифа, быть может, вплоть до ущерба жизни, от избавления я уснула так крепко, что утром, когда Киска сказала мне: — Вставай, мам. По-моему, на этой станции есть кипяток, — я едва приподняла голову и снова уснула.

В этот же день Гусятников коротко постриг Киску, сказав, что у него в деревне три девчонки, и что он это умеет. Я была так благодарна ему за все, что не посмела протестовать. И Киска в'ехала в столицу Украины, Харьков, если не вполне безволосой, какой была некогда я после тифа, то коротко остриженной, с косым пробором и зубом на лбу, как самый лихой запорожец.

Из Харькова в Москву шли уже пассажирские поезда. Движение было еще не регулярно, оно только еще начиналось. Поезда возникали, как кометы, и уходили, распластав дымные хвосты: паровозные топки были в плохом состоянии, топливо было скверное, и дыму было больше, чем огня. Первые два поезда пошли совсем недавно, и о них говорили с удивлением и восторгом. Мы попали в третий. Он был набит, на полках для вещей спали люди, на каждой скамье сидело по трое человек. Посадка была мучительна, пассажиры лезли в окна, контроль в пути требовал не билетов, которых не было вовсе, а удостоверений и командировок. В вагонах не было ни огня, ни воды. И все же порядок уже реял над всем этим. И кометное «беззаконие» готово было уступить место расчисленному расписанию, когда поезда приходят и уходят в положенные часы, как звезды.

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

Там в укронной пещере живет

Молчаливая тварь антрекот.

Светлов.

Леса, леса бежали вдоль поезда. Острые черные ели врезались в медовое северное небо. Солнце только еще всходило, весна только еще начиналась: мы под'езжали к Москве.

Брянский вокзал, недавно законченный, встретил нас влиचाво и строго. На его каменных плитах шаги отдавались, как в музее. Была

чистота. И хотя урн еще не было, но этрусские светильники под толком лили античный свет на каждый плевок и окурочок, за которые полагался уже штраф. Два худеньких наших чемодана, да и мы сами, растворились в этих холодных просторах. Мы здесь не знали никого, и нас не знал никто. Все было озабочено и полно в этом городе, и все же нужно было отвоевать себе здесь место: жизнь дается одна, и нужно прожить ее во что бы то ни стало.

Мы сели в трамвай номер четвертый. Выносливость московских трамваев велика; выносливость приезжих—тоже. Мы вынесли все, что нам полагалось, мы получили свою долю испытаний. Мы ночевали в неведомых квартирах, у людей, желавших нам добра, но бессильных помочь. Первая неделя прошла в странных ночевках: ни одна ночь не походила на предыдущую. Мы ночевали в чужой спальне из дерева «птичий глаз», в одной кровати с пышной хозяйкой, чей муж уехал в глубь страны спекулировать мануфактурой. Атласное одеяло с монограммой баюкало нас лебяжьим теплом, но это было чужое одеяло, чужая монограмма и чужое тепло. Мы ночевали в комнате, разделенной шкапами и занавесками на четыре других комнаты. Ситцевые стены колебались от чужих дыханий, на диване спали мы. Диван был черен, как ночное небо, и клопы шли по нем, как Млечный Путь.

Мы ночевали у зубного врача в его кабинете: я—на узкой клеенчатой кушетке с твердым валиком, Киска—на зубоврачебном кресле, откинута навзничь, как во время операции. Бормашина на одной ноге сторожила ее сон. После этого мы провели два дня в подвальной квартире, откуда видны были только ноги и колеса, торопливые московские ноги и колеса, бегущие по своим делам. Бездомные псы, которые в голодные годы почти все были уничтожены и теперь только начали возрождаться, заглядывали в открытую форточку: собаки очень любопытны, почти как люди.

Наконец, после подвала мы попали на седьмой этаж. Неподвижные толпы крыш подступали к нашим окнам, вся Москва лежала под нами, храм Христа Спасителя притягивал солнечные лучи, как стекло от часов, Воробьевы горы розовели за рекой. Здесь мы основались...

Трудно сказать, чем руководствовался строитель этого здания, за что покарал его так жестоко, лишив его лифта и даже надежды на лифт. Но дело обстояло именно так: никаких подъемных средств в этом доме не было и не предвиделось, и сто девяносто шесть ступенек, отделяющие тротуар от нашего звонка, были утомительны для ног и тяжелы для сердца. Вместо земных собак здесь были надземные коты; они пели и плакали на крышах, потому что была весна.

На седьмом этаже мы поселились у акушерки, которая нуждалась. Деторождение в первые годы революции было мало распространено, акушерка была безработна, пивяки, банки и прививки не могли прокормить ее, и те небольшие деньги, которые мы платили ей за половину комнаты, отгороженную портьерой, облегчали ей жизнь. Уже потом, почти через год, мы получили самостоятельную комнату в этой же

квартире. Комната была чрезвычайно мала и ничем не обставлена. Она освещалась двумя большими окнами—ее единственной роскошью: так иногда худенькое личико невзрачного ребенка бывает освещено и украшено огромными прозрачными глазами. Но все это пришло гораздо позже.

Наша акушерка была невелика ростом, очень плотна, говорила громовым баритоном, курила крепкий табак: от ее поступи сотрясалась мебель, как от грузовика. По вечерам она рассказывала Киске истории из жизни пиявок, которых она изучила в совершенстве. Оказалось, что пиявки не любят холодной воды, не любят запаха эфира и пахучего мыла: у них была своя жизнь. Акушеркин кот, по имени Терентий, присутствовал при этих беседах.

Остальное население квартиры было велико и разнообразно. Оно сходилось по утрам в кухне у раковины, с полотенцами через плечо. В ванной комнате было две ванны: одна простая и одна газовая, но пользоваться нельзя было ни одной. В соседней с нами комнате жил кабаретный актер. Он выступал в ночном кабаре от часу ночи до четырех часов утра; днем он спал. Иногда, на рассвете, он возвращался не один, и тогда рядом с его шагами шелестели вторые легкие шаги. Стена была тонка, и сквозь нее доносились слова любви, старые неистребимые слова.

— Что вы будете делать завтра?—спрашивала она.

— Благоговея ждать вас,—отвечал он. Разговор о любви неукоснительно кончался сожалением по поводу того, что обе ванны бездействуют.

Дальше по коридору жил человек совсем другого склада. Он раньше всех приходил на кухню с полотенцем через плечо, для него по утрам призывно трубил автомобиль, в его комнате висели диаграммы (кривые падали и возносились), он служил в комиссариате путей сообщения: его дневное существование было полной противоположностью ночному бытию актера.

Северная весна днем наполняла квартиру бледной солнечной пылью, вместо ночи были закатные сумерки, неизвестные у нас на юге. Рассвет наступал в два часа и долго тлел, не разгораясь. Москва внизу была бледна и пуста, кот Терентий пел на крыше, могуче дышала акушерка.

— Что вы будете делать завтра? — спрашивали за стеной.

— Благоговея ждать вас, — был ответ.

Из всего этого я написала свой первый рассказ. В нем была пустая Москва, кот Терентий на крыше, акушерка, актер, подруга актера, человек из НКПС: пучок разнообразных жизней, связанных северной ночью, которая не хочет темнеть.

Рассказ был еще тепел и влажен, как птенец, и таким я отнесла его в редакцию. Я долго думала над тем, в какую именно, я внимательно пересмотрела московские журналы, их оболочку, их содержание, и выбрала небольшой еженедельник, в котором помещались рас-

сказы, похожие на мой, только похуже: пишущему часто кажется, что остальные делают то же, что и он, только не так хорошо. В приемный день (четверг от 4 до 6) я отправилась в редакцию.

Редактора не было, он был в отпуску: летом редактор всегда в отпуску. Меня принял секретарь, и я была раздавлена величиим секретаря, который всегда тем величавее, чем незначительнее журнал: но тогда я этого не знала. Слоистый зной наполнял комнату, пишущая машинка уныло скалила зубы, в углу стояло гоночное весло, вентилятор над письменным столом издавал стонущий звук, словно оплакивая голову секретаря.

— Видите ли,—сказал секретарь, свернув мою рукопись трубкой и приставив ее к левому глазу, — мы, собственно, обеспечены материалом уже до октября. Но все-таки приходите через неделю.

Через неделю мне вернули рассказ: первый вылет птенца оказался неудачным. Я разгладила его помятые крылышки, стерла пометку о возврате и отнесла во вторую редакцию. В длинном коридоре юная курьерша в маково-красной повязке, взглянув на меня со всей строгостью своих семнадцати лет, указала мне нужную дверь.

В этой второй редакции не было ни весла, ни зноя, окна выходили в тень, и сам редактор принял меня. Он намекнул мне, что журнал загружен рассказами о северных ночах, но, впрочем, просил притти через неделю.

— Я прочел ваш рассказ два раза,—сказал он мне через неделю. Услышав это, я искренно обрадовалась: мне все казалось, что первый секретарь не прочел его ни разу.— Я прочел его дважды, — продолжал редактор, — один раз здесь, в редакции, когда у меня болела голова, и второй раз у себя дома, когда мне никто не мешал. Мне кажется, что вы действительно можете писать. У вас недурной глаз, вы многое видите, но многое вы видите не так, как надо. И потом, почему все ваши герои идут вразброд, почему ничем не объединены? Почему так одиноки?

— Я именно и хотела показать человеческое одиночество в переходную эпоху, когда старые формы жизни уже разрушены, а новые еще не налажены.

— Допустим. Но даже если и так, то все же конец вашего рассказа для нас неприемлем. Разве это бодрый конец хорошего советского рассказа?

— Я переделаю конец, — ответила я покорно. — То-есть я постараюсь.

— А начало... особенно это место: «и луна взошла над человеческой печалью»... Повторяю, нам нужна бодрость.

— Но ведь есть печаль, которую необходимо испытать, чтобы притти к бодрости. Впрочем, я переделаю начало. То-есть я постараюсь.

Редактор взглянул мне в глаза совсем просто, по-человечески, по-дружески.

— Бросьте вы эту волюнку,—сказал он.—Старайтесь не старайтесь, рассказ ваш не подходит, и дело с концом. Попробуйте написать что-нибудь еще и тащите мне. Да чего вы огорчаетесь! Говорю: попробуйте еще.

Еще одна минута, и я бы сказала ему, что этот рассказ для меня очень важен, во-первых, сам по себе, а, во-вторых, потому, что я надеялась получить за него немного денег, которые мне давно уже нужны. Еще бы одна минута... Но как раз в эту минуту вошла строгая юная курьерша, подала редактору бумагу, редактор склонился над ней, и уже он был далеко от меня. Куда!.. не догнать.

Возвращаясь из театра домой, кабаретный актер был то грустен, то весел. Иногда он с легкостью одолевал все семь этажей, прыгая через три ступеньки и едва касаясь перил. У себя в комнате, сняв башмаки, он босиком исполнял небольшую веселую чечотку, нечто в роде благодарственной молитвы кабаретному богу. Но иногда актер подымался медленно и трудно, и однажды на рассвете я видела его в передней на стуле: голова опущена, чемоданчик с гримом у ног, длинные руки повисли вдоль клетчатых брюк. Бедный, бедный человек.

Я решила переговорить с ним ночью, потому что днем он спал, а вечером уходил обедать. И вот, выбрав благоприятную чечоточную ночь, я обратилась к нему с просьбой помочь мне устроиться там, где он работал. Для меня это был настоящий удар, для этого не стоило приезжать в Москву, но другого выхода не было: акушерка, которой я задолжала уже за две недели, определенно намекала, что ей очень нужны деньги, что жизнь тяжела, и что даже пиявки нестерпимо подорожали.

У кабаретного актера, помимо звучного англо-итальянского псевдонима (звали его Джек Паулини), было еще незлое сердце. Он обещал и выполнил свое обещание. В один из ближайших дней он повел меня в театр, где он работал, чтобы познакомить с директором, режиссером и владельцем. Все это соединялось в одном лице, в одном очень широком, красном, плотном и бритом лице. Седоватые волосы на голове были зачесаны с таким расчетом, чтобы скрыть лысину, но она не скрывалась.

Мы с Джеком Паулини пришли во время репетиции. Меня опажули запахи и звуки, знакомые мне по «Созэпу»: запах сырых опилок, словно открыли ящик старого винограда, и звуки ригурнеля, где забывали брать дизз. Я вспомнила наш «Созэп», и у меня зануло сердце.

Театр Джека Паулини назывался «Каравай». Он был в стиле русской избы, такой, какой ее представляют себе наивный немец или француз, в стиле глазастого трактирного чайника, одеяла из лоскутов, полушалка, гитары с лентой... Самая дорогая и почетная ложа имела вид русской печи, и головы сидевших в ней выглядывали оттуда, как горшки.

«Каравай» был не просто театром: он был кабаре. И не просто кабаре, а ночным кабаре, соединенным с рестораном. Это был театр,

где искусство соединялось с гастрономией. Не надо, впрочем, думать, что гастрономия преобладала: искусство было там в таком почете, что во время исполнения номеров хождение официантов с блюдами было строго запрещено. Исключение делалось только для «судака по-монастырски» (с шампиньонами), который настолько нежен, что, будучи изготовлен, не может ждать ни минуты.

Директор «Каравая», Алексей Алексеевич Рындин, несмотря на седые волосы и даже их отсутствие, был настоящий юноша по пылкости воображения и по искренности. Он твердо верил, что «Каравай» — несказанное достижение революционного народа, и что наши популярнейшие вожди только потому не коротают там своих вечеров, что дела государственной важности лишают их досуга.

Мы договорились с Алексеем Алексеевичем.

— Ты вот что, — сказал он мне, — ты не робей. Подадим тебя публике, как конфетку. Конферирую я сам, я тебя не обижу. Напиши ты нам что-нибудь такое современное, но изящное, женственное, понимаешь ли, благоуханное.

Алексей Алексеевич, в качестве старого актера с традициями, говорил всем без исключения «ты» и обожал благоуханья. Мы сошлись на жаловании в пятьсот тысяч рублей в месяц: за эти деньги я должна была писать и играть... Пятьсот тысяч!.. Киска, Киска, наши дела положительно налаживаются.

Началась ночная жизнь, ночное бытие. В двенадцать часов ночи я уходила в театр и возвращалась в пять утра. Я ложилась в шесть и просыпалась в три, когда Киска давным-давно уже вернулась из своей «опытно-показательной» школы, куда я отдала ее, и готовила «задания». Я уходила на репетицию, а она оставалась одна. Летом все это было нестрашно, но, когда началась осень, я, словно лошадь шахтера, забыла, как выглядит день.

Алексей Алексеевич не обманул меня. В первый же вечер моего выступления он представил меня публике, сказав, что сейчас выступит новая актриса, она же и автор, актриса «очень хорошая, потому что плохих мы не держим»: В заключение он просил не слишком стучать ножами и вилками в виду моего слабого голоса. Стремление увидеть «новую актрису» на несколько минут пересилило аппетит, многие оторвали глаза от фарелок и взглянули на сцену, и даже из русской печи выглянуло два горшка. Впрочем, это волнение, вызванное новизной, вскоре улеглось, заговорили вилки, и два «судака по-монастырски» поплыли над головами. Публика «Каравая» была не такова, чтобы долго утруждать себя сценическими эффектами.

Публика «Каравая», махровейшие цветы нэпа, пышные розы, перед которыми инженер Альберт из кафе «Куб» казался подснежником, — ваш букет, ваш аромат, ваше благоухание... их невозможно забыть! Невозможно забыть соперничество с кулебякой и шнитцелями, которые всегда побеждали. Я не говорю о судаче, я остерегаюсь говорить о нем. Эта рыба, особенно, когда она с шампиньонами, — непобедима. Ее не перепоешь, не переиграешь, не перетанцуешь.

Публика «Каравая», все те, кто познакомились впоследствии с северными пространствами нашей обширной страны или, наоборот, эмигрировали в страны соседние, прекрасные женщины, выхолненные, как жемчужины, крупные мужчины, начинающие полнеть полнотой самоуверенности и достатка, вспоминаете ли вы меня хоть когда-нибудь так, как я вспоминаю вас? А ведь было время—я, вероятно, находила вас недурными людьми, сама, быть может, сидела с вами в каком-нибудь довоенном «Каравая», ела шницель и вместе с вами не смотрела на сцену, где у «молодой начинающей актрисы» перехватывало дыхание от собственного волнения и от вашего спокойствия.

Во время моей службы у «благоуханного» Алексея Алексеевича, который, впрочем, всегда был добр ко мне, я познакомилась с ночной Москвой. Я узнала ночных извозчиков; поджидая у театральных дверей конца программы, они толковали о том, что неизвестно, каков будет урожай, что новую власть в деревне «уважают, но еще не привыкли, потому новая она», и что овес так дорог, что не подступиться.

Иногда, если наше время совпадало, мы возвращались домой вместе с Джеком Паулини. Ночь, тишина, предрассветная грусть, от которой не избавлен ни один город, действовали неодолимо на бедного эксцентрика. Наплыв больших и печальных мыслей, который в этот час почти неизбежен, заставлял Джека Паулини совершенно неподготовленным.

— Ах, боже мой, боже мой,—тоскливо говорил он.—Опять у меня изжога от дежурного блюда. Дают всякую дрянь на маргарине.

Но он был неправ: это был не сытый желудок, а голодное сердце, которое давало себя чувствовать.

— Ничего я в Москве толком не знаю, никогда ее не вижу: я ведь тоже приезжий,—сказал он мне однажды.

— Давайте завтра встанем пораньше и пройдемся по городу. Я тоже мало что видела. Что вы будете делать завтра?

— Благоговея ждать... — начал он, явно по привычке.

— Неправда, Джек. Не надо этого. Мы и так понимаем друг друга.

И он согласился, что не надо.

Был вечер, как всегда, вернее была ночь, субботняя ночь, когда «Каравай» бывал особенно плотно нафарширован. Глазастые цветы по стенам, красные и синие, были залиты светом, посуда особенно блестяща, белые рубахи официантов особенно белы. Алексей Алексеевич, вытирая платком замаскированную лысину, вместе со своим помощником смотрел в отверстие занавеса и чуть ли не заметил в публике кого-то из «вождей». По крайней мере, директорский затылок зарумянился еще сильнее, а по спине помощника пробежало восторженное содрогание, словно его окатила теплая волна.

Я стояла на выходе, одетая французской куклой. Кукольный румянец лежал аккуратными кружочками на каждой щеке, вокруг глаз были нарисованы длинные лучеобразные ресницы, похожие на часто-

кол. На мне был кисейный чепец и бархатный корсаж. Как всегда перед началом, было зябко, и жидкие белила неприятно сохли на голой спине. Моя партнерша, тоже кукла, но русская, деревенская, с кирпичным загаром, подвязывала лапти. Третий партнер, тоже кукла, солдат, стоял рядом, выпрямляя грудь.

Мы встали на наши кукольные подставки, мы окаменели в кукольных позах, скрипка и рояль заиграли вступление, и занавес, пестрый, как чайная скатерть, раздвинулся в обе стороны. В лицо пахнуло теплом, жужжание голосов стало глуше. Мне было начинать. Я открыла рот, чтобы произнести под музыку свою первую фразу: «Я Мариэтта, родом из Прованса»,—так начиналась эта кукольная комедия,—открыла рот, но ничего не сказала. Наш скрипач, проворный и молодой, делая вид, что ничего не произошло, вторично заиграл вступление, качая головой и скрипкой и грозя мне глазами. Он снова доиграл до рокового такта, но Мариэтта, родом из Прованса, безмолвствовала. Тогда, не теряя самообладания, он встал со своего места, вылез на сцену, поднес скрипку к моему лицу и, смеясь и напевая, как бы желая растормошить неподвижных кукол, в третий раз заиграл вступление, но глаза его, приближенные к моим, были страшны. Тогда я разжала пересохшие губы и доложила, наконец, ужинающим все, что полагалось.

Я молчала не потому, что роль вылетела у меня из головы: это было невозможно, я ведь сама писала все это. Я молчала потому, что как только дали занавес, справа от сцены, в знаменитой русской печи я увидела: подперев подбородок левой рукой, а правой пустой рукав заложив в карман, сидел мой бывший начальник, товарищ Шуляк, и терпеливо ждал, когда начнут.

За кулисы, в закулок между нашей уборной и кухней, где запахи жареного мыла, душистого вазелина и потных париков сливались в незабываемую симфонию, куда «вход посторонним был строго воспрещен», товарищ Шуляк проник совершенно свободно, как к себе домой.

— Что вы здесь делаете? Как вы сюда попали?—спросила я его.

— Я здесь по роду своей службы. Меня давно уже интересовало это учреждение. Но скажите мне, что вы здесь делаете? Как вы сюда попали?

— Я не хотела этого, я пробовала другое, но у меня не вышло.

— Что же другое?

— Я написала рассказ, но он получился печальным. Слишком. Мои герои шли вразброд, они не были объединены, они были одиноки.

— Ну-ну-ну,—сказал товарищ Шуляк,—все это не так страшно. Надо попытаться еще раз.

— А если и второй раз не выйдет?

— Стало быть, еще раз.

— А если и в третий раз, товарищ Шуляк, и в четвертый, и в пятый, то что тогда?

— Ну что же,—ответил товарищ Шуляк после минутного раздумья,— стало быть, надо и в третий, и в четвертый, и в пятый.

ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ

Иные держат на людей
Экзамен дорогой,
Зато уже никто нигде
Их не согнет другой.

Н. Тихонов.

Подобно тому, как луна — это «волчье солнце», понедельник — это актерское воскресенье. В понедельник нет спектакля, нет репетиций, и хотя весь остальной город уже отпраздновал и начинает трудовую неделю, «волчье солнце» актеров встает во всем своем сумрачном блеске.

Мое и Кискино горе было в том, что наши солнца не совпадали. Для нее понедельник был скопищем трудностей, он был омрачен таблицей умноженья.

— Семь раз восемь, — говорила она с глубоким вздохом. — Нет, ты только подумай.

И все же, несмотря на то, что наши солнца не совпадали, я заставила их совпасть, произведя искусственный сдвиг. Я разрешила Киске не пойти один раз в школу, и, таким образом, мы с ней встретились. Мы получили в свое распоряжение целый огромный день, мы так разбогатели, что даже потерялись: хорошо еще, что мы догадались накануне распределить наши богатства. Утренние часы решено было посвятить задушевной беседе, вечерние — кинематографу, а дневные, после долгих колебаний между «Музеем сороковых годов» на Собачьей площадке, выставкой кустарных изделий, Останкиным и Зоологическим садом, который не был еще в то время парком, — дневные часы решено было отдать Зоосаду.

Сначала победа осталась было за сороковыми годами. От ребят в школе Киска слыхала, что там комнаты, «как живые», особенно комната «бабушки», что там наверху есть детские, где жили старинные дети, спали там, читали старинные книжки, повторяли «семь раз восемь» и шалили старинными шалостями, которые не устарели до сегодняшнего дня. С вечера решено было идти в музей, но, когда в воскресенье на заре я пришла из «Каравая», Киска, от волнения лежащая без сна, объявила мне, что она передумала и что мы пойдем в Зоосад. Очевидно, она решила, что живые звери лучше неживых детей.

Судьба актеров и школьников была милостива к нам. Она подарила нам столько синевы и тишины, столько осеннего золота, что им становилось богато любое сердце. Обо всем этом хорошо сказано у кого-то, что в такой день хочется устраивать свою жизнь.

В Зоологическом саду дорожки были посыпаны светлым песком; отсутствие следов было поразительно. В этот ранний час песок был гладок, свеж и нов, как-будто ничья стопа — ни нога человека, ни лапа зверя — никогда не касалась его. Это была чистота первого сада на земле, когда вселенная только что создана и еще слегка дымится. Синие

тени клеток и оград лежали на песке с такой нежной отчетливостью, что жалко было ступать по ним. Трава по бокам была молода второй и последней молодостью, которая наступает осенью: трава была зеленая, как весной, и солнечные пятна слагались в счастливые сочетания, как весной. Но над всем этим была опрокинута свежесть, свойственная только осени. Кленовые и березовые листья падали косо; их относило в сторону отсутствием ветра.

Перед клеткой с лисьим семейством Киска задрожала от восторга. В клетке был важный пушистохвостый лис, глава семьи, прелестная лисица-мать и пятеро детей: двое спали, а двое других охотились за пятым, который, в свою очередь, ловил собственный хвост.

При виде этих веселых рыжих детенышей в Киске возникло страстное желание взять, схватить, унести с собой хотя бы одного из них. В ней, несмотря на то, что она была маленькой культурной женщиной, ученицей «опытно-показательной» школы, знакомой, хотя и недостаточно, с таблицей умножения, в ней проснулись древние-древние инстинкты первого человека на земле, охотника и следопыта, повелевающие взять, схватить, унести к себе в пещеру пушистого зверя, который красив и слаб.

— Возьмем хотя бы одного, — повторяла Киска умоляющим голосом. — Попросим кого-нибудь, чтобы нам позволили. Зачем им целых пять? А он будет жить у нас в ванной: все равно там нельзя мыться. Попросим.

— Они никак не могут, Киска, — отвечала я. — Если они каждой девочке начнут дарить что-нибудь на память, им самим ничего не останется. А вдруг, как на грех, кому-нибудь понравится слон.

— Ты все шутишь, мам, — возразила Киска, не отрывая глаз от самого маленького и прелестного. — А я тебе серьезно говорю.

Она была так взволнована, что готова была даже на преступление.

— Я думаю, его можно взять тайком, — повторяла она задумчиво и тревожно. — Надо попробовать. Ты видишь, в одном месте сетка отстала от рамы: вот там можно попробовать.

— А как же ты пронесешь его? Ведь при выходе стоит сторож.

— Я спячу его под пальто, и он не увидит.

— Нет, Киска, так нельзя. Один мальчик (это было очень давно) поступил так, как ты хочешь, и у него вышли большие неприятности.

— Какой мальчик и какие неприятности? — немедленно спросила Киска, которая была очень любознательна.

И тогда, сев на скамью под большим тихим деревом, я рассказала ей историю юного спартанца, который украл лисицу и спрятал ее под хламиду, где она выела ему внутренности.

Выслушав назидательное повествование и, повидимому, отказавшись от мысли совершить кражу, Киска ушла одна осматривать животные чудеса. Она мелькала то тут, то там, то у лебяжьего полу-

острова, то у клетки с медведями, а я, сидя под деревом, обдумывала свою жизнь.

Сидя у пруда, греясь на солнце, от которого почти отвыкла, я впала в диковинное, какое-то призрачное и прозрачное солнцестояние, когда день равен ночи, когда явь наполовину поглощена сном. Вероятно, это длилось недолго, это было кратко по времени, но перенасыщено содержанием, как те доли секунды, в которые вода не успела вылиться из кувшина Магомета; сам же пророк обозрел в это время седьмое небо и все его чудеса.

Глядя на неподвижно бегущее солнце в струях пруда, я на миг утратила внутреннюю сопротивляемость, и тотчас же события, слова, человеческие лица, голоса, голоса, голоса обрушились на беззащитное сердце. Все мое недавнее прошлое неслось на меня, мучая и убеждая.

— Вильяма Шекспира не жечь, — сказал матрос с «Алмаза». — Уважайте, гражданка, культурные ценности земли.

— Земля наша капля капли перед Канопусом, — прозвучал отдаленный голос Авеля Евсеевича. — Шекспир — молекула. Кто знает, жил ли он на самом деле.

— Пусть умирает кто хочет, — твердо сказала товарищ Клавдия. — Но Ворончик должен жить. Спешите, доктор, время дорого.

— Часы продаете, — отчеканил товарищ Шуляк, — упускаете время, которое дорого. Обратите на это внимание, товарищи.

— Товарищи, — произнес надо мной подлинный, непризрачный, звучный и хороший человеческий голос с приятной хрипотцой, — теперь обратите внимание на обезьян.

В это самое мгновенье сонное марево отлетело от меня, и действительность охватила меня обеими руками, как друга после разлуки. Я открыла глаза; по дорожке вдоль пруда, будоража спокойный песок и твердо ступая разношерстно обутыми ногами, шли люди, живые существа, родственные мне по плоти и крови. Их было человек десять, и самому старшему из них не было двадцати лет. Трое из них — три девушки — все вместе ели одно большое румяное яблоко, надкусывая его по очереди. Одна из них была кривобока, она подвигалась вперед, вывертывая бок и ныряя плечом. Платье на ней было застирано до папиросно-бумажной тонкости: бедный такой ситчик, по которому катились туманные горошины.

Остальные, юноши, шли толпой вокруг жогаго. В большинстве это была низкорослая, зеленоватая поросль революции, то самое поколение, на которое ссылаются теперь лекторы и книги, говоря о недостатке жиров и витаминов в трудные годы гражданской войны. Ему, этому поколению, пришли на смену физкультурники и спортсмены, юноши здоровые, как в Англии, и девушки здоровые, как юноши, в джемперах цвета волны и травы.

Все это пришло потом. Но тогда по Зоосаду двигались неказистые пареньки и кривобокая девушка, тяжелая на подъем. Их во-

жак, тот, который предложил обратить внимание на обезьян, был не лучше остальных: бугристая кожа и малокровные губы. Зато глаза его были полноценны, сосредоточенные и зоркие глаза, как у лесничего или рулевого. Они прошли толпой мимо меня. И я встала и пошла вслед за ними. Я почувствовала непреодолимое желание обратить внимание на обезьян, хотя за минуту до этого совершенно о них не думала.

В то время Зоосад не был богат, как сейчас, дорогими и крупными обезьяньими породами. В теплом и солнечном застекленном «вивариуме» не жили юные блистательные шимпанзе и орангутанги, привезенные из теплых стран в меховых одеялах и вскормленные бананами и мандаринами, специально доставляемыми для них на аэропланах. В то время простые и веселые мартышки прыгали и скакали в просторных мелко-плетеных клетках на открытом воздухе. Они цеплялись хвостами за перекладины, свисали оттуда, словно гирлянды лука, они торопливо и озабоченно, мелкими человеческими движениями грызли морковь, моргая глазами и хмуря лоб, как человек, который очень занят и обедает в столовке с тем, чтобы, поев, побежать на службу.

Наша группа подошла к обезьянам и остановилась. Говорю «наша», потому что хоть я и пришла не с ними, но я шла за ними. И то, что объяснял идущий впереди, относилось в равной мере ко всем, в том числе и ко мне.

Простые и веселые мартышки читали в это время газету. Как она попала к ним — осталось тайной, но они наслаждались ею долго и самозабвенно. Для этого у них были разные способы: то, разостлав, они садились на нее, смеясь и болтая, то, укрывшись ею, как плащом, они блаженно замирали, шевеля хвостами и жмуря глаза. В конце концов газетой овладел проворный и умный обезьян с шерстяным бобриком на голове. Он рассмотрел добычу со всех сторон, он понюхал ее с такой силой, что даже чихнул, потом затих, ковыряя пальцем строки. И, наконец, разостлав бумагу у себя на коленях, он оторвал от нее лакомый кусок с объявлениями и жадно съел на горе и зависть остальным.

— Товарищи,—сказал руководитель своим приятным волжским выговором,—вот обезьяны. Они потому особо интересны из всего зверья, что ближе всего подходят к нам, к людям то-есть.

Среди экскурсантов был один паренек в веснушках. Его внимание ко всему виденному и восторг были таковы, что он забывал дышать. Я утверждаю, что у него были секунды, когда он не дышал, чтобы не мешать себе. Услышав, что обезьяны ближе всего к нам, людям, он произнес глубоким горловым голосом, идущим из самой глубины внимания:—До чего похожи,—произнес он.—Просто ест и смотрит, как человек. Только хвост мешает.

— Дело в том,—говорил дальше руководитель,—была в науке такая аксиома (очевидно, он хотел сказать «гипотеза»), что мы, люди

то-есть, произошли от этих самых обезьян. Теперь это установлено досконально.

В беседу робко вступила кривобокая девушка, сказав, что, по имеющимся у нее сведениям, человек произошел от «амебы», похожей на кисель. Она-то и есть зародыш всему.

Руководитель взглянул на девушку зорко:—«Амеба» сама собой. И собака, может, от нее произошла, но нам важно знать, что она идет от волка. И вот, в науке и стали поговаривать, что мы идем от обезьяньего племени. Товарищ Дарвин,—продолжал он, ударяя на последний слог иностранного имени, отчего далекий англичанин Чарльз Дарвин сразу превратился в русского, в советского товарища, в земляка-волжанина из Нижнего или Саратова, — товарищ Дарвин первый утвердил подобное мнение, и теперь почти достоверно, что мы произошли от первобытного человека, который произошел, тоже самое, от обезьяны.

Мартышки прыгали в клетке, осеннее солнце медленно передвигалось в небе, мы слушали рассказ об обезьянах. О том, как сначала наш свирепый и мохнатый пращур жил, сражался и умирал в одиночку. Как постепенно в его темном и смутном сознании, в толстом черепе его, в неповоротливом и неизвилистом мозгу созрела мысль, что каждый силен постольку, поскольку силен его сородич. Те, кто не умели понять этого, оставались в меньшинстве, слабели и умирали. Остальные же, сильные, выжили и образовали племя.

— Настал день,—сказал руководитель,—когда слова «я» и «мое» заменились словами «мы» и «наше». — Он закончил так: — Вы должны понять, товарищи, что этот день был особенный день. Очень важный, потому что «мы» — это совсем не то, что «я». «Мы» — это... одно слово «мы». Много нас, значит.

— Ясное дело, — подтвердил паренек в веснушках. — Ясное дело. «Мы»—это значит не то, что «я». — Он выступил вперед, как бы собираясь сказать большую и важную вещь. — «Мы»... — он вдохнул полной грудью солнце и воздух сада. Он сделал широкий жест, куда включил всю вселенную. — «Мы»... одно слово. Много нас, значит.

— Ты здесь? — спросила прибежавшая Киска. — А я ищу тебя. Правда ли, что мы произошли от обезьяны?

— Может быть, — ответила я. — Но важно не это. «Мы». Нас много, и жизнь велика.

Мы провели в саду весь день. Мы возвращались под вечер, когда уже зажигали огонь. Мы шли по улице мимо небольших домов. В каждом доме были окна, в каждом окне был огонь, в каждом огне была жизнь. Там были разные жизни.

В одном из окон две девушки починяли стул. Плетеное сиденье было продрано, одна девушка держала стул за ноги, как больное животное, другая затягивала веревочкой пораженное место. Но в ту минуту, когда почти все уже было кончено, веревка лопнула, и пришлось начать сначала.

— Ну и начнем, ну и что ж, — очевидно сказала та, что покудрявее. Волосы у нее были цвета моркови и вились густо и мелко. И обе девушки снова нагнулись над стулом, который, по всей вероятности, был им очень нужен.

В другом окне купали ребенка. Они завесили окно платком, но платок упал, и я увидела комнату. Там было много народа, там стоял даже человек без пиджака в кожаном фартуке. Очевидно, он работал, и вот его позвали смотреть, как будут купать парнишку. А парнишка сидел в корыте и все порывался хлебнуть мыльной водицы.

И тогда, на тихой вечерней улице, меня охватило ощущение жизни с неизведанной до того силой. Я ощутила ее строй, ее ход, ее смысл, как никогда раньше.

Эти девушки починят стул, — думала я, — и он будет служить им еще долго. А из малыша, который в корыте, вырастет человек и займет свое место под солнцем. Таких, как он, много. Они вырастут и скажут о себе «Мы».

ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ

Жизнь слишком коротка, чтобы быть ничтожной.

Если верить библии, этой почтенной старой книге, все мы произошли от Адама, Но, независимо от того, произошли мы или нет, независимо от того даже, существовал ли Адам на свете, его облик чрезвычайно любопытен. Его история—это первая история любви на земле, отмеченная литературой, потому что библия такая же книга, как и все остальные. Позволительно думать, что, будучи написана в наши дни, она была бы издана Госиздатом с пояснительным предисловием Петра Семеновича Когана.

Возникновение Адама, чудесное превращение его ребра в юную золотоволосую Еву, их любовь, яблоня райского сада,—вся эта история известна всем. Но далеко не все поставлены в известность, что Ева была вторая жена Адама, что Адам был женат дважды. Что, кроме легкомысленной, розовой, очаровательной Евы, у него была еще одна жена, первая по счету, которая именовалась Лилит.

В противоположность Еве, созданной из мужниного ребра и тем самым лишенной индивидуальности, Лилит была сотворена из горсти земного праха и ночного воздуха. Хотя и по-иному, чем Ева, она была прекрасна. Ее походка была исполнена лунного скольжения, а черные волосы окутывали ее всю, как ночь окутывает вселенную. Она была умна и склонна к ведовству. Она варила тайные зелья и собирала травы; Адам не мог с ней ужиться.

Она вела себя так плохо, что была лишена звания жены первого человека. Ее постигла печальная участь, самая печальная из всех: ее замолчали, и даже в библии о ней не говорится ни слова. Имя ее встречается лишь в страшных книгах каббалы и в Большой Британской

энциклопедии. В последней отмечено, что, изгнанная из рая, она долго еще продолжала жить вне его. Она являлась юношам во сне, преимущественно с четверга на пятницу. Кроме того, в той же энциклопедии сказано, что она «любила расчесывать волосы у чужих очагов».

Впрочем, все это несущественно. Достойно упоминания только то, что, истощив все свои темы для «Каравая», использовав свое небольшое знание современности, я отпрянула далеко назад, в библейские времена. Таким образом, благодаря мне Лилит приобрела широкую, и, как вскоре выяснилось, довольно печальную популярность в нэпманских кругах, посещающих «Каравай».

Созданные мною персонажи получили окончательное воплощение в нашей костюмерной. Лилит, как демоническое начало, была окутана в черный шелк. На лбу ее ночным блеском горел лунный камень, и ее рукава были широки, перепончаты и бесшумны, как крылья летучей мыши.

Ева была кудрява, стрижена и очаровательно угловата. От райского солнца она покрылась легким золотом веснушек. Она пыталась заниматься хозяйством и любила своего мужа. Адам был русский юноша и прекрасный семьянин, несколько ленивый, в шелковой косоворотке; отмечено, что он не любил бриться. И, наконец, Змей был янтарный брюнет в сумрачной пижаме. Кроме перечисленных лиц, был «Ангел для услуг», с крыльями и в переднике. Он носил ключи у пояса и заведывал кухней.

Первый акт уяснял «Каравая» взаимоотношения между Адамом и Лилит. Их семейная жизнь не ладилась: она протекала в причудливо обставленном полутемном покое, где ткани свисали с потолка, как паутина. Хозяйство шло вкривь и вкось, Ангел был растерян, Змей наблюдал издалека. Все кончилось бурным уходом Лилит и обращением Адама к богу: он просил себе другую жену.

Обстановка второго акта радовала зрителя обилием света, плетеной дачной мебелью, атмосферой «дома отдыха», где отдыхал Адам после операции извлечения из него ребра. Ева, сама любовь, в ямочках и кудряшках, кормила его манной кашей и целовала плохо выбритую щеку. Она порывалась испечь ему яблоко, зная, что это полезно выздоравливающим, но Адам просил ее воздержаться: он боялся яблок.

Все шло бы хорошо в этом счастливом доме, если бы не Змей. Это он внушил Еве мысль, что слушаться мужа необязательно. Это он поднес ей яблоко, надкусив которое, она ощутила свою женскую прелесть. Это он смутил ее янтарной гладкостью идеально выбритых щек. Это он, наконец, раздвинув листья винограда, показал ей далекий мир, полный соблазнов. Это он, это он, это он.

Ева уходит со Змеем из светлого дома, Ангел уничтожен, Адам снова одинок. Добрый мудрый бог не помог ему. Адам сиротливо сидит под фиговым деревом, спелая фига падает к его ногам: это все.

Алексей Алексеевич остался чрезвычайно доволен результатами моего творчества. В его пылком юношеском воображении невинная

шутка на двадцать минут превратилась в антирелигиозную сатиру, под красотью формы скрывающую огненные мечи сарказма, способные пронзить сердца ночных посетителей «Каравая» и обратить их в неверие. С его точки зрения, это была настоящая «благоуханная и современная» вещь, в которой нуждался его театр. У меня были сомнения на этот счет, но я молчала.

Я молчала, а между тем общество Адама и Евы начинало тяготить меня. Их образ светловолосых прародителей, выдуманный древними поэтами и подновленный мной для сцены, их легендарно-легкая походка заглушались в моем сознании грузной поступью первобытного существа с челюстью обезьяны и мозгом человека. Мне хотелось думать о нем, о первобытном существе, потому что с ним было соединено воспоминание о воскресной прогулке в саду, где дышали люди и звери, Мне хотелось передать словами, закрепить на бумаге воздух того дня, жест, которым веснущатый парень обнял вселенную, и всю силу убеждения, вложенную в короткое слово «мы». Для этого требовались слова настоящие, свежие и точные, которые приходят не сразу. Я искала их все время.

Но на ряду с этим жизнь шла своим чередом. «Скетч» об Адаме и Еве увидел, наконец, свет лампы. В качестве гвоздя, он был оставлен на второе отделение программы, и это обстоятельство погубило его.

Второе отделение обычно протекало в атмосфере, значительно подогретой рислингом и портвейном, любимыми марками «Каравая». Гроза разразилась на первом же представлении. Перебивая реплику Адама, поднялась за одним из столиков мощная фигура, налитая алкоголем, и громовым голосом пьяного человека потребовала прекращения богомерзкой пьесы «явно иудейского происхождения, оскверняющей религиозную легенду».

— Да здравствует!.. Долой!.. — заключила фигура, грузно садясь на место и стаскивая по дороге скатерть с тарелками, бутылками и бокалами.

Звон скандала смешался с плачем испуганной Лилит, Ева прыгнула в оркестр, Ангел скрылся за кулисы, ломая перья. Что касается Адама, то он, самоотверженно рискуя вторым ребром, ринулся в зрительный зал на помощь милиции. Алексей Алексеевич был совершенно убит косностью своей публики, неспособной проникнуться антирелигиозным пафосом.

Я снова пришла к редактору, который однажды отказал мне, пояснив, что мои герои одиноки, что каждый живет для себя, что идея «общности» чужда им. Я пришла к нему в дождливые сумерки, после репетиции. Фонари горели сквозь туман и дождь. Туман и дождь были расцвечены радужным сиянием. Возле каждого фонаря, в воздухе, на дожде, плыла фонарная тень.

У редактора был ларингит, он издавал гусиное шипенье, горло было многократно обмотано теплым кашне, но, несмотря на все это, он тотчас узнал меня.

— Тссс, взз, — зашипел он, борясь с больным горлом, которое не желало говорить. Я сочувственно молчала, не будучи в состоянии вмешаться в это дело и помочь ему.

— Это вы, — наконец, сипло сказал он и снял с шеи одно из колец кашне. — Я знал, что вы еще придете. Притащили что-нибудь?

— Притащила.

Очерк или рассказ (не знаю, как назвать его) был невелик. Редактор прочел его тут же: редкая удача, редкость которой я вполне оценила только впоследствии. Я наблюдала за ним в то время, как он читал. Раннее электричество освещало его белесые ресницы, глаза переходили от строки к строке. В одном месте он сморщился: я никогда не узнала, к чему это относилось—к моей рукописи или к его больному горлу. В другой раз он одобрительно почесал нос: я, не сомневаясь, приняла это на свой счет. Его глаза светлели, он не улыбался губами, но улыбка была разлита по всему его лицу, под кожей. Зазвонил телефон на столе: он снял трубку, не глядя, и продолжал читать. Он читал, держа трубку в руке, и слышно было, как другой какой-то ларингит задыхался и хрипел в телефоне, как бы поселившись там навсегда.

Редактор кончил читать и взглянул на меня:—Вещь пойдет,—сказал он шопотом и снял с шеи еще один оборот кашне. — Я вам говорил, что вы можете писать. Это вы хорошо, про паренька с веснушками. Алло! — внезапно спохватившись, просипел он в телефонную трубку, но там уже царило молчанье. Он повесил трубку. — Напишите еще. Знаете про что?

— Про что?

— Про вашего паренька. Покажите его яснее, опишите весь его день, от утреннего гудка на фабрику до вечерних огней на рабфаке. Опишите рабочий день. Должно получиться.

— Не могу,—ответила я, болея душой. — Еще не могу. Я еще ничего этого не знаю. Это надо увидеть, и для этого нужно вдохновение.

Редактор поставил локти на стол, крепко утвердил в ладонях подбородок. Пристроившись таким образом, он сощурил глаза.

— Вдохновение,—сказал он шопотом и с натугой, — гм.... вдохновение. Собственно говоря, его не существует. Вдохновения нет: есть умение приводить себя в состояние, наиболее пригодное для работы. (Он приоткрыл глаза. Там, в глубине, среди белесых ресниц ярко сверкал зрачек, маленький, как просяное зерно, но чрезвычайно острый.) Да, наиболее пригодное для работы. Запомните это. (В этом месте глаза открылись окончательно, просяные зернышки лили яркий свет.) И если бы машина, например, обладала способностью расслабляться, то, работая полным ходом, она полагала бы, что на нее снизошло вдохновение. (Глаза редактора блестели хитро и нежно: непередаваемо.) Запомните это.

И он окончательно разматал кашне.

На рассвете пал на землю иней. Город посветлел, помолодел, стал совсем юным, как недавно отстроенное молодое село, которое гордится новой мельницей и новым паромом. Автомобильный рожок у моего дома воззвал высоким чистым голосом: он тоже был молод, был нов, в его светлом зеве таилось нерастраченное серебро. След автомобильной шины отчетливой елкой лежал на белой мостовой. Это был первый след этого дня, потому что было раннее утро, и все еще спали.

Автомобиль подвез меня, я вышла, и мы пустились в путь. Мы прошли через весь город с быстротой нитки, вдеваемой в игольное ушко. Ничего не задерживало нас, улицы были пусты. Опрокинутый месяц стоял еще в небе, на западе по-ночному синело, но восток был уже залит светом: оттуда наступал день.

Ворота аэродрома раскрылись перед нами. Аэродром был огромен, здесь было видно солнце, оно быстро всходило пламенным шаром, и постепенно иней таял. Но, и растаяв, он оставил после себя в воздухе хрусталь и ледок.

На аэродроме, отгороженные веревкой, стояли люди. Невзирая на ранний час, многим хотелось взглянуть, как будет отлетать Юнкерс, идущий в агитоблет далеко на юг. Люди, стоя на земле, разглядывали небо, говорили о крыльях, о ветре, дивились собственным тням, которые по утрам всегда непомерно велики. Шагни раз,—и ты перешагнешь аэродром, шагни два,—и ты коснешься горизонта.

Двери ангара раскрылись, и оттуда вывели небольшого воздушного конька. Его желобчатые крылья сверкнули на солнце; он как бы окунулся в утро и вынырнул оттуда весь в серебре.

К тому времени «Каравай» был оставлен мною навсегда. Я не питала к нему злобы, мысленно я рассматривала его, как водокачку, с тысячеметровой высоты: отвлеченно и беззлобно. Взамен его мне открылся доступ в несколько редакций. Особенно я полюбила одну из них, чья стеклянная стена, поднятая высоко над городом, всегда вызывала во мне ощущение полета. Теперь мне предстояло лететь на самом деле. Этот полет был для меня первым серьезным испытанием: до того я не подымалась выше Зоосада, выше московских улиц, построек, школ и пионерских лагерей. Теперь мне предстояло лететь высоко над линией рек, далеко на юг, увидеть сверху родные степи у моря, где я родилась, и еще дальше увидеть земли, где я не была никогда.

Летчик Ротов был потрясен тем, что корреспондент от газеты, данный ему для агитоблета, оказался женщиной. Женщина приносит несчастье машине, будь то бритва или паровая турбина: в это верят под всеми широтами земли. Японские водолазы, после посещения женщиной места их работ, сыплют соль на палубу и трап, чтобы древней очистительной силой перебороть недоброе влияние.

Летчик Ротов был советский летчик, он был выше всяких таких предрассудков, пилотажу он обучался в Англии, трезвой стране. Каждое утро, невзирая на погоду, он обливался ледяной водой на

открытом воздухе. И все это, вместе взятое, не могло окончательно смыть с него предубеждения перед женщиной-журналистом.

— Вы—женщина,—сказал он, увидав меня перед полетом. Я не посмела отрицать этого, и наши отношения были временно испорчены.

Итак, мне предстояло лететь. Мне предстояло узнать упругость воздуха, беспыльные просторы, где жизнь течет иначе, чем на земле. Предстояло узнать множество людей, задавать вопросы, получать ответы, запоминать их надолго. Летчик Ротов, с которым мы скоро подружились, запомнился мне надолго одним своим ответом. Как-то раз, в пути (не в воздухе, а на земле, конечно), я, как и подобает журналистке, вникающей в сущность вещей, спросила, каковы профессиональные болезни летчиков и их механиков. И летчик Ротов ответил мне, подумав:

— Профессиональные болезни? Кроме смерти как-будто никаких.

Но все это потом. А пока через слюдяные окна кабинки видна такая близкая пока еще земля и срезанный кусок такого далекого пока еще неба. Кожаные ремни кресла пахнут путешествием. Мой спутник, Ефим Семенович Кромаров, инструктор от Авиахима, опытный воздушный волк, весь оплетенный ремнями, как на фронте, плотно усаживается в кресло. На груди у него восьмикратный бинокль, в руках план местности, на лице небольшая улыбка, обращенная к кому-то, кто остается. В пути Ефим Семенович будет произносить речи с крыла самолета, объясняя в деревнях великое значение «несущих плоскостей, стабилизатора, хвоста и прочего».— Задавайте вопросы, товарищи,— скажет Ефим Семенович.— Кто чего не понял, тот выходи и говори.

И выйдет старый хохол, сивый дед, которому девяносто лет, третет тряпочкой старые глаза и задаст технический вопрос, почему козы пугаются машины больше, чем овцы: а уж на что овца пуглива. А еще прибавит, что он, крестьянин Емельян Мочало, непрочь сделаться членом Общества Друзей, потому что он, крестьянин Емельян Мочало, прекрасно все понял про воздушную флотилию и готов внести членский взнос.

А потом выступит его правнук, комсомолец Гриша, и, молитвенно глядя на Ротова, громогласно заявит, что все они, комсомольцы Украинской автономной республики, будут по мере сил своих поддерживать наш славный авиофлот и наших летчиков, которые лучшие в мире. И бабы и мужики, собравшиеся по случаю самолета и базарного дня, зашумят, как роща, и прихлынут к самолету поближе, поближе к Юнкерсу, так что Ротов закричит в сердцах:—Эй, мальчишки, не лазать под крылья, не то вздую.

■ Но все это будет потом. А пока Юнкерс идет по земле все шибче и шибче: сзади него ветер, впереди—гул. И вот, он уже не на земле, а в воздухе. Непривычное тело теряет свой вес,—«ух!», падает непривычное сердце. Москва отходит от нас, как пристань от корабля. Внизу плоская земля и маленький синий камень: это—круглый пруд Зоосада,

над которым мы летим. Того самого Зоосада... Кто это сказал, что осенью хочется устраивать свою жизнь? Жизнь устроена, дорога найдена.

Мы забираемся все выше и выше. Летчик Ротов, увидав, что мое присутствие не погубило с места в карьер его аппарата, обратив ко мне свое лицо в шлеме, улыбается. Он улыбается и головой показывает вниз на Москву.

— Москва,—говорит он, и мы угадываем это слово по движению губ: «О-А».

А внизу лежит Москва, лежит земля, освещенная солнцем. Рокошет пропеллер голосом высот, мотор великолепно дышит. И весь самолет,—его светлые сильные крылья, грудная клетка,—все вместе, летя навстречу заре, с каждым разворотом воздуха все больше и больше вникает в пространство, поглощается движением, приводит себя в состояние, наиболее пригодное для полета. И если бы Юнкерс был в состоянии думать, он подумал бы, что на него снизошло вдохновение.

ПОСЛЕСЛОВИЕ

Лучшие книги—это те, которые не нуждаются в предисловиях и послесловиях. Литературное произведение говорит само за себя, и еще Флобер утверждал, что вещь должна быть написана так, чтобы читающие сомневались в наличии автора, чтобы личность автора крупицей соли растворилась в волне повествования. Тот же Флобер тратил несколько лишних часов на каждую страницу, уничтожая даже самые случайные аллитерации, так он боялся, что какая-нибудь нарочитость выдаст существование человека. Он хотел творить, как природа: безошибочно и безлико. Поступая таким образом, Флобер, видимо, выполнял требования, пред'явленные к нему его эпохой точно так же, как наша эпоха пред'являет свои.

Мне представляется, что наше время не есть время холодных безупречных объективностей. Все, что мы пишем, хорошо это или дурно, мало или велико, в той или иной степени окрашено участием автора в описываемых событиях, оваяно его дыханием. Автор есть, его нельзя скрыть, он участвует во всем, он добавляет и поясняет, если это нужно. Нечто подобное происходит и здесь.

Вот книга. Если она не дышит полной грудью, если она ни в какой мере не передает веяния эпохи, то послесловие приходит к ней на помощь и предлагает рассматривать ее, как простой перечень нескольких жизней трудного времени. Об этих жизнях, об этих людях мне хочется повторить то, что было мною уже сказано о Ворончике, воронном коне, жившем у нас, в нашем доме. Они жили, эти люди. Многие из них прошли и скрылись, как будто их ноги никогда не топтали легкие седые травы у дороги. Их следы остались только на этих страницах. Хорошо, что я видела этих людей и рассказала о них. Через это многие узнают, что они жили.

Два стихотворения.

МИХ. ГЕРАСИМОВ

СВЕТЛЯЧОК

I

Нас пальма осыпала
Цветением до ног,
Ты трепетно мерцала,
Как робкий светлячок.

Шептали губы: милый,
Я вся дышу тобой...
Ты в сумерках светила
Волнующей звездой.

Стекали капли света
Меж пальцев и из глаз,
Сиянием одетый,
Твой стан мерцал и гас.

И снова разгорался
Он голубой волной, —
То радий излучался
Между тобой и мной.

Мы связаны незримой
Вибрацией струны
И страстью нестерпимой
До дна напоены.

Я пил напиток крепкий,
Насквозь светилась ты,
И были губы терпки,
Как пряные цветы.

И вспыхивала томно
Зарницей голубой
Ты в кипарисах темных
Разбрызнутой звездой.

II

*
* * *

Искал тебя во всех просторах,
По бурным рыскал я морям,
Изрезал облачные горы,
Где на ночь пряталась заря.

Была таинственной, незримой,
И я от странствий изнемог,
Желанный образ и любимый
Нигде я отыскать не мог.

И день и ночь я слышал трели
Моторов и железных крыл,
И волосы и мой пропеллер —
Все иней сединой покрыл.

Последний раз я в небо взреял,
Развеяв мощные крыла.
Любимая, у солнца греясь,
Закатным облаком цвела.

Вонзился винт, бензином пьяный,
Разрезал, продолжая путь.
Поникла золотом багряным
Она на солнечную грудь.

Я на рыдающем моторе, —
Тоску не в силах провозмочь, —
Исчезнул в мировом просторе,
Нырнул в космическую ночь.

Всегда к зовущим звездам склонный.
Чуждаясь любопытных глаз,
Я по земному небосклону
Блеснул кометой и угас.



Досадное счастье

ПЕТР ОРЕШИН

Досадное счастье живому дано,
Вчера был не в духе, — и нынче одно,
И завтра, и после, и вечно все то ж,
Как-будто насильно на свете живешь!

Посмотришь — как-будто открыт семафор,
И ласковы звезды, и нежен простор,
Но только минует единственный миг, —
И вновь пред тобою железный тупик.

Такая тревога, такая смятень,
Обманчивы ночи и призрачен день,
И как ты душонкой своей ни крути,
А нет человеку прямого пути!

Любовь ненадежна, капризна и зла,
Как в позднюю осень лучистая мгла:
Ты только успел загореться на миг, —
Уж вновь пред тобою безумный тупик.

Но самое тяжкое — всё впереди,
Но самое страшное — это в груди,
Где вечно кипит и бушует буран,
Жестокая буря, сплошной ураган!

Сегодня — богач, а на завтра — бедняк,
Душа человечья устроена так:
Сегодня — крылато восторженный миг,
А завтра — стена и железный тупик.

Улыбка улыбкой, но это не в счет,
Изломан другою улыбкою рот.
Как-будто тебя и ласкают и бьют,
И ценят, любя, и позорно секут.

Но честно скажу вам в застольном кругу:
Я — трепетный зверь и смеяться могу,
И землю любить, и под песню в пути
Кого-то ласкать, и за кем-то итти.

За живой и мертвой водой

А. ВОРОНСКИЙ

(Продолжение ¹).

Будни. Валентин.

Августовский северный день сегодня цветет в голубой оправе небес оранжево-желтым топазом. За открытым окном влажно блестит примятая трава. Прохладный и звонкий воздух щекочет ноздри. Стекланные осколки у плетня остро горят, плавятся и сияют так, что больно глазам. С железных, недавно окрашенных в голубую краску крыш соборной церкви солнце весело стекает вниз светлыми, жирными, искристыми потоками. Покойны дали. У горизонта туманно-далеким багрянеющим маревом тают, дымятся леса и тундра. Медвяным цветом тронуты деревья в палисаднике. Тонкие ветки берез и призрачны, и есть в них легкая и грустная четкость. Прохладно краснеет рябина. Опавшие листья рыжеют желклыми пятнами на остывающей земле. В комнате, в солнечном косяке, направо от стола густым сплошным роем плавают рыжая мельчайшая пыль. Ошалевшая крупная муха с черно-синим мохнатым брюшком медленно и сонно ползет по листу газетной бумаги, остановится, почистит крылья задними ножками, потрет ими друг о друга, не в силах лететь, ползет дальше. В руках у меня «Житие протопопа Аввакума». Серые страницы пахнутпряно и затхло. Вчера ночью отчеркнуто чернильным карандашом:

«Пять недель по льду голому ехали на нартах. Мне под робят и под рухлишко дал две клячи, а сам и протопопица брели пёши, убивающисся о лед. Страна варварская, иноземцы не мирные, отстать от лошадей не смеем, а за лошедми итти не поспеем, голодные и томные люди. Протопопица бедная бредет-бредет, да и повакится — кольско гораздо. В ыную пору, бредучи, повалилась, а иной томный человек на нее набрел, тут же повалился: оба кричат, а встать не могут. Мужик кричит: «Матушка государыня, прости». А протопопица кричит: «Что ты, батко, меня задавил?». Я пришел,—на меня бедная пеняет, говоря: «Долго ли муки сея, протопоп, будет?». И я говорю: «Марковна, до самая смерти». Она же вздохня отвещала: «Добро, Петрович, ино еще побредем».

¹) См. «Новый Мир», книги 9, 10 и 11 с. г.

От древних слов веет аввакумовым неистовым духом, дикой верой, русским эпосом, простотой и незлобием.

«Ино еще побредем».

Это случилось дня два тому назад. Я проснулся в глухой час ночи и ничего не увидел и ничего не услышал. Замогильная кромешная тьма, как черное окаменевшее море, плотно и тяжело лежала кругом. Ни единого звука, ни одного шороха не уловил мой слух. Мне показалось, что я нахожусь неведомо где, где-то в совершенной, в мрачной, во внемирной пустоте. Я не ощутил даже своего тела, даже своего дыхания. Это было неизреченное и беспредельное ничто, и в нем лишь одно мое голое его ощущение. Я лежал недвижим, будто скованный, не мог, не смел шелохнуться.— А что если умирать с сознанием: вот вместе с тобой уйдет в пустое ничто вся вселенная, все погибнет, исчезнет, провалится куда-то в черное, в неведомое, и ничего, ничего не будет больше ни теперь, ни во веки-веков, никогда? Это ужасно, это нестерпимо страшно... — И со всей звериной силой, с тоскливой и жадной страстью, со страхом и надеждой мне вдруг, не медля ни одного мига, захотелось увидеть, услышать, осязать твердь земли и твердь неба — круглое, острое, неподатливо-прочное и льющееся, холодное и теплое, зримое и звучащее. Неуверенными дрожащими пальцами я нащупал шершавое одеяло, лег на бок, притиснулся ухом к подушке, приложил ладонь к груди: таинственно, как бы живое и постороннее мне существо, ровными ударами билось сердце. И я снова нашел потерянный мною мир. И вот тогда, впервые за всю свою жизнь, как-то по особому я ощутил бытийственность вселенной, что она есть, была и будет, что она останется и тогда, когда я уничтожусь, — будет сырая, матерински родная, надежная земля, будут тихие звезды и небо, немеркнущие северные зори, будут милые цветы и детские глаза и смех, и все земноводное, и все, что передо мной. Невидимые и прочные нити связали меня с миром; я гордился, радовался, что я есть частица его, и еще больше радовался тому, что он будет и без меня, что он вечен. И тогда же я подумал и узнал: в здоровом человеке всегда непреодолимо это счастливое чувство самобытности космоса и того, что вот он, человек, умрет, а мир, а люди, а дорогое ему—пребудет. И если бы не было дано это предощущение в дар человеку, его жизнь сделалась бы бессмысленной и невозможной. Но, подобно тому, как обычно человек не замечает, что он дышит, что у него есть сердце, так неощутимы обыкновенно ни наши скрепы с миром, ни эта радость, что мир есть и останется и без нас. Это чувство слишком естественно, инстинктивно, первоначально, постоянно и неразложимо, — житейская суета заглушает его, и лишь в особые моменты оно сознается и воспринимается, а когда оно утрачивается, человек опустошается и заживо умирает.

Пережитое в эту памятную ночь утром потускнело, стало забываться, но время от времени оно все же живо возвращалось ко мне, наполняя животворной и теплой бодростью. И сейчас, сидя у окна за столом, я радуюсь не этому погожему осеннему дню, не этим скупым здесь ласкам солнца, не этому золотому увяданью, а тому, что всюду, куда я ни гляну,

бессмертно живет вселенная. И тут есть место Аввакуму и его заповеди: «Сице аз, протопоп Аввакум, верую, сице исповедую, с сим живу и умираю». Жив, жив Аввакум. Он—в нас, в заброшенных, в загнанных, в обреченных на бродячую, бездомную жизнь... «Ино еще побредем».

Соломонова мудрость: «все проходит». Все проходит, но вселенная пребывает во веки. Прекрасно сказано Шиллером: «Ты боишься смерти, ты жаждешь бессмертия, — живи в целом: когда ты умрешь, оно останется».

В комнату входит Дина, неслышно закрывает за собой дверь. На ней плюшевое черное пальто, она садится против меня, зябко поводит плечами, медленно снимает серые перчатки. Лягушечий, как у египетских мумий, рот таит в себе необъяснимое и бессознательное сладострастие, он тянет к себе, но прямые, длинные линии бровей ее строги, а глаза мерцают загадочно и печально. В разговоре с ней я беру конец перчатки, которую она держит в руке, терблю и осторожно тяну перчатку к себе. Она дает мне перетянуть ее. От этого Дина ближе и родней. Она спрашивает:

— Вы заходите к Новосельцеву? Зайдите, он очень болен.

Правда, следует навестить Новосельцева. Я ищу фуражку. Дина настаивает, чтобы я надел пальто. Мне приятно ей подчиниться.

Мы идем по деревянным мосткам. На озаренном поднебесным светом лице Дины темные глаза кажутся еще темней, глубже и больше, чем в комнате. Справа, с чердака соседнего дома несутся заунывные, дребезжащие, назойливые звуки: это Розенберг упражняется на кларнете. Дина улыбается, я смеюсь. Губастый, сонного вида Розенберг недавно прибыл в ссылку, но успел уже всем надоест. Ему удалось достать кларнет. С тех пор он не давал никому покоя. Он отличался упорством и был музыкально бездарен. Он упражнялся, пуская слюни, пыхтя, багровея и пуча овечьи глаза. Местные поморы уже грозились переломать ему ребра, изувечить, сломать и смять кларнет, а ссыльные жаловались на Розенберга в колонию. Розенберг с горячностью отстаивал свое право играть и учиться на кларнете когда и где ему угодно, произносил бестолковые речи о насилии над разумной человеческой личностью, но в конце концов был вынужден пойти на уступки: ему запретили упражняться рано утром и поздно вечером, он удалялся на чердак, где и отводил душу в пыльной темноте.

За рекой у отмели группа ссыльных пилит и колет дрова. В'едливые звуки пил смешиваются со смехом, с говором и возгласами. Я тоже состою в артели ссыльных-пильщиков, но сегодня уклонился от работы. Она для меня непривычна и изнурительна. Работать приходится на берегу во время приливов, по колена в воде; студеная вода ломит ноги, одолевают комары и мошкара. Мои товарищи по работе — Ян, Бойтман, Вадим — выносливее меня, приходится равняться по ним. Я устаю в первые часы пилки и колки, день кажется каторжно длинным. Пересыхает во рту, дрожат ноги, рябит в глазах, я обливаюсь потом. Правда, этот же пот и освежает: рубаха делается мокрой, ветры охлаждают тело. В первые дни, возвращаясь домой с работы, я от усталости не мог даже есть, валился на кровать, лежал в изнеможении до позднего вечера, засыпал тяжелым сном, по утрам не было сил подняться; позже я освоился, но все же отставал от приятелей.

Я не спешу к Новосельцеву и, прежде чем зайти к нему, провожаю Дину. Я не люблю бывать у Новосельцева. Новосельцев появился в ссылке месяца четыре тому назад, жил нелюдимо и распутно. Новосельцеву около пятидесяти лет. В свое время он участвовал в народническом движении, отбывал по суду ссылку на поселение, в годы революции был амнистирован, возвратившись из Сибири, от революционной работы отказался, жил, продавая издательствам иллюстрации к детским сказкам. Его рисунки отличались богатством красок, остроумием и тщательностью отделки. Вторично в ссылку Новосельцев был отправлен случайно, больше из-за своего прошлого. Приехав, он с первых же дней обзавелся гулящими девками, сомнительными вдовами, местными пропойцами, жульем и подхалимами. В ссылке ходили упорные и, повидимому, достоверные рассказы об его оргиях в банях, куда он собирал своих сожительниц для разных непристойностей и похабств. В его квартире не прекращались грязно-разгульные попойки, били стекла, посуду, орали, дрались, из дома ночью выбегали «женки» в растерзанном виде, за ними гонялись Новосельцев и его собутельники. Большинство ссыльных от Новосельцева отшатнулось, считало зазорным бывать у него за то, что он порочит ссылку; Новосельцева исключили из колонии, к чему он отнесся как-будто даже насмешливо. Он зло и едко трунил над «святошами», над ссыльными «праведниками», к себе никого не приглашал из нас, за исключением двух-трех заведомых пьяниц, и со многими даже не раскланивался. Позже Новосельцев занемог язвой кишек, слег и теперь умирал, озлобленно сквернословя и издеваясь над собой, над другими и над жизнью. Я стал изредка заходить к Новосельцеву с тех пор, как он заболел. Он поражал меня цинизмом и острословием суждений.

В просторной комнате Новосельцева душно, прокурено, пахнет испражнениями и лекарствами. Новосельцев лежит в кровати, прикрытый байковым одеялом. Мне бросаются в глаза прежде всего его руки. Они устало и немощно лежат на одеяле. Они жутко белы, кожа суха, пальцы длинные, вспухшие голубые узлы и рогатки вен будто не под кожей, а бегут по поверхности ее. У Новосельцева длинная, черная, с сильной проседью, густая борода, она выглядит неуместной, лишней на его продолговатом, с крупными чертами, иссера-синем мертвеещем лице. Впадины глаз глубоки, как провалы. Подглазники вспухли, расплываются мешками, наполненные полупрозрачным желтым жиром. Нос заострился. В выражении лица изнеможденность и бессилие. Лишь одни большие карие глаза горят напряженным блеском.

Новосельцев встречает меня покровительственно.

— Ну, что, вьюноша, в весе не теряете, гной в кале не увеличивается, кровью не испражняетесь, температура не скачет вверх по вечерам? Марксизм, конечно, процветает в подлунном мире и завоевывает, все завоевывает новые тысячи чистокровных пролетариев? «Все идет к лучшему в этом лучшем из миров» — сказал Панглосс, когда его потащили на виселицу.

Новосельцев слабо шевелится, смотрит на руки. Я отхожу в угол к клетке с большой белой северной совой. Сова настораживается, от нее исходит терпкий, дикий запах, как в зверинце. Около клетки, на табурете —

тарелка с телятиной. Я беру большую кость с остатками мяса, просовываю ее в клетку. Сова хватается костью, безуспешно пытается разодрать подачку мощными когтями, раскрывает клюв и жадно, двумя судорожными движениями, проглатывает кость, медленно закрывает глаза. Новосельцев, немного свесившись с кровати и облокотившись на правую руку, следит за совой. Потом говорит:

— Видели? Желудочек, доложу я вам. Волк, тигр, лев крошат, перетирают кости зубами, она — целиком, целиком. Прямо доменная печь... Вот вам и прогресс, чудеса науки и техники... К чорту все это... Я, ни на минуту не задумываясь, променял бы все ваши марксизмы на один, на раз'единый совиный желудок... с ее кишками в придачу.

Он смотрит на сову с нескрываемой и жесткой завистью, переводит неприязненные глаза на меня, но тут же взгляд его меркнет, он откидывает голову на подушку, глядит некоторое время неподвижно на потолок, опирается одеяло. Я сажусь около него, беру со стола том Герцена «Былое и думы».

— Читали? — спрашивает Новосельцев, — очень чувствительно и, я сказал бы, местам слезоточиво, но... есть занятные страницы. Помните про исправника? — Он говорит слабым, нечистым голосом. — Некий исправник приехал к вотякам в деревню с мертвым телом за взяткой, потребовал двести рублей. Вотяки давали сто рублей и, когда ретивый начальник отказался наотрез принять меньше двухсот, схватили его с двумя писарями, заперли в баню, обложили ее хворостом, подожгли и стали упрашивать принять сотенную, даже на вилах подавали ее в окно. Исправник твердо и неукоснительно стоял на своем. Баню подожгли, но и тогда он не сдался и погиб Муцием Сцеволой, писаря тоже. Какая самоотверженность, какое мученичество из-за размеров взятки!

Дрожащими пальцами Новосельцев шарит в жестяной коробке с папиросами, закуривает.

— Чудак, — замечаю я неопределенно.

— Чудак? — Новосельцев вновь привстает. Он оживляется, голос его крепнет. — Нет, дорогой мой вьюнбша, исправник совсем не чудак. Он тип поистине общечеловеческий и более распространенный, чем, скажем, Дон-Кихот. Я только не знаю, почему этим исправником серьезно не займется мировая литература, почему она предпочитает изображать только идеалистов, героев, ведущих страстную, чаще всего неравную и трагическую борьбу с пошлостью, с косностью, со звериным тупоумием и жестокостью во имя благороднейших мечтаний? Не спорю, есть и такие, но еще больше других. Поверьте, для человечества более показательны: палач, который из-за четвертной кредитки для себя, для того, чтобы жавкать, мочить сладострастной слюной вонючую бабищу, с пафосом, с энтузиазмом — непременно с энтузиазмом — намыливает петлю, вышибает табурет и виснет — для прочности — на ногах осужденного; какой-нибудь изверг-душегуб, который отважно полосует и свежует ножом человека из-за кошелька; какой-нибудь хитрый и ограниченный политический подлец, нравственно и физически истребляющий тысячи людей в угоду своему себялюбию, самовластью и алчности, — тоже, заметьте, с самоотверженностью, с риском погибнуть

от пули, от руки убийцы; художник, мученически и свято отдающий себя творческим видениям отвратительных образов и типов, иступленно жертвующий за этот гнойный и кровавый бред и собой, и родными, и всем живущим на земле; обыватель, готовый до последнего издыхания из-за гусака сцепиться с соседом. Знаете, что замечательно в Великом Инквизиторе Достоевского? То, что он не прочь растоптать человечество, Христа, свободное произволение людей во имя торжества в сущности куцей, убогой. дрянной и нисколько не умной идеи. И он не пожалеет, нет, не пожалеет ни себя, ни других, — будьте покойны. Из Чингиз-хана, Наполеона, Атиллы человечество сделало, сочинило великих и страшных героев, гениев, людей своего долга... Возвышенно, приятно, что и говорить, а ведь на самом-то деле они были маленькие ничтожные себялюбцы, хотя, разумеется, по-своему храбрые, и даже подвижники. Какая ирония, какая нечеловеческая, губительная ирония мученически погибать из-за взятки, быть возвышенным душегубом, святым палачом!..

Новосельцев давно уже потушил недокуренную папиросу, костлявые пальцы с желваками и со сморщенной меловой кожей в легкой судороге комкают одеяло.

— Погодите, — продолжает говорить он, делая почти неуловимое движение ко мне, будто я собираюсь уйти, и он удерживает меня, — погодите, не думайте, что вы далеко ушли от этого исправника. О, я знаю, ваши идеалы прекрасны, ваши цели возвышенны! Вы, ваши товарищи самозабвенно, со всем вашим неистовством будете добиваться их воплощения в жизнь. Да. Ну, а потом обнаружится, что яблочко-то наливное с червоточинкой, а, возможно, и гнилое совсем.

— На наш век хватит. О более совершенном воплощении позаботятся будущие поколения. Всем хватит работы.

— Я не о том, я не о том, — заспешил Новосельцев, — о другом я хочу вам сказать: как бы шиворот навыворот не вышло? Бывало это в истории, доложу вам, совсем даже не раз и не два. Мечтали о мадонне, а на поверку замухрышка выходила из-за кулис на сцену.

Я отчужденно и враждебно смотрю на Новосельцева.

— Не понимаю, для чего вы, Новосельцев, столько лет отдали нашему революционному движению?

Его глаза жарко и сухо блестят. Быстрым, привычным движением он откидывает со лба рукой прядь липких, седых, прямых волос. Холодная усмешка лезвием проходит по его лицу.

— Вы очень пытливы, мой юный друг... За позднее познание истины всегда платят полновесной ценой еще со времен Иова и царя Соломона.

Хозяйка, женщина средних лет, вносит тарелку с дымящейся манной кашей, убирает со стола окурки, об'едки, клочки бумаги. Когда она оборачивается, показывает тучные, волнующиеся, как у лошади, бедра, Новосельцев смотрит на них жадным взглядом. Хозяйка уходит, Новосельцев нехотя берет ложку, придвигает ближе тарелку. Я прощаюсь с ним. Новосельцев откладывает ложку в сторону, некоторое время молчит, глухо и бесильно откашливается.

— Говорят, что предсмертные судороги и агония сопровождаются сладострастными состояниями... вот какова сила пола... Даже на смертном одре она не покидает человека.

Он опять усмехается, обнажает бледные десны, редкие, длинные, источенные старостью и табаком зубы. От мутно блеснувшего оскала чудится, что на лице Новосельцева уже нет кожи, и я вижу лишь голый череп... Я тороплюсь уйти.

Солнечная теплая позолота с полдневной тяжеловесностью пышно и дарственно лежит на реке, на крышах, на скалах, на деревьях. Желтые березки, синее небо, ранняя разноцветная паутина!.. Ух, поскорей бы, поскорей бы забыть эту комнату, отравленную разлагающимся человеческим телом и злобой умного, но обреченного духа!...

Неожиданно с очередной этапной партией прибыл Валентин. Его перевели к нам из Вологодской губернии за строптивость и неуживчивость. Будучи уже в ссылке, он не поладил с исправником, его арестовали за массовку в лесу, продержали с месяц при полицейском управлении, после чего перевели к нам. Валентин заметно изменился. Он стал совсем худым, побледнел. Скулы заострились, придавали лицу сосредоточенность, как у Акима. Движения и жесты сделались более нервными и порывистыми. Он тщательно брился и коротко подстригал волосы, но отрастил усы — они у него были рыжеватые. Он привык пощипывать и покручивать их. Но попрежнему у него ярко алели пухлые губы,—может быть, от увеличившейся бледности лица они казались даже более яркими, а глаза были мечтательные и голубые.

Вот отрывки из его рассказов:

Валентин работал в Москве, позже переехал в Тамбов, где был арестован спустя недели две после своего приезда. — Никакой пророк, брат, не приемлется в своем отечестве.—Тюрьма оказалась набитой социалистами-революционерами, максималистами, анархистами, боевиками. Среди них сидел Антонов, Юрий Подбельский, Вольский. Особый коридор занимали смертники. Из них немало было людей, случайно связанных с революцией: экспроприаторов, террористов, покушавшихся на урядников и стражников. Один, сидевший за убийство лесничего, юноша девятнадцати лет, каждый день плакал. Другой сошел с ума, по ночам пел разухабистые песни. Вешали в сарае на заднем дворе. В ожидании очередных казней по ночам заключенные сторожили у окон. Когда осужденных под утро вели через двор вешать, дежурные будили товарищей, все бросались к окнам, открывали форточки, прощались со смертниками, пели похоронный марш, тюрьма неистовствовала, гремела, била стекла, проклинала палачей. В тюремной больнице за деньги иногда удавалось доставать цианистого кали, его посылали приговоренным к смертной казни, если они требовали яда. Однажды в тюрьму был доставлен неизвестный, он назвал себя Романом. Роман руководил боевой организацией социалистов-революционеров в области. По приезде в Тамбов он остановился у жены. Ночью жандармы и полиция произвели массовые аресты и облавы, явившись и к его жене. Роман отстреливался, убил городского, ранил пристава, скрылся, выпрыгнув в окно, несмотря на погоню, добрался

до одного из своих товарищей, но наткнулся и здесь на обыск, вновь отстреливался и вновь скрылся. Однако жандармы уже успели оцепить весь квартал в районе Покровской улицы, где находился Роман. Его ловили с двенадцати часов ночи до шести часов утра. В него стреляли и пачками, и залпами, и в одиночку. Всю ночь трещали выстрелы, раздавалась команда, стягивали «подкрепления». Утром Романа ранили в ногу. Он засел где-то на заднем дворе за хворостом и дровами, истратил последние патроны. Его долго не решались взять, не верили его крикам, что он сдается, и схватили, когда увидели, что он далеко отбросил от себя маузер и браунинг. Тюрьма и многие обыватели были свидетелями в тот день величественного и в своем роде единственного зрелища: Романа вели по улицам в окружении солдат, казаков, кавалеристов, жандармов, городских и даже саперов, — их было свыше двухсот человек, не хватало только артиллерии. Он шел, прихрамывая, в косоворотке, растерзанный, но ловкий и статный. Солдаты утверждали, будто бы Роман «секрет имеет», что он заговоренный, и его не берет пуля. Все любовались им на прогулках. Он шагал, позвякивая кандалами, свободной, ладной, непринужденной походкой, кланяясь и улыбаясь друзьям и изредка поглядывая на окна женского отделения, где сидела его жена. В его руках заключалась чудовищная сила: он гнул монеты и свободно владел холодным оружием. Спустя три месяца после ареста Романа повесили, не раскрыв его фамилии. Рассказывали, что, стоя уже на табурете под петлей, Роман с такой силой ударил ногой палача под сердце, что тот упал в глубоком обмороке. Казнь пришлось на несколько часов отложить, пока не нашли другого вешателя.

Из тамбовской тюрьмы Валентина освободили, выслали за пределы губернии. Организация направила его во Владимир, где Валентин снова был арестован. Во владимирской тюрьме Валентин встретился с Фрунзе (Арсений). Арсений был молод, отважен, добродушен и по-домашнему уютен. Он тоже сидел в тюрьме в качестве смертника. Он был арестован по делу владимирской окружной организации в Шуге, его вызвали свидетелем на один судебный процесс, — здесь Арсений случайно встретился с урядником, в которого он стрелял, урядник опознал его, прокуратура возбудила против Арсения новое дело. Его судили, дважды приговаривали к смертной казни и дважды отменяли приговор. Урядник за свой счет доставлял в суд свидетелей, очевидцев покушения. Все это продолжалось более двух лет и окончилось, уже после освобождения Валентина из владимирской тюрьмы, ссылкой Арсения на каторжные работы. Валентин сидел в одной камере с Арсением перед первым судом. Арсений поражал товарищей общительностью, духом живым и бодрым и презрением к смерти. Уже имея смертную статью, Арсений увлекался синдикализмом и старательно изучал иностранные языки. После первого приговора Арсения отделили от товарищей, заключив в одиночную камеру вместе с одним уголовным, тоже приговоренным к повешанию. Уголовный не вынес ужаса смертного ожидания, решил наложить на себя руки. По его просьбе Арсений сторожил у дверей, когда он намыливал и прикреплял к оконной решетке петлю, сделанную из простыни. Попрошавшись, уголовный накинул петлю, повис, забился. В это время по-

слышались шаги надзирателя. Арсений бросился к удушеннику, приподнял, освободил его шею от петли, положил несчастного на кровать и успел сорвать веревку. Надзиратель прошел мимо, не заглянув в глазок. Уголовный пришел в себя, более суток не проронил ни слова, ни одним словом не обмолвился он и позже о своей попытке свести счеты с жизнью, лишился воли, механически ел, механически двигался и отвечал на вопросы, стал заметно тупеть и напоминал больше мешок, наполненный мясом и костями, чем живого человека. Когда за ним пришли вешать, он отнесся к душителям с мертвым безразличием. Это рассказал Арсений Валентину после первого приговора и перевода его в корпус, где содержался и Валентин. Он рассказал ему и о том, как до удивительной тонкости и изощренности обостряется слух у осужденного, особенно по ночам, после поверки, когда тюрьма затихает, наступает полночь, и каждый смертник ждет, не придут ли за ним в эту ночь, последнюю в жизни. Где-то звякнули ключи, хлопнула дверь, раздалось шарканье по асфальту нескольких ног, послышались голоса, — не за мной ли, не за мной ли? Раз Арсения поздно ночью вызвали в контору. Он шел с полной уверенностью, что наступил смертный час. Оказалось, его привели об'явить о пересмотре дела.

Во Владимире Валентину пришлось также сидеть вместе с анархистом-боевиком. По дороге из суда, где ему был вынесен смертный приговор, анархист, залепив глаза конвойным нюхательным табаком, бросился бежать, конвойные его преследовали, но ему удалось скрыться. Вечером его поймали на окраине, избили, изувечили, привели в камеру истерзанного, окровавленного. Он просил яду, ему дали. Он умирал у всех на глазах. Уговорил связать его полотенцем, закрыть одеялами, и все же было видно, как в судорогах билось его тело, как он мычал и хрипел. Товарищи лежали на койках, зарывшись головами в подушки.

Самый трогательный рассказ Валентина относился к вятской тюрьме. Он встретился там с двумя сестрами-каторжанками, — одной из них было восемнадцать лет, другой девятнадцать. Они походили друг на друга. У обеих на розовых щеках играли ямочки, и были не замутнены девичьи глаза. Они жили простой обычной жизнью курсисток, — конечно, дежурили у театральных касс, спешили на лекции к обожаемым профессорам, гуляли с Петеньками и Митеньками по бульварам, пели на студенческих вечерах «Гавдеамус» и стыдились своих милых девичьих тайн: лифчик перестал сходиться, бесовестный Петенька поцеловал в темной передней прямо в губы, а Митенька — ужасный, ужасный насмешник. Но как-то вечером к сестрам зашел знакомый, попросил до утра спрятать сверток. Сверток они схоронили, даже не спросив, что в нем содержится. А в свертке находились македонские бомбы; ночью пришли люди со шпорами в голубых мундирах, сверток был обнаружен, наивных девочек-сестер арестовали, судили, приговорили каждую к восьми годам каторжных работ. Они пошли на каторгу, ничего не рассказав о знакомом, который сгинул нивесть куда. Они страдали, теряли молодость, жизнь за революцию, не будучи ни в какой мере революционерками, не сочувствуя ей, но считали подлостью выдавать человека.

Все это и многое иное подобное Валентин поведал мне стоя у окна, засунув глубоко руки в карманы, перебирая в них пальцами, будто что-то он искал и не находил, поведал сухим, сдержанным голосом, и только в глазах его тоска ворочалась глухими тучами.

— Иногда мне кажется, — закончил он свои повести, — происходит социальный отбор не лучших, а самых худших: тупиц, тунеядцев, трусов, жалких тварей, свиных рыл. Если бы можно было подсчитать, сколько преждевременно сошло в могилы, сколько замучено таких людей, ну, за одно последнее тысячелетие, — какой бы запросец, какой бы счетик получился! Лучшие гибнут в поисках справедливой, прекрасной жизни, за каждый поступательный шаг платят драгоценной кровью своей, а худшие пользуются достигнутым — сидят до поры до времени тихохонько в укромных уголках, высматривают, выслушивают, и в нужное время, когда все укладывается, когда минуют опасности, незаметно выползают, пристраиваются, да еще подсмеиваются над безрассудными чудаками. Все лучшие, отважные, честные, смелые — обречены... Да... кто взвесит, кто исчислит самозабвенные, страшные жертвы, кто воздаст за них! Я знаю, будет время, вспомнят о них, вспомнят и... забудут. «И пусть у гробового входа младая будет жизнь играть». Я—за эту младую жизнь, за это грядущее, но не останется ли и тогда слишком много тупорылых, которым все равно, были ли неисчислимы жертвы, сколь они многочисленны, и не слишком ли дорогой ценой достается эта младая жизнь. Шопенгауер где-то заметил, что наслаждение и удовольствие, получаемое львом, когда он терзает живую овцу, куда менее значительно, чем мучения, испытываемые этой несчастной овцой. Иногда эта младая жизнь, во имя которой принесены и приносятся дымящиеся кровью гекатомбы, мне кажется таким львом-пожирателем. Эх, чего я не видал за эти годы! Как-будто весь мир лежит в скорбях и мучках мученических!...

Валентин невесело и глубоко вздохнул, я заметил, что кожа у верхней части его ушей стала натянутой и в тонких морщинах. Он отошел от окна, сцепил руки над головой, с силой потянулся, неожиданно подобрел и оживившись, промолвил:

— А все-таки вертится. Работать сейчас очень трудно. Не успеешь еле-еле восстановить группу, организацию, — провал. Людей нет, провокаторов, предателей — сколько угодно. И вообще... Откуда столько нежити, дрянца, столько трусишек развелось? А все-таки вертится.

— Ты что-то не совсем последовательно и ровно настроен, — заметил я Валентину.

Валентин взглянул на меня хитро и лукаво, улыбаясь и обнажая неправильный ряд крупных зубов и десна, ответил:

— Ты чудак. Кто же сказал тебе, что человек должен быть последователен? Последовательны только дураки, мещане, люди двадцатого числа, педанты, пошляки. Вот ты любишь классиков, — а скажи мне, есть среди них эти самые последовательные? Пушкин, Гоголь, Толстой, Достоевский, такая в них гамма чувств, такое разнообразие, такие противоречия и противоположности, что только разводить руками приходится. А отними у них

ихнюю непоследовательность, что останется от гения? Ничего не останется, Шепну тебе на ушко: стремлюсь к последовательности, но люблю кавардак чувств и мыслей. Люблю Толстого, Достоевского, Гоголя за неведенные концы, за душевный разлад, за сложность натуры; люблю революционеров, они преодолевают себя и мир, следовательно, тоже непоследовательны; люблю даже лишних людей, даже бандитов, даже воров и мошенников, конечно, крупных.

— А Ленин? Ведь он очень последовательный?

— Ленин очень последовательный и... очень непоследовательный. К нему твоя мерка не подходит, как и ко всем гениям.

Когда Валентин в первый вечер нашего свидания собирался уходить и находился уже у двери, я спросил его:

— А как твои личные дела?

Валентин прищуренным взглядом поглядел куда-то в потолок, заметил, как бы немного удивившись вопросу:

— Так, ничего себе... неважно. Перед отъездом во Владимир в Москве виделся с Лидой. Переписываюсь изредка.—Открывая дверь, прибавил почти ожесточенно: — Переписываюсь, дорогой мой, переписываюсь.

Скудный свет лампы жидким белесым пятном отделил в нахлынувшей из сеней тьме ссутулившуюся спину, худые, нервные плечи, высоко поднятый воротник, в который Валентин прятал склоненную вперед голову. На черном, выветрившемся и полинявшем пальто широко расплзался плечевой шов, из него торчал кусок грязноватой ваты. Оставшись один, я подумал, что от плеч и спины у людей всегда почему-то веет одиночеством.

На другой день я рассказал Валентину об Ирине, о Мире, как выкрадывали мы анкетные бланки. Между прочим, я сообщил ему и о том, что Андрей до сих пор не оповещен о предательстве Мире, и что она раскрыта нами. Валентин, слушавший меня сравнительно спокойно, лишь только узнал, что мы до сих пор не оповестили Андрея, заерзал на стуле, вскочил, жестикулируя сердито и возмущенно сначала, а потом неистово, назвал наше поведение «безобразнейшим в мире», «беспринципнейшим по своему разгильдяйству и безалаберности», в заключение же заявил, что он непременно пойдет сам к Андрею «для окончательного объяснения». «Окончательное объяснение» произошло дня через два. Валентин пришел от Андрея мрачный, злой и как бы растерянный.

— Был у Андрея. — Он помолчал, вопросительно посмотрел на меня, схватил пресс-папье, усиленно завертел его меж пальцами. — Да... Сперва разговаривали о разных разностях: о тюрьме, о ссылке, о народовольцах. Андрей угощал меня вином. Показался он мне человеком ограниченным, но добрым и свойским. В беседе, между прочим, рассказал ему о вымышленном происшествии во Владимире, где будто бы у моего приятеля жена оказалась агентом охранного отделения, доносила и на мужа и на его товарищей по работе. — Что же он сделал с ней? — спросил Андрей. — Он ее пристрелил в лесу. — Ему ничего другого не оставалось, — заметил Андрей. — Вы так полагаете? — переспросил я его. Андрей удивился. — А разве можно вести себя в этих случаях как-нибудь по-иному?—

У меня заколотилось сердце. — Тогда вам, — сказал я Андрею через силу, — тогда вам придется поступить с Мирой так же, как это сделал мой приятель, у которого жена оказалась предательницей. — Андрей засмеялся, он, очевидно, подумал, что я шутил, но я подошел к нему вплотную; взглянув на меня, он, не сводя глаз, стал медленно подниматься с кресла, держась обеими руками за подлокотники. Так, ни слова не говоря, мы стояли друг против друга некоторое время. Лицо его исказилось судорогой и ужасом. — Вы что... — прохрипел он и не закончил фразы. — Я сказал вам правду про Миру: она предательница. Об этом знают многие из ссыльных. — И я рассказал ему, что слышал от тебя, от Вадима, от Яна. Андрей сидел, закрыв лицо ладонями, он слушал меня, не перебивая никакими вопросами, думаю потому, что был совершенно оглушен и раздавлен. Только один раз, в самом конце рассказа, он неожиданно сказал: — Я теперь понимаю, откуда у ней появлялись деньги и вещи, — да, она обманывала меня. — Я не могу тебе описать его вида. Он весь побелел, и впадины под глазами у него стали черными. Когда я умолк, он глухо спросил: — Вы и меня тоже подозреваете?.. — Я поспешно ответил, что ссылка считает его чистым от подозрений. — Уходите, уйдите скорей, — потребовал он, — мне надо остаться одному. — Я ушел.

— Я боюсь, — сказал я Валентину, — что Андрей наложит на себя руки, он очень неуравновешенный.

— Я тоже этого опасуюсь, — согласился Валентин подавленно.

— Может быть, мы потому и не говорили ему ничего о Мире, что боялись за него.

Валентин с сухим блеском в глазах, не задумываясь, жестко перебил меня.

— Вы должны были объявить ему о Мире еще раньше. Пусть он убьет ее. Пусть именно через него революция отомстит этой подлой твари. Она не щадила нас.

Я вспомнил об Ине, об анкете.

— Я тоже желаю, чтобы Андрей убил Миру.

Странно, что эта мысль ни разу не пришла мне в голову раньше.

Вечером того же дня Андрей был у Вадима, расспрашивал о подробностях дела, просил пока ничего не сообщать Мире. Спустя месяц, он бежал из ссылки. Как он обошелся с Мирой, что сделал с ней, осталось неизвестным. Мы потеряли их из виду. Когда в 1917 году Мира появилась в списках сотрудников охранного отделения, возможно, она уже не была живой..

Пришла зима со своими сумрачными, серыми, короткими днями. В одиннадцатом часу еще бывало темно, в два пополудни зажигалась лампа. Морозы отдавали сталью. Сугробы снега лежали крепко, круто и глубоко. Леса покрылись холодной ромашкой. Часто буйствовала морянка-метель. Она шла с Ледовитого океана, голодная, пронзительная, сплошная и беспощадная. Она визжала истошными голосами, озорничала, бросала колючие, иглистые косяки снега, била по лицу, дико шумела меж деревьями, ломая сучья, стлалась серебряной пылью по земле и вдруг вздымалась, взви-

валась штопором в высь и крыла оттуда прохожих, обильно насыпая сухой колкий снег за воротники, в рукава, куда попало. Она не унывала, не унималась и по ночам, привольно и властно разгуливая, где вздумается, еще более ярясь и злобствуя. Ссылные отсиживались по домам; по три, по четыре раза в день топили печи, ходили друг к другу, обменивались книгами, газетами, сплетничали, чаще ссорились, пьянствовали. Однообразие и томительная скука разрыхляли здоровье и силы. Люди надоедали друг другу, казались исчерпанными до дна, до последних своих мыслей и чувств. Правлению колонии то и дело приходилось разбирать мелкие, нудные столкновения, выносить выговоры, предупреждения. Лучше и легче жилось тем, кто имел заработок, да еще «теоретикам», — кто занимался политической экономией, историей, языками, — но таких было меньшинство. Уголовные бесчинствовали, воровали, нападали на местных жителей, портя наши отношения с поморами. Ограбили купца в пяти верстах от города. Мы не без оснований подозревали в ограблении группу анархистов и уголовников. Изредка прибывали небольшие партии ссыльных. Аким удачно скрылся из ссылки, исправник организовал за ним погоню из стражников, но ему удалось провести их.

По совету Валентина я стал заниматься с кружком рабочих, но занятия шли вяло.

Значительное оживление и разнообразие в нашу жизнь вносил Валентин. Он не в состоянии был спокойно проводить время и, по его словам, занимался «активным бездельем». Он объявил войну стражникам. Полицейское управление с особым вниманием относилось к дважды опальному Валентину, посылая ежедневно к нему на квартиру стражников для проверки, тогда как к нам стражники наведывались гораздо реже. Валентин нашел это неудобным для себя и несправедливым. Он стал запирает на щеколду дверь, не откликался, когда стучали к нему. Обиженный стражник пожаловался исправнику. Исправник для вразумления прислал надзирателя. Валентин и его не принял, заявив, что лицемерие надзирателя не доставляет ему никакого удовольствия. Надзиратель ушел удрученный. Исправник вызвал Валентина в управление, Валентин в управление не явился. Ночью полиция вломилась к нему с обыском. Валентин заставил их выломать дверь. Помощник исправника и стражники испортили Валентину несколько книг, искромсав ножами корешки переплетов. На другой день Валентин бушевал в кабинете исправника, требовал, чтобы тот на казенный счет отдал в переплет испорченные книги. Исправник этого требования Валентина не удовлетворил, но после долгих препирательств — при чем Валентин угрожал остаться в кабинете до «следующего дня» — все же согласился посылать к нему стражника так же, как и к другим ссыльным. В свою очередь, Валентин пошел на уступки: он согласился допускать стражника в комнату, однако тут же присвокупил, что делает это единственно из любезности, так как нигде, ни в каких уложениях и правилах не сказано, что он обязан открывать полиции двери, и что в сущности стражник должен это делать сам, как ему заблагорассудится.

Валентин, однако, не утомился. Должно быть, в отместку за обыск он в одной из соседних деревень достал пса внушительных размеров и неимоверной злобы. Он прозвал его в честь тогдашнего премьер-министра Столыпиным, обучил разным культурным повадкам, например, стучать лапой в дверь, если псу хотелось войти в комнату из кухни. С особым усердием Валентин натаскал его на стражников и городских. Стоило псу увидеть погоны и светлые пуговицы, как он со всем остервенением и бешенством бросался на охранителей порядка. Валентин унимал пса, но таким тоном, что тот еще больше шалел от ярости. К исправнику поступили новые жалобы. Положение осложнилось тем, что Валентин любил гулять с собакой по улицам; обыватели, ссыльные, городские не раз и не два слышали звонкоголосого Валентина, поучавшего собаку в таком духе: — Столыпин, сюда, негодяй. К ноге, стервец! — Все это кричалось на весь квартал, сея толки, смущение, смех и соблазны. Исправник вновь приглашал Валентина, угрожал Столыпину пристрелить, если пес не будет переименован. Валентин возмущался произволом, но, привязавшись к Столыпину, все же перестал производить своеобразные уличные демонстрации. Стражники же заходили к Валентину с величайшей опаской и почти униженно просили его «попридержаться» собаку и даже заискивали перед Столыпинам, привыкнув называть пса именем своего высокого начальника, что доставляло и нам и Валентину не мало веселых минут.

Одержав столь блистательную победу над властью, Валентин решил применить избыток своих сил на другом поприще. Он занялся литературной и публицистической деятельностью, провел в правлении колонии решение об издании журнала, самолично назначил себя редактором. Журнал «Северный буреветник» должен был выходить по мере накопления материала, с шаржами и эпиграммами. Валентин убедил меня написать передовую для первого номера. Статейка получилась потрясающая по своей напыщенности и витиеватости. Она начиналась словами: «Овеваемые холодным дыханием Ледовитого океана, отданные в руки шайки полицейских ищек...» — а заключалась такой тирадой: «В этом трагедия нашей действительности и темного фона наших перспектив». Надо признаться, что статью сию я написал в один присест с искренним подъемом и с несравненным вдохновением. Вадим дал в журнал отчет о диспуте с социалистами-революционерами. По отчету выходило, что народники посрамлены на вечные времена. Дальше шли какие-то «штрихи» Валентина, какие именно — я забыл, но занозистые и обличительные. Местная хроника, стишок и два-три шаржа на полицию заключили номер. Его переписали от руки в пяти-шести экземплярах. Очевидно, из доверия ко мне, а может быть, благодаря поспешности, Валентин невнимательно проредактировал мою статью, за что и понес должную кару. Непосредственно после выхода «Северного буреветника» «из печати», он явился ко мне возмущенный до изнеможения, шваркнул скомканный номер на стол. — Ты что же это написал в своей статье? — кричал он, лишившись всякого подобия благопристойности. — «Отданные в руки шайки полицейских ищек»... какие это руки у ищек, осмеливаюсь я у тебя спросить?? Чушь, позор!.. Трагедию, какой-то темный фон приплел

неизвестно к чему и... чорт его знает что! — Я попытался защищаться, однако, вынужден был согласиться, что рук у ищеек нет, но темный фон отстаивал до конца и решительно указывал, что статья написана с несомненным огоньком. В споре я перешел от обороны к нападению, заявив Валентину, что, будь я редактор, я никогда не пропустил бы стишка «красная роза увяла от мороза». Я заметил это не без ехидства. Валентин хлопнул дверью и дня два не заходил ко мне. Первый блин вышел комом. Журнал пришлось прекратить. Надо еще прибавить, что эсеры подали в колонию протест против отчета Вадима о диспуте, назвав его инсинуатором, а журнал — сектантски-марксистским. Дело разбиралось правлением без особых последствий для Вадима и Валентина.

После опыта с «Северным буревестником» Валентин приступил к искоренению богостроительства. Поводы к этому имелись. Среди ссыльных обозначились довольно странные течения. Розенберг забросил свой кларнет, ходил по квартирам ссыльных и убеждал, что нельзя истреблять мух, клопов, пауков, так как они — чудесные создания природы. Он не ел ни мясного, ни молочного, ни рыбного, отощал, от недоедания падал в обмороки. Среди социалистов-революционеров некий Виктор организовал кружок служителей литургии красоты. Служители пошили себе балахоны с колпаками и учились ритмическим танцам. Сам Виктор в обычное время ходил с соломой в бороде, небритый и нечесаный. Спорили о Санине, о личном счастье, о том, что надо ловить момент и быть сверхчеловеком. Большой успех имели отступнические романы Винниченко, мрачные, мизантропические и талантливые вещи Леонида Андреева. Среди социал-демократов возникла группа синдикалистов, отрицавшая парламентскую борьбу и призывавшая к непосредственному действию. Туманный и тяжеловесный Сорель провозглашался выше Маркса. Все это Валентин объединил под одним общим названием богостроительства и повел с ним неукротимую борьбу. Собственно пагубную склонность к богостроительству пока обнаружили Николай и Чок-бор. Николай утверждал, что надо обожествить «человеческие потенции» и с воодушевлением цитировал слова Луначарского, будто настанет абсолютно волшебный момент, — на троне миров воссядет некий, ликом подобный человеку, и вся вселенная, голосом всех стихий своих, воскликнет: «Свят, свят, господь Саваоф, исполнь небо и земля славы твоя!». Чок-бор строил бога с точки зрения юридических норм и постулатов. Валентин читал доклады, направленные против богостроителей, называл их кликушами и религиозными импотентами. Николаю и Чок-бору он не давал ни отдыха, ни сроку, довел их до того, что они при встречах с ним шарахались в первую подворотню. На помощь Валентину пришли зарубежные органы и легальные сборники большевиков. Валентин торжествовал и неистовствовал. Николай запил тяжелым запоем вместе со своим другом Романовским. Романовский допил до белой горячки, ловил дома чертей и леших, прятался от них под стол, нес околесицу, его положили в больницу. Николай выбегал с пустой бутылкой на улицу, приставлял ее к глазу, уверял, что созерцает «комету Галлея», садился в снег и во все горло орал: «Городовой, спасай меня или заруби шашкой!». Чок-

бор сознался, что он в богостроительство впал из-за своей немки, с которой он непременно на-днях разойдется.

Справившись с богостроителями, Валентин добрался и до ликвидаторов. Меньшевик Климович нередко выступал с рефератами, громил «сектантов», «революционных алхимиков», «бланкистов»-большевиков, сумел сплотить против нас кружок из южных рабочих и студенческой молодежи. Общие настроения среди ссыльных ему благоприятствовали, и нам нелегко было с ним справляться, тем более, что он обладал значительной эрудицией. Валентин заключил прочный союз с Вадимом. Я тоже принимал в этом его походе посильное и не последнее участие. Успех наш в первых схватках был более чем сомнителен. Валентин гремел и старался. — Вы дезорганизуете центр, периферию. Вы проповедуете малые дела. Вы отказываетесь на деле от демократической республики, — обличал он Климовича и его сторонников. Все это было справедливо, но не всегда торжествует правда. Климович язвительно высмеивал «ура-революционеров», «фразеров», «ленинских молодцов», призывая слушателей следовать практике западно-европейской социал-демократии. Сочувствие большинства было на его стороне. Тогда мы изменили свою тактику. Едва Климович получал слово, мы начинали его речь перебивать вставками, замечаниями, выкриками. Происходила суматоха, непристойный гвалт, иногда дело доходило до свалок. Валентин взбирался на стул, выкрикивал ругательства, противники тащили его за полы. Я, засунув пальцы в рот, свистел разбойным посвистом; Вадим засучивал обшлага, давал полную волю рукам и ногам. Собрание закрывалось. Результаты были положительны: Климович оказался вынужденным прекратить свои открытые выступления и уйти от нас в особое подполье—он читал теперь свои доклады узкому кругу ссыльных, принимая меры против наших нашествий. Позже мы получили подкрепление: из Петербурга прибыла партия ссыльных рабочих; противников ликвидаторов. Тогда мы перешли в решительное наступление, устроили большое собрание, на котором Валентин сделал доклад. Перевес оказался на нашей стороне, спор был до того горяч, что мы не заметили, как нас окружила полиция. В квартиру вошел помощник исправника, но даже и тогда, когда он стал нас переписывать, Климович, невзирая на обстановку, требовал третейского суда над Валентином, допустившем по его адресу некоторые крепкие выражения неудобосказуемого свойства. Тщетно полицейский чиновник старался водворить порядок между разделившимися дискуссантами, угрожая перевязать их и немедленно отправить в арестное помещение. Беспорядок был велик, многие, и я в том числе, успели ускользнуть от переписи в кухню и далее на улицу. Валентину, Климовичу, Вадиму и еще десяти-пятнадцати ссыльным за неразрешенное полицией собрание пришлось потом неделю отсидеть под арестом. Климович и Валентин настояли на том, чтобы их содержали в отдельных камерах.

Попутно Валентин не забывал и культурно-просветительной работы среди местных жителей. Он свел знакомства с поморами, с крестьянами, ходил к ним в гости, давал им читать газеты и книги. В свою очередь они угощали его домашним черным пивом, очень спиртуозным, приносили от

своих уловов рыбу. Валентин не оставил без внимания и свою хозяйку, вдову-староверку, лет тридцати двух, женщину с крепко сжатыми губами, с гладко причесанными волосами, плечистую и дородную. У нее была дочь Оля, девочка лет семи. Валентин часто занимался с ней, иногда в своей комнате, иногда на хозяйской половине, одновременно политически просвещая и мать. Из этих собеседований получилось нечто неожиданное. Однажды вечером хозяйка долго и как бы внимательно слушала разглагольствования Валентина, наслушавшись, встала, подошла к широкой двуспальной кровати с горой пуховых подушек и пышной периной, неторопливо раскрыла постель, обернулась к Валентину, спокойно и покорно сказала: — Что ж, я вижу, иди уж, приголублю тебя. — Сказав это, она стала, тоже не спеша, покорно и со вздохами расстегивать пуговицы и распускать лиф. Валентин будто бы ограничился тем, что поблагодарил ее, от остальных удовольствий отказался. Вадим в этом открыто сомневался, смеялся в лицо Валентину, распускал, правда, в узком товарищеском кругу, слухи, что рассказ Валентина явно скомкан в конце. На это Валентин замечал благодарно, что Вадим сдается к нему завистью. Вадим предлагал Валентину сменить его в качестве пропагандиста упомянутой хозяйки, указывая на себя, как на вполне зрелого заместителя. Валентин предусмотрительно от любезного предложения отказывался, выдвигая то соображение, что руководителей в занятиях менять не годится, против чего Вадим веских соображений не выдвигал, однако, при встречах Валентина с его хозяйкой густо кричал и ехидно покашливал...

...Длинными докучными вечерами я много читал—до одурения, топил печь, приспуская лампу. Березовые дрова шипели, сухо трещали и щелкали, подобно разгрызаемым орехам. Кругом бродили уродливые мохнатые тени. О минувшем и угасшем напоминали покрывавшиеся серым пеплом угли. Далекой и невозвратной казалась недавняя жизнь в столицах и в больших городах. Вести оттуда, «с воли», были мрачны. Новые ссыльные рассказывали об арестах, о казнях, о пытках и издевательствах, о распаде организаций, об изменах и отходах, об отсутствии руководства. Будет ли прилив, удастся ли возвратиться? Представлялся ночной Париж, рабочие предместья, Латинский квартал, наша эмиграция. Хорошо бы убежать туда. Я пел одинокие песни, повторял отрывки стихов, мечтал о многом и ни о чем, так как мечтал не головой, а всем своим существом. Я чувствовал, что я мог бы печататься — меня постоянно томили невоплощенные замыслы. Но вот лежат на столе мелко исписанные листы бумаги, растет их ворох, однако, бесполезно посылать их в редакции, бесполезно ждать ответов. А сколько таких же листов пришлось в свое время уничтожить, порвать, сжечь, а сколько их лежит в архивах жандармских управлений и охранных отделений!.. Далекими запоздалыми отголосками доходят события, бедрят, тревожат душу. Шумит где-то многоликая пестрая жизнь, — не ждет, не ждет она. Новые имена на устах. В их статьях, в стихах, в повестях и рассказах крепнут способности, чувствуется то самоуверенное довольство, которое зреет у творца, созерцающего наглядные плоды своей работы. «И увидел все, что он создал, и вот добро зело». Нет ничего тоскливей,

тяжелей этих незримых могил, где похоронено, что просилось когда-то наружу, стучалось в сердце, волновало мозг и кровь и не нашло себе выхода — этого кладбища чувств, образов, неизреченных, несказанных слов. Сбудутся ли, сбудутся ли чаемые и ожидаемые сроки, или и нас и наши несбывшиеся надежды покроет тьма безвестности и безвременья?.. Оживали пленительные женские образы, эта вереница страстей, превращенных в одни лишь бесплотные, ускользающие тени. Я спешил истопить печь, гремел заслонками, одевался, оглядывал полутемную комнату тоскливым и потревоженным взглядом, шел к Вадиму и к Яну, к Валентину. Темные небесные глубины подавляли своей пугающей безмерностью. Тогда я думал, что, может быть, счастливо жилось древним: их мир был ограничен и прост, они не знали об этой бесконечности, когда мысль теряется в беспредельностях, в холоде и пустоте, и человек ощущает такую свою брэнность, такое свое одинокое ничтожество, что в груди становится звонко и пусто, будто оттуда вынули сердце.

В товарищеских беседах все это забывалось. Так проходили дни и ночи.

Зимой умерла у Дины дочь Рахиль. Она погибла от стылых сугробов и суровой морянки. Ее привезла осенью к Дине сестра. Зимой Рахиль заболела воспалением легких и не встала. Ей шел седьмой год, когда она умерла. Я увидел Рахиль уже в гробу. Узнав о смерти, мы с Яном у лесничего с большим трудом и почти с унижением достали живых цветов. Дина приняла от нас цветы, не проронив ни слова и не глядя на нас. Труп лежал в смежной комнате. Я открыл дверь Дине, чтобы она положила цветы. Дина вошла в комнату с закрытыми глазами. Подходя к столу, где лежала Рахиль, она, как слепая, протянула руки. Невыносимая белизна была на лице Рахили, и пухлые губы цвели смертельным, ужасным, почти темным кармином. В мертвых больше всего поражает неподвижность, так как мы привыкли видеть людей в движении, у мертвых же детей неподвижность еще более необычайна. Дина, не раскрывая глаз, растрепала букет, и, ощупывая труп неуверенными, скользкими движениями, разложила цветы в голове, в плечах, на груди, потом долго и недоуменно водила пальцами по лицу дочери, попятилась, не раскрывая глаз, наткнулась на стул. Я взял ее под руку, вывел. Мы узнали позже, что она ни разу не решилась взглянуть на умершую дочь, и уже спустя месяц после похорон жаловалась, что у нее в пальцах все еще не проходит ощущение особого холода от слепых прикосновений к мертвой Рахили.

Умер Новосельцев, в мучениях, смрадно и одиноко. За его гробом шло лишь несколько человек; колония отказалась принять участие в похоронах.

Другим значительным событием в нашей жизни являлось получение зарубежной литературы. Удивительней всего было то, что, несмотря на жандармский контроль нашей переписки, подпольные издания исправно доходили до нас. Во время ссылки я исправно дважды в месяц получал плотного вида письма с заграничной маркой и печатью. При вскрытии из конверта выпадал листок. В нем печатно редакция просила извинить ее за то,

что она «случайно» узнала мой адрес и воспользовалась им. Я торопливо извлекал и развертывал очередной номер центрального органа, — тонкая, почти папиросная бумага колко шелестела и еще остро пахла краской. Устанавливалась очередь для чтения, из-за очередей происходили споры, недоразумения. Читали прежде всего группами в три, в пять человек. Никакие, самые великие произведения человеческого гения по силе своего воздействия на нас не смогли сравняться с этими тощими листками, в которых коротко давалась оценка происходящему и осторожно, с оглядкой, рассказывалось о работе организаций. Как часто после чтения приходилось надевать лыжи, уходить в лес, чтобы остыть, совладать с наплывом самых разнообразных дум и настроений!

...Опять наступила весна. Пришли первые пароходы. Валентина неизвестно почему перевели в другой город. Лето выдалось сухое и жаркое. Я работал в артели переплетчиков, иногда пилил и колол дрова у казенных подрядчиков, но еще чаще брал удилица, бродил по лесу с корзиной, собирая грибы и ягоды. Я полюбил север, его неяркое солнце, белые, жемчужные ночи, неувядаемую зелень хвои, густоту смоляных запахов, смешанных с запахами древесной коры, глеющих листьев, сучков и стволов, широкие полотнища туманов, сурово-спокойное море, горбатые скалы. Природа всегда легко возбуждала мое воображение. Вставали новые, неизвестные страны, — стоит лишь переступить воздушно-легкую черту горизонта, поднять или раздвинуть ее, и откроется иная жизнь, с другими, радостными и неисчерпаемо духовно богатыми людьми. И, бродяжничая по лесным прогалинам, взбираясь на скалы, я снова и снова испытывал это обычное для меня чувство. Но теперь почему-то мое воображение часто делалось все больше созерцательным. И еще я переживал сожаление, печаль и грусть, будто я утратил бесценное и великое, но и в этом было какое-то успокоение. Потом я понял, что меня подчиняла себе первобытная гармония окружающего. Кругом все жило, двигалось, росло, шелестело, перебегало, пряталось, искало пищу, уничтожало друг друга, отдыхало, цвело и увядало, ловило и впитывало солнечные лучи, источало запахи, не спрашивая о смысле жизни, о своем назначении. Будто раз навсегда лес, скалы, поля, все живущее и произрастающее в них и на них решили самые главные вопросы жизни, земли, вселенной и жили, поверив в эти решения бесповоротно, без оглядок и сомнений. Меня окружило величественное изобилие стихий. Желтели поляны упругой дикой морошки; цеплялись за рубяку кусты малины, ее прохладные ягоды казались налитыми немного перезрелыми вечерними солнечными лучами; румяная брусника рассыпалась кораллами; белый гриб таил в своем запахе сырость, сумрак и свежесть леса; волнухи пахли подгнившим деревом; темно-синяя ежевика походила на цыганку; редкая, самая вкусная и ароматная, прозрачно-золотистая поляника пряталась в укромных местах. Во всех этих запахах, в окраске, в цветении, в росте, в созревании не было ни числа, ни меры. Тут царственно раскидывалась, раскрывалась мощная, бессознательная стихия. Я останавливался у куста можжевельника с уродливыми и крепкими корнями, у ветки ели или пихты, трогал бесцельно колючие иглы и так застывал в бездуш-

ном оцепенении, в замороженной безмятежности. Ни одна мысль, ни одно желание не омрачали меня. Не было ничего целительней этих мгновений. Я вспоминал, как недавно запутался в своих отношениях к товарищам, к Ине. — Там все сложно, сомнительно, тут все достоверно и непреложно. Серая бабочка села на серый камень, она знает, где ей сидеть, чтобы быть незаметной для ее врагов. Дятел спокойно и мерно стучит клювом — он тоже знает, что ему делать, он уверен в своей работе. Муравей тащит личинку в пять раз тяжелей его — и ему известно, зачем он это делает. А мы идем ощупью, наугад, часто в потемках. И я начинал понимать, почему мной овладевали грусть, печаль и сожаление, когда я одиноко бродил по лесам и скалам: это происходило от смутного сознания, что мной, людьми, подобными мне, утрачена естественность бессознательной стихии. Но лишь только я покидал леса, воды, поля и возвращался домой, я попадал в привычный круг мнений и чувств. Чему завидовать, — уже твердил я себе, — бессознательная жизнь природы прекрасна своей первобытной гармонией, но она беззащитна. Оберегает от нелепости, от случая одна чудотворная человеческая мысль. Только ей можно поверить, только она может открыть источник живой и мертвой воды, создать новый град Китеж. Обворожительны утренние и вечерние зори, щетины лесов, цветы и травы, но в них есть предел, его же не преjdeши. Они не в состоянии пробудить того горделивого восхищения и радости, какие мы испытываем от творений рук человека и его мозга. Древнегреческие статуи, Кельнский собор, собор Парижской Богоматери, картины Рафаэля, Веласкеса, рембрандта, Бетховен, Гомер, Сервантес, Толстой, открытия Коперника и Галилея, технические изобретения—какое разнообразие, счастье, какую творимую красоту открыли и открывают, созидали и созидают они для человечества! И тут нет предела, нет природной ограниченности. Следовательно, есть другая правда: разумного, осмысленного творческого труда... Но разум сплошь и рядом бывает жалок, сух и бескровен. Об этом писали и Пушкин, и Толстой, и Достоевский. Сейсмограф отмечает колебания земли, предсказывает землетрясение, но если нужного прибора не окажется почему-либо у человека, он— властелин земли — делается до обидного беспомощен. Известно, что во время землетрясений люди боятся отпустить от себя кошек и собак, которые инстинктом чувствуют опасность, приближающиеся подземные удары, и своим поведением предупреждают о них человека. Бесплодные и беспомощные блуждания разума, — рассуждал я дальше, — очевидно, происходят от того, что он трагически отрывается от своей первоосновы: от инстинкта, от природной стихии. Пропась между разумом и внеразумным создает уродливая общественная жизнь: одни вынуждены жить физиологической, инстинктивной жизнью, заботиться о куске хлеба; другие, живя разумом, лишены благотворного воздействия на них мускульного труда и вещей. Современное общество стремится одних лишить крепких, здоровых инстинктов, других — разума. Оно развивается к тому же стихийно, коллективный разум не в состоянии планомерно руководить общественными явлениями. И так будет продолжаться до тех пор, пока человечество не перекроит заново общественное бытие. Лишь при социализме устранится коренное противоречие между сознанием и бессозна-

тельным. Совершится скачок из царства необходимости в царство свободы, т. е. не будет трагических разрывов между сознанием и бессознательным: разум подчинит себе стихию, но будет и сам связан с ее могучими силами.

...Иногда я брал у хозяев рыбацью лодку, отправлялся к острову св. Ильи. Быстрые веселые воды легко несли меня к задумчивым соснам. Мне приходилось следить лишь за тем, чтобы не наткнуться на пороги. Я причаливал к берегу, сидел на камнях. Дальние острова лежали в молочном тумане. Белые облака оттеняли и углубляли голубизну небес. Маячили парусные лодки, подобно крыльям гигантских бабочек. Прибрежная сочная зелень, камни, деревья, опрокинувшиеся в воды, неслышно и медленно колыхались в них. Начинался прилив. Он шел широкими теплыми волнами, затоплял низкие места, шуршал гальками.

Летом на острове поселился помор Тихон, сделал шалаш, натаскал в него камней, устроил на них кровать, сложил у шалаша очаг. Он ловил рыбу. Был Тихон стар, но вынослив и живуч. У него слезились глаза, но он обладал еще зорким зрением. Он жил одиноко и нелюдимо, окруженный собаками. Он любил их, но относился к ним внешне сурово. Он встретил меня недружелюбно,—я задобрил его табаком и сахаром. Я приезжал к Тихону, он прилаживал чайник или варил уху, не спеша подбрасывая в огонь сучья, почесываясь между лопатками и не выпуская изо рта самодельной трубки. Хмурая густые стариковские брови, он говорил мне:

— Зверье я люблю. Зверь — он лучше человека. Возьми, скажем, вот этого чернопегого щенка. Холодно ему — он дрожит. Обозлится — залает. Скушно станет — заскулит. Обрадуется—ноги лижет, хвостом виляет. У него все наскрозь видно, не то что у человека. У него в нутре одно, а напоказ другое. Темна душа человечесья, прямо хуже сажи. Он тебе и добрым прикинется, и другом назовет тебя, и наговорит тебе слов всяких, а на поверку обманет, оболжет, обсловит, за рупь продаст, а то и убьет. И глаз у человека дурной, недобрый глаз, настоящинский-то он потерял давно.

— То-есть как это потерял?

Тихон поправлял котелок на рогатках, отгоняя веткой комаров, как будто нехотя отвечал, сильно окая:

— Порченный глаз у человека, мутный, со ржавчинкой. Гляди на собаку подольше или на кошку, — сейчас она от тебя глаз свой отведет: чует, дурным глазом на нее смотришь. Ежели человек разбойником каким ведет себя, расхитителем и себялюбом, то и должен он жестокость иметь в себе, оцепенелость и злобу. Об одном о себе заботу имеет, завистлив, горделив, рушит все для себя, — ну, от него все живое и бежит. Слыхал ты, поется: «слава в вышних богу и на земле мир, в человецах благоволение»... Куда ж ему славу видеть, когда он с утра до вечера только и делает, что рыщет кругом, кого бы ему загубить, обмануть, обобрать. Кровавый глаз у человека, очень даже страшный. Мир-то и прячется от него, не показывает ему своей славы и благоволения. Редкому человеку подглядеть удастся, — иной живет, живет, да только под самый конец увидит, как и что, а жизнь-то прошла, ее не воротить, — не течет речка в обрат, нет — не течет. Кусает себе руки человек, льет мутную стариковскую слезу, да поздно.

— А ты сам-то, Тихон, видел мир не дурным глазом?

Тихон зачем-то пристально посмотрел на свою руку в крупных жилах и с ссохшейся кожей.

— Если б не видел, не говорил бы... Ты на кочке в трясине сиживал всю ночь непроглядную? Я, малец, сиживал. Кругом глухомань, тьма. Кочка, того и гляди, опустится вместе с тобой в болотную гнусь. Трясина хлюптит и чавкает, будто слопать тебя ей охота. И знаешь, кричи не кричи, все равно на десятки верст нет никого. Ты с жизнью прощаешься, тоска в грудях смертная, даже выть невозможно от тоски, а наверху звезды плывут, небо качается над тобой, сон тебе ребячий напоминает, утехи глупые, а отрадные; ну, а тут кочка под тобой, топь погибельная и черная. Тогда-то и поймешь, какое есть все кругом, мир то-есть. Он ж и во е любит, для живого создан, в живом счастье и долю свою видит, вот главный сказ про што.

Однажды я спросил Тихона, что он думает о ссыльных.

— Что ж,—ответил он,—хлопотливые люди. Далеко зовете, а не пойдут за вами. Сказывали старые люди: из наших краев ходили в ореховую землю, ходили, да не дошли.

— В какую ореховую землю?

— А такую: есть будто за морями, за горами, за синими лесами земля; растут в ней орехи в человечью голову, — расколешь орех, а в нем мука. Ни сеять, ни пахать, ни жать не надо, потому, сколько угодно таких орехов, прямо леса немислимые. Нашлись до этой земли охотники, как слух о ней прошел. И верховод нашелся, отменной храбрости человек и бывалый. Пошли. Шли-шли, а потом взбунтовались, верховода ухлопали, бросили его тело глотать собакам, как падаль, — а и земля-то, говорят, недалеко была.

— Почему же не дошли и почему с верховодом покончили?

— Ослабли, истомились. А тут какая ни есть землишка приглянулась: луга, травка, речка, скотнишка там какая-нибудь. Ну, а герой все мутит и мутит: нельзя, мол, подождите да подождите, они его и пришили к месту... А кто говорил, что герой скрылся, собрал новых людей и пошел все-таки в ореховую землю:

— А дошел?

Тихон равнодушно ответил:

— Кто ж его знает, может, и дошел. Дело не в земле, а в человеке. Нельзя надеяться на человека: слаб он и беспокойства не любит. Ему пузо потешить, да девку тугую под бок — вот и вся недолга. А эти ореховые земли не по нем.

— Однако же ищут.

— Смутьяны ищут и которые спонтальку сбились. Иные от скуки, а которым очень тошно живется. Слов нет — желают, а силов нет.

Море червонилось, точно стаи золотых рыб всплыли на поверхность и сверкали своей чешуей. Позлащенные вечерним солнцем верхушки сосен уже таили в себе прохладу. Внизу сгущались зеленые сумерки. У моих ног по сухой ветке полз мохнатый черный червяк. Он полз медленно, упорно пробуя дорогу головой. Собаки глядели на Тихона голодными и преданными глазами. Он сделался молчаливым, я отвязал лодку, направил ее к городу

В одну из прогулок по городу я встретил Яна в обществе трех неизвестных мне спутников. Они были молоды, рослы и по-европейски одеты. Ян познакомил меня с ними, назвав их «геноссами». «Геноссы» прибыли на немецком пароходе грузить лес в Германию с лесопильного завода. Один из них, рыжий, весь в веснушках, оказался конторщиком, другой, белобрысый — десятником, третий, с квадратным подбородком — матросом. С первых же слов они осведомились, нельзя ли достать русского «шнапса». Ян пригласил их отведать «шнапса» к себе. Разговаривал он с ними на том странном языке, про который однажды Плеханов обмолвился, имея в виду, кажется, Рапопорта: он говорит на всех языках по-еврейски. Тем не менее, и геноссы и Ян превосходно понимали друг друга. По дороге к Яну выяснилось, что немцы—социал-демократы, они показали нам свои партийные билеты. Мы сообщили им, что и мы социал-демократы, ссыльные. Наше признание не произвело на них должного впечатления: повидимому, они неясно представляли себе, что такое ссылка. На квартиру к Яну пришли Вадим, Филя, Николай, Дина, эсер Нифонтов, Чок-бор. Появился «шнапс» и закуска. Нифонтов взял со стола бутылку горькой, свернул белую головку, потряс бутылку, ловким, точным и привычным ударом выбил пробку, подал «шнапс» немцам. Геноссы пришли в восторженное изумление. Они трясли Нифонтову руку, хлопали по плечу, рыжий даже присел от удивления и упоенно повторял: «Specialite, Genosse, Specialite».

Мы усиленно ухаживали за гостями, расспрашивали о Германии, о немецкой социал-демократической партии. Отвечал нам рыжий. Белобрысый и матрос сосредоточили свое внимание на водке. Мы узнали, что немецкая партия большая, у нее много газет, на последних выборах в рейхстаг она получила миллионы голосов, и на следующих выборах получит еще больше. У немецких социал-демократов богатая касса, много клубов, в клубах происходят собрания и пьют очень хорошее пиво... Маркс и Энгельс? Да, они колоссальные люди, но они давно умерли. Знают ли они о братской партии в России? Да, они знают. Они очень уважают русских революционеров, но им непонятно, почему в России так много революционных партий и почему они ведут друг с другом войну. Не лучше ли объединиться всем в одну большую, сильную партию, как в Германии? Слыхали ли они о Ленине и Плеханове? О, да, они слышали про них. Ленин и Плеханов — смелые и решительные люди, но у немецких товарищей есть Бебель. У Бебеля золотая голова, он—лучший в мире оратор.

Геноссы держали себя любезно, но в их манерах, в их разговоре с нами чувствовалась снисходительность и сознание своего превосходства. Они были как-будто всем довольны. Рыжий поругивал юнкеров и Вильгельма, но слова его звучали вяло и выговаривались как бы между прочим. В них отсутствовали и наш прозелитизм и наша непримиримость.

Рыжий подсел к Дине, стал ухаживать за ней,—Дина отсела от него. Белобрысый пересмеивался с Филей, а матрос уже обнимался с Николаем. Николай сильно захмелел, уверял, что он последний подлец и мерзавец, загубил будто бы много душ, совал матросу перочинный нож, умолял зарезать его. Матрос отрицательно мотал головой, потом они чокались и пили на брудершафт. Чок-бор сделался заносчивым, кричал, что немцы — его стародавние

враги, что у него есть знаменитое ружье и он может даже всех перестрелять. Он совсем разбушевался. На шум в комнату ввалился стражник Теплов. Ссылным не разрешалось собираться больше пяти человек. Теплов настаивал, чтобы мы разошлись. Увидав стражника в серой шинели со светлыми пуговицами, рыжий и белобрысый сразу протрезвились. Белобрысый испуганно водил глазами, вслушиваясь в препирательства Яна со стражником. Рыжий просил неизвестно у кого извинений, пытался даже улизнуть; его поймали за полу в прихожей, когда он торопливо разыскивал свое пальто. Матрос плохо понимал происходящее и аппетитно расправлялся с колбасой. Ян требовал от стражника, чтобы он удалился, тот топтался на месте, бубнил, что он обязан поступать по правилам. Тогда Ян придвинулся к нему вплотную, начал напирать на него, теснить к выходу и, наконец, толкнул его в дверях. Стражник пригрозил на другой день пожаловаться исправнику. Ян перед самым его носом захлопнул дверь. Рыжий и белобрысый смотрели на эту схватку с немym изумлением и страхом. Когда Ян выпроводил стражника, рыжий спросил:

— Русские товарищи выгнали полицию из дома?

Ему ответили, что он не ошибся.

— Русские товарищи могут выгонять свою полицию?

— Могут. — Кругом засмеялись. Рыжий с удивлением оглядел нас.

— Но русских товарищей, вероятно, за это подвергнут аресту и суду?

— Ни черта не будет. Он за шкаликом приходил, вот и вся недолга, — беспечно и уверенно ответил Вадим.

Рыжий опять огляделся, на этот раз очень подозрительно: не смеются ли над ним. Веснушки гуще и ярче выступили на его лице, он покачал головой, поучительно промолвил:

— В Германии нельзя выгонять полицию. У нас очень строгая полиция. В Берлине любят порядок. Если полиция распоряжается, ей надо подчиняться. Когда ей не повинуются, бывает очень плохо.

И он и его белобрысый товарищ с беспокойством справлялись, не придет ли снова стражник. Мы уверяли их, что никто не придет. Однако наши гости не задержались у нас. Уходя, рыжий с чувством жал руку Нифонтову, утверждая, что он никогда не видал, как из бутылки шнапса можно одним ударом выгонять пробку, что это—«Specialite, Specialite, Genosse». Немцев проводил Филя. Возвратившись, он сморщился, махнул безнадежно рукой:

— Спрашивал у них о Дицгене. Ни о каком Дицгене и слухом не слышали.

Я сказал, обращаясь к Яну:

— Свергнем мы царизм, будет у нас открытая, большая партия с обычателями, с попутчиками, с такими, как этот рыжий, и в ней потонет кадр профессиональных революционеров, партия отвыкнет от подпольной борьбы. Что-то это не веселит меня.

Приготовляя себе огромный бутерброд, Ян ответил:

— Людей надо брать, как они есть. Наши недавние гости — средние люди, живут обычной жизнью трудового немца. На пароходе им надоело, захотелось повеселиться, а вы к ним пристаёте с Марксом и Энгельсом. О наших

порядках они ничего путем не знают — вот и испугались. Только и всего. Открытая партия тем-то и хороша, что она перевоспитывает таких средних трудовых людей, а у нас пока кадры без масс.

Дина мягко заметила из-за угла:

— А мне понравилось, что над ними ничего не тяготеет. Вот над нами всегда висит что-то тяжелое. Мы не умеем даже повеселиться запросто.

Нифонтов сверкнул смородинными глазами, вызывающе сказал:

— Их портит ваш узколобый марксизм. Вы прививаете рабочему классу дух умеренности и аккуратности. Все предопределено, всюду незыблемые законы, личность человеческая у вас где-то в загоне.

На Нифонтова дружно напали. Вадим уже громил субъективную социологию. Нифонтову, видно, надоел спор, он поднялся, с хрустом потянулся, расправил широкие плечи, предложил что-нибудь спеть, не дожидаясь согласия, затянул сочным и полным баритоном:

Не шуми ты, рожь,
Спелым колосом,
Ты не пой, косарь,
Про широку степь...

Дружными, давно спевшимися голосами мы подхватили запев. Лица у всех смягчились, помолодели, с них будто сползла серая паутина. Мы не замечали уже ни грязных тарелок с остатками рыбы и колбасы, ни окурков, ни захватанных пальцами мутных стаканов. Мы находились во власти того гипноза, который есть всегда в песне. Нифонтов, с остановившимся, с отсутствующим взглядом вдохновенно и старательно управлял хором, плавно и широко разводя руками. Вадим гудел, стараясь взять округло октаву, он глядел в стенку; Ян и пришедший в себя Чок-бор пели сдержанными тенорами; Филю не было слышно, но он шевелил и перебирал губами, а Дина, широко раскрыв глаза, смотрела в окно: ее сопрано ровно плыло над нашими голосами, точно парусная ладья на поверхности моря.

— Сибирскую — кандальную.

Спускается солнце за степи,
Вдали золотится ковыль,
Колодников звонкие цепи
Взметают дорожную пыль...

Необъятная, непроницаемая ночь враждебно сторожила нас за окнами, глушила нашу песню. Песня будто пыталась рассеять отстоявшийся мрак, а мы как бы находились на дне черной ямы непостижимой глубины, освещенной скудным, одиноким языком пламени. И я знал чутьем, что Вадим перебирает в памяти свое детство на каторге, где он родился, Дина жалеет всех и гонит от себя прочь образ дочери, Чок-бор грустит о потерянной младости, Нифонтову грезятся привольные волжские раздолья, блестящая на солнце, острая, как лезвие ножа, прибрежная осока, теплые июньские звезды, а может быть, привиделись ему Каляев, Сазонов, Балмашов, Карпович... Неизгладимы и неизбежны эти пирушки в сурово-дальних полярных краях, молодое веселье и смех, беседы друзей под звон стаканов, эти песни, берущие сердце и душу. Они поддерживали горячее чувство взаимности, бодрость, веру и мужество...

Русские родные думы под песню! Сколько передумалось вас в изгнании ночными часами!..

... Губернское правление распорядилось строже следить, чтобы ссыльные не отлучались из города дальше трех верст в округности. Это очень стесняло нас, особенно охотников. Мы решили не сдаваться. Колония назначила массовку в лесу за рекой, на скале. Во время отлива мы перебрались на другой берег реки, расположились на камнях под соснами. Массовку открыл Вадим. Он был краток, предложил сообща не подчиняться полиции. На этом бы и следовало закрыть собрание, но Чок-бор не удержался от выступления. Он произнес длинную речь. В ней доказывал, что с юридической точки зрения административное распоряжение есть предел полицейской наглости и произвола, а с точки зрения естественного права никто не должен запрещать передвигаться человеку, куда и когда ему угодно. Никто ему не возражал, однако, он воодушевился, потрясал в воздухе кулаками, бил себя в грудь, шипел, брызгал слюной, по крайней мере, на сажень от себя, оступился, слетел с камня, зашиб себе ногу, разгорячился еще больше и напоминал пофыркивающий кипящий самовар. Он не знал, как окончить свою речь, запутался в призывах и лозунгах. Неизвестно, долго ли бы еще он подвергал испытанию наше терпение, но на противоположном, городском, берегу реки показался конный наряд стражников под началом помощника исправника и надзирателя. Увидев воинство, Чок-бор сразу облился потом, вытаращил глаза, отчаянным голосом заорал: — Не расходитесь, товарищи! — Необходимости и в этом не ощущалось. Дело в том, что мы заняли все находившиеся поблизости лодки, — они были на нашей стороне; наступивший прилив, пороги, быстрое течение не позволяли стражникам переправиться к нам на лошадях. Все это мы учли заранее и заранее решили подразнить полицию, поэтому и сходились на массовку почти открыто. Помощник исправника, худой и с сизым носом, в длиннополой потрепанной шинели дрянной старикашка, сидя гусакom на лошади, надсадно и сипло крича, приказал нам разойтись. В ответ мы запели «Варшавянку». Стражники бесцельно раз'езжали по берегу, грозили нагайками, ругались матерными словами, но были бессильны. Потом нас упрашивал надзиратель с бабьим лицом, морщинистый и пухлый. Он прижимал руки к груди и уверял, что нам «хуже будет», если не разойдемся. Ему кричали: полицейская сопля, долой городскую черту! Надзиратель корил нас за невежливое обращение, удивлялся, что «образованные люди» могут вести себя столь непристойно, и т. д. Кто-то выкинул красный флаг, укрепив его на верхушке молодой елки. Ветер с запада расправил полотнище, и мятежный цвет задорно и вызывающе полыхнул по глазам. Помощник и надзиратель оторопело созерцали знамя, стражники еще беспокойней и беспорядочней засновали по берегу. Опомившись, помощник исправника крикнул, что он отдаст приказ стражникам дать по нас залп. Мы не очень верили его угрозам, но на всякий случай залегли меж камнями. Часть стражников спешила, передала лошадей тем, кто остался на конях. Спешившиеся отошли вдоль берега шагов на триста к месту, где было всего удобней и безопасней переправиться вплавь, разделись и бросились в воду. Переплыть через реку на конях здесь мешали пороги. — Спасайся, кто может! — завопил пронзитель-

ным и зловещим голосом Чок-бор. Пыхтя и сопя, он стал карабкаться по скалам, торопясь добраться до опушки леса. Следом за ним бросилась группа ссыльных. Другая часть свистела и улюлюкала стражникам, потом тоже начала отступать. Ян, красный от волнения, полез на елку за знаменем. Внизу, около елки, очевидно, не желая оставлять Яна одного, топтались губастый Розенберг и Николай. Мы остановились. Стражники уже успели переправиться и бежали во всю мочь к елке и к скалам. Они бежали рассвирепевшие, угрожая и выкрикивая ругательства. Их мокрые и голые тела блестели и переливались на солнце. Они были уже совсем недалеко от Яна, Розенберга и Николая, когда неожиданно конные стражники зычно что-то им заорали, потом бросились рысью на лошадях к месту, где разделись их сослуживцы. Голые стражники — их было человек восемь — приостановились, оглянулись назад. На берегу, где они разделись, орудовал Терехов. В суматохе мы совсем забыли о нем. Терехова оставили на городской стороне нести патрульную службу. Он скрывался в расщелинах обрывистых скал. Заметив, что около одежды, которую скинули стражники, никого нет, он незаметно подобрался к ней и теперь поспешно хватал в охапку гимнастерки, штаны, мундиры, нижнее белье, фуражки, пояса, — широкими и сильными взмахами бросал все это в реку. Он успел очистить от одежды берег, пока его заметили конные стражники. Переправившиеся на наш берег, увидев свое сброшенное в реку платье, замешкались, бросились обратно к берегу. Это и выручило Яна, Розенберга и Николая. Ян снял знамя, поспешил к нам. Мы наблюдали, как стражники вылавливают тонущие шаровары, рубахи, шинели. Конная группа охотилась за Тереховым. Он отступил к скалам и теперь уходил от стражников, карабкаясь по камням. Подлетев к скалам, стражники остановились: дальше на конях преследовать Терехова было невозможно. Тогда они соскочили с лошадей, побежали за Тереховым, но он скоро скрылся меж камнями. Стражники возвратились с пустыми руками. Мы рассеялись по лесу. Полиция до поздней ночи караулила нас на городском берегу. Когда кордон был снят, мы перебрались с предосторожностями в город. Часть платья у стражников затонула. Ночью исправник произвел среди нас обыски. Вадим, Ян, Николай, Чок-бор, Розенберг, я и еще несколько ссыльных были арестованы. Нам пришлось отсидеть две недели в арестном помещении. Терехова полиция не обнаружила. Несколько дней он скрывался в соседнем посаде у знакомых поморов, потом скрылся, получив на побег денежную помощь от колонии. Первые недели власти очень придирались к нам, но мало-по-малу успокоились. Губернское распоряжение о городской черте было тоже забыто...

...Настало время, когда я стал считать, сколько недель и дней осталось до срока. Я просыпался утром, срывал листок со стенного календаря, жалея, что осталось еще тридцать, двадцать, десять дней до отъезда. Раньше меня уехали Николай, Дина, Вадим, Ян. Настал и мой день отъезда. Стояла хмурая осенняя погода. Ночные морозы уже побили зелень, земля сделалась колкой и неудобной. Я уезжал с одним из последних пароходов. У меня окрепли мускулы, успокоились нервы. Я готов был снова ходить по явочным кварти-

рам, по ночевкам, по кружкам и собраниям. Когда пароход отчалил от пристани, я взглянул в ту сторону, где жил, и жизнь моя показалась мне уже мелкой и далекой...

...Все миновалось: и горе и радости. Что осталось? остались образы: они еще беспокойно живут во мне. Мне нужно от них освободиться. В последний раз пред медленно цепенеющим взором я вызываю их, чтобы навсегда, навеки утратили они свое очарование надо мной.

Так складываются легенда и песня: они таятся под охлажденным пеплом воспоминаний ¹⁾.



¹⁾ От редакции. Продолжение воспоминаний А. Воронского будет напечатано в ближайших книжках журнала за 1929 год.

Просветитель пролетариата

Эскиз углем

Н. МЕЩЕРЯКОВ

Я очень далек от мысли дать в этом коротком очерке полную характеристику и оценку покойного И. И. Скворцова, как ученого, литератора, революционера и человека. Такая оценка потребовала бы очень долгой и усидчивой работы над тем, что в течение своей долгой литературной деятельности дал нам этот поистине неутомимый работник. Мне бы очень хотелось проделать эту работу, но, к сожалению, у меня нет для нее необходимого времени. В настоящем кратком очерке я хочу только набросать несколько наиболее характерных черт, которые встают передо мною, когда я вспоминаю теперь покойного И. И. Скворцова, вспоминаю наши встречи и нашу довольно продолжительную совместную работу. Это не будет портретом интересной фигуры т. Скворцова. Я хочу дать только самый первоначальный набросок его, простой, наспех набросанный «эскиз углем».

*
* * *

И. И. Скворцов происходил из очень небогатой семьи, которая не могла дать ему университетского образования. Официальное образование, которое он получил, было невелико: он окончил курс в учительском институте. Все свои дальнейшие знания И. И. приобрел своим трудом, путем самообразования. А знаний он накопил этим путем очень много. В области экономики у него была поистине громадная начитанность. Но такая же широкая начитанность была у него и в других областях знания, например, в области истории, первобытной культуры и т. п. Вспоминаю, например, один спор, который был у меня с ним по одному довольно специальному кооперативному вопросу. Дело происходило при обсуждении тезисов доклада, который был впоследствии сделан мною по кооперативному вопросу на III конгрессе Коминтерна. И. И. усмотрел в моем первоначальном наброске тезисов одну ошибку и указал при этом, что я упустил из виду одну сравнительно мало-важную деталь в строении некоторых западноевропейских сел.-хоз. товариществ. Я ответил ему, что мне неизвестен тот факт, на которой он указы-

вает. Долгий спор кончился тем, что И. И. притащил пару довольно толстых немецких книжек и быстро нашел в них места, вполне подтверждавшие то, что он утверждал во время спора. А между тем, кооперация совершенно не была той специальной областью, в которой работал т. Скворцов. Он занимался ею очень недолго и сравнительно мало до революции; о его кооперативной работе во время революции я не говорю, ибо эта работа шла совершенно в другом разрезе: в процессе ее ему совершенно не приходилось прибегать к помощи иностранной литературы.

Или возьмем, например, совершенно другую отрасль — электротехнику. Тов. Скворцов всю свою жизнь не имел ничего общего с электротехникой. Когда он задумал писать свою книгу об электрификации, я долго отговаривал его от этой работы. Мне казалось, что он, как человек, чуждый технике вообще и электротехнике в частности, не справится с ней, но И. И. не послушался меня. Он обложился книгами, несколько месяцев упорно работал над ними и в конце концов овладел предметом настолько, что написал книгу, которая была одобрена Лениным и рядом специалистов по электротехнике. Эта книга была написана им у меня на глазах, и я был буквально поражен, как быстро выполнил он эту трудную работу.

Я мог бы указать еще ряд аналогичных примеров, ясно показывающих, как быстро и основательно умел тов. Скворцов разбираться в различных отраслях знания, с какой систематичностью и искусством умел он накапливать нужные ему звания, отбрасывая все мелкое и несущественное, весь тот научный хлам, которым так любят украшать свои «труды» многие патентованные, ученые и подбирая то, что ему действительно нужно было для работы.

Получив от официальной школы совершенно ничтожные знания, т. Скворцов превратился, в конце концов, в серьезного ученого, обладающего глубокими знаниями, и все это было сделано им благодаря упорной настойчивой работе над самим собой, путем самообразования. Это был поистине «self made man» — человек, который сам себя сделал. Это первая характерная черта, которую я хочу отметить в своем наброске.

Я сказал, что т. Скворцов был «ученым». Мне пришлось употребить это выражение по его адресу в одном докладе, который я делал в кругу очень квалифицированных научных работников. Термин «ученый» возбудил некоторые недоумения среди слушателей. «Помилуйте, — говорили мне потом некоторые из них, — можно ли называть тов. Скворцова настоящим ученым? Где же у него научные исследования? Где у него ученые труды, которые давали бы право приложить к нему этот термин?».

Тов. Скворцова нельзя, конечно, назвать ученым, если мы будем искать в его литературном багаже таких работ, как, например, «Об апокрифическом писании апостола Фомы», «О молении Даниила-Заточника», «О хождении в Иерусалим и Египет Василия Гагары» и т. п. «труды», о которых упоминает Тер-Оганезов в своей статье об Академии Наук («Правда», № 243) и которыми пестрят анкеты очень многих ученых, представляемые в ЦЕКУБУ. Тут характерен не только дух поповщины, ярко выраженный во всех этих «научных» исследованиях, но и полная оторванность их от жизни, их полная ненужность, никчемность.

Тов. Скворцов не был книжным червем, — он был активным работником жизни. Он боролся с жизнью, отвоевывая у нее свои знания. Он боролся с нею для того, чтобы отвоевать знания не только для себя, но и дать их другим. Он боролся с жизнью, чтобы переделать ее. Вся его литературная деятельность была направлена в сторону самых актуальных, злободневных вопросов современной жизни, вопросов, имеющих к этой жизни самое близкое отношение. Если он брался за «жития святых», то не для того, чтобы написать никому ненужное «научное» исследование «О житии Алексея, человека божия» или «О житии Василия Нового», «Об обретении мощей епископа Никиты», а для того, чтобы в своих «Благочестивых размышлениях» бороться с суевериями, с религиозным дурманом, усердно распространяемым под видом «научных» исследований.

Правда, и «Благочестивые размышления» и ряд других антирелигиозных работ т. Скворцова по форме и размеру — небольшие популярные брошюры, но в основу их положено громадное знание религиозной, а также и антирелигиозной литературы, такое знание, которым обладает только ученый.

А кроме того, разве необходимо, чтобы научное произведение было всегда толстой книгой. Возьмем, например, брошюру Маркса «Речь о свободе торговли». Это совсем маленькая, тоненькая брошюрка в 20 страниц небольшого формата. Это не трактат, а речь, произнесенная в публичном собрании Демократической Ассоциации в Брюсселе, т. е. не в ученом, а в политическом обществе. В брошюре совсем нет ссылок на никому неизвестные научные труды. «Речи» придан возможно популярный характер. А между тем, из каждой строки «Речи» видно, что автор ее обладает громадными знаниями. И «Речь о свободе торговли» есть безусловно научная работа.

Возьмем Ленина. Когда вышел его «Материализм и эмпириокритицизм», ученые люди презрительно пожимали плечами и отказывались признать эту книгу научным трудом. А теперь по этой книге учатся, тогда как якобы научные произведения разных патентованных ученых (давно всеми забытых) изучаются разве только мышами в пыли библиотечных чуланов.

Возьмем все сочинения Ленина. Много ли мы найдем в них таких, которые имеют весь аппарат того, что обыкновенно называют ученым трудом. Пожалуй, только одна книга — «Развитие капитализма в России». Все остальное — это журнальные, а большей частью даже газетные статьи и речи, произнесенные не в Академиях Наук и не в ученых обществах, а на рабочих собраниях. А между тем, в основе литературной деятельности Ленина (я говорю сейчас только о ней) лежали глубочайшие обобщения науки. А между тем, идеи Ленина перевернули мир и на долгое время стали основными, руководящими идеями во всей дальнейшей работе целого ряда наук...

«Все течет, все изменяется». Должно измениться и представление об ученых.

Там, где у власти стоит буржуазия или какой-нибудь другой эксплуатирующий класс, им выгодно иметь науку, которая драпируется в мантию высокой, недоступной для обыкновенных людей учености. Наука и ее носитель — ученый — возводятся на необычайно высокий пьедестал, чтобы обыкновенному смертному и в голову не могло прийти подвергнуть дерзкой критике то, что

с высокой кафедры возвещает им ученый, т. е. все то мракобесие, все то средневековье, всю ту поповщину идеалистической философии, которые составляли до сих пор необходимые содержания того, что называлось учеными трудами. Так было, например, в древнем Египте, где жрецы-ученые составляли особую касту и хранили в тайне от всех свои знания, знания, обеспечивавшие им командующее положение в обществе. Так было в средние века, когда ученый обязательно должен был писать свои ученые труды на непонятном для широких масс латинском языке. Попробуйте выступить в такой обстановке с книгой, написанной простым, понятным для широких масс языком, попробуйте выступить в ней не в одеянии египетского жреца или средневекового доктора, который

Mit gierger Hand Schätzen gräbt
Und froh ist wenn er Regenwürmer findet,

и жрецы науки — а вместе с ними и одуроченные ими массы читателей — отвернутся от вас, как от простого смертного, не посвященного в тайны науки, и будут изумляться дерзости, с которой вы осмеливаетесь выступить с «простыми речами о мудреных вещах».

Я указал на Маркса и Ленина. Но число таких примеров можно умножить. Возьмем, например, Плеханова, где у него произведения, которые надо было бы признать учеными трудами с точки зрения тех требований, какие у нас до сих пор обыкновенно пред'являются в ученых кругах? Таких трудов у него нет ни одного, если не говорить о неоконченной «Истории русской общественной мысли». Все насквозь в статьях Плеханова проникнуто жизнью и «публицистикой». А разве работы Плеханова не оказали глубочайшего влияния на несколько поколений? Разве они не были источником, из которого родилось в России могучее движение марксизма, которое наложило глубокую печать на все отрасли науки, которое стало руководящей идеей революции, переворачивающей весь мир.

Мы до сих пор все еще живем предрассудками старого. Мертвый еще хватает живого. Одним из таких предрассудков является старое представление о науке, которая обитает где-то в недоступных для обыкновенных людей безоблачных высотах, которая творится какими-то особыми жрецами. Наше старое представление о науке надо пересмотреть. Старый предрассудок надо отвергнуть.

Что такое ученый? Это — человек, владеющий наукой, т. е. обладающий богатыми научными познаниями и распространяющий эти свои знания. Все остальные признаки ученого меняются в разные времена.

Для общества, разделенного на классы, ученый был в руках эксплуататоров орудием идеологического утверждения их господства.

Чтобы сделать недоступной для критики простых смертных идею монархии, ей придавалось божеское происхождение. Чтобы поставить в такое же положение науку, от научной работы требовался ряд условий, которые не могли выполнить люди живой жизни. Сюда относилась латынь, умение приводить с толком, а еще лучше без толку, ряд цитат из самых редких, всеми благополучно забытых и никому более ненужных книг, и тому подобный «ученый» хлам.

Вот как издевался над этим типом «ученого» Гейне в своих «Путевых картинках»:

«...Я отправился из Геттингена очень рано поутру. Ученый, вероятно, покоился еще в постели, и ему грезился обычный сон, а именно: что он ходит в прекрасном саду, где на грядках растут, приятно блестя на солнце, белые бумажки, исписанные цитатами, что он то там, то здесь срывает некоторые из них и старательно пересаживает на другие гряды; а соловьи тешат его старое сердце своими пленительными звуками».

Нашему времени нужен новый человек. Господами жизни стали рабочие, трудящиеся. Это—люди жизни, и они требуют, чтобы ученый писал не «О житии Алексея человека божия» или какого-то «Василия Нового», не о «щите Олега», а о жизненных явлениях, о том, что «волнует и мучает» современного человека, о том, что нужно нам для устройства нашей жизни. Они требуют вдобавок, чтобы ученый писал свои книги простым человеческим, понятным языком, без старой никому ненужной мишуры. И возникает новый тип ученого — пролетарского ученого, ученого-борца. Об этом новом типе ученого-борца, ученого-«барабанщика» писал еще Гейне:

Бери барабан и не бойся,
Целуй маркитантку звучней —
Вот смысл глубочайший искусства,
Вот смысл философии твоей.

Сильнее стучи, и тревогой
Ты спящих от сна пробуди,—
Вот смысл глубочайший искусства,—
А сам маршируй впереди.

И Гегель, и тайны науки,—
Все в этой доктрине одной.
Я понял ее, потому что
Я сам барабанщик лихой ¹⁾.

Старое классовое общество высоко возносило науку и ее жрецов; оно делало их недоступными критике простых смертных. Но зато оно превращало их в каких-то «евнухов науки», отрывало от живой жизни, превращало их в каких-то аскетов науки, питающихся только учеными цитатами и прочими неудобоваримыми акридами, которые можно найти в изобилии в старых, заплесневевших, покрытых вековой пылью «трудах» таких же оторванных от жизни чудаков—жрецов науки всех времен и всех народов.

Не таков должен быть новый пролетарский ученый. Он должен жить в самом тесном общении со своим классом, жить полной жизнью, радоваться радостями и болеть печальями своего класса. Он должен отзываться умом своим и пером своим на все вопросы, которые ставит жизнь. Он должен жить в гуще жизни. Он должен отрешиться от старого, смешного облика ученого-чудака, аскета. Как идеолог класса, стремящегося сделать счастье доступным для всех, он должен уметь ценить радости жизни и наслаждаться ею.

¹⁾ Прошу извинения за то, что в интересах более яркого пояснения мысли соединяю в этой цитате два разных перевода.

Таким именно живым, веселым, боевым человеком, умеющим ценить радости жизни, таким типом нового пролетарского ученого и был И. И. Скворцов.

* * *

В заключение мне хочется отметить еще одну характерную черту тов. Скворцова.

За последние два столетия история выдвинула чрезвычайно интересный тип «просветителя», тип, которым очень любил заниматься Плеханов. «Просветитель» — это человек, который думает, что знания правят миром, что все несчастье человечества состоит в том, что знания мало распространены. Стоит людям расширить свои знания, и они сумеют перестроить жизнь по-новому, создать новую, счастливую жизнь. Как видит читатель, в основе мировоззрения «просветителя» лежало не материалистическое, а идеалистическое понимание истории (идеи правят миром).

Пролетариат стоит на другой точке зрения. Не знания, не идеи, а классовые интересы правят миром. История — не борьба идей, а классовая борьба. Поэтому в лагере пролетариата нет места прежнему просветителю. Пролетариату нужно не просветительство вообще (в основе которого лежала, конечно, буржуазная идеология), а организация пролетариата и вооружение его необходимыми знаниями. И вот на место прежнего буржуазного просветителя является новый, пролетарский просветитель, который ставит задачей своей просвещение пролетариата. Тип — довольно распространенный в среде коммунистов-интеллигентов и элементов, близко к ним стоящих.

Тов. Скворцов начал свою революционно-просветительскую деятельность еще в 90-х гг. прошлого столетия, когда свежа была еще память о прежних буржуазных просветителях 60-х и 70-х гг., когда еще живы были последние представители этого типа. Он воспитался на литературе этих просветителей. Отсюда известная психологическая общность с этим типом, общность тем большая, что т. Скворцов начал свою революционную работу как народник. Правда, за этим внешним сходством скрывалось глубокое различие обоих типов. Старый буржуазный просветитель был типичным интеллигентом и работу свою он вел почти исключительно среди интеллигенции. Отсюда чисто интеллигентский подход к трактовке темы: выдвигание на первый план идеологической стороны, переход от общего к частному и т. п. Просветитель, работающий в среде пролетариата, должен ставить вопросы по-иному. Он должен исходить из конкретных положений, из интересов своих слушателей, и от этого частного, конкретного идти к общим выводам. Тем не менее общность работы просветительства создает между двумя типами много общего. И это особенно было заметно в т. Скворцове, который по возрасту своему был, так сказать, «мостом» между этими двумя типами.

Самая внешность т. Скворцова сильно напоминала пропагандиста-просветителя 60-х или 70-х гг., вышедшего из семьи какого-нибудь захудалого провинциального дьячка. Та же простота и даже небрежность в costume, тот же учительский, несколько докторальный тон, то же произношение несколько

на «о» (даже бас тов. Скворцова удивительно подходил к его внешнему облику), та же угловатость в манерах, та же прямота, переходившая порой в прямую резкость, когда ему приходилось вступать в бой с противником. Но все это сходство было чисто внешним. По существу типичный представитель пролетариата резко отличался от старого буржуазного или мелкобуржуазного просветителя.

Две черты, по моему мнению, особенно характерны для т. Скворцова: он был, во-первых, «self made man'ом» — человеком, который сам себя сделал. Он был, во-вторых, типичнейшим просветителем пролетариата. Эти два качества довольно широко распространены в настоящее время. Все мы более или менее «self made man'ы», ибо никто не учил нас раньше управлять государством или крупным промышленным, торговым или литературным предприятием. Мы научились всему этому сами в процессе работы. Мы сами себя сделали пригодными для этой работы. Все мы более или менее просветители нового типа, просветители пролетариата. А т. Скворцов был типичным «self made man'ом» и типичным просветителем пролетариата. Тем больший интерес представляет для нас эта типичная фигура...

Англо-американское соперничество

А. БОНЧ-ОСМОЛОВСКИЙ

В своем вступительном докладе на VI конгрессе Коминтерна тов. Бухарин сказал: «борьба за сферы приложения капитала становится все острее, это означает нечто иное, как «воскрешение» крупнейшей империалистической проблемы — нового раздела мира, колоний и иных областей. А это означает войну... война означает центральную проблему нынешнего дня». Анализируя в своем докладе многообразные противоречия и конфликты, которые назревают в современном капиталистическом мире, тов. Бухарин приходит к выводу, что «британско-американский антагонизм служит в настоящее время осью всех противоречий между капиталистическими государствами».

Таким образом, вырисовывается жуткий образ нового всемирного конфликта, новой кровавой борьбы за раздел мира, за мировую гегемонию. В этой борьбе крупнейшие империалистические страны — Великобритания и Соединенные Штаты — будут не союзниками, совместно борющимися с Германской империей, а врагами, бросившимися в кровавую схватку, чтобы вырвать друг у друга главенство на мировых путях, источники сырья и энергетических ресурсов, рынки сбыта излишков своей продукции и захватить экономическое, политическое и военное господство над миром. По самому своему существу, по размаху и значению тех капиталистических сил, которые бросятся в новую схватку, эта борьба не может оставаться изолированной. Воюющие страны втянут в новое кровавое столкновение другие страны, другие народы. В будущую войну, предсказывает Е. Варга, нейтральных государств будет еще меньше, чем в прошлую. Постоянно идущая на наших глазах подготовка многообразных политических комбинаций, соглашений и союзов служит достаточным доказательством того, какую широкую базу, какой длинный фронт готовят будущие военные противники для этой новой империалистической войны. Необыкновенный рост военной техники, втягивание в милитаристическую сферу всех последних достижений науки, всей народнохозяйственной организации вырисовывают перспективы столь грандиозного катаклизма, пред которыми побледнеют Верден, Марна, залитые кровью поля Польши, Галиции, Фланд-

рии, бомбардировка незащищенных городов, гибель пассажирских пароходов, удушливые газы, военная авиация.

В чем же причина этого нового рокового конфликта и где истоки тех сил, которые приводят две могучие империалистические страны к противоречию, выход из которого может быть найден только в кровавой схватке? Постараемся разобраться в основных причинах англо-американских противоречий и в той общей географической и экономической обстановке, которая определяет обострение их борьбы и вырисовывает неизбежность ее исхода только путем вооруженного столкновения.

I

Современному молодому поколению, находящемуся под гипнозом хозяйственного могущества Соединенных Штатов, трудно освоиться с мыслью, что еще два-три десятка лет тому назад заатлантическая республика была мировым захолустьем, богатым, оригинальным, полным зреющих молодых сил, но незначительным по своему политическому весу среди мировых держав. Как-то странно вспомнить, что Америка не входила в «концерт великих держав». Соединенные Штаты мало интересовались мировыми делами и жили в состоянии изолированности. И это несмотря на то, что естественные богатства страны, огромные сельскохозяйственные излишки и бурный рост индустриализации уже давно выдвигали Соединенные Штаты на одно из первых мест среди держав, решающих судьбы мира и пути истории.

Судьба одарила Соединенные Штаты воистину щедрой рукой. Соединенные Штаты занимают пространство 7,8 млн. кв. клм., т. е. по площади несколько менее всей Европы. На этой сравнительно небольшой территории, составляющей всего 6 проц. всей поверхности суши на нашей планете, Соединенные Штаты сосредоточивают подавляющий процент естественных богатств человечества и огромную часть его пищевых ресурсов.

Прежде всего о запасах угля и железа, так как именно они определяют современную экономическую мощь страны. «Ибо, если в основе всех новейших успехов экономического развития лежит механизированная техника, то именно материалы, из которых отливаются тело машины (металл) и которыми поддерживается работа машины (уголь), должны являться решающими факторами в определении мировой мощи борющихся между собой территориальных объединений»¹⁾.

Две-три небольших таблички охарактеризуют нам богатства Соединенных Штатов. Запасы каменного угля распределяются следующим образом (в миллиардах тонн):

С.-А. С. Ш.	2.800	млрд. т.	47,11%	мировых запасов.
Китай	930	»	»	»
Канада	800	»	»	»
СССР	394	»	»	»
Германия	255	»	»	»
Англия	189	»	»	»

¹⁾ «Соединенные Штаты в мировом хозяйстве».

Если пересчитать угольные запасы на душу населения, то мы получим следующую таблицу, ярко характеризующую богатство Сев. Америки:

Канада	89.000 тонн ²⁾ .
Соед. Штаты	25.400 »
Польша	5.170 »
Германия	4.070 »
Англия	3.940 »
СССР	3.030 »
Китай	2.580 »
Франция	750 »

Железородные месторождения Соединенных Штатов составляют 4.258 млн. тонн, в то время как все действительные мировые запасы железных руд, которыми располагает человечество, оценивается в 29.300 млн. тонн. Надо еще отметить, что по своему качеству руды Соед. Штатов выше, чем в других странах. Если ввести эту поправку на качество, то надо признать, что Соединенные Штаты владеют 60 проц. всего железа, которым располагает человечество. И так, 50 проц. всего угля и 60 проц. всего железа нашей планеты. Но это еще не все. Нефтяные богатства Соед. Штатов составляют значительную часть мировых запасов этого источника энергии. По приблизительным исчислениям мировые запасы нефти распределяются по странам следующим образом:

СССР	35,3%
Ю. Америка	17,2%
Соед. Штаты	7,3%
Персия и Месопотамия	11,2%
Мексика	8,6%
Гол. Индия	5,6%
Китай	2,6%
Проч. страны	12,2%

К этому надо добавить необыкновенно выгодные естественно-исторические условия для развития на территории Соединенных Штатов обширной, разнообразной и богатой с.-х. культуры. Ниже, обрисовывая участие Северной Америки в мировом производстве, мы отметим роль этой страны в снабжении мирового хозяйства хлопком, пшеницей, маисом и другими продуктами сельского хозяйства.

На территории этой богатейшей страны закрепилось сильное, энергичное и трудолюбивое население. Религиозные и политические преследования, экономический гнет, безработица, национальные угнетения выталкивали из Европы за океан наиболее предприимчивые, наиболее способные и здоровые элементы. Здесь, в Новом Свете, они встречали широчайшие возможности для приложения труда сначала в сельском хозяйстве, а потом в промышленности. Бесконечные просторы незанятой земли, нетронутые леса, горные богатства открывали для пионеров великие возможности ковать свое собственное счастье в обстановке, освобожденной от европейской тесноты, от гнета и условностей Старого Света. Здесь каждый был поставлен господином своего счастья, здесь каждый мог свободно творить, производить и создавать ценности, увеличивая народные богатства своей

новой родины. Сначала европейская цивилизация закрепилась на побережье Атлантического океана и лишь постепенно, в течение долгих десятилетий, весь американский континент был освоен, пионеры прошли путь к Тихому океану, закрепляясь там и тут, проводя дороги, вырубая леса, распахивая прерии, основывая города и определяя политические границы своей территории. В 1803 г. у французов была куплена Луизиана. В 1848 г., после войны с Мексикой, был аннексирован Техас, в 1868 г. у России куплена Аляска. Соединенные Штаты постепенно доходили до своих современных политических границ, не встречая на своем пути почти никакого серьезного сопротивления. «Индейцы не в состоянии были устоять под напором белых, мексиканцы были еще того слабее, Испанская империя развалилась, как карточный домик от дуновения ветра. В результате всего этого был завоеван богатейший сплошной край — идеальное урочище для основания новой культуры» (Ниринг «Американская империя»).

Но необходимы были долгие годы для того, чтобы освоить девственную территорию, вытеснить индейцев, провести дороги, организовать государственную, социальную и промышленную жизнь. Необыкновенно удачное соединение на американской территории огромных естественных богатств и исключительно выгодных условий для развития многообразных видов сельского хозяйства предопределяли некоторую изолированность Америки в хозяйственном отношении. Соединенные Штаты являлись самодовлеющим, независимым от остального мира хозяйственным целым. Силы народа были направлены на освоение собственной территории. Сельскохозяйственные излишки шли на питание растущего городского населения. Промышленность находила внутри страны емкий рынок сбыта. Из Европы Соединенные Штаты получали не только могучий поток эмигрантов, но и капиталы, необходимые для развития производительных сил.

Только к концу XIX столетия Соединенные Штаты, окончательно освоив свою территорию, выходят на широкую дорогу внешней экспансии. Обычно этот поворот приурочивают к испано-американской войне 1898 г. В результате этой первой империалистической войны Соединенные Штаты получили протекторат над о. Кубой, захватили о. Порто-Рико. Путем дальнейших приобретений американцы охватили цепью своих владений Караибское море, ставшее их Средиземным морем. Всё стратегическое значение этого морского бассейна будет ясно, если вспомнить, что Караибское море составляет Атлантические ворота к Панамскому каналу. Мало того, Соединенные Штаты вышли на широкие тихоокеанские дороги — заняли Филиппинские острова, лежащие у порога Китая, о. Гуам и Гавайские острова, составляющие важнейшие морские станции на полдороге между Америкой и Азией. Таким образом, в своем стремлении к внешней экспансии, Соединенные Штаты прежде всего обеспечили себе океанские пути, дабы полностью использовать свое чрезвычайно выгодное междуокеанское положение.

Имея в своем обладании длинную береговую полосу по Атлантическому и Тихому океанам, Соединенные Штаты встретились, однако, с тем затруднением, что оба эти побережья не были соединены близкими мор-

скими путями. Северо-восточный проход по Ледовитому океану недоступен, а огибание Южной Америки требовало слишком продолжительного времени. Восточные промышленные штаты оказывались отдаленными от дальневосточных рынков. Это лишало Соединенные Штаты возможности пользоваться морскими путями для дешевого внутреннего обмена между американским востоком и западом, затрудняло связь с китайским рынком и осложняло военно-морскую оборону страны, так как вынуждало иметь два отдельных флота — атлантический и тихоокеанский. Задача объединения американского востока с западом была разрешена путем прорытия Панамского канала. Ранее путь от Нью-Йорка до С.-Франциско составлял через Магелланов пролив 13 тыс. миль, и требовал 55 дней, ныне, при проходе через Панамский канал, расстояние между этими портами составляет всего 8 тыс. миль и отнимает 22 дня пути. Далее Панамский канал приблизил к промышленному атлантическому побережью западный берег Южной Америки. Ранее коммерческая работа Америки на Тихом океане была крайне затруднена дальностью расстояния. Для торговли с Дальним Востоком атлантическому побережью Соед. Штатов приходилось пользоваться, как и Европе, Суэцким каналом. Преимущественно во фрахтах и времени пути было при этом на стороне Европы. До открытия канала Европа была ближе к Китаю, чем восточный берег Америки. Наконец, канал сократил путь между дальним американским западом и Европой.

Панамский канал в высокой мере увеличил военно-морскую мощь Соединенных Штатов. Атлантическая и тихоокеанские эскадры оказались объединенными путем канала, находящегося под охраной американских батарей созданной в зоне канала морской базы. И хотя Соединенные Штаты торжественно обещали, что канал будет свободен для прохода коммерческих и военных судов всех наций на принципах полного равенства и что канал не будет никогда блокирован или подвергнут иным мерам права войны, исключения для стран, находящихся в войне с Соединенными Штатами, разумеется, сделаны. Равным образом, в случае войны, в которой Америка участвует, она оставляет за собой право принять меры к охране сооружений и нейтралитета Панамского канала. Это вручает Соединенным Штатам право военного контроля над одним из важнейших мировых морских путей и значительно усиливает удельный вес не только в области торговли, но и во многих военно-политических комбинациях¹⁾.

Для достижения этих целей пришлось подготовить подходящую политическую обстановку, так как ведь Панамский перешеек не принадлежал Соединенным Штатам, а республике Колумбия. «Суверенитет» этой небольшой страны, не соглашавшейся разрешить американцам рыть канал, пришлось нарушить путем провоцирования в 1903 г. сепаратистского восстания в Панамском округе. Образовавшаяся здесь Панамская республика через две недели после своего прокламирования была признана Соединенными Штатами и без колебания согласилась на все условия Соед. Штатов. К работам по прорытию канала было приступлено в 1904 г., и канал

¹⁾ «The Panama Canal and Commerce» by Emory Jonson, New York, 1916.

открыт в 1915 году. Важное стратегическое значение его ясно само собой. А потому для обеспечения этого узла обороны Соед. Штатов им пришлось нарушить еще кое-какие мелкие суверенитеты республик Центральной Америки. В 1926 г. Соединенные Штаты заключили с Панамской республикой «союзный» договор, согласно которому Панама обязалась принять участие во всякой войне на стороне Штатов и подчинить свои войска американскому командованию. Соед. Штаты получили для своих войск право свободного прохода по Панамской территории и ведения на ней военных операций. В настоящее время фактически узкая часть американского континента, объединяющая его северную и южную часть, находится почти полностью в руках Соединенных Штатов.

Империалистическая экспансия Соединенных Штатов, внешние признаки которой мы только что отметили, вызывалась необыкновенно бурным ростом производительных сил этой страны, естественные богатства которой давали полную к тому возможность.

II

Остановимся на некоторых данных, иллюстрирующих уровень хозяйственного развития Соединенных Штатов. В 1913 г. в Соединенных Штатах добывалось угля 517 млн. тонн, против 292 млн. тонн, добываемых в Англии. Общая мировая добыча составляла в то время 1.215 млн. тонн, т. е. еще до мировой войны Соед. Штаты давали около 43 проц. мировой добычи главного топлива, а Англия только около 24 проц. Стали в Соед. Штатах вырабатывалось 31,8 млн. тонн, а в Англии только 10,4 млн. тонн из всего мирового производства в 76,6 млн. тонн. В мировой сталелитейной промышленности Соединенные Штаты составляли 38 проц., а Англия только 10 проц., таково же приблизительно было и соотношение в выплавке чугуна. Это в тех областях производства, где величайшая промышленная страна Старого Света — Англия конкурировала с Соединенными Штатами. В других отраслях производства удельный вес Соединенных Штатов в мировом производстве был еще выше. Мировая добыча нефти до войны составляла 52,7 млн. тонн, из них в Соединенных Штатах добывалось около 63 проц. Посевная площадь хлопка составляла в Соединенных Штатах в 1909—13 гг. около 53 проц. всей мировой площади, а сбор хлопка около 62 проц. мирового сбора. Уже в 1913 г. Соединенные Штаты потребляли хлопка приблизительно одну четверть мирового производства хлопка. Доля участия Соединенных Штатов в мировом производстве четырех важнейших хлебов составляла 30 проц. Суммируя все эти разнообразные данные, экономисты приходят к выводу, что уже в 1904 г. Соединенные Штаты сосредоточивали в своих руках одну четверть мирового богатства. Несмотря на это, доля участия Соединенных Штатов во внешней торговле была сравнительно невелика:

В 1913 г. ввезено:

В Соедин. Штаты	3.415 млн. зол. руб.		
» Англию	6.233	»	»
Весь мировой импорт	35.138	»	»

Вывезено:

Из Соед. Штатов	4.757	»	»	»
» Англии	4.966	»	»	»
Весь мировой экспорт	32.683	»	»	»

Внешняя торговля занимала сравнительно второстепенное место в народном хозяйстве Соединенных Штатов. За годы, непосредственно предшествовавшие мировой войне, внешний оборот составлял всего около 10 процентов оборотов внутренней торговли¹⁾. Активность внутренних оборотов страны отвлекала американцев от широкого участия во внешней торговле.

Изобилие внутренних сил страны предопределяло то состояние некоторой изолированности от мирового хозяйства и ту пассивность в мировой политике, которые были характерны для Соед. Штатов до мировой войны. Руководящими линиями своей международной политики Соединенные Штаты считали два принципа: «доктрину Монрое» и «доктрину открытых дверей» в Китае. Сущность первого принципа сводится к признанию, что «Америка должна оставаться для американцев», что дальнейшие колониальные захваты европейских государств на американском континенте недопустимы, что американские государства должны распоряжаться своими делами без вмешательства европейцев, но что, с другой стороны, и американские государства не имеют нужды ввязываться в европейские дела. Эта доктрина была политическим отражением хозяйственного положения Соединенных Штатов того периода. Осваивая собственную территорию, развивая индустрию на основе своих огромных естественных богатств, будучи обеспечены в своей стране колоссальной сельскохозяйственной продукцией, Соединенные Штаты всячески стремились избавиться от вмешательства Европы, чтобы получить «свободные руки» на всем американском континенте.

Доктрина Монрое была формулирована, как выражение солидарности всего американского континента в борьбе против реакционного феодального владычества Испании в Центральной и Южной Америке и против попытки русского самодержавия продвинуться из Аляски на юг по побережью Тихого океана. Ныне та же доктрина прикрывает и оправдывает империалистическое проникновение Соед. Штатов в другие страны Америки. На своем континенте Соед. Штаты желают обеспечить себя от всякого вмешательства Европы в американские дела. Формула «Америка для американцев» фактически сводится ныне к лозунгу «Америка для Соединенных Штатов». Доктрина Монрое имела своим устремлением американский континент. Другая американская «доктрина» — «открытых дверей» — была направлена к обеспечению интересов Соед. Штатов в Азии. Начало ее положено было еще в 1842 г., когда американский адмирал пред'явил китайскому правительству требование, чтобы все уступки, которые будут сделаны англичанам, распространялись бы и на американцев. В конце XIX века доктрина открытых дверей стала выдвигаться Соединенными Штатами с особой настойчивостью. После японско-китайской войны, доказавшей военную слабость Китая, политика европейских держав по отношению к Китаю стала резко агрессивной. Все они спешили

¹⁾ The Foreign Expansion of American Banks by C. W. Phelps, 1927.

получить от Китая в аренду отдельные важные для них территории, ж.-д. концессии, сохранить за собой право приоритета на ту или иную концессию и поделить Китай на отдельные сферы влияния. Это не могло не беспокоить Америку. Руководителям ее политики пришлось взять на себя решение вопроса: идти ли Америке по стопам других держав и тем самым «встать в противоречие с американской политикой вообще», или «предоставить события своему течению и потерять китайский рынок для американской промышленности»¹⁾). Экономические факторы определили ту позицию Соединенных Штатов в отношении Китая, которая дала повод американцам считать себя защитниками неприкосновенности и суверенитета Китая. В конце XIX века Америка не была еще страной индустриального экспорта, и при обилии ее собственных, еще неиспользованных земель, не нуждалась в китайском сырье. С другой стороны, постыдная подозрительность в отношении Японии заставляла Америку искать для себя дружественную базу в тылу Японии — в Китае. В своей первоначальной формулировке эта доктрина имела целью «предохранить американских граждан от вреда, который грозит им вследствие исключительных прав, приобретенных какой-либо страной в пределах ее сферы влияния в Китае, и гарантировать равенство таможенных пошлин для товаров всех стран, поступающих на какую-либо часть китайской территории». С течением времени, с ростом заинтересованности Америки в Китае, а в особенности с ростом интереса американского финансового капитала, доктрина открытых дверей получила более расширенную формулировку, а именно: фиксировала право Америки иметь равное с другими нациями участие в ж.-д. концессиях в Китае, займах и поставках китайскому правительству.

Резюмируем. К началу мировой войны Соединенные Штаты достигли весьма высокого уровня индустриального развития, которое соединялось вместе с тем с огромной сельскохозяйственной производительностью. Производство поглощалось необычайно емким внутренним рынком. Экспансии Соединенных Штатов ограничивалась пределами американского континента, и американцы довольно вяло прощупывали свои будущие позиции в Азии и на других континентах. Соединенные Штаты еще были должником Европы. При посредстве занятых капиталов они развивали свои производительные силы и, оставаясь несколько в стороне от «большой политики» европейского центра, собирали силы для своей будущей роли мирового гегемона.

III

Иными были пути развития другого мирового колосса — Великобританской империи. Сама английская метрополия с пространством в 314 кв. км. и населением 48 млн. является всего только «маленьким островком у берегов Франции». Но этот маленький островок показал необыкновенную мощь индустриального развития и колониальной экспансии. Население Великобританской империи составляет ныне 457 млн., т. е. более четверти всего человечества и более чем в 10 раз превосходит население Британских островов, а пло-

¹⁾ «The Open Door Doctrine in Relation to China» by M. Bon New-York, 1923.

щадь их колоний составляет 33,4 млн. кв. клм. и в 60 раз превышает площадь метрополии. Англия поистине является мировой фабрикой, мировым торговым центром, мировым банком, мировым городом. Ее владения разбросаны по всему земному шару, над Британской империей «никогда не заходит солнце», англичанам принадлежат все главнейшие мировые стратегические пункты, владеть которыми им необходимо, чтобы господствовать на океанских путях. Ведь только океаны связывают воедино эту величайшую морскую державу. Господство на океанах есть необходимое условие самого существования империи.

Промышленное значение Англии определилось ее обильными и легко доступными залежами угля и железа. На этой основе в Англии раньше других стран развилось капиталистическое производство, ее металлургическая и текстильная промышленность. Промышленность и торговля являются основой экономической жизни Англии. Две трети ее населения заняты в индустрии и торговле, и только 8 проц. — в сельском хозяйстве. Небольшой остров не может удовлетворить потребностей его населения в продуктах питания. Собственная продукция Англии удовлетворяет незначительную часть потребностей его густого населения: 20 проц. потребляемой пшеницы, 30 проц. фруктов, 40 проц. масла, 40 проц. мяса и пр.¹⁾ Зависимость Англии от других стран и от собственных колоний в отношении снабжения сырьем и продовольствием составляет самое слабое, самое уязвимое место в английской экономической системе. Доставка в Англию огромной массы необходимого ей сырья и продовольствия, экспорт из Англии колоссальной продукции ее промышленности требуют большого морского торгового флота. Торговый флот Британской империи в 1914 г. составлял около 37 процентов всего мирового торгового флота. Обеспечение морской торговли требовало могучего военного флота и оборудованных военно-морских баз и угольных станций, разбросанных по всему миру. Поддержание этой мировой морской системы или, как называет Уэльс, этой «пароходной империи» требовало огромного напряжения национальных сил и создавало сложнейшие задачи для английской дипломатии. Бесконечные поводы для конфликтов в разных уголках земного шара, силы, противоборствующие английскому порабощению в колониях, центробежные стремления доминионов, конкуренция новых индустриальных стран — Германии, Японии и др., все это требовало зоркого наблюдения, искусных комбинаций, создания где компромиссов, где угнетения и террора, где проведения политики «разделяй и властвуй». Англия должна была непрерывно наблюдать за ростом сил, подрывающих ее мировое господство, и своевременно парировать их, чтобы сохранить свой международный вес, свою торговлю, свои колонии, чтобы обеспечить получение сырья для своей промышленности, хлеба, мяса, масла, яиц для своего населения и, наконец, рынков сбыта для своих фабрикатов. Если вдуматься во всю бесконечную сложность экономической и политической системы Англии, то ясным станет, что все преимущества лежат на стороне Соединенных Штатов с их целостной территорией, с их обеспеченными собственными продовольственными и сырьевыми базами. Но с

¹⁾ Moriott «Empire Settlement», London, 1927.

этим противником Англия столкнулась только после мировой войны, до нее пред ней стоял другой мировой конкурент — Германия.

Чтобы обеспечить себе господство в дальнейшем, Англия должна была уничтожить этого соперника, индустриальный рост которого и колониальная экспансия стали угрожающими. Ко времени мировой войны германский флот занял второе место после английского. Германия не только стала подрывать торговые интересы Британии. Пред англичанами стала угроза возможности в случае войны высадки немцев на Британских островах и полного разгрома слабых английских сухопутных сил.

Германия была повержена. Англия избавилась от главного конкурента, получила богатые германские колонии, закрепила свои позиции на мировых путях. Но народное ее хозяйство в результате войны оказалось сильно подорванным, а удельный вес Англии в мировом хозяйстве—упавшим. Вот несколько цифр: добыча угля упала в Англии с 292,2 млн. тонн в 1913 г. до 258,6 млн. тонн в 1927 г.; выплавка чугуна—с 10,4 млн. тонн до 7,3 млн. тонн; добыча железной руды—с 16,2 млн. тонн до 10,3 млн. тонн (1925 г.); потребление хлопка—с 4,274 тыс. кип до 3,010 тыс. кип; экспорт—с 4,966 млн. зол. руб. до 4,156 млн. зол. руб. Англия, занимавшая до войны 13 проц. всего мирового экспорта, снизила свое значение до 11,9 проц. Если принять 1913 г. за 100, то в 1925 г. импорт Англии составил 111, а экспорт только 80 (по ценам 1913 г.). С внешних рынков Англия вытесняется благодаря росту индустриализации остальных стран, а также ее же собственных доминионов, и, главным образом, благодаря конкуренции Соединенных Штатов. На смену Германии пред Англией во всем его угрожающем значении и весе встал новый соперник на мировых рынках — Соединенные Штаты. Следующая табличка ярко характеризует падение английского экспорта на отдельных рынках и соответствующий этому рост экспорта Соединенных Штатов.

Процент участия Англии и Соединенных Штатов в импорте разных стран:

	Англия.		Соед. Штаты.	
	1913 г.	1925 г.	1913 г.	1925 г.
Китай	16,5	9,7	6,0	14,8
Индия	64,2	52,3	2,6	6,1
Япония	16,8	8,8	16,8	25,9
Австралия	51,8	43,9	13,7	24,6
Нов. Зеландия	59,7	52,0	9,5	16,4
Египет	30,5	25,2	1,5	3,6
Ю. Америка	56,8	50,0	8,9	14,7
Аргентина	31,1	22,6	14,7	23,4
Канада	21,3	17,7	64,0	65,0
Куба	11,5	4,0	53,7	62,9
Мексика	13,5	7,8	50,6	70,2

По всему фронту международной торговли Англия уступает свое место Соединенным Штатам. Это и неудивительно.

IV

О производительных силах Америки, о непрерывном возрастании ее народного богатства ко времени мировой войны мы уже говорили. Возникновение войны еще более способствовало обогащению Соединенных Штатов. До 1917 г. Америка сохраняла нейтралитет, она снабжала союзников, не отказывалась от торговли и с центральными державами. Милитаризация промышленности воюющих держав вызвала усиленный спрос на промышленные фабрики, война требовала огромного количества металла, вооружения, продовольственных припасов. Единственным источником снабжения воюющих держав оставалась Америка, которая, по выражению Троцкого, «до известного момента кровь европейских безумцев разумно перекачивала в доллары». Оплата продовольствия, военного снабжения, оплата морских перевозок записывались на счет европейских держав. Торговый баланс Соед. Штатов за время войны давал огромное положительное сальдо. В результате Америка богатела. До войны Соед. Штаты были должниками Европы, после нее Америка не только покрыла свою внешнюю задолженность, но ссудила Европе огромную сумму в 11,6 миллиардов долларов.

После войны для союзников наступили тяжелые дни расплаты за безумную военную расточительность, за разрушение промышленности, за хозяйственную разруху, расплата по счетам, предъявленным Соединенными Штатами. Получив удовлетворение во всех своих территориальных домогательствах, союзные правительства встали пред фактом, что Соединенные Штаты, не получив никаких территориальных приращений, стали, благодаря росту своей промышленности, благодаря необычайному повышению национального богатства, господами мира. «За ночь Америка стала мировой державой». Несколько цифровых показателей будут достаточны для иллюстрирования влияния войны на рост хозяйственного могущества Соед. Штатов. Потребление хлопка увеличилось с 5,7 млн. кип. до 7,1. Добыча угля с 517 до 544 млн. тонн, добыча нефти с 33,1 до 124,9 млн. тонн; выплавка чугуна с 31,7 до 36,2 млн. тонн, стали с 31,8 до 44,4 млн. тонн; вывоз Соед. Штатов—с 4,7 до 6,1 млн. зол. рублей. Золотой запас Штатов увеличился почти в три раза. Торговый флот, состоявший в 1914 г. из 2.564 судов, насчитывает в 1927 г. 3.940 судов. Национальное богатство держав-победительниц осталось на прежнем уровне (Англия — 70 млрд. долл., Франция — 57,9 млрд. долл.), и народное богатство Соединенных Штатов возросло с 200 до 230 млрд. долл. Удельный вес производительности Соединенных Штатов составляет ныне: 25 проц. мирового сбора пшеницы; 31 проц. мирового сбора овса; 35 проц. протяжения жел. дорог; 40 проц. производства чугуна и стали; 52 проц. мировой добычи угля; 60 проц. мировой добычи меди; 66 проц. мирового сбора хлопка; 70 проц. мировой добычи нефти; 75 проц. мирового сбора кукурузы; 85 проц. мирового производства автомобилей, швейных и с.-х. машин.

Такой необычайный рост производительности, такой подавляющий процент участия Соединенных Штатов в мировом производстве вызвал у американцев стремление закрепить за собой достаточные рынки сбыта этой продукции. Внутренний рынок, при всей его емкости, при всем богатстве населе-

ния, уже не может поглотить всего национального производства. Для полной загрузки производственного аппарата, особенно развившегося во время войны, необходим сбыт товаров за границу. Отсюда стремление Америки к завоеванию внешних рынков, отсюда выход Америки из состояния изолированности на большую арену мировой конкуренции.

Таковы основы торговой экспансии. Не менее явственна, не менее обусловлена и финансовая экспансия Соед. Штатов. Притекшее в Америку золото в оплату военных поставок и как результат активности торгового баланса требует размещения. Золото ведь дорого не само по себе, а лишь как средство обращения, за которое можно купить рабочую силу, создающую прибавочную стоимость — доход капиталиста. Обилие капиталов в самой Америке создает там дешевизну денег. Предложение капиталов превышает спрос; доходность, приносимая капиталом, невелика. Надо искать иных мест приложения капитала или инвестиций на внешние рынки. Это создает новый повод для выхода Соединенных Штатов на арену мировой политики. Стремление избавиться от «золотого ожирения» обуславливает активность американской политики в Европе, ее участие «в экономическом оздоровлении» Германии, ее вмешательство в дела мелких европейских стран и, наконец, ее активность в Китае и других колониальных странах. Предложение американских капиталов повсюду встречает спрос, так как разрушенное войной хозяйство Европы не может встать на ноги без кредитной помощи Соединенных Штатов. Сама эта помощь — и только она — гарантирует Америке получение платежей по военным долгам. Англия и Франция, и длинный список держав-победительниц будут в состоянии рассчитаться с Америкой, если им самим будет платить Германия. Отсюда план Дауэса, при помощи которого Соединенные Штаты, вложив в германское народное хозяйство свои капиталы, рассчитывают сделать германский народ способным платить репарации, возложенные на него Версальским договором. Кроме 11 миллиардов долларов, которые должны Соединенным Штатам иностранные правительства, американские капиталисты разместили на иностранных рынках, вложили в иностранные предприятия до 10 миллиард долларов.

Так осуществляется широкая торговая и финансовая экспансия Соединенных Штатов на внешние рынки. Она направляется прежде всего на американский континент, далее в Европу, Азию, Африку. В этом своем движении к охвату мира американский капитал повсюду сталкивается с английским. Повсюду возникает конкуренция и борьба, принимающая порой острые, порой смягченные формы. Остановимся на некоторых пунктах, где эта борьба проявляется особенно ярко. Это — Канада, Южная Америка и Дальний Восток.

V

Отношение Соединенных Штатов с Канадой характеризуется следующими данными.

К северной границе Соединенных Штатов на всем ее длинном протяжении примыкает территория одного из богатейших английских доминионов — Канады. Естественно, что в эту сторону устремились американские предпри-

матели в поисках рынков сбыта для своих товаров и места выгодного размещения своих капиталов. В 1905 г. торговый оборот с Англией составлял 34,5 проц. всего внешнего оборота Канады, а в 1924 г. он упал до 26,4 проц. Напротив, оборот Канады с Соединенными Штатами, составлявший уже в 1905 г. более половины канадской внешней торговли (51,0 проц.), к 1924 г. возрос до 53,4 проц.

То же явление в области финансовой активности Соединенных Штатов на соседней территории. В 1923 г. вклады английских капиталистов в Канаде составляли 42 проц. всех инвестиций, а вклады Соединенных Штатов — 52 проц. Таким образом, как в области торговой, так и в области финансовой Соединенные Штаты имеют в Канаде перевес над Англией. С каждым годом американский капитал все глубже и глубже проникает в эту страну, захватывает одну позицию за другой, вытесняя английский капитал, а с тем вместе и английское влияние. Противовес себе американский капитал находит скорее в растущем собственном канадском капитализме, чем в английском капитале. Общность интересов, создавшаяся близкими естественно-историческими условиями, общим прошлым и единым тихоокеанским фронтом против «японской опасности», — создают ту благоприятную почву, на которой подавляющая сила американского колосса становится для Канады непреодолимой. Путем торговых и финансовых связей, путем эмиграции (доступ в Соединенные Штаты канадцев не подвержен никаким ограничениям), путем культурных и экономических влияний Канада медленно и постепенно втягивается в орбиту «Американской империи». Лондон не может оставаться равнодушным к этому центробежному стремлению его доминиона. Путем гибкой политики, путем постоянных компромиссов, путем создания экономической заинтересованности Канады в том, чтобы оставаться членом «британского сообщества наций», Англия стремится парировать рост влияния Соединенных Штатов в Канаде. В какой мере будет успешна эта политика — разрешение этого вопроса зависит от роста экономических сил в самой Канаде. Уже теперь замечаются признаки конкуренции и столкновения интересов между американскими и канадскими капиталистическими группировками. Эти столкновения создают почву для стремлений канадцев искать осуществления своих национальных идеалов не в присоединении к Соединенным Штатам, а в выделении в самостоятельную политическую единицу.

Об успехах Соединенных Штатов в деле обеспечения своего решающего влияния в зоне Панамского канала мы уже говорили. Но между Панамским перешейком и Соединенными Штатами лежит еще независимая Мексика. Стратегическое значение ее для Соединенных Штатов определяется самим географическим положением Мексики — между Соединенными Штатами и Панамским каналом. Экономические возможности страны очень значительны. Это прежде всего с.-х. продукция (хлопок, табак, кукуруза, сахар и пр.). 75 проц. мексиканского экспорта и 70 проц. мексиканского импорта падает на Соединенные Штаты. Затем — горные богатства и на первом месте нефть. Заинтересованность Соединенных Штатов в Мексике определяется прежде всего стремлением закрепить за собой мексиканские нефтяные богатства. Добыча нефти в Мексике очень значительна и составляет около 14 проц. мировой до-

бычи. Более 70 проц. нефтяных богатств Мексики находится в руках иностранных компаний, и, главным образом, американской Стандарт-Ойл и К°. Попытка революционных мексиканских правительств провести в жизнь закон о национализации нефтяных источников вызывает постоянное противодействие Соединенных Штатов, охраняющих интересы своих капиталистов. Смуты, перевороты и революции в этой стране дают американцам повод для постоянного вмешательства в мексиканские дела, для вооруженных интервенций и карательных экспедиций. В мексиканских нефтяных богатствах близко заинтересованы и англичане.

После империалистической войны значение нефти для военной обороны страны очень возросло. Без нефти нет ни аэропланов, ни подводных лодок, ни автомобильного транспорта. На нефть переходит военный флот всех стран. Торговый флот уже приблизительно на одну треть работает на нефтяном топливе. Значение нефти запечатлелось в афоризме: «французский грузовик победил германский паровоз». В дальнейших вооруженных столкновениях капиталистических стран значение нефти, как повода для этих столкновений и как наиболее важного средства военного снабжения, будет все более значительным. «Король-уголь свергнут с трона. Мировая война 1914 г. была порождена интересами угольной и железодельной промышленности, теперь же первенство переходит к нефти. Мы живем в нефтяном веке, и на первом месте стоит нефтяной империализм. История ближайших двух поколений пройдет под знаком борьбы за нефть»¹⁾. Мексика является одной из точек этой борьбы. В нефтяные предприятия Мексики вложено американского капитала 606 млн. долл., а английского — 352 млн. долл.

Нефтяные богатства Южной Америки также очень значительны: ресурсы нефти составляют 16 проц. всех мировых нефтяных богатств и, таким образом, превосходят запасы нефти в Соединенных Штатах. И здесь сталкиваются интересы мировых нефтяных концернов—американских и английских, и здесь, таким образом, создается повод для конкуренции, борьбы и острых конфликтов. В наиболее обостренной форме эта борьба и проявляется в Венесуэле, весьма богатой нефтью. (Добыча нефти в Венесуэле составляет более 4 проц. всей мировой добычи.) Южная Америка богата не только нефтью. Девственные страны этого континента еще едва тронуты человеческой предприимчивостью и хранят в себе богатейшие запасы сырья и энергетических ресурсов. Естественно, что и в этом направлении движется американская торговля и финансовая экспансия, оправдывающая лозунг «Америка для Соединенных Штатов».

Торговый оборот со странами Латинской Америки составляет более 20 проц. всего внешнего оборота Соединенных Штатов, при чем товарооборот этот носит типичный характер отношений между метрополией и колонией. Соединенные Штаты получают из Южной Америки пищевые продукты и сырье, а вывозят машины, автомобили и др. изделия. Огромная взаимозависимость между Южной Америкой и Соединенными Штатами явствует из того,

¹⁾ Фишер. «Империализм нефти», стр. 175, цит. у Батуева «Мировые источники сырья», стр. 55.

что, например, из Южной Америки Соединенные Штаты получают 82 проц. всего ввозимого ими сахара, 96,4 проц. кофе, 100 проц. чилийских нитратов, 99 проц. табака. С другой стороны, Соединенные Штаты размещают на рынках Южной Америки 30 проц. экспортируемых машин и автомобилей, 32 проц. химико-изделий, 69 проц. кожевенных изделий и пр. Отсюда ясно видно, насколько крепки торговые связи между Южной и Северной Америкой. За последние годы американцы заинтересовались развитием в Ю. Америке плантаций каучука. Не менее значительны и чисто финансовые взаимоотношения. В 1913 г. Соединенными Штатами было размещено в южно-американских республиках займов на 1.300 млн. долл., а в 1927 г.— на 5.161 млн. долл.

Хозяйничание Соед. Штатов в странах Латинской Америки настолько неограниченно, что дает основание некоторым публицистам ¹⁾ приходиться к парадоксальному заключению, что Соед. Штаты не аннексируют государства Южной Америки единственно, чтобы свободней в них распоряжаться. Превращенные в штаты, эти государства, пользуясь американской конституцией, могли бы в большей мере отстаивать свои права и интересы, чем теперь, когда натиску американского капитала они могут противопоставить только их беспомощный «суверенитет». Это справедливо, конечно, только по отношению к мелким республикам Центральной Америки. В Южной Америке нажим Соединенных Штатов встречает энергичный отпор, особенно у трех крупнейших республик, у так называемой А. В. С. (Аргентина, Бразилия и Чили).

Заинтересованность Англии в рынках Южной Америки, особенно в Аргентине и Бразилии, очень велика. Достаточно сказать, что Южная Америка является главным поставщиком на мировой рынок шерсти, кожевенного сырья, мяса, дубильных веществ, кофе. До настоящего времени внешняя торговля Англии с Южной Америкой немногим уступает торговле Соединенных Штатов, как видно из следующей таблицы, относящейся к 1927 г.:

В Англию вывоз из Ю. Америки .	570 млн. д.	В Соед. Штаты .	518 млн. д.
Ввоз в Ю. Америку из Англии. .	307 » »	Из Соед. Штатов .	437 » »
Оборот Ю. Америки с Англией .	877 млн. д.	С Соед. Штатами .	955 млн. д.

Остановимся далее кратко на других пунктах земного шара, где сталкиваются английские и американские интересы.

Кроме американского континента, это — бассейн Тихого океана и, прежде всего, Китай. На этом новом мировом театре сталкиваются многие противоречивые интересы. Здесь — борьба индустриальных стран за рынки сырья и сбыта промышленной продукции. Страны, прилегающие к Тихому океану, являются сосредоточием огромных масс человечества, сотен миллионов производителей товаров и их потребителей. Тихий океан — стык белого и желтого человечества. Здесь Крайний Запад соприкасается с Дальним Востоком, мир колониальный — с миром империалистическим. Сюда аме-

¹⁾ L. Guilaine «L'Amérique et l'impérialisme américain» Paris, 1928.

риканцы в своем наступательном движении на Запад принесли последние достижения капиталистической культуры. Но, одновременно с движением американцев на Крайний Запад, на самом Дальнем Востоке зрели силы сопротивления колониальным захватам. Япония, ставшая ныне в ряду империалистических держав, также была когда-то, правда, короткое время, полуколонией. Но после двух победоносных войн—с Китаем и Россией—Япония заняла прочное положение в капиталистическом мире и в своем молодом стремлении к экспансии стала даже угрожать интересам западных капиталистических стран. Борьба с Японией являлась до последнего времени определяющей линией американской политики на Тихом океане. Когда ход вооруженной борьбы Японии с Россией стал предвещать победу Японии, Америка предложила воюющим державам свое посредничество. Она оказала свое авторитетное влияние на Японию в направлении умеренности ее требований. Соединенные Штаты преследовали цель воспрепятствовать чрезмерному усилению Японии за счет побежденной России и стремились уравновесить силы на Дальнем Востоке.

Ко времени русско-японской войны Соединенные Штаты уже имели значительные интересы на Дальнем Востоке. Им принадлежали Филиппинские острова, их торговля с Китаем развивалась. Появились не только торговые, но и финансовые интересы, связанные с займами и вкладами в китайскую промышленность и строительство. Рост торговли Соединенных Штатов с Китаем за счет, главным образом, английской торговли виден из следующей таблицы:

Импорт в Китай:	1913 г.	1924 г.	1925 г.	1926 г.	
Из Гонконга	29,9%	23,5%	18,3%	10,9%	Всего импорта.
» Великобритании	6,0%	12,1%	9,6%	10,2%	» »
» С. Штатов	16,5%	18,5%	14,8%	16,4%	» »
Экспорт из Китая:					
В Гонконг	29,9%	22,6%	14,9%	10,9%	Всего экспорта.
» Великобританию	4,0%	6,4%	6,1%	6,5%	» »
» С. Штаты	9,0%	13,4%	18,5%	17,4%	» »

Если принять, что чрез Гонконг торговля идет по преимуществу с Англией, то окажется, что экспорт в Англию из Китая до войны составлял 35,9 проц. всего экспорта Китая, а в 1926 г. только 17,4 проц., а экспорт в Соединенные Штаты до войны 9 проц., а в 1926 г. 17,4 проц.

По отношению к Китаю американцы заняли среди других империалистических держав своеобразную позицию. Не имея территориальных владений в Китае и не претендуя на определенную сферу влияния, Соединенные Штаты заботились, главным образом, о том, чтобы их интересы не были ущемлены натиском их конкурентов — Англии, Японии, России, Франции. Свои посягательства они облекали в форму покровительства китайскому народу и содействия его культуре. Многочисленные филантропические предприятия, учебные заведения, больницы, деятельность миссионеров должны были доказать, что американцы преследуют исключительно культурную миссию и являются истинными друзьями Китая. Этим они, несомненно,

привлекают симпатии определенных слоев китайской буржуазии и интеллигенции.

Англия со своими многообразными интересами в Китае с беспокойством следит за ростом американского влияния в Китае и плодами «либеральной политики Соединенных Штатов». Не так давно мы читали в газетах, что американцы признали Нанкинское правительство и обещают согласиться на таможенную автономию Китайской республики.

По своим методам английская политика неприкрытого нажима на Китай до известной степени совпадает с политикой Японии. Англо-японский союз, заключенный в 1902 г., еще до русско-японской войны укреплял положение Англии на Дальнем Востоке. Благодаря этому союзу, Англия, удаленная от Дальнего Востока, имела в Японии прочную опору своим интересам и могла противопоставить этот союз растущему влиянию Америки. Но на Вашингтонской конференции 1921—22 г. Соединенные Штаты настояли на прекращении англо-японского союза. Этим они достигли двух целей — изолировали Японию и изолировали Англию на Дальнем Востоке. На этой же конференции был принят ряд постановлений, обещающих Китаю осуществление американской либеральной политики. Этими мало обязывающими обещаниями американцы укрепили свои позиции на Дальнем Востоке и создали в тылу Японии — своего главного противника на Тихом океане — дружественное к Америке отношение Китая. С другой стороны, Англия, лишившись союзника в лице Японии, принуждена была подумать о защите своих владений от той же Японии. С этой целью Англия приступает к сооружению дорогой Сингапурской базы. Военно-морские укрепления этого важного стратегического пункта должны обеспечить Индию и Австралию на случай вооруженной борьбы на Тихом океане с Японией, а также с Америкой.

Кроме Китая на Тихоокеанском бассейне, Англия имеет огромные интересы в своих колониях и доминионах. И здесь интересы Англии сталкиваются с растущим влиянием Соединенных Штатов. Английский доминион — Австралия — экономически еще прочно связан с метрополией. В 1924 г. 42% внешнего торгового оборота Австралии относились к Англии, а к Соединенным Штатам только 16%. Но с Соединенными Штатами Австралию тесно связывает общая борьба с желтой опасностью — с иммиграционной волной японцев и китайцев и с растущей торговлей Японии. Австралия энергично защищала проект устройства Сингапурской базы, как направленной против Японии, и настаивала на разрыве англо-японского союза. Центробежные стремления английских доминионов с каждым годом дают себя чувствовать. Английские владения, бывшие ранее вполне подчиненными колониями, постепенно превратились в доминионы — самоуправляющиеся полу-автономные государства, — а ныне они являются равноправными членами британского сообщества наций. Австралия, например, располагает собственным военным флотом. Удерживать отдельные единицы в составе империи Лондону становится все труднее. При центробежных стремлениях доминионов притягательная сила старшей отделившейся дочери — Соединенных Штатов — становится все ощутительнее. Англии приходится это учитывать как в отно-

шении Австралии, так и по отношению к Н. Зеландии, положение которой соответствует положению Австралии. Эти доминионы не могут не сознавать, что против японской экспансии они могут быть гораздо лучше защищены Соед. Штатами, лежащими тут же на Тихом океане, чем отдаленной Англией.

Экономическая борьба между Соединенными Штатами чувствуется и на других континентах. Американский капитал начинает интересоваться Индией, проникает в Африку, захватывает позиции в Европе. Повсюду британская экономическая система чувствует рост американского капитала и угрожающие существованию Британской империи стремления Америки стать гегемоном мира. Поразительный рост могущества Соединенных Штатов серьезно беспокоит англичан. «Возвышение Соединенных Штатов, — говорит английский экономист Баркер¹⁾, — столь стремительно, что если не произойдет внезапной перемены, Англия быстро опустится до положения Бельгии, Голландии, а доминионы и колонии отойдут к Соединенным Штатам. Большинство людей не сознает, что экономические причины чаще, чем военные поражения, доводят до падения великие нации. Нации рождаются в войнах, а умирают в периоды мира».

VI

Внешним проявлением этой борьбы между Англией и Америкой является конкуренция в морских вооружениях.

Остановимся кратко на истории этого вопроса. До империалистической войны Англия располагала флотом подавляющей силы. Английское строительство военного флота преследовало цель обеспечить империю флотом более сильным, чем сумма флотов двух наиболее сильных морских держав. Военно-морская подготовка Англии имела в виду, главным образом, Германию. После мировой войны, когда, особенно в первые годы, хозяйственный кризис чувствовался остро, когда военные долги не были еще никак урегулированы, а хозяйство Англии переживало тяжелые потрясения, Англия вынуждена была отступить от своего принципа и признать, что содержать флот сильнее двух самых сильных флотов, при растущем военном флоте Соединенных Штатов, для Англии непосильно. На Вашингтонской конференции Англия вынуждена была согласиться на принцип равенства своего линейного флота с американским. Соглашение касалось только линейного флота и оставляло открытым вопрос о крейсерах и других более мелких типах военных судов. Это открывало возможность для участвовавших в соглашении держав продолжать усиление своих флотов в рамках, допускаясь вашингтонским соглашением. Конкуренция развивалась по линии качественного усиления флота, повышения квалификации его личного состава, устройства морских баз, строительства быстроходных судов легкого типа. Все это требует огромного напряжения бюджетных средств, и ассигнования на военный флот как в Соединенных Штатах, так и в Англии с каждым годом возрастают.

¹⁾ America's Secret. The Causes of her economic Success by T. Barker, London, 1927.

Военно-морские авторитеты затрудняются ответить на вопрос, чей же флот в настоящее время сильнее — флот Соединенных Штатов или английский. Не говоря про то, что конкурирующие адмиралтейства старательно скрывают истинные размеры своих военных флотов, это затруднение объясняется разнообразием элементов, которые должны быть при этом сравнении учтены. Здесь — вес снарядов и дальность артиллерии, броневая защита, скорость судов, однотипность их, соотношение между надводным и подводным флотом, роль морской авиации и прочие технические данные. К этому надо добавить, что каждая страна строит флот в соответствии со своими стратегическими задачами. Сила флота определяется не только его количеством и техническими качествами, но и всей военно-стратегической, географической и политической обстановкой, в которой ему придется в случае войны действовать. Анализ таблиц соотношения военно-морских сил дает тем не менее возможность прийти к выводу, что в отношении линейных кораблей преимущество на стороне Соединенных Штатов, в отношении крейсеров перевес на стороне Англии. При сравнении морских сил не надо упускать из виду и торгового флота. Он имеет огромное значение на войне как транспортное средство для перевозки войск, военного и продовольственного снабжения. Кроме того, коммерческие суда могут быть вооружены артиллерией и вступить в состав военного флота в качестве не только транспортных, но и боевых единиц. В отношении коммерческого флота Англия до сих пор имеет подавляющее превосходство перед Соединенными Штатами.

Британская империя располагает торговым флотом в 10.655 единиц, а Соед. Штаты только 3.940.

Далее, Англия имеет преимущество в подготовленности личного состава своего военного флота, прошедшего боевую школу морской войны с Германией. Соединенные Штаты стремятся достигнуть полного равенства с Англией в морских силах и усиленно проводят подготовку своего личного состава и повышение его уровня. Периодически устраиваемые грандиозные морские маневры на будущих театрах войны имеют целью не только ознакомить личный состав флота с этими театрами, но и манифестировать мощь американского флота.

Учитывая перевес Англии в легких судах, Соединенные Штаты принимают целый ряд дипломатических шагов, направленных к тому, чтобы распространить принципы Вашингтонского соглашения на суда всех типов. Собранная с этой целью Женевская конференция 1927 г. окончилась ничем, т. к. Англия и Япония не отступили от своих позиций, несмотря на предлагаемые Америкой уступки. Характерно, что на этой конференции Японии пришлось играть роль арбитра между Соединенными Штатами и Англией, тогда как в 1921 г. в Вашингтоне Япония имела против себя объединенный англо-американский фронт. Конференция окончилась ничем и, напротив, явилась стимулом к усилению морского строительства в предвидении того, что в 1931 г. оканчивается срок Вашингтонского соглашения. Подписавшие его державы стремятся выполнить до этого срока те части своей военно-морской программы, осуществление которых допускается этим соглашением

(модернизация старых судов, усиление крейсерского и подводного флота, морской авиации и пр.).

При равновесии военно-морских сил Англии и Америки особое значение приобретают поиски союзников в будущем военном столкновении. Следующими по силе державами после Англии и Соединенных Штатов являются Япония, Франция и Италия. Флоты других государств ничтожны по силе, устарели и не могут иметь сколько-нибудь решающего влияния на исход военной борьбы между главными империалистическими державами. Для Англии привлечение в свою сторону Франции и Италии имеет огромное значение еще и потому, что при столкновении с Соединенными Штатами Англия должна быть обеспечена от возможных нападений своих ближайших соседей. При современном развитии техники Англия уже не является изолированным островом и вполне доступна налетам воздушного флота из Европы. Обеспечение спокойного пути в Индию через Средиземное море и вообще обеспечение морских коммуникаций Англии является для нее необходимым условием ведения войны и обеспечения ее населения продовольствием, а ее промышленности сырьем. Без этого необходимого господства английского флота хотя бы на главных путях невозможно для Англии не только ведение войны, но и поддержание ее населения. Блокада знаменует неминуемую гибель Англии как великой державы или скорое и полное ее подчинение воле победителя.

Послевоенная политика Англии на европейском континенте определялась колебаниями между опасением угрожающего усиления Франции, с одной стороны, а с другой — опасением ссоры с ней, которая сделает для Англии абсолютно невозможной борьбу с ее главным соперником — Америкой. Среди этих колебаний Италия и Япония должны были играть роль подсобных элементов английской политики. Италия — как противофранцузская комбинация, а Япония — как противоамериканская.

Осторожность английской политики в Европе и по отношению к Соединенным Штатам давала повод одно время говорить об англо-американском блоке, решающем судьбы мира. Но разговоры об этом блоке, повидимому, имели целью только завуалировать истинные цели Англии и до времени прикрыть ее подготовку к борьбе с главным противником — Соединенными Штатами. Действительно, существованию мировой Британской империи может серьезно угрожать только этот противник. Франция, при всем ее усилении после войны, все же остается почти исключительно континентальной державой, ее интересы ограничиваются узким кругом споров с Германией и Италией, она вся в пределах европейского материка, а колониальные ее владения на севере Африки мало беспокоят Англию. Франция важна Англии только как обеспеченный тыл на случай столкновения с единственно достойным Британии противником — Соединенными Штатами.

Недавно опубликованное газетами сообщение о заключенном англо-французском соглашении, наконец, открывает пред всем миром истинное направление английской политики и делает совершенно ясным, в ком Англия видит своего главного противника и к борьбе с кем она готовится. Недаром опубликование этого соглашения вызвало такую бурю негодования

в Соединенных Штатах и вынудило французскую и английскую дипломатию прибегнуть к натянутым и неловким объяснениям и оправданиям.

В чем же сущность состоявшегося соглашения? Оно сводится к урегулированию тех разногласий, которые до сих пор разделяли Англию и Францию. Двум европейским гегемонам соглашение отводит определенную сферу влияния, стороны делают взаимные уступки, Англия и Франция заключают военную конвенцию — союз на случай борьбы с общим врагом.

До сего времени Англии приходилось более всего опасаться французского подводного флота, единственного для Франции средства борьбы с могущественным флотом Англии. Только что заключенное соглашение об «ограничении вооружений» оставляет неограниченные возможности строительства легких крейсеров, минных судов, вооруженных мелкими орудиями, а также подводных лодок береговой обороны. Это как раз те категории судов, которых Англии приходилось опасаться на случай ее борьбы с Францией. Отказ от ограничения числа судов этого типа знаменует, что Англия перестает считать Францию своим возможным противником. Со своей стороны, Франция отказывается от проекта устройства воздушных баз на берегах Ламанша, что знаменует отказ Франции от весьма мощного средства ее борьбы с Англией. Наконец, Англия отказывается от требования причислять обученные резервы к контингентам подлежащих ограничению сухопутных сил. Таким образом, Франция получает свободу усиления своих сухопутных войск, что является определенной угрозой для Германии и Италии. Франция после этого соглашения усиливается в Европе, а Англия получает за счет своего отказа от гегемонии в Европе обеспеченный тыл, а быть может, и активную поддержку Франции на случай войны с Соединенными Штатами.

Соглашение Англии с Францией является частичным осуществлением единого европейского фронта против Америки. Это соглашение связывает руководящие европейские страны в единый блок, осуществляющий идею пан-Европы пред лицом общего врага — нового гегемона мира — Соединенными Штатами. Лидером в этом новом объединении является Англия, самая богатая, самая могущественная после Соединенных Штатов мировая держава. Только Англия стоит на пути Соединенных Штатов к осуществлению мировой гегемонии, только Англия является главным врагом Америки, а потому именно Англия должна искать вокруг себя опоры для будущей борьбы.

Война между Англией и Соединенными Штатами может показаться невероятной по причине родственности этих народов, общности языка, быта и культуры¹⁾. Разумеется, эти надстройки приходится до некоторой степени учитывать как факторы, тормозящие создание благоприятной психологической атмосферы для подготовки общественного мнения к войне. Но не эти факторы в конечном счете решают судьбы народов. История знает множество примеров войн, которые вели между собой народы, родственные и близкие по языку и культуре. Богатейший опыт психологической подготовки масс во время мировой войны доказывает, как легко эти массы поддаются умело проводимой шовинистической агитации и забывают проповеди

¹⁾ Kenworthy «Will civilisation crash», London, 1928.

о «единстве человечества». Факторы более глубокого экономического порядка будут и в этом случае, как и всегда, диктовать пути истории.

Неравномерное развитие капитализма в разных странах делает невозможным длительное равновесие мировых сил и неминуемо вызывает рост противоречий между отдельными странами, противоречий, неустранимых при капиталистической системе.

Диспропорция между производительными силами Америки и размерами ее колоний неминуемо вызывает стремление Соединенных Штатов к империалистической экспансии. Незначительность колониальных владений Соединенных Штатов и ничтожная роль их колоний в мировом хозяйстве видна из следующей таблицы:

	1913	1926	
Внешняя торговля английских колоний.	3.575 м. долл.	7.733 м. долл.	
В % к мировой торговле .	40,0%	42,7%	миров. торговли.
Американских колоний .	267 м. долл.	769 м. долл.	
В % к мировой торговле .	3,0%	4,3%	миров. торговли.

«Мы должны не только продавать хлопок и пшеницу, — говорит американец Пейдж ¹⁾, — но еще найти потребителей для излишков своей продукции. Благополучие наших граждан, фермеров и рабочих, промышленников и банкиров, производителей и потребителей связано с внешней торговлей.. Год за годом мы все глубже и глубже проникаем в экономическую и финансовую жизнь мира. Возвращаться назад уже поздно. Международная борьба за сырье и рынки становится все обостреннее. Мир всего мира на десятилетия вперед будет прежде всего определяться тем, что мы делаем с нашими долларами в других странах...».

На пути Соединенных Штатов к колониальной экспансии стоит Англия с ее могущественным флотом и с ее господством на всех мировых путях. Чтобы двигаться дальше по пути капиталистического развития, Соединенные Штаты должны сбросить со своего пути Англию. Чтобы сохранить свое мировое положение, Англия должна поставить предел росту Американской империи, росту, который становится угрожающим. Таково противоречие, устранить которое не в силах никакие соглашения, никакие пацифические декларации. Его разрешит только война, которая выяснит истинное соотношение сил и повернет страницу мировой истории.

VII

Трудно предсказать исход нового мирового столкновения. Слишком многообразны те факторы, которые должны быть учтены для прогноза.

Приходится ограничиться только самым общим очертанием облика будущей англо-американской войны.

Будущая война в еще большей мере, чем война 1914—1918 гг., будет войной мировой. Английские владения разбросаны по всему земному

¹⁾ «Dollars and World Peace» by K. Page, New-York, 1927.

шару, нет того места в мире, где бы Британия не имела интересов. Если так, то ее противник поставит своей задачей уязвить Англию повсюду, где это представится возможным. Он будет стремиться втянуть в той или иной форме в военное столкновение все недовольные элементы Британской империи — Ирландию, Индию, Египет, арабов, цветные народы, подчиненные английской короне. Американцы повсюду будут сеять семена недовольства, восстаний, погромов, беспорядков, пассивного сопротивления, саботажа, «измен и предательства». Колониальная политика Англии даст Соединенным Штатам богатую почву для такой борьбы «по ту сторону фронта». Американцы, несомненно, придадут своей борьбе лозунг «борьба за освобождение от британского гнета». Империалистическая война 1914—1918 гг. тоже ведь велась под привлекательным лозунгом «война войне».

Американцы, несомненно, будут стремиться втянуть в столкновение английские доминионы. Большой победой американцев было бы хотя бы сохранение нейтралитета доминионов. Мы уже говорили о том, что центробежные стремления доминионов в достаточной степени сильны, и что тяготение их к американскому центру проявляется весьма явно. Трудно предсказать, куда склонится равнодействующая между старыми связями с Англией и силой тяготения к «старшей сестре». По отношению к Канаде всего вероятнее было бы предположение о сохранении нейтралитета. За это, по крайней мере, высказываются даже англичане¹⁾, так как они прекрасно сознают полную беззащитность Канады от американских сухопутных войск. Канадские войска незначительны, а высадка английских войск в Канаде во время войны с Соединенными Штатами была бы предприятием, заранее обреченным на неудачу.

Война разворачивается на море. Господство на мировых морских путях, как мы отметили выше, есть необходимое условие самого существования Британской империи. Естественно, что на это уязвимое место своего противника Америка будет направлять свои удары. Уместно напомнить, что этот метод борьбы с Англией практиковался Германией с большим успехом, значительно поколебал мощь Англии, и только вмешательство в войну Соединенных Штатов обеспечило Англии безопасность ее морских коммуникаций:

Для обеспечения господства на море Англия, несомненно, с первых же моментов борьбы предпримет активные меры к ослаблению своего противника. Наиболее уязвимым местом у Соединенных Штатов является Панамский канал. Занятие Панамского канала или, по крайней мере, такая его порча, которая исключит возможность свободного прохода американского флота, были бы существенным подрывом боеспособности Америки. Флот Соединенных Штатов оказался бы разделенным на Атлантическую и Тихоокеанскую эскадры и мог бы быть по частям разбит английским флотом при помощи возможных союзников Англии в этой войне (Франция, Япония). Недаром Америка так старательно оберегает канал путем

¹⁾ См. Kenworthy, цит. сочин.

устройства могущественных береговых укреплений с обеих его сторон. Но не надо забывать, что в непосредственной близости от Панамского канала Англия располагает сильной военно-морской и воздушной базой на о. Ямайка. На укрепление ее затрачено 10 млн. фун. стерл., т. е. больше, чем на устройство базы в Сингапуре (7—8 млн. фун. стерл.). Не надо забывать далее, что англичанам принадлежит в Караибском море целый ряд мелких островов и что англичане располагают несколькими опорными пунктами на Атлантическом побережье Южной Америки и даже на Панамском перешейке. Эта обстановка не исключает возможности высадки английских войск в Южной Америке для сухопутных действий против американских владений на Панамском перешейке и для захвата канала. Американцы отлично учитывают значение этих английских баз. «Эти европейские колонии, — говорит один из нью-йоркских журналов, — имеют ценность только как аванпосты в предвидении морской войны. Но против кого? Они угрожают устью Миссисипи, Панамскому каналу и Никарагуа, где мы хотим предпринять грандиозные работы. Если допустимо, что они станут когда-нибудь морскими базами против нас, то наступает время заставить их исчезнуть». Эти угрозы заставляют насторожиться Англию. Из военно-морских кругов ее слышатся призывы перенести главные базы английского флота из Средиземного моря в Атлантический океан. Очевидно, урегулирование европейских дел высвобождает британские силы и допускает возможность их перегруппировки и переброски на новый театр. В Южной Америке английские войска могли бы встретить довольно благоприятную обстановку среди южно-американских республик, стремящихся освободиться от гнета Соединенных Штатов. Лозунг «освобождения от империализма» повернулся бы здесь против американской империи.

Другими уязвимыми пунктами американских владений были бы Филиппинские и Гавайские острова и о. Гуам — опорные пункты Соед. Штатов на Тихом океане. Пункты эти уязвимы со стороны Англии, опирающейся на Сингапур и Гонконг, не говоря о Японии. Оборона Филиппин почти невозможна для американского флота, базирующегося на Сан-Франциско, т. к. расстояние от Филиппин до Гонконга—650 миль, до Японии—1.300 миль, до Сингапура—1.320 миль, до Сан-Франциско—7.500 миль.

Защищаться Филиппины должны будут только местными средствами, весьма недостаточными¹⁾.

Потеря американцами Филиппин или Гавайских островов не является потерей каких-либо жизненных центров Американской империи. Мы видели выше, в какой полной мере Соединенные Штаты обеспечены на своей территории всем необходимым для ведения даже длительной войны. Однако потеря этих тихоокеанских баз знаменовала бы потерю Соединенными Штатами Тихого океана, а следовательно, свободу действий в этом бассейне английского военного и торгового флотов. В виду того, что пути из Англии в Индию и Индийский океан находятся в кольце британских владе-

¹⁾ См. В. Доливо-Добровольский «Тихоокеанская проблема».

ний и неуязвимы для американского флота, потеря американцами Филиппин знаменует обеспеченность для Англии путей из Лондона в Индию, на Дальний Восток, в Австралию и Новую Зеландию. Этим для англичан была бы разрешена задача продовольственного и сырьевого снабжения и пополнения резервов. Хлопок из Египта, шерсть, мясо и фрукты из Австралии и Новой Зеландии, нефть, сахар и колониальные товары с Зондских островов, живая сила из Индии, обеспеченность размещения экспорта в этих странах — все эти моменты значительно облегчили бы англичанам борьбу, которая будет вестись на истощение, на подрыв снабжения и морской торговли.

Трудно предвидеть отношение к войне европейских держав. Необходимым условием самой возможности для Англии решиться на войну с Соединенными Штатами является сговоренность с Францией, ее активное участие в войне на стороне Англии или ее дружественный нейтралитет. Позиция Франции определит ориентацию ее европейской «свиты» — Польши, Румынии, Бельгии, Югославии, лимитрофов. На севере Европы Англия включает в сферу своего влияния Скандинавию и Голландию. Особняком стоят Италия и Германия. С их стороны можно было бы ждать американской ориентации, но решатся ли эти страны на открытую борьбу с противонамериканским европейским блоком — весьма сомнительно. Во всяком случае, тенденции к созданию единого пан-европейского блока, «дух пан-Европы» очень сильны среди стран старого мира. Эти тенденции чувствуются даже в Германии. «Европа начинает постепенно возрождаться, — говорит немец Файлер. — Война, разрушившая сначала последние остатки европейской общности, создала потом равенство судеб европейских государств: неприятное равенство должников, вынужденных платить. Дело уже не только в репарациях, которые должна платить Германия. Проценты и амортизация военных долгов, которые должны выплачивать друг другу (а фактически Соединенным Штатам) победители в мировой войне и которые все европейские государства стараются теперь занять у Соединенных Штатов, — как бы объединяют Европу». Франко-германское сближение в форме сотрудничества группировок частного капитала является того же порядка фактом смягчения внутриввропейских противоречий.

Анализ военно-политической обстановки приводит к выводу, что положение Англии в борьбе с Соединенными Штатами было бы вовсе не так безнадежно, как думал, например, в 1926 г. Троцкий. В этой борьбе и на стороне Англии есть определенные преимущества. Это не значит, конечно, что Англия легкомысленно решится на столкновение, которое может стать роковым для ее могущества. Но Англия предвидит возможность этого столкновения, готовится к нему стратегически и дипломатически, оплетает мир сетью своих военно-политических комбинаций, чтобы в нужную минуту использовать их и парировать удары Америки. Англия решится на эту борьбу, если не будет видеть иного исхода из той бешеной конкуренции за мировое господство, к которому стремятся эти две передовые капиталистические страны.

Дома и за границей

ЛИТЕРАТУРА, ИСКУССТВО, БЫТ, ПОЛИТИКА

1. Н. ЗАМОШКИН. Сердце кооператора.— 2. И. МАШБИЦ-ВЕРОВ. Разговор по душам.— 3. А. ЗОРИЧ. Об одном „инциденте“.— 4. А. ЗАЛКИНД. Очерки школьной жизни в СССР.— 5. В. АЛПЕРС. Новый этап в современном кино.— 6. АНДРЕЙ ПЛАТОНОВ и БОР. ПИЛЬНЯК. Че-че-о.— 7. АДАЛИС. Путевые очерки.— 8. Н. ВОЛКОВ. Письма о западном театре (берлинский театр).— 9. Л. НИКУЛИН. Парадиз.— 10. БОРИС АНИБАЛ. Сатиры и пародии.

1. СЕРДЦЕ КООПЕРАТОРА

(Об Иване Катаеве).

Н. Замошкин

Поэзия прилавка

Какое блаженство стоять у прилавка, управлять четырнадцатитысячной армией пайщиков, ежедневно видеть «миллионы улыбок, самых глупых, самых ребяческих, самых эгоистичных», — утробных улыбок потребителей!

Покупайте, спешите, обрастайте вещами!

Обозревая гекатомбы товаров в магазине, председатель кооператива Александр Михайлович восторженно восклицает по адресу покупателей: «Прелести мои, милые мои! современники мои!». Как ни сентиментально звучит эта реплика «про себя» 39-летнего коммуниста-революционера, но в ней, как и в «улыбках» заложены начатки особой поэтической философии «вещного права» и материальных благ. («Потребительская» поэзия замечательного кооператора и человека Александра Михайловича нас не должна смущать: он одухотворил бы и производство вещей, если бы... если бы можно было видеть и за станком эти улыбки потребителей, это насыщение желудков.)

Напомним о стародавнем: были наивные, горячие, почти безумные споры о «сапогах» и «Шекспире». Не повторяется ли история? Ведь совершенно

очевидно, что Александр Михайлович универмаг считает важнее универсума, «практику» важнее «теории», которой он отдал свою молодость, увлекаясь Гофманом-Шекспиром. Наступила пора второй молодости, реалистическая пора жизни и... вынужденного нигилизма.

Для данного отрезка времени «сапоги» выше «искусства» — к этому склоняется, в лице Александра Михайловича, современный кооператор. А как же быть с тем, что вне утробы, — с домашним досугом, с духовным строительством, со всем тем, что входит в понятие культурной революции? Неужели «единым хлебом» только будет жив человек строящегося нового общества! Нет. Александр Михайлович, с вождением вспоминающий и по сию пору о великом соблазне своей юности — о Гофмане, знает и чувствует, что нельзя поставить знак равенства между универмагом и универсумом. Он только, как расчетливый хозяин, ведущий счет своему времени, отодвигает в недалекое будущее удовлетворение современным человеком своих духовных потребностей, дает им отсрочку и закликает их не вторгаться в нашу деловую жизнь, дабы не смутить эмпириков великими соблазнами — искусством,

природой и поэзией любви. Не имеем ли мы тут дело с особого рода фобией—страхом перед вымыслом? Все, что прямо не входит в процесс строительства, должно подвергнуться общественному ostrакизму, хотя бы на некоторое время. Не слишком ли это расчетливо и... трусливо, и... наивно? Как будто искусство самой природой своего бытия обречено на самодовлеющую автономность существования, как будто оно не входит в процесс соиздания вещей, в том числе и материальных. Вот оно рассудочное, абстрактное, — только послушайте: «доброта, изящество мысли, искусство вырастут сами, — потому, когда всего будет в изобилии!».

И хочется крикнуть этому 39-летнему юноше, что нельзя даже на одно мгновение без вреда для «сапог» отодвигать в сторону «Шекспира», что между ними не только функциональная, но и производственно-экономическая зависимость, что они, говоря языком детей, «оба лучше». Здесь промедление — смерти подобно. Вещь моментально овладевает положением и убьет в зародыше все лучшие намерения блогонаторных, милых, культурных временных «нигилистов». Нельзя ждать—иначе «изящество мысли» уйдет в подполье, оторвется от кооператива, станет декадентским, т. е. будет питаться не соками земли, а своими собственными соками. Неужели вы этого хотите Александр Михайлович! Ваша жертва культурной и бесплодна и опасна для процветания дорогого всем кооператива.

Зачем этот трусливый утилитаризм прилавца, когда весь пыл сердца, волею рассудка-диктатора, тратится на сочинение поэм во славу вещи. Нет работы без ритма, как и ритма без работы. Зачем стыдиться своих чувств и безоглядно итти на выучку несостоятельному, ложно понятому рассудку. Нет ничего реакционнее формулы: «а

потом реформы»... Жертвенности — ненужной, недалекой, провинциальной, прозелитской—тут хоть отбавляй.

С легкой руки некоторых писателей (главным образом, Ю. Олеши) советская литература занялась воспеванием вещей. Внутренняя диалектика подобного воспевания неминуемо приводит делателей и поэтов вещи к рабскому подчинению вещам. Примеры? — тов. Бурдовский и сам Александр Михайлович из книги повестей Ив. Катаева «Сердце». (Изд. «Федерация», стр. 200.)

Бурдовский — художник и глашатай вещи, могильщик «азиатской розницы» и творец сладостей легенды об универмагах. «Бурдовский—американец!». В своей жене он не видит человека, а видит каракуль, в которой она пышно облачена. Бурдовский не злостный собственник: он хочет, чтобы все ходили в каракуле, чтобы вещи сияли, радовали, украшали жизнь. Но ведь даже Александр Михайлович ужасается: Бурдовский окостенел в своей «вечности». Надо кричать, протестовать, а



И. Катаев.

наш председатель кооператива с веселой нежностью восклицает: «Спасибо тебе, Бурдовский, за это!». За что спасибо? Где гарантия, что в таком любовании и пользовании вещами не таится самый подлинный рецидив собственнических инстинктов? А Александр Михайлович, вместо осуждения, милостиво благодарит, цепляясь за единственное, дозволенное ему положением право воспевать вещи. 39-летний юноша! Он не освободился еще от подражания: американство Бурдовского так соблазнительно и, главное, страшит от всяческих уклонов: оно ведь полезно, даже материалистично!

Ох, эти фарфоровые безделушки в витринах магазинов, живописные наборы всевозможных овощей—это упоение товарами, предметами, поэзия «ширпотреба», ликование уютom, богатством! Пеннь трамваев «уносит людей прямо

в счастье». «Удивительно хорошо устроено» в мире! Златокудрый оптимизм юности, второй юности. Предметная живопись (недаром первоначальное голландское название ее: «тихая жизнь!») у Ив. Катаева сочна, цветиста, как декоративные холсты, от которых несет холодом и блистательным обманом. Если бы вещь у него была только живописным сюжетом!—к сожалению, она философична, в дурном смысле этого слова. Прилавок и сапоги—правда, на время—оказались в его сознании господами положения.

Приемлю все!

Как это хорошо—уметь видеть людей в товарищах по работе. Даже в самой прозаической обстановке: на заседании правления кооператива, в окружении тезисов, резолюций, регламента. Ведь это же счастье, которое многим дано. Таков—с неожиданной стороны—Александр Михайлович. Он во время заседания мысленно обращается с речью к своим друзьям о них самих. Иначе, как мысленно, нельзя. Человек тотчас же устыдится, если вдруг вслух услышит о себе комплименты! Непривычны к этому товарищи по борьбе и идеалу—таков регламент поведения... Лучше маска деловитости, чем открытые лица, произвольные речи, сердечное влечение. Ну, ладно, все равно. Хоть и мысленно, зато сказано, произнесено.

Галерея кооперативных людей. Какие лица, какие типы современников!

А между тем, из них едва ли есть один,
Тяжелой пыткой не измятый,
До преждевременных добравшийся

морщин

(М. Ю. Лермонтов)

Завпищеотделом Кулябин. Пожалейте этого стойкого революционера, «погладьте его по большой голове, позовите его, одинокого, в гости, пусть ваши приветливые жены напоят его чаем с вареньем»,— иначе «спец-работа» задушит этого уставшего от заседаний человека, для которого сегодняшний день «в роде узкого тротуара», нигде развернуться... Нет семьи; где бы можно было голову склонить, нет и войны, где бы можно было голову сло-

жить. Холодно такому человеку. Александр Михайлович радушно приемлет и этот анахронизм (известный больше в литературе, чем в жизни: тип человека, неприспособившегося к нэпу), сострадательно взывая к женам-мироносицам о помощи человеку. Ни слова о мужестве и гражданском долге! Дайте человеку человеческое, наполните кровью его высохшее от деловых забот сердце.

Васька Аносов—«орготдельщик, начетчик, марксоед, цитата в брюках». Какое вместилище грехов и недостатков! Так и хочется одернуть этого Дон-Кихота от кооперации, воющего с воображаемыми полчищами бюрократов. Смертельная честность Аносова привела его к мизантропии, к сухости необычайной. Но Александр Михайлович отвечает на мизантропию неизменной филантропией.

С Бурдовским мы уже познакомились. Ему «спасибо».

Какое-то безграничное симпатическое отношение к людям живет в нашем герое—образцовом хозяйственнике и честном революционере. Сердце, запятанное в оболочку всяческих «нагрузок», пьмлет, вырывается и разливается любовным невниманием к «несчастливым». И вот, вместо желчи—веселая нежность, вместо жеста—рукопожатие (рукопожатие—эмблема кооперации!), с обязательным рефреном: без таких людей «мудрено прожить на свете!» Для Александра Михайловича всякое даяние—благо. И не только кооперацией вещей, но и кооперацией душ человеческих занято сердце председателя кооператива.

Милый Александр Михайлович, как же вы не видите, что все ваши сослуживцы по советской кооперации страдают гипертрофией одних каких-либо склонностей за счет других. О гармонии личной и общественной жизни этих людей, о синтетическом развитии потребностей в каждом из них не может быть и речи. Дифференцированный труд, специализация—вот «начала», а «концы» в неврастении, в преждевременной старости, склерозе.

Взятые порознь, все Бурдовские, Кулябины и Аносовы дисгармоничны. Но что влечет к ним

Александра Михайловича, какая сила симпатии? Неужели только безотчетный зов мягкого сердца,—свойство, вовсе не специфическое для коммуниста? Но в том то и дело, что, взятые вместе, все эти герои труда составляют гармонию общественного организма, в котором каждый, представленный к делу, «назовет это новое дело своим» и отдастся ему всей душой. В самом деле: соединим все индивидуальные характеры этих людей, которых только одна «дружба отграниченности связывает» в одно целое. Пусть гений коллективного разума и чувства вспрыснет живой водой эти разделенные, блуждающие частицы энергии. Получится неожиданный портрет, фамильный портрет нового человека. Его, грядущего, и приветствует наш сердобольный Александр Михайлович, видя прообраз «всемирного себя» в этих разрозненных, одиноких энтузиастах и ипохондриках, спешащих, тоскующих, радующихся, проклипающих. Это «всемирное себя» — песня будущего гения. А сейчас хорошо будет и то, если все постараются понять, хотя бы мысленно, человека-соседа. Что же делать, если закон текущего дня неумолим, как рок, если нет у этих людей полноценной жизни, если им некогда отдаваться блаженному отдохновению. Остается растрата. Растрата сил, любви, как молчаливая и покорная жертва на алтарь будущей социальной гармонии.

Добрая и нежная душа кооператора не ужасается—она приемлет все!

Нельзя не принять этих возможностей и радужных обещаний даже в том печальном случае, когда происходит жестокое порабощение одних способностей за счет других и торжествует нерациональный рационализм в личной и общественной жизни. Помиримся с «преждевременными морщинами», как с необходимостью, которая — надо же верить—будет побеждена...

«Отцы и дети»

Побеждена... кем? Сыновьями кооператоров?

Для них Жюль Верн—«фантазия, значит враки». Педагогическая мысль

наша иногда горюет: наши дети лишены детства, мир фантастики и еказок им неведом... Практицизм господствует в детской психике безраздельно. Проверим это на Юрке, сыне Александра Михайловича. Самочувствие нашего «Анти-Жюля» прекрасно: все инстинкты его нашли выход в общественности, подчас недозволенной и вредной для детей (случай с самовольным выселением из комнаты одного из «бывших»). Он проявляет изумительную работоспособность и здраво мыслит. Но ему неизвестно таинство чтения, наслаждение от погружения в мир образов—детская утеха, единственная в жизни, дополняющая мир наблюдений и экспериментов.

И вот «отцы» грустят, глядя на «детей». Да, у Юрки будет «много другого, чего у нас не было», «по зачем же терять старые богатства и радости?»—риторически вопрошает бедный Александр Михайлович, которому остается только «понимать», ибо «переделать», т. е. дополнить Юрку, уже поздно. Не доумевающие педагоги, выходит, правы: голый практицизм ведет к ненужной жестокости, да и фантастика не исчерпывается ведь вымыслами Ж. Верна,—даже в мире технических изобретений не все от пользы и расчета, но и от воображения. Прекрасное же самочувствие Юрки так похоже на прекраснородушие «Бурдовского-американца». «Морщины» неминуемо появятся и на лице Юрки. Ранняя старость, ранняя старость! Как отвести ее сморщенную руку от лица бесчисленных Юрок? Александр Михайлович своим истрадавшимся сердцем чувствует беду. Вечно же молодыми будут другие Юрки, которые и приобретут и не потеряют.

«Нипочем не сдамся!..»

Не приемлю бессердечия, сибаритства, тщеславия, не приемлю черствости—даже в том случае, если все «грехи» эти могут быть куплены плодотворной революционной работой. С Бурдовским помирюсь и даже теплые слова приветствия брошу ему вслед, но с Стригуновым буду бороться. И уже не мысленно, а вслух и при всех закричу: ты—враг, и не воображаемый какой-нибудь, а на деле.

Стригунову в годы боев за революцию отдала свое сердце неизвестная никому Варя. Она не могла не приластаться одного из многих «бедных солдатиков». Сколько участия и нежности было вложено тогда женщинами в эти два затасканные слова! Сейчас они забыты. Ив. Катаев о них напоминает. «Жена» — рассказ о Варе, жене Стригунова. Теперь она, Варя, отвергнута за «отсталость» вышедшим в люди Стригуновым — молодым, но уже видным ученым, партийцем.

Хорош по оригинальности и остроумию отрывок, где грозный муж уличает жену в... плагиате. Ее горячие письма, стиль которых был, как казалось Стригунову, так же блестящ, как стиль Л. Толстого и Либединского (!), оказались не самостоятельными произведениями пера женщины, желавшей угодить мужу своим высоким развитием, а списанными из... Тургенева! Ученый педант, уязвленный своим собственным незнанием «классиков», еще более свирепеет, когда жена однажды и невольно скомпрометировала его своим наивным замечанием о Троцком!

Александр Михайлович, сердце которого раскрыто для всех товарищей по общему делу, не может простить такого ужасающего бессердечия Стригунову, не пожелавшему понять причину отсталости Вари. А причина-то простая, очень простая: Варя — мать, и она не успевает в своем развитии за мужем, которому некогда участвовать в воспитании ребенка.

Здесь Александр Михайлович, как и при назойливых приставаниях своего однокашника по гимназии, а ныне классового врага, Толоконцева, говорит: «Нипочем не сдамся!». Отзывчивое сердце спешит уступить место гневному сердцу.

«Городу и миру»

«Город не только подо мной — нагромождение отвесчивающих крыш, — он обстал меня...». «Небывалый восторг перед этой гигантской сферой сотрясает меня. Последняя ночь сентября! Любимый мой город, надежда мира, устало дышит внизу». «Этот город — мужественное сердце страны, необъятной

равнины...». «Вся страна — в движении, все отдано на потребу этому городу — только не обмани, научи, переделай голову и сердца...». «И город не обманет, — вот он отдыхает тут внизу, спокойный и тучный». «Вот я — незаметный человек, но любящий, верный сын его, — я отдам всю свою жизнь на это дело; мне самому будет радостно жить, потому что тысячи моих друзей и товарищей решили поступить так же». «Отдыхай же и ты, мой добрый город! Спокойной ночи!».

Москва, как гигантское созвездие нового мира, грядущего! Разве это не поэма, необъятному городу необъятной революции, которую произносит почти в экстагическом состоянии наш добрый кооператор, недавно старавшийся выбросить из обихода текущего дня Шекспира! Прорвалось! Поэзия заговорила. Нет, — прилавок не может заслонить перспективы. Пафос строго размеренных поступков и будней одухотворяется пафосом ночных сфер и созвездий, пафосом вечных пространств и времен. Как ни некогда деловому человеку подумать о траве и «клеяких листочках» — нашлась же все-таки драгоценная минута восторга у человека, обреченного великому «стоянию» у прилавка. Его бодрое «Urbi et orbi» будет — и в это верит наш герой — подхвачено миллионами голосов, «тысячами друзей и товарищей»!

Всю же «перетуоленную молодость города, заново рожденного, старающегося накопить и безоглядно растрчивающего соки», подобно многочисленным Кулябиным, герой наш почувствует потом, в минуты трезвой осмотрительности и даже жестокости, когда «мир» будет заслонен шумным «гбродом», и останутся силы только для рассудочного распределения сроков и очередей на блага жизни.

«Эклектический» человек

Что за человек Александр Михайлович — единственный, но многоликий герой повести «Сердце»? Какой вместительный сосуд! Романтик-революционер, блестящий хозяйственник и практик, поэт предметного мира и космоса, диалог рассудка и господин сердца, суро-

вый партиец и мягкий, мягкий до чувствительности товарищ, умный и бездеятельный отец, и опять, самое главное, душа-человек. Разве такие «эклектические» коммунисты бывают? Сомнение законно, ибо мы часто мыслим «литературно». А в литературе уже отлоился образ революционера эпохи социалистического строительства, как практика до мозга костей и кончиков ногтей. Схема, имеющая только одно — пропагандистское — оправдание. А искусству нужен образ человека, которому ничто человеческое не чуждо.

Таков Александр Михайлович. Разве это плохо—вот эта самая пресловутая интеллигентность духа, это сердечное богатство, столь часто смешиваемое в публицистике и ходячих представлениях с пороками интеллигенции, как классовой категории? Конечно, Александр Михайлович «интеллигент»: Гофман, как и многое другое, бесследно не проходит. Но он действует последовательно, несмотря на всю противоречивость его мыслей. Он не твердокаменный—в смысле «стопроцентности», неизбежно приводящий человека к судьбе Аносовых, но и не «интеллигент», т. е. праздноболтающий. Коммунистическая целеустремленность всех его поступков совершенно очевидна. В остальном же он, часто заблуждающийся, свободен, т. е. ему нельзя привить этот иссушающий схематический догматизм, который противостоит законным велениям сердца и естественным сомнениям человека.

Всеобщее «горе наше: в работе не замечаешь самого человека» — ему известно, и он старается эту тяжесть нейтрального отношения сбросить. Правда, в своей личной жизни он—неудачник и даже инвалид (невроз сердца!), но в потенции Александр Михайлович несомненный победитель: тайну гармонической связи личного и общественного бытия в человеке он знает. Она заключается, во-первых, в коммунистической идеологии и, во-вторых, в правах сердца. Поэтому между Александром Михайловичем и эпохой суровой классовой борьбы нет

печального несоответствия, — обычной судьбы «лириков».

Наиболее уязвимое место нашего героя лежит в постоянной жажде освежающих и горестных воспоминаний. Юношеская любовь, возникшая, прерванная и повторенная дружба первых годов революции и идеализм чувств тревожат его, напоминают о прошлом. Жало воспоминаний сидит крепко, и не в нем ли причина частых желаний Александра Михайловича «утихомирить» быт, простить, успокоить людей? В подобных случаях сердечная нежность делается опасной для революционера и грозит превратиться в безотносительный альтруизм. Александр Михайлович смутно чувствует, что он все время балансирует над пропастью. И только убежденность в правде революции удерживает его от падения.

Так вот. Права сердца так же неустранимы, как и права разума, — и только литературные схемы обезличили современного человека. За реабилитацию сердца и взялся—небезуспешно—Ив. Катаев, выпустивший свою первую книгу повестей. Книга его дерзка («О, эта превосходная дерзость рабочего человека, научившегося смотреть на Руси!») дерзостью свежей молодости, честностью мысли и искренностью темперамента. «Сердце» книги богато содержанием, болеет всеми болезнями и радуется всеми радостями нашей сложной эпохи. Надо беречь человека, пока не поздно! Иначе «непривычное беспокойство от того, что не о чем беспокоиться», станет трагедией, болезнью неизлечимой. Ив. Катаев предупреждает положительными и отрицательными сторонами своего героя, по сути дела, от опасности очерствения, механического делячества, предупреждает, что «пэфос» строительства может стать избитым мотивом, смысла которого никто из поющих уже не воспримет. Без затей и укрывательств, без казенного оптимизма, но и без паники молодой писатель поставил эти вопросы. В простейшие, ставшие уже полумертвыми предсмертные слова Александра Михайловича: «Дорогие товарищи!»—он вкладывает неуываемый

мотив дружбы, крепости и мягкости... Хорошо хоть, что Александр Михайлович, в нарушение литературной «традиции», не «последний из могикан», а один из многих, имя которым легион.

Почему необходимо было нам так подробно остановиться на произведении Ив. Катаева?

Ведь он всего только «начинающий» писатель. И, действительно, художественная манера Ив. Катаева далеко не безукоризненна, безвкусица и превысренность нарушают ее чистоту. Особенно композиция повестей (совершенно неожиданна смерть героя—нет необходимого нарастания ее неизбежности, обязательности, исключая «медицинского» повода, чисто внешнего в судьбе Александра Михайловича; также не развит случай с «любовью» Ивановой, не закончена история встречи с Толоконцевым и пр.) автору не удалась.

Для писателя типа Ив. Катаева устранение этих недостатков—дело важное, ибо он обладает незаменимым качеством: честностью художественного и общественного мышления и большой искренностью. «Сердце» располагает к интимной беседе, входит в сознание читателя незаметно, пожалуй, категорично. Да и вообще тон его произведений до чрезвычайности интимный, несмотря на всю «проблемность» и даже злободневность тематики. Уменье сочетать задушевность письма с известной жестокостью мысли—дело не легкое, и едва ли для всех современных, даже «маститых», писателей доступное.

Поэтому-то и не хочется «критиковать» Ив. Катаева и с особым смаком подмечать его неопытность. (Мишенью могла бы послужить, напр., повесть

«Поэт», ни разу, кстати, нами не упомянутая.)

Александр Михайлович до некоторой степени является фигурой центральной не только в повести о нем, но и фигурой решающей для других повестей, где он отсутствует, как действующее лицо. «Невидимое» присутствие его обусловлено единством содержания и настроения всей книги, где «Сердце» действительно играет роль сердца в художественном организме. Именно это обстоятельство внушило нам коварную мысль отдать на суд совести Александра Михайловича поступок Стригунова, о котором, собственно, он никогда и не слышал! За такую «критическую» вольность и «передержку» мы заранее просим прощения и отсылаем читателя—не ради собственного оправдания, а ради истины—к книге Ив. Катаева, которую стоит прочесть.

Интимному тону у Катаева, между прочим, больше всякого лиризма способствует ведение действия от первого лица, от «я». Конечно, этот прием изображения значительно легче другого,—от «третьего лица», требующего большого умения для преодоления расстояния между автором и героями. В первом случае писатель всегда как бы заглядывается героем повести, повествуя, в сущности говоря, о себе. Так именно случилось с Александром Михайловичем и с Ив. Катаевым: они сблизились. Не здесь ли одна из причин интимности? В факте подобного литературного сожителства, между прочим, можно подметить особый род мимикрии: литературно-идеологической, имеющей не только техническое, но и принципиальное значение.

Но вопрос этот может послужить темой особой статьи.

2. РАЗГОВОР ПО ДУШАМ

(О романе М. Чумандрин «Фабрика Рабле»)

И. Машбиц-Веров

I

«Фабрика Рабле» — несомненно лучшее, что Чумандрин написал. И все же роман этот имеет огромные, вопиющие недостатки.

Честная и, может быть, строгая критика Чумандрину сейчас необходима гораздо более, чем похвала. И именно он, стоящий во главе ленинградской пролетарской ассоциации, борющийся за самокритику, больше чем кто-либо другой обязан это понимать.

Основной и главнейший недостаток романа — идейно-тематическая и сюжетная незаконченность, недодуманность. Ни в плане социальном (т. е. основной проблемы книги), ни в отношении индивидуальных героев и их судеб — роман не доношен.

Чумандрин поставил себе очень важную и чрезвычайно интересную задачу. Первый в советской литературе он заговорил о частной фабрике в СССР, об идейном влиянии нэпмана и его прихвостней на рабочую массу, о борьбе с этими мещанскими влияниями частно-капиталистического сектора советского хозяйства.

Совершенно бесспорно: тема эта в литературе нова, это серьезнейшая, огромная и волнующая тема. Нэпман-фабрикант Рабле — умный, энергичный, хитрый и культурный враг. Не зря он читает «Правду» и «Большевика», знает на зубок постановления ВСНХ и Наркомторга... Регулярно на квартире Рабле происходят и «интимные» деловые заседания с мастерами фабрики, часть рабочих ведет шпионско-провока-

ционную работу, хозяин прекрасно осведомлен о делах фабкома и даже ячейки. Больше того: секретарь фабкома и партийный организатор фактически находятся под идейным влиянием Рабле, они переходят к тактике мелкого «экономизма» — борьбе за незначительные, грошевые улучшения; они встают против принципиальной, широкой постановки вопросов политучебы, культурно-коммунистического перевос-

питания: дескать, все это пустословие и отвлеченность, а вот добавочка в червонец краше всяких слов и политагитаций докажет, что фабком и ячейка «за рабочих» и «против хозяина»...

Именно так ой представлена фабрика Рабле у Чумандрин. Коммунистка Варвара Хоботова, посланная губкомом в качестве жен-организатора — символ правильного коммунистического руководства, противоборствующего мещанству. И не

только стопроцентному, «чистому» мещанству в лице Рабле, но и перерождающемуся предфабкому Фарафонову и парторганизатору Смолиной.

Идея романа — в этой борьбе двух сил: коммунистической и нэпманской. Великая проблема «кто кого» получает одну из своих любопытнейших и своеобразнейших постановок: идеологической борьба за рабочего, работающего в СССР на частном предприятии.

К сожалению, с этой глубочайшей и серьезнейшей идеей Чумандрин вовсе не справился до конца. Проблема разрешена механически, иначе говоря, — совсем не разрешена.



М. Чумандрин.

Борьба, которую умело, умно и с такой настойчивостью проводит Хоботова, напряженная и дельная мобилизация и организация выдержанно-коммунистических сил, их решительное наступление на Рабле, его верных слуг и разложившихся партийцев, — весь этот сложный, все нарастающий шквал событий, под конец захватывающий, идеологически выправляющий и Смолину, автором неожиданно и неверно разрешается совсем не в плане развешиваемого поединка. Чумандрин предпочитает меры декретивно-механические, побочные и случайные: съезд кооператоров запрещает покупать товары у фабрикантов-частников, банки отказывают Рабле в кредитах, фабрика ликвидируется...

Не спорим: возможно, что часть фабрикантов-частников и была фактически уничтожена подобными мерами. Но ведь этим совершенно не разрешается та общая проблема, которая поставлена Чумандриным: проблема борьбы за идеологическое воспитание рабочих частных предприятий СССР. Частные предприятия у нас еще существуют, влияние нэпманской идеологии на многих рабочих и служащих таких предприятий — факт, идеологическая борьба на этом фронте — проблема волнующая и живая. Чумандринский «механический конец», разумеется, не разрешает поставленного вопроса, а лишь отводит от него решения. Мы еще не в силах совершенно отказаться от частной инициативы и поэтому в широком общественном плане вовсе не можем так просто и декретивно разрешить вопрос, как это делает Чумандрин.

В древних классических пьесах для развязки тяжелых ситуаций практиковался любопытный прием: «Deus ex machina». На сцену опускали мифическое божество, которое своей высшей властью и «разрешало» все трудности трагической завязки.

Чумандрин, очевидно, забывает, что поэтическое искусство с тех пор прошло 2.000-летнее развитие.

Больше того: конец романа по Чумандрину фактически означает просто поражение. Ибо на деле 300 рабочих Рабле остаются безработными. Конечно же — это очень маленькое утешение, что (как уверяет Хоботова) эти люди «как-нибудь рассосутся по фабрикам»... Улита едет, — это так, а ведь борьба в данном конкретном (и типовом, разумеется) случае кончается вовсе не в его пользу.

Получается, как-будто, Пиррова победа...

II

Не только основная идея романа не разрешена, не только центральная фабула механически обрывается. Побочные темы тоже оставлены недосказанными.

Рядом с главной социальной темой (борьба коммунистических и нэпманских начал) в «Фабрике Рабле» развит также ряд увлекательных подтем. Главнейшие из них — интимно-семейная жизнь трех коммунисток-работниц: Варвары, Анны Хроловой и Смолиной. Автор стремится раскрыть своих главных героинь не только с общественно-деловой стороны, но и в быту, в семье, в любви. Женщина-партийка, и она же как мать, жена, любовница, человек — такова глубокая, и, разумеется, по существу верная установка Чумандрина.

К сожалению, и здесь автор оставляет своих героинь на полдороге.

В самом деле: Варвара Хоботова оставлена беременной и одинокой мужем-партийцем Ефимом. Смолина тоже оставлена мужем-партийцем, которого она продолжает молча и преданно любить; с малолетним ребенком, разбитая и больная, мечтает Смолина о несбыточном возвращении любимого человека... Еще хуже дела у Анны. Брошенная бывшим партийцем, а теперь чубаровцем Ильей, она готова для него — даже преступника — делать вещи, для коммуниста недостойные и недопустимые...

Мы не сомневаемся, что Чумандрин все эти грустные финалы семейной жизни целого ряда партиек взял из действительности. Такие факты случаются и даже, к сожалению, во многом типичны. Но когда у нашего автора все под ряд партийки кончают свою семейную жизнь так неудачно, грустно и бесприютно, когда это—даже в значительной мере типичное—явление художественно возводится в правило,—мы в праве говорить об искажении перспективы и о перманентной незаконченности судеб индивидуальных героев. Оставляя всех партиек разведенными, одинокими и на распутье, — не слишком ли это жестоко и об'ективно несправедливо? Не значит ли это не уметь синтезировать наблюдаемый опыт, не уметь выводить из него действительно типичное, видовое?

III

Незаконченность (то же — механическое разрешение) основного замысла и побочных линий сюжета может быть следствием различных причин.

Не касаясь, однако, сейчас причин такого явления, отметим другое: творчество Чумандрина принимает совершенно различные, несравнимые по своему значению направления в зависимости от серьезности отношения к работе. По линии синтетического, углубленного реализма, типологически обобщающего жизненный опыт и насыщенного идейно, развивается Чумандрин при вдумчивом и внимательном отношении к материалу. Наоборот, — автор впадает в безыдейный, неглубокий натурализм, начинает копировать факты без всякого синтетического охвата и осознания, — когда недостаточно вынашивает произведение, когда торопится.

«Фабрика Рабле» и написана наполовину в натуралистическом, наполовину в реалистическом плане. До тех пор, пока роман развивается в реалистическом плане, он идейно насы-

щен, события подкрепляют и раскрывают основной замысел, борьба коммунистической и Япманской идеологии получает разрешение в естественных, в данной фабрике и обстановке коренящихся, внутренних причинах. Но как только Чумандрин переходит к натурализму, — внутренняя логика борьбы заменяется случайными, сторонними и ничего не объясняющими в основном замысле событиями, хотя вообще в жизни такие события могут случаться.

То же и в плане индивидуальных судеб героев. Путь синтетического реализма здесь означает глубокий, всеохватывающий показ партиек и с интимной и с общественно-деловой стороны. т. е. всесторонний показ живого человека-партица. Путь натурализма ведет к ничему не говорящей фиксации ряда разводов...

Разумеется, заниматься натуралистической фиксацией легче, чем писать реалистически-типологические вещи. Серьезный замысел и глубокая проработка материала в начале романа заменяются к концу спешными, ничего не говорящими натуралистическими зарисовками.

IV

Недостатки, о которых речь шла выше, объясняются отчасти недостаточной выношенностью, непродуманностью замысла, но главным образом, вероятно, — незрелостью автора. В самом деле, естественно предположить, что молодому писателю еще не под силу справиться с серьезнейшим и огромным замыслом.

Той же писательской незрелостью могут быть объяснены и два других важнейших недостатка Чумандрина: излишнее подчеркивание добродетелей героев, симпатичных автору, и повторение самого себя.

Очень похвально, что Чумандрин отдает свои симпатии Вале Хоботовой — коммунистке, достойной всякого

уважения. Но совершенно напрасно автор так настойчиво дает комментарии (и от себя, и от комсомолки Аси, и от других) к поступкам Вари, подчеркивая их «стоцентность». Результаты получаются как раз обратные: мы перестаем верить в Варины, по существу возможные, добродетели...

Нехорошо также повторять самого себя. Так, например: очень часто самые различные герои ложатся спать усталые, забывают при этом потушить свет, подстелить простыню и т. п., и засыпают с этой, беспокоящей их, назойливо-неприятной мыслью... Далее, различные герои (в том числе и женщины), возмущаясь тем, что на них ведется организованное наступление активистов, убеждают товарищей, что они — «не дети», «не мальчишки», и т. п. Встречаются также повторения положений и деталей из «Родни». У Анны Хроловой, как и у Надежды из «Родни», насколько мы помним, «правое плечо чуть-чуть выше левого», а Варя обучает Ефима приличному поведению дома, — точь в точь как Надежда — своего мужа Горбачева («Родня»).

Разумеется, незрелость, в том числе и писательская, — отнюдь не вина. Это тем бесспорнее, что Чумандрин еще очень молод. Но вот где начинается прямая и непростительная авторская вина: это язык, неряшливое, недопустимое отношение к слову, эпитету, синтаксису.

У

Несколько цитат.

В «Фабрике Рабле» есть такие выражения:

«...и, подумав это, ей сразу открылось...» (99).

«...ветер был в спину и, отчасти, даже приятен...» (255).

«...чувствуя всю неловкость положения итти в пустяковом разговоре...» (224).

«...в комнате, куда Хролова привела Варю, было темно, и когда зажгли свет — он обнажил и выпятил

на глаза большое помещенье...» (42).

«...его тяжелый подбородок дрожал и по минутно отваливался...» (46).

VI

За прямой (грамматической) неграмотностью следует авторская неряшливость, стоящая на грани безграмотности и уж во всяком случае — на грани литературной безграмотности. Вот примеры:

«...как-как он только ни честил тебя, — даже удивительно, как один партиец к другому может так относиться...» (118).

«...начав с этих довольно отвлеченных положений, Мерц начал передавать по порядку...» (124).

«...привычно думая — «к своему», подумала девушка...» (366).

«...при виде ее... молчаливо-тревожного вопроса, Анна почувствовала заинтересованность в ней Вари...» (141).

«...эта мелочь... выросла яркой черточкой в характеристику Ефима...» (187).

VII

Далее идут места просто безвкусные. Шаблонные эпитеты, безлично-газетный язык:

«Неутолимые глаза» (86); «Ефим — такой близкий, такой хороший, такой любимый» (95); «нерешительные пальцы» (183); «жаркая серьезность» (239); «концентрированная культура толкучки» (307); «закипел желанием» (240); «сытая нога» (309); «поставить разговор в нужном направлении» (264).

Встречаются и целые «гнезда» таких шаблонов, вперемежку с неряшливостью:

«...тянуло болезненное любопытство врезаться настойчивым скальпелем в еще живущее тело фабрики...» (344).

«...она видела, как краснеют его веки, как наливаются ожиданием и

слезами его глаза. И жалость, обыденная, серая жалость начала просачиваться в ее проснувшееся сердце...» (326).

«...Варя знала, что самая плодотворная линия—это та, которая умело руководится, будучи возвращенной в глубине масс и при их живом участии»...

Мы привели лишь отдельные примеры безвкусицы, шаблонов и безграмотности. Разумеется, этими отдельными неудачными местами вовсе не сводится на-нет весь роман. Но все же, когда на протяжении трехсот, примерно, страниц налицо свыше шестидесяти подобных промахов — это немало. Они свидетельствуют о недопустимой неряшливости автора, о непростительной спешке.

VIII

До сих пор мы говорили исключительно о недостатках романа. Но об этом не стоило бы говорить, если бы «Фабрика Рабле» была совершенно неудачной и незначительной вещью. Этого нет. Роман, несмотря на все, такие значительные подчас, промахи, — все же интересное и заслуживающее внимания произведение.

Раньше всего, — Чумандрин не гонится за «легким» и «занимательным» сюжетом. Автора интересуют серьезные, важные, наболевшие проблемы. Об этом свидетельствует самый, хотя и лишь частично выполненный, замысел романа, его основная идея, уже разобранная выше.

Далее, Чумандрин безусловно один из лучших среди наших писателей знатоков рабочего быта. При том он знает этот быт изнутри и не идеализирует его. Не случайно все вещи нашего автора, начиная со «Склоки» и «Родни», повествуют исключительно о рабочей жизни. Если принять во внимание, что даже среди пролетарских писателей (не говоря уже о попутчиках) чрезвычайно мало людей, знающих хорошо рабочего (немногие имена бытописателей рабочей жизни: Н. Ляшко, С. Семенов, отчасти Ни-

кифоров и Гладков); если учесть, далее, то обстоятельство, что большинство лучших вещей последнего времени посвящено исключительно крестьянству и интеллигенции («Бруски» Панферова, «Тихий Дон» Шолохова, «Лесозавод» Караваевой, «Преступление Мартына» Бахметьева, «У фонаря» Никифорова, «Зависть» Олеси, «Братья» Федина), — то станет особенно очевидной важность и ценность произведений, подобных «Фабрике Рабле», в центре которых стоят рабочие (работницы), их идеология и быт.

Хорошее знание рабочего быта соединяется у Чумандрина с другим значительным достоинством, которое можно охарактеризовать, как художественное мужество. Сейчас многие справедливо жалуются на отсутствие сатиры. Чумандрин не сатирик, но он имеет смелость говорить о многих наболевших и важных вещах, о которых другие говорить не решаются. От нелицеприятного автора не ускользают склоки в ячейке, мешающие работе; отвливание от ответственности членов бюро, когда результаты политической ошибки налицо (244—46); использование власти переродившимися влиятельными партийцами для сведения личных счетов (325), и т. д., и т. п.

Однако все перечисленные выше достоинства Чумандрина: большое знание рабочего быта, гражданское мужество, значительность и серьезность основных тем, — все это получает свою литературную цену лишь при одном, предварительном и необходимом, условии: при наличии художественного дарования. У Чумандрина такая даровитость бесспорна, и, нам кажется, даровитость не заурядная. Только этим и можно объяснить то, что, несмотря на все недостатки, — незрелость мастерства, неряшливость, невыношенность замысла, — «Фабрика Рабле» все же читается с интересом.

В своем творчестве Чумандрин не делает установки ни на язык (лексико-синтаксическую украшенность), как, например, Леонов, ни на образ-

ность (сравнения, эпитеты и т. п.), как, например, ранний Иванов. Наоборот, Чумандрин пишет чрезвычайно просто, образы встречаются у него очень редко, и совершенно не ощущается игры «самовитым словом», диалектом, интонацией и т. п. Это, однако, не значит, что Чумандрин пишет упрощенно, нехудожественно. Его главный «прием» не менее значителен и действителен, чем образы или лексика, хотя и менее, с первого взгляда, заметен. Прием этот — художественная деталь.

Художественная деталь у Чумандрина бывает очень часто исключительно тонка и убедительна; это именно она, в первую очередь, свидетельствует о несомненной даровитости автора. Тончайшие психологические переживания и мельчайшие бытовые черточки, собрания коллектива и тоску одинокого человека, — все передает Чумандрин именно через такую деталь, через внимательное, пристальное и зоркое наблюдение непосредственно за данным процессом, а не через его сравнение с чем-либо подобным (прием «образной» передачи).

Вообще говоря, деталь бывает различная и разной ценности. Есть внешняя — бытовая или декоративная — деталь, подчас и очень эффектная, но обычно мало уясняющая существо предмета. Так, например, когда секретарь райкома, лагэш Клаас, говорит «пикóвое положение» и т. п., явно перевирая ударение, когда девочка Смолиной спит, «разметавшись на постели, и при этом один локон ее мягких, негустых волос забился в ухо...», — то здесь, разумеется, автор дает любопытные и запоминающиеся детали, но эти детали все же скользят по поверхности явлений. Они ничуть не углубляют понимание сути рисуемых событий или людей.

Совсем иное дело — деталь психологическая. Здесь чутко подмеченная подробность именно углубляет, расширяет наше понимание.

Рабле имеет любовницу, которой аккуратно выплачивает «жалованье» и к которой относится, как к вещи. Же-

ня сшила себе новое платье и хочет узнать мнение Рабле о нем. Для этого она умышленно тщательно отглаживает платье перед Марком Яковлевичем. Но Рабле понимает маневр Жени.

Автор дает такую деталь: «Рабле сейчас же молча отходит к окну, будто интересуясь шумом на улице». Сделал он это затем, — объясняет автор, — чтобы не дать повода Жене обращаться к нему за его мнениями об ее костюмах и других хозяйственных делах. Это значило бы, по существу, втягивание его в ту жизнь, которой жила Женья»...

...Ефим начинает влюбляться в Анну, еще не сознавая этого.

Чумандрин дает такую деталь: большая комната Анны с мозглым светом застуженной лампы, где, в сущности, только скучно и грязно, Ефиму кажется иной. Он думает, наоборот, «что в этом видна простота Анны и ее неприхотливость...».

...Варя, переживая тяжелую личную драму, рассорилась с Анной. Но общественные дела требуют свидания с пей. И вот —

«Варю сразу забеспокоил вопрос: как назвать Хролову: попрежнему Анной или по фамилии. И это оказалось настолько назойливым, что Варе хватило думать об этом до середины огромного моста, как-будто вся сложность состояла именно в этом...».

Приведенные психологические детали неожиданно и ярко освещают психологию рисуемых лиц, движение и борьбу их чувств, подчас — весь их характер. Так сразу всплывает законченный эгоизм Рабле, восторженность влюбляющегося Ефима, заглушаемое волнение Вари.

Замечать подобные детали — значит иметь бесспорный, подлинный дар художественного видения.

IX

Некоторые выводы.

И недостатки и достоинства Чумандрина чрезвычайно общественно-лите-

ратурно показательны. Дело не только в «Фабрике Рабле», не только в том, что при наличии бесспорной талантливости, знания быта, и серьезнейшего, волнующего замысла роман все же испорчен неряшливостью и поспешностью. Дело не только даже в одном Чумандрине. Дело в опасной и грозной болезни целого ряда современных талантливых писателей, которые точно так же не вынашивают замыслов, непростительно легкомысленно относятся к языку, спешат издавать пухлые и сырые «романы» и «собрания сочинений».

Это — дорога халтуры и гибели писателя.

«Фабрика Рабле» — лишь один из заметных симптомов этого, к сожалению, достаточно общего явления.

«Разговор по душам» с Чумандриним, стало быть, обращен не только к нему. Лично Чумандрин находится даже в неизмеримо более благоприят-

ном положении, чем большинство других авторов. Он, во-первых, еще очень молод, еще только вступает на литературную дорогу. Отсюда следует, что, вероятно, многие его недостатки объясняются не только спешкой, но и естественной авторской незрелостью, естественной невозможностью справиться с огромным замыслом. Далее, Чумандрин несомненно растет, как писатель. Более ранняя его повесть «Родня», имея те же недостатки, что и «Фабрика Рабле», не имеет, однако, многих достоинств этого романа. В «Родне» гораздо сильнее ощущается натуралистическая манера письма, гораздо явственней незаконченность основного замысла и сюжета.

Этим, разумеется, мы вовсе не хотим сказать, что ошибки сегодняшние могут быть оправданы ошибками вчерашними.

3. ОБ ОДНОМ «ИНЦИДЕНТЕ»

А. Зорич

I

Литературный критик Д. Л. Тальников выступил недавно в «Красной Нови» со статьей, посвященной заграничным вояжам наших поэтов и литераторов. Он прямо и остро поставил вопрос: для чего, с каким «социальным заказом», по каким социальным маршрутам ежегодно колесят Европу братья российские писатели? Пополняют ли они, как некогда Глеб Успенский, «родословную души» или попросту «гуляют», как лейкинские купцы Ивановы, по панелям и окрестностям веселых западных столиц? Вдыхают ли они «воздух свежих знаний и культуры», изучают ли быт народов и сущность социальных порядков и отношений, или, ограничившись нормальными маршрутами стандартных куковских бедекеров и скользнув жизнерадостным взглядом по какому-нибудь этакому Бруклинскому мосту или башне

Эйфеля, — со спокойной совестью и с легкостью в мыслях необычайной кощунствуют преимущественно по модным кабаре, кафе и кабакам «разлагающейся буржуазии»? С какой классовой, общественной меркой подходят они к вещам, с каким чувством шагают они, граждане, и, некоторым образом, представители революционной страны по чужой земле? Какой общественный, культурный, идейный, художественный багаж везут они, возвращаясь осенью к родным пенатам, в гостеприимные редакции Москвы?

Заграничные поездки стали теперь, как известно, почти непререкаемым правилом хорошего тона в писательской среде. «Освежаться» в Европе для полноты литературного достоинства — это стало так же необходимо, как продавать радушному Госиздату «новейшие и полные» собрания сочинений из одиннадцати лежалых рассказчиков в двух тощих томах. По частному свиде-

тельству некоего знатока нынешних литературных нравов, не ездят за границу и не продают собраний сочинений «только неисправимые чудачки и блаженные» — разновидность, почти вымершая: «они также не умеют получать добавочную площадь в квартире и абсолютно не улавливают, когда нужно ругать напостовцев, а когда клеймить попутчиков».... Вообще же, если исключить «блаженных», — побывали в Европах или собираются туда из писательского «хорошего общества» решительно, кажется, все. Мы не страдаем, как известно, ни национальной ограниченностью, ни самовлюбленностью, ни «высокоумием» щедринского «мальчика без штанов», и ни в ком, по существу, не может возбуждать скептических мыслей и недоумения факт писательской тяги за границу сам по себе. Мы прожили почти отрезанными от мира целый ряд лет, мы проделали в своей стране неслыханный, гигантский «социальный эксперимент», порастрясли и порастеряли старое наследство и успели накопить в это историческое десятилетие огромный новый опыт революции, борьбы и строительства — опыт, идеи и знания, которые необходимо неустанно проверять, пополнять, освежать и оттачивать, изучая сложнейшую обстановку мировой политической, общественной и научной жизни. В одном отношении мы далеко ушли вперед, стремительно перепрыгнув «нормальные этапы» исторического развития, и многое должны уже отвергнуть поэтому в цивилизованной практике европейских государств; в другом же отношении мы катастрофически отстали и многому и бесконечно должны еще учиться па Западе, овладевая азами буржуазной культуры, о чем столько раз уже было говорено. И советскому писателю, — как и советскому инженеру, агроному, хозяйственнику, педагогу, — когда он попадает в Европу, открывается здесь широчайшее поле для наблюдений, сравнений, выводов и практической проверки путей, по которым идет его обновленная страна, его революционный народ. И естественно, что на родине, дома ждут от него новых бле-

стящих щедринских памфлетов, острых социальных зарисовок, свежих мыслей, слов и впечатлений и добросовестной информации о буднях, которыми живет старый мир. Иначе — зачем же, в самом деле, ездить? «Освежаться» удобно и на Клязьме под Москвой, излить тоску можно, в случае острой нужды, и в родных Моссельпромах, а фотостроты, опять же, в достаточном количестве производит отечественный Музпред. Конечно, за каждым, у кого в порядке все 33 потребные визы на паспортным бланке и бренчит свободная валютная мелочь в кармане, остается неоспоримое право прорубать для своей персоны личное окошко в Европу: нехай порхают, где понравится, от Таити до мыса Горн включительно. Но нужно разграничивать поездки личные от поездок общественных и, во всяком случае, «освежившись» и ознакомившись преимущественно с экзотическими программами и персонажами «ревью» в злых столичных местах, не следует, по приезде домой, выступать со статьями, лекциями и стихами на тему о том, как живет и борется западно-европейский пролетариат. Это пошло, нечестно и нехорошо. И не следует врать, как лейкинский купец Иванов, увидевший Америку с Эйфелевой башни. И не следует путать Шпенглера с Шопенгауэром, потому что это то же, что писать капусту через два «с»: капуста! И надо твердо усваивать, чтобы не получалось потом «досадных опечаток», на каких именно реках расположена каждая из европейских столиц. «Одно дело Буэнос, а другое — Айрес»...

Можно согласиться, пожалуй, что было кое-что и интересного в отдельных писательских зарубежных очерках и впечатлениях. Но было, на ряду с этим, и очень много пустой, ненужной, бессодержательной, лишенной всякого значения и интереса трескотни и достаточно беззастенчивого вранья. Об этом слишком много говорилось и писалось уже, чтобы вновь возвращаться здесь к известным анекдотам о наших путешественниках, путавших европейские моря или города и тракты-

вавших пивные автоматы как высшее достижение заграничной техники и культуры. Можно спутать номера мажжет или қалоп, или названия переулков, но как спутать два моря, изучая Европу — непостижимая сверхрассеянность! Удивительное пренебрежение и к читателю, и к самому себе, и к печатному слову вообще!

Рекордсменом, классическим образцом такой писательской бесцеремонности является Владимир Маяковский. Вот он прибыл из-за океана и прямо с парохода торопится на литературный базар. «Дон Педро, ша! Дон Маяковскому слава!». Поэт спешит предупредить развесившего уши читателя: «Я жил там чересчур мало, чтобы выписать правильно и подробно частности. Я жил достаточно мало, чтобы верно дать общее». Замечательно! «Умри, Денис»... Если нет ни общего, ни частных, то чем же, спрашивается, заполнена книжка в 138 страниц? И какою, мягко выражаясь, беззастенчивостью надо обладать, чтобы выйти к аудитории с таким развязным предисловием? Какою степенью явного и высокомерного неуважения к этой аудитории надо обладать! Впрочем, что же аудитория Маяковскому?

Океан? «Океан—дело воображения». Пароход? «Первый класс тошнит, куда хочет, а третий — сам на себя». Мексика? «Каждый шестой человек — обязательно поэт. На каждого, имеющего сапог — минимум пять чистильщиков». Есть вороны: «ихнее дело...». Испания? «Кастаньеты гонят сон. Визги, пенье... страсти. Монахини—бормочут, стержовы, дуры господни». Форд? «Высохший зад». Нью-Йорк? Единственное, на что «есть поглядеть московской братве», — электричество. «Ну, я доложу вам, пламечко! Чалево посмотришь — мамочка мать! Направо — мать моя мамочка!». Вообще же — так себе городишко, какой-нибудь наш Козелец, или Щигры, — по плечу можно хлопачь. «Этажи и крыши. Только и всего». А что касается Бруклинского моста, то — «я вижу — здесь стоял Маяковский, стоял и стихи слогал по

слогам»... Ну, и что же? Прибили ли там по крайней мере американцы мемориальную доску с обозначением сей исторической даты и одного из любимых ругательств поэта? Стоял—и стоял: дело, как говорится, его частное. Мало ли где он еще может стоять или сидеть? Почему этим обязан интересоваться читатель? Почему он обязан терпеливо выслушивать весь этот немудрый вздор, терпеливо созерцать эту крикливую и пошлую саморекламу, терпеливо сносить это возмутительное отношение к себе, как к литературному «карасю», которому всякий в праве подсовывать среди бела дня неотшлифованные тусклые стекляшки, вместо камней чистой воды?

И хлестаковские очерки Маяковского и целый ряд других таких примеров и «эпизодов» с несомненностью говорят о двух вещах. О том, во-первых, что известная часть наших писателей об'езжает Европу окольными, лейкинскими и куковскими путями, минуя широкую общественную дорожку, и о том, во-вторых, что последние очерки, статьи, стихи и заметки этих писателей большей частью лишены социального стержня, социального содержания и значения, всегда характеризующих настоящее, крупное творчество, и отличаются изумительным верхоглядством, недобросовестностью, малограмотностью и развязностью.

Обо всем этом и писал Тальников, совершенно справедливо оценивая это как общественное уродство в своих литературных заметках («Наши за границей!»)

II

За Маяковского вступился прежде всего, конечно... сам Маяковский. Столп Лефа, «р-революционный» могильщик хореев, поэт, который на «ты» с Пушкиным, — мог ли он стерпеть горький упрек в идеологическом мешанстве и литературной недобросовестности? Он выступил со стихами, в которых прежде всего убедительно и веско обружал критика... сволочью: «сволочи все плюются». Потом он назвал Тальнико-

ва «барчуком» и язвительно осведомился, успела ли уже рассказать ему бонна о том, что в России была революция? Далее он сообщил, что хореи и ямбы и «ажурную строчку» вообще свято хранят сбежавшие за границу Бальмонт и Северянин, и порекомендовал отправиться туда же и Тальникову. Наконец, он отметил учтиво, что от статей Тальникова в журналах остаются «неопрятные пятна» и... попрощался: «Прощайте, Тальников, я тороплюсь, а вы без меня чирикайте»...

Вторым откликнулся в «Комсомольской Правде» Ломов, — и стиль, и мысли, и бесцеремонность которого странным образом напоминают почему-то самого Маяковского. Он обвинил Тальникова, который, взяв это слово в кавычки, назвал Маяковского «газетчиком», в том, что он — Тальников — вообще, очевидно, против участия советского писателя в газете и в доказательство привел чужую (И. Дукура) цитату о газетном жанре, совершенно беззастенчиво приписав ее Тальникову. Он остался также недоволен ссылкой Тальникова на Глеба Успенского, который ездил в Европу не лейкинской дорожкой, не затем, чтобы пить пиво из автоматов или ругать монахинь стервозами, но «пережил там душевную казнь» и до краев пополнил «родословную души». Подумаешь, нашли печку, от которой танцовать! Есть чему учиться! И, в заключение, убийственный вопрос: «Что же такое Тальников при всей микроскопичности его как литературно-критического явления?». Да ведь ясно, господа! «Знакомая фигура мещанина. Литературный комиссионер, зазыватель или хаятель литературного товара перед лицом (?) простодушного читателя. Не слишком грамотно, конечно, но вполне политграмотично зато. «Кто ренегат? — Каутский. Кто, несмотря на кажущееся благополучие? — Польша. Кто мещанин и белогвардеец? — Тот, кто морщится от пустой трескотни Маяковского»...

Последним сказал, наконец, свое слово редактор «Комсомольской Правды» Костров. Выступая на литературном комсомольском вечере в защиту

Маяковского, он настолько же лаконично, насколько определенно заявил: «Вылазкам некоторых еще сохранившихся экземпляров отмирающей породы эстетских критиков должен быть положен предел». Во как! Это уже не заборная брань Маяковского, не политграмотические упражнения его двойника Ломова, здесь чувствуется уже административный авторитет и строгость, и восторг: «Тащи и не пущай!». Что это значит, тов. Костров, — «положить предел»? Как надо расшифровывать сей окрик?

Я меньше всего хотел бы, конечно, «защищать» здесь Тальникова или разбираться в инциденте по существу затронутых в нем литературных вопросов: Тальников, хоть он, насколько мне известно, не владеет, подобно Маяковскому, искусством «родной словесности», поднимет, если это покажется ему нужным, щит самостоятельно, а спорить о том, поэт ли Маяковский или газетчик, право же, мне кажется бесцельным. Как бы его ни называли, лучше писать от этого он, все равно, не станет и читателей у него не прибавится.

Но интересна обстановка этого инцидента, в которой, как в кривом зеркале, отразилось целиком уродство, дикость «жестоких» наших литературно-общественных нравов.

Имеющий смелость собственных суждений литературный критик совершенно справедливо и совершенно искренне ставит в статье вопрос о том, что ежели некоторые наши писатели ездят по Европе лейкинскими дорожками, то это обнаруживает в них идеологию мещан и скудость духа. Попутно он отмечает, что Владимир Маяковский, в частности, когда он возвращается, похлопав по плечу испанцев и изругав стервозами встречных монахинь, в родные края и начинает рассказывать, выдавая эту хлестаковскую трескотню за «революционное творчество», как кого тошнит на пароходе и какие вороны летают в Мексике, — являет собой для читательского взора отнюдь не привлекательное зрелище. Критика берут в «проработку». Не отвечая по существу, не опровергая

фактов, обходя загадочным молчанием поднятый им вопрос, совершенно не волнуясь по поводу того уродливого общественного явления, о котором он заговорил, — его обзывают прежде всего сволочью и предлагают уйти в эмиграцию. Почему? Потому что ему не нравится развязная поэзия Маяковского. Но, позвольте спросить, с каких это пор и кем декларировано, что надо лишать прав советского гражданства всякого, кто предпочитает хорей и ямбы плохо рифмованной лапше Маяковского? Общеизвестно, что одним из таких людей был... Ленин; он называл творчество Маяковского «штукарством» и совершенно определенно предпочитал ему мелкобуржуазные пушкинские строфы. Может быть, впрочем, по мнению Маяковского, в то время Ленину тоже не успели еще рассказать о том, что в России была революция? На этих днях в «Известиях» была напечатана любопытная статья о том, что читают рабочие озерского фабричного района; оказывается, там тоже предпочитают ямбы и хорей, а о Маяковском говорят, отмахиваясь, что он «выковыривает строчки». А на том самом комсомольском литературном собрании, которое создано было, чтобы заклеить барчука Тальникова и благословить на новый заграничный вояж революционного Маяковского, активисты-комсомольцы, как сообщает «Читатель и Писатель», говорили, что Маяковскому много надо еще работать над собой, чтобы он стал понятен рабочей аудитории, что его статьи «не доходят», что за границей, если он уже попадает туда, ему надо учиться, вместо того, чтобы обкладывать встречных монахинь, и т. д. и т. д. «Большинству стихотворений аллодировала очень незначительная часть». Выходит, не один только Тальников мещанин и не одному только Тальникову надо бежать от гнева Маяковского к эмигрантам за границу. Я боюсь, что, если произвести, согласно скромному желанию поэта, чистку СССР от вредных и несознательных элементов, отказавшихся подписаться на полное собрание его сочинений, — в дальнейшем не при-

шлось бы ему браниться исключительно в семейном левовском кругу... Ругаться он, конечно, большой мастер, это известно издавна; в этом смысле надежды, которые он подавал в юности, с возрастом вполне оправдались. И я думаю, что сколько бы он ни ездил, просвещаясь, по Европам, «выражаться» он все равно не разучится: она в крови, эта «поэтическая» зубаровщина! Но кого и в чем может убедить брань? Кого она может оскорбить или унижить или уничтожить, кроме того, чьи уста ее извергают? Назвать противника сволочью, когда не хватает аргументов,—это очень просто, конечно; еще проще, обладая здоровыми кулаками, сокрушить ему ребра в темном переулке. Общеизвестно, однако, что этой манерой спорить, утверждать революционность и высокие художественные качества своих стихов, нельзя: этого не одобряет даже милиция. И я думаю, что в дни, когда мы боремся за элементарную культурность и проповедуем элементарное уважение к чужой личности, у революционного поэта Маяковского можно и следует гласно спросить: по какому моральному праву он поносит и отсылает в белую эмиграцию человека только за то, что этому человеку не нравятся его, Маяковского, стихи?

Вслед за Маяковским против мещанина Тальникова выступает политграмотический товарищ Ломов. Дабы одним ударом сразить врага, он, наспех выхватив из текста чужую цитату, прилепляет ее, как бубнового туза, на спину тальниковского литературного пиджака. Вы читали? Вы видите? Вы понимаете? Тов. Ломов, как и Маяковский, держится так называемого «левого» направления в искусстве; но это, я думаю, не освобождает его от необходимости, садясь за стол, вынимать карты из колоды, а не выбрасывать их за рукава. Я думаю, что, вне зависимости от направления, не следует прятать стыд в карман и так наглухо завязывать его там в узелке носового платка.

И, наконец, тов. Костров требует, чтобы эстету Тальникову был положен «решительный предел». Во-первых,

почему «эстет»? Редактору комсомольской газеты, ежели он мало-мальски знаком со старыми «толстыми» марксистскими журналами, должно быть известно, что мешапин Тальников был в те времена их постоянным сотрудником; ему надо знать, что большая, писанная уже в наши дни статья Тальникова о мейерхольдовском «Ревизоре», например, единодушно была оценена у нас, как единственная, действительно марксистская, критическая статья об этой постановке; ему следует, наконец, помнить, что совсем недавно он лично приглашал вредного «эстета» постоянно сотрудничать в... редактируемой им газете. Очевидно, обвинить Тальникова в «эстетизме» вообще — нельзя. Очевидно, эстетизм Тальникова выразился в том, что ему не нравятся стихи и брань Маяковского. Но достаточный ли это повод к тому, чтобы «тащить и не пущать» и «прорабатывать» человека? Тов. Костров известен нам как сугубый сторонник самокритики. На редакторском совещании он выступал даже против «одной высокой инстанции», которая поменяла «одной газете» должным образом развернуть демократию. Как же так: с одной стороны, самокритика и демократия, с другой — «положить предел»? Как же так: с одной стороны, тов. Костров достаточно жирным шрифтом печатает в своей газете известные строки о том, что надо раз и навсегда исключить из общественной практики «такого рода методы, когда самостоятельная мысль и всякое критическое замечание заранее отбрасываются как уклон», с другой — он же, демократический Костров, берет за шиворот первого же человека, который рискнул с таким замечанием выступить. Ведь нет сомнения, что дело идет здесь именно об «оттенке мысли», и при этом об оттенке мысли в литературном вопросе, и при этом об оттенке мысли в во-

просе об одном писателе. Как увязать с такой административной практикой возвышенные «благие порывы»?

Но это еще не все. Когда Тальников попытался возразить, об'ясниться и отвести от себя угрозы, упреки и брань, — журналы отказались напечатать его вполне корректный ответ. В одном месте ему сказали, что не прочь бы «выругать» Маяковского, но не хотят «впутывать» сюда Кострова, в другом, наоборот, из'явили полную готовность спорить с Костровым, но категорически отказались «задевать» Маяковского. И ответ остался ненапечатанным. Что же это, как же это так? Хорошо, что написали про человека только то, что он эстет, барчук, сволочь и что его место в эмиграции, хотя и этого достаточно; но могли ведь написать еще, что Тальников вовсе не Тальников, а сахарозаводчик Терещенко или белостокский цадик Гульфвасер, что он ограбил казначейство и его тетка бежала с архитектором, — мало ли что могли написать и точно так же отмахнуться потом и отказаться от об'яснений и лишит «проработанного» человека, пользуясь своим положением руководителей печати, элементарного права гласной, общественной защиты? Читатель ведь так и не узнает, что бубновый туз, нашитый на спину Тальникова, выкинут из рукава, вместо того, чтобы честно быть вынутым из колоды; изруганный, ошельмованный и лишенный права защищаться человек навсегда обречен носить его перед лицом страны и общественности! Я спрашиваю, что это за нравы, что это за манера спорить, что это за приемы «идеологической борьбы», если вообще тут может идти о ней речь? Ведь надо же понять, какую отчаянную некультурность, какое чванство, какое неуважение к печатному слову и к личности человека и к самим себе все это обнаруживает! Вот чему пора бы положить «предел», тов. Костров!

4. ОЧЕРКИ ШКОЛЬНОЙ ЖИЗНИ В СССР

(О книге Р. Григорьева — «Дневник учительницы», 1928 г.)

А. Залкинд

Много писалось у нас об исканиях и сомнениях, поражениях и победах советского педагога. Делались попытки обрисовать и детскую жизнь в обновляющейся советской школе. Занимались этим сложным, большим материалом представители самых различных специальностей: педагоги-профессионалы, публицисты, беллетристы. Но, впервые сейчас, именно в книге Р. Григорьева (псевдоним) мы встречаемся с великолепным сочетанием качеств, необходимых для тщательного, всестороннего анализа действительного положения вещей в городской советской школе. Книга интересна, остра, захватывает. В ней — и серьезное знание педагогики, и большая любовь к советскому школьному строительству, и здоровый скептицизм. Книга честна, художественна, глубока, — и мимо нее не пройдет широкая советская общественность: ее будет вдумчиво, напряженно читать; о ней развернутся большие споры; она толкнет к дальнейшим литературным попыткам в этой области. В книге не разрешены, конечно, но остро поставлены почти все основные, самые большие вопросы советской учебно-воспитательной работы, — и лицо одного из типических уголков советской школы «Дневник» рисует поистине мастерски. Книгой, в виду ее искренности, для злопыхательских целей займется и наши враги, но питательного блюда она им не даст. Друзья же наши извлекут из нее богатые, поучительные, бодрящие материалы.

Советская школа, как мы знаем, строится на сращивании учебно-воспитательной работы с непосредственной жизнью, на творческой инициативе детей, на органической, всесторонней связи между воспитателями и воспитанниками. В этом — основное отличие ее от дореволюционной школы, где отрыв от жизни, пассивность ученика и командование учителя были «основой основ» педагогического бытия.

Как же выглядит лик этой школы по «Дневнику»?

К счастью, автор не замазывает реальности розовой краской, — и в зарисовках «Дневника» можно ознакомиться как с яркими достижениями нашей педагогики, так и с заморками ее, болезнями. Самое характерное — это непрерывная, напряженная пытливость воистину советского педагога, сквозящая через каждую страницу книги. Ведь строить приходится невиданное в истории, готовых указаний нет, — и каждая деталь работы, каждый час связи с детьми насыщены постоянной заботой: как надо поступить, не повредить, не упустить, учесть, понять. К счастью, именно так, в непрерывном творческом и этическом напряжении создает социалистическую педагогику не только автор «Дневника»: записи типичны для переживаний сотен и тысяч педагогов СССР, с любовью, с гордостью, радостью, но в больших испытаниях строящих советскую школу.

Старые педагоги в течение 8—9 лет после Октября боролись с политической в школе. Как же относится к политике воистину советский учитель?

«И вот, в первый раз в моем классе (третья группа 1-й ступени; дети 10—11 лет; 70% — дети рабочих) загорелся настоящий политический спор. Мне было жутко и радостно»¹⁾. Кузь прочитал протокол обследования жилищных условий детей, и уже самый тон, которым он читал некоторые места записей, маленькие примечания, которые он делал от себя, выдавали его негодование, или, скорее, обиду, досаду: «Живут, как настоящие буржуи, — закончил он, — и собака мордастая в особой постели спит»... Теперь

¹⁾ Курсив и скобки всюду наши. Выдержки из книги нами взяты очень подробные — в виду совершенно исключительной их ценности и характерности. Никакой передачей «своими словами» не заменить живой, волнующий язык самой книги.

прочитаем обследование Ильюшиной квартиры; докладывал Лева: ...—«Это возмутительно, товарищи! Я думаю, что нам, пионерам, нельзя мириться с такими вещами. Мы должны что-нибудь предпринять! Они живут, как нищие. Стены совсем сырые. Огромные крысы бегают. У матери Ильюши такая тяжелая работа, и она так мало зарабатывает».

Как же реагирует советский педагог на шум голосов и резкие выкрики детей, вызванные вопиющим социальным противоречием в двух прочитанных обследованиях?

«Я могла бы, конечно, отвести эти разговоры о буржуазной обстановке, о припрятанном золоте, об излишних удовольствиях и сосредоточить внимание детей, как полагалось по плану обследования, на системе отопления и освещения квартиры, кубатуре комнат и тому подобных весьма полезных и безобидных вещах. Но я видела, что дети взволнованы, и решила поставить вопрос во всей широте. Я отдавала себе отчет в том, что у детей нет никаких научных предпосылок, нет доброкачественного материала наблюдений и опыта, нет и достаточных способностей обобщения для разрешения социальных проблем. Я сознавала, что наша беседа на социальные темы с точки зрения методики обществоведения должна быть бесповоротно осуждена, как схоластическая болтовня, как догматическая словесность. Но знала и то, что, если я отмахнусь от этих вопросов, дети обратятся с ними к своим родителям, случайным знакомым, а те не пощадят ни их впечатлительности, ни их неокрепших мыслительных способностей, и дадут решительные, убедительные, веские ответы. Дети поверят им и употребят полученные «знания» для построения своего мировоззрения. Почему же я должна ждать, пока созреют научные предпосылки, если жизнь и окружающая среда формируют мировоззрение детей, минуя эти предпосылки, и во всю широту утилизируя бытового опыт детей?».

И далее:

«Мне пришлось говорить. И я стала беседовать с ними о том, кто был богат раньше, до революции, и кто

тогда был беден. Я постаралась выяснить с ними вместе, какими огромными богатствами владели в прежние времена помещики, фабриканты, купцы, показать им, что теперь уже никто не обладает большими средствами, что таких богатых людей, как раньше, у нас уже нет. Но во время войны и разрухи погибло много всякого добра, и т. д. и т. д.» (стр. 167, 168, 169, 172).

Педагог буржуазного Запада развернул бы в школе совсем не такую «политику».

Еще штрих. Каков жизненный идеал в СССР? Как воспитать этот идеал?

В классе дети волнуются вокруг груды воробьиных трупиков. Воробьи убиты на «охоте» двумя мальчиками. Лидочка кричит:

«— Ты жестокий мальчик. Воробушков никто не ест. Они никому не мешают. Зачем ты их стрелял? Охотники помогают людям, они скот спасают от волков, а ты—балуешь».

Горик отвечает: — Ты ничего не понимаешь. Девчонка! А нам надо на охотников учиться. Не с крокодилов же начинать. Не скули! Довольно тебе воробьев останется».

Во время этих, таких современных, споров о крови, автор с волнением запрашивает себя о необходимом пути воздействия, — и советская общественность должна знать в деталях о тех переживаниях, которые испытывает сейчас советский учитель ежедневно, при переоценке им в педагогике буржуазных «этических» ценностей:

«Кто же из детей прав? Мягкосердечная «сентиментальная» Лида, испытывающая отвращение к насилию, или Горик — трезвый, жизненно-смелый, не знающий страха перед фантомом смерти, не благоговейщий перед фетишем крови? Но не слишком ли близко от его равнодушия к крови до любви к этой крови?...

Я — воспитательница. Я формирую сырой человеческий материал. Я должна знать, кого я создаю. Кто симпатичнее мне — Горик или Лида? Быть может, прав балагур Мапка, что нельзя начинать учиться охоте с крокодилов, — и тогда охота на воробьев была по-

лезным, необходимым, а потому и законным упражнением боевых чувств мальчиков. Тогда не надо развивать в мальчишках чувства жалости к птицам и другим животным.

Но ведь этим ослабляется условный рефлекс на чужое страдание, а тем самым—сострадание, сочувствие. А разве сочувствие, сопереживание не входит в состав общественных, коллективных эмоций? И для детей разве не является сочувствие к животным—их постоянным друзьям и спутникам—средством для упражнения этого «рефлекса» сострадания? Животные—это часть живой среды, окружающей ребенка.

Мы хотим выработать смелых, стойких, трезвых, решительных бойцов. Быть может, мы не должны поэтому напирать при их воспитании на чувство сострадания. Но ведь мы стремимся создать членов нового общества, в основе которого будет лежать трудовое товарищество, а способность сочувствовать, т. е. испытывать чужие ощущения, как свои, необходима членам этого трудового товарищества. Сочувствие—один из видов цементирующей субстанции, скрепляющей отдельные кирпичи в здании человеческого общества...

Мы все — учительницы — с большой охотой работаем над развитием этого чувства сострадания в наших детях. Но еще раз задаю себе вопрос: правильно ли это? И не уничтожаем ли мы путем развития сострадания других, необычайно важных, чувств и свойств ребенка?

Не следует забывать, что в атмосфере нашей хорошей, «доброй», товарищеской школы исчезают иногда те условия, которые способствуют выработке бойца и борца. В старой школе учащиеся боролись с начальством. Товарищеским, альтруистическим чувствам к соученикам противопоставлялось враждебное, боевое чувство по отношению к начальству. И это противопоставление товарищей начальству давало много поводов для развития истинно классовых, боевых качеств. А у нас в школе врагов нет, и всех надо любить ¹⁾. Рас-

сказы о тех классовых врагах за рубежом, которых мы не видели и очень плохо себе представляем, не могут служить стимулом к упражнению наших боевых эмоций. Мы в старой школе знали радость борьбы и победы, горечь поражения, огонь смертельной ненависти и пафос героического самоотречения. Наши дети, разве они проходят такую школу общественного воспитания?» (стр. 112, 113, 115, 117).

Пусть сомнения автора подчас излишни,—но важна напряженность исканий, важна общая целеустановка; знает ли это буржуазная педагогика?

Как пытаются 10—11-летних ребятшек знакомить с обществоведением?

«Мы из каждой подтемы, даже определенно краеведческого характера, находили лазейку, чтобы выглянуть в широкий мир. Изучая местное, близкое, мы противопоставляли ему дальнее. Наша местная река приводила нас к беседам о других, иных, не похожих на нее реках. Жилища в нашей местности изучались нами по сравнению с жилищами в других разнообразных условиях природы. И мне кажется, что только такое динамическое, центробежное краеведение допустимо в школе, воспитывающей «граждан мира». Но за такое понимание краеведений приходится вести борьбу с нашими методами. Они находят нужным держать ребенка в сфере непосредственного, близкого, конкретного. Они считают доброкачественными лишь те знания, которые получены путем непосредственного, личного наблюдения и опыта. Все постигаемое по представлению, они бракуют, как балласт, отягощающий детское сознание.

Ребенок, если следовать этой методической системе, обречен в течение нескольких лет питаться впечатлениями, черпаемыми только из окружающей обстановки. Он должен работать только над близким, знакомым. Правда, смысл этой системы в том, что все получаемые знания могут быть непосредственно претворены в действие, и познавательная работа таким образом оказывается средством преобразования окружающего мира. Но не

¹⁾ Положим, врагов достаточно. (А. З.)

слишком ли узок этот мир, открывающийся перед ребенком? В деревне он ограничен околицей, и волеустремления ребенка тоже не переступают этой околицы. Неужели задача школы—держать учащегося в пределах малого, близкого, узкого, будничного мира?

Такие условия воспитания и обучения, вероятно, благоприятствуют выработке практических, умелых людей, но... не благоприятствуют ли они в той же мере и выработке крепкого, хозяйственного мужичка? Краеведение в точном германском смысле—не для нас! Нам нужно краеведение «граждан вселенной», а такое краеведение сливается с мироведением. Теория малых дел, вытекающая из малого краеведения, не покрывает собою задач трудового воспитания. От малых дел в окружающей местности школа должна вести к великому делу преобразования всего мира. От местного—ко всемирному, от близко — к дальнему!».

Вот как думает и должен думать «педагог вселенной», педагог-интернационалист. Но ведь это—ломка всей старой педагогической методики, тяжелый, мучительный процесс для учителя! Что ж, учитель-революционер знает: всякая революция—в том числе и педагогическая—дело очень трудное. А вот и запись, рисующая, как окупались затраченные учителем усилия.

«Мой юный экономист подробно разобрал все промышленные предприятия, мимо которых мы проезжали, с точки зрения выгоды и невыгоды их местоположения. Как смеялись бы, вероятно, инженеры, если-бы слышали, как под председательством Ольги Мартыновны Бочкаревой, филологички по склонностям, четыре мальчика в возрасте 11-11½ лет и две девочки 10½ лет—Дэви, Кузь, Горик, Сеня, Зоя и Лида—с жаром оспаривали и защищали целесообразность постройки химического отделения «Треугольника» на 7-ой версте от Ленинграда!..»

Еще штрих:

«Затем мы стали собирать у местных жителей сведения о том, какие улучшения произошли в отношении благоустройства района за последние годы. Эти расспросы привели нас к месту

стройки нового рабочего городка. На глазах у детей, рядом со старыми, оставшимися от дореволюционных времен строениями, возводился новый город. Мы подробно осмотрели план стройки. Мы видели прекрасную новую школу, которая возведена в этом рабочем районе,—лучшую, во много крат лучшую, чем наша. А потом в классе мы развернули план всего города, и по данным официального отчета о ходе строительных работ в Ленинграде стали втыкать красные флажки в местах новой стройки. Город опоясался красной линией флажков. Мне не пришлось прибавить ни слова! Когда был воткнут последний флаг и сомкнулись концы круговой извилистой красной линии, Горик взволнованно закричал с восторгом исследователя-путешественника, завидевшего новую, неизвестную землю:

— Смотрите, смотрите, как проходят флажки! Все строится на окраинах.

— В рабочих районах! — подхватил Сеня.

Это открытие взволновало почти всех детей. И именно потому, что им казалось, будто они сами сделали это открытие, и никто, быть может, этого даже не знает, не понимает,—они чувствовали себя словно причастными к самому факту обновления рабочих районов. И стали мечтать, каким чудным городом будет через несколько лет наш Ленинград и как хорошо станет всем в нем житься» (стр. 193—195, 101, 156).

Да, именно так должны дети воспитываться в СССР, в республике пролетариата.

Часто нашу педагогику винят враги в том, что она «вдавливается» в ребенка, насилует его, игнорирует субъективные установки, детские интересы. Так ли это? Оказывается, воистину советский педагог строит работу именно на интересах детства, но он—диалектик, боец—не плетется пассивно в хвосте этих интересов,—сам создает, стимулирует эти интересы, направляет их.

«Зона интересов заполнена рыхлой, эластичной, легко видоизменяющей свою форму субстанцией. Тот же Горик, в зависимости от внешних импульсов,

от сравнительной силы, яркости и привлекательности внешних впечатлений, может сегодня интересоваться «людскими отношениями», а завтра — «числовыми сопоставлениями». Зоя может сегодня после чтения рассказов Сэтона Томпсона увлекаться животными, как объектами изучения, а завтра, после посещения кузницы, — производственным процессом. Дети из рабочих семей приходят в школу с совсем другими интресами, чем дети интеллигентов, но эти различия в течение школьных лет сглаживаются, ступшеваются...

Интересы — в пределах возрастных стандартов — я могу стимулировать и вытеснить. Мне кажется, что определенные ряды интересов могут быть стимулированы у всех детей, живущих в одинаковых условиях среды. (На эти общие интересы и ориентируются комплексные программы.)

Интерес — это аппетит. Чтобы пища как следует ассимилировалась, она должна возбуждать у вкушающего ее аппетит. Чтобы знание было воспринято, оно должно пройти через двери интереса. Уметь возбудить интерес — это методическое условие преподавания...

Разве метод проектов не включает в себя искусную систему прищипоривания детских интересов? Вычислять на бумаге примеры, полагающиеся по курсу арифметики, не интересно, но делать денежные расчеты для того, чтобы произвести необходимые покупки, — весьма интересно. Постановка практической жизненной цели возбуждает охоту к процессу познавательной работы.

В существе исследовательского метода тоже заложено стремление разогреть интерес детей. При применении исследовательских приемов на детей интригующе, возбуждающе действует таинственность, в которую погружены результаты работы — неизвестность, загадочность конечного итога. Ребенок ставит опыт, ищет ответа» (стр. 102—105).

Воспитанник советской школы должен сделаться социалистом, коммунистом не «из-под палки», а в силу правильно воспитанного яркого

интереса. В приведенной выдержке, типичной для советского педологического мышления, — оглушительная оплеуха сплетникам, обвиняющим нашу школу в «принципиальной» механизации подхода.

Как влияет технический труд в школе?

«Материал оказался в мастерской в запасе, и вот мы приняли решение: мальчики будут делать кровать Ильюше. Лева не преминул включить это новое дело в список предприятий общественно-полезной комиссии. Он полагал, что именно вот этим нашим кроватным предприятием начинается новая и прекрасная эра общественно полезного труда в классе, и клялся, что это предприятие будет выполнено паславу.

И в самом деле, это дело как-то больше занимает детей, чем все предыдущие. Наши прежние дела не связаны были с определенными яркими целями. Главное их значение заключалось в процессе их осуществления, а не в результате их. Торжественного, радостного конца эти предприятия не сулили, а потому так трудно бывало их кончать. Конец должен мапить, результат должен освещать весь ход работы. Кажется, я поняла Леву...

Сегодня в углу класса — огромная гряда цветных лоскутьев. Приносят не только наши дети, но и учащиеся других классов. Лоскутками ведаст Пелагеюшка. Возле нее — неразлучная ее спутница Клава, которая, как сторожевой пес, охраняет имущество...

Мальчики ходят табунком за Иваном Петровичем и горячо обсуждают проект кровати. Между Иваном Петровичем и Анжеликой Викторовой установился тесный «контакт»: уже готов эскиз кровати в красках и «лоскутный» орнамент для одеяла. Готовится и настоящий проектный чертеж кровати. В четвертом классе заняты преимущественно «теорией», «проектированием» нашей кровати, а мои дети налегают на самое выполнение, хотя некоторые из них заинтересованы и «проектом». Меня очень радует, что мы вступили на путь сотрудничества с четвертым классом! Узнав о нашей затее, меня ознакомила в коридоре Настасья Пав-

ловна, наша математичка: она в четвертом классе участвует в проведении комплексных программ по предметной системе и работает над комплексом в одной упряжке с тремя другими учительницами. Она стала поучать меня, как хорошо можно использовать работы девочек лоскутками разной формы для математических упражнений. Вот это был бы настоящий комплекс! Математика во вспомогательной роли при шитье одеяла...

Попробуем «геометризировать» грудь Пелагеюшкиных сокровищ! Составим «проект» лоскутного одеяла в математических формулах...

20-е января. Неожиданный, вот уж совсем неожиданный сюрприз! Самым главным столяром в группе кроватников оказался мой безнадежный Тонька. Никак не могу освоиться с этой мыслью. Тонька не только не мешает детям, не пристаёт к ним, но усердно, успешно работает. И все его ценят, и все его признают. Иван Петрович не верит мне, что Тонька в классе принадлежит к числу отстающих. Иван Петрович уверяет, что Тонька и высчитывает и вымеривает довольно хорошо. Не знаю только, где он этому научился! Мне, по крайней мере, в классе казалось, что он усвоил очень мало знаний из математики. Правда, мне говорила учительница, что на первом году обучения Тонька охотно и подолгу занимался арифметическими упражнениями, а читать и писать выучился легко и скоро» (стр. 178—181).

Целеустремленный труд, непосредственно связанный с детской жизнью, вливается в «комплекс», формирует коллективизм, вскрывает задушенные детские дарования, заставляет педагога пересмотреть свою оценку детей. Это и есть марксистски поставленный труд в педагогике.

Но не слишком ли много внимания к общим вопросам воспитания? Не идет ли педагогическая работа огулом, «en masse», — не забывается ли при ней индивидуальность ребенка, интимная его сторона? Ведь нас так часто винят в «стадной педагогике», в «стадном коллективизме»?

«В течение прошлого года Люля «обожала» меня. Весной она перенесла свою любовь на черненькую шестнадцатилетнюю девочку, ученицу старшего класса. Она поджидала девочку у ворот школы, провожала ее домой и была счастлива, когда та разрешала ей нести за собой сумку. На переменах ходила следом за ней и поглаживала то ее руку, то платье. В этом году Люля с первых же дней стала восхищенными глазами смотреть на Леву. Быть может, поэтому она и присоединилась к Зое. Зоя знакома с Левой до школы — они живут на одном дворе. В прошлом году при всех групповых заданиях они работали в одной ячейке, и дело у них спорилось. Я была очень рада этой дружбе, как рада всякому товарищескому сближению девочек и мальчиков. Люля льнет к Зое, — это для меня понятно, но почему Зоя полюбила общество Люли и почти неразлучна с ней?» (стр. 61).

Это лишь одна из многих типичских записей, в которых зорко учитывается интимная подоплека детских переживаний и детского поведения. Именно на таком индивидуально-интимном изучении ребенка и должен строиться педагогический подход к нему в СССР.

Общественно-полезная работа детей в школе:

«Лева принимает мое серьезное обращение к нему как должное. Ни признака улыбки на лице. Раскрывает клеенчатую тетрадь. Деловито перелистывает ее с начала до конца — один раз, потом другой. Очевидно, медлит для важности. Потом возвращается к первой странице и читает: «Наше учение должно оказывать пользу всем другим людям. Если мы чему научились, надо употреблять к делу. К каждой теме нужны дела, чтобы была польза от учения».

Поднимает голову, смотрит на меня, ждет, чтобы я одобрила, похвалила. Но я молчу, не люблю хвалить Леву. Он у нас захваленный. Опять читает: «Дела к теме первой и второй. Переснять план нашего города и повесить в квартире для всех домашних. Написать трамвайные номера от нашего дома к главным местам и пове-

сить дома. Учредить детский комитет охраны домов. Помочь убрать на чердаках — от пожара. Посчитать в домах у детей, — сколько кранов испорчено и течет. О кранах сообщить. Для весны составить план зеленых насаждений во дворах. Следить за кошками и собаками, чтобы не пачкали лестниц. Помощь по уборке двора. Переписка со школами другими, как они работают по благоустройству. Правила для керосинки и примуса, чтобы не взрывались. Правила для топки печей, чтобы было теплее. Сделать кирпичную панель через грязь возле школы. Кирпичей много на пустыре».

Слушаю с изумлением. Правда, мы о многом уже говорили с детьми, но кое-что фигурирует в этом плане впервые, и неплохо придумано. Дети мои хорошо поняли ту задачу, которая была поставлена перед ними. О кранах, о керосинках, о собаках, — это придумали они самостоятельно» (стр. 124).

Да, эта школа связывает свою работу с жизнью. Если и не все из плана Левиной комиссии будет выполнено, — установка ее работы вполне правильная.

Если бы мы продолжали цитировать радующие страницы книги, это завело бы нас слишком далеко: пришлось бы просто перепечатать всю книгу. Однако все ли гладко в советской школе?

Обывательская семья врывается своими гнойниками в социалистические намерения педагога:

«— Клава, почему ты не сидишь с Ильешей?

— Мапочка мне не позволяет сидеть с мальчиками...

По окончании урока:

— Клава, почему ты не положила тетрадок в шкаф, как я сказала?

— Мапочка велела все домой приносить, чтоб не заменили...

На большой перемене:

— Клава, почему ты не идешь завтракать в столовую, здесь в коридоре грязно.

— Мапочка мне велела в уголку, а то еще кто-нибудь попросит!.. — С опаской приоткрывает бумажку, в которую завернут ее завтрак, показывает: — Телятинка у меня, вкусная!

На третьем уроке:

— Клава, почему ты не пишешь, открой тетрадь!

— Пусть раньше Полька напишет, а то еще мою тетрадку заклеяет» (стр. 8).

Еще штрих. Беседа с матерью Анетты, женой крупного инженера, арестованного за взятки.

«— Я — интеллигентная женщина, я тоже много читала о воспитании, я прошла педагогические классы в гимназии, но я никогда не слыхала, чтобы дети обязаны были ходить по мастерским, по лавкам и расспрашивать продавцов о всяких пустяках. Это так неловко! Приказчики позволяют себе шуточки с девочками! Это скандально. Дети должны учиться, а вы заставляете их целыми днями бегать по улицам. Что это за обследование? Вы не следите за детьми! Я буду, в конце концов, жаловаться. Мне говорил директор немецкой школы, что в отделе народного образования есть еще благомыслящие люди» (стр. 141).

Большая и тяжелая работа предстоит педагогам при переплавке таких «Клав» и «Анетт» при подобных «мамашах». Родители одного из мальчиков — «Мапки» — квартирные воры (из безработных), — и с нежелательными влияниями Мапки на класс приходится учительнице бороться почти ежедневно. Однако тот же Мапка:

«Тоненький, ловкий, юркий мальчик. И так неожиданно приятно слушать, как эта желтенькая монгольская мордочка говорит свежим, ярким и богатым русским языком. Дети наши в общем говорят скучно и бедно. Мало слов в их распоряжении. И такие у них однообразные, ноющие или гудящие интонации! А этот — в обиходной речи говорит рубленой скороговоркой, а когда выступает перед классом, рассказывает плавно и образно, с любовью к словам, с чувством ритма, с стремлением песенности в речи» (стр. 42).

Как этот рисунок далек от «бандитского ярлыка», который наклеит на Мапку буржуазная педагогика: у нас не «этическое» осуждение, а тщательный социально-индивидуальный анализ, борьба за здоровую основу в

мальчишке, настойчивые попытки включения его энергии на творческие пути. Запись бесед с «Мапкой» (после получения сведений о половой его связи с девочкой Агашей):

«— Нет, Мапа, ты не можешь этого обещать. Если вы попрежнему будете встречаться с Агашей, ничего у вас по-новому не выйдет. Вы уже привыкли так. Надо все совсем начать по-иному, с начала. Ведь ты любишь Агашу, Мапа, будь же мужественным, твердым мужчиной. Пусть опа уедет в деревню. Вы будете переписываться. Попрежнему будете дружить. Летом, быть может, вы увидите. Ты поедешь к ней в гости... И так год за годом. Ведь ты уже взрослый, немного и осталось. Потом она вырастет, станет большой, красивой, здоровой девушкой. Ты кончишь школу, студентом будешь. Вот вы и поженитесь. А я на свадьбу приду, — пробую я закончить шуткой.

— Ольга Мартыновна, Ольга Мартыновна, — и маленький мальчик ломает пальцы так, что я слышу их хруст. — Пусть Агаша не уезжает... Я обещаю... Мы обещаем... Мы не будем больше делать глупости... Никогда больше, Ольга Мартыновна!.. Ольга Мартыновна! Как же я буду без Агаши? Ольга Мартыновна, позвольте ей остаться!..

— Мальчик, дорогой мой мальчик, ну, нельзя этого. Ну, пойми, я хочу, я тоже хочу, чтобы вам обоим было хорошо. Вам нельзя оставаться вместе. Это гибель, это беда для вас» (стр. 245—247).

Трагическая страница из тяжелейшей педагогической главы — по половому воспитанию. Но как далеки мягкие, человеческие слова советского педагога от жестокого приговора, который вынесла бы «развратному» Мапке буржуазная педагогика. Учительница пытается «переключить» Мапку, зовет его на детский праздник:

«— Я не только тебя приглашаю, Мапка, а детей из детского дома — человек пятнадцать. Можно сделать костюмы, — надо только придумать что-нибудь поинтереснее. Такой костюм, которого дети даже на картинках не видели, — ведь народ неизвест-

ный, затерявшийся в горах, никто никогда не видал его...

И Мапка прислушивается. Я развертываю перед ним весь план массовой игры, рассказываю о поездах, кораблях, аэропланах, которые сооружают дети.

— Мы можем сделать мохнатые бурки, — говорит он, — это на Кавказе бываю такие неизвестные горные племена...

И сейчас же умолкает, обрывает себя... Но мне большего и не нужно. Я чувствую, что соблазнила. Думаю, что не надо теперь уговаривать Мапку: уговоры возбуждают упорство. День и ночь будет думать Мапка о диком племени в мохнатых бурках...

— Не надо, — мрачно говорит Мапка, но в его словах нет решимости...

...Мапка молчит... Как хочется мне посадить Мапку рядом с собой, крепко обнять его и заставить рассказать о том, почему ему плохо живется в детдоме, и что знает он об Агаше, и что слышал о родителях, — вызвать поток его жалоб, развязать его гнев, потом довести его до слез, до детских облегчающих слез, разбить, растопить злобное отчуждение, мрачную замкнутость» (стр. 262, 263).

Тяжелы и сложны сомнения педагога, пытающегося, в связи с Мапкой, диалектически осмыслить вопрос о сращивании школы с семейной средой:

«Мы все говорим, что школа воспитывает через жизнь, что школа не должна отмежевываться от жизни, замыкаться в себе, что она продолжает дело жизни. Но как быть, если в наше время школе приходится отгораживаться от жизни? Приходится ограждать детей от влияния этой естественной жизненной обстановки, вырывать детей из их родной среды. Окружающая жизнь, жизнь переходной эпохи еще не может быть школой для ребенка. Эта жизнь не может служить той живительной, той плодотворной средой, из которой ребенок черпает силы для своего развития. Среды калечит ребенка, угнетает его рост. Но как же может школа работать в пустом, безвоздушном пространстве? Где выход из этого противоречия? Школа жизни, которая должна отгораживаться от жизни?».

Об идеологических нарывах в школе:

«Проходя по двору, нагнала группу малышей - первоходников. Они шли энергичным солдатским шагом, очевидно, куда-то на приступ, под предводительством восьмилетнего мальчугана, который угрожающе размахивал прутиком. Я была за ними, и они меня не видели. А навстречу им подошел мальчик постарше, ученик 4 класса.

— Куда собрались, ребята? — спросил тот их.

— Жидов бить! — хором ответили дети и воинственно пошли дальше.

Но когда с ними поравнялись я и в свою очередь спросила, с кем они собираются воевать, они трусливо переглянулись, смутились и ничего не ответили мне. Очевидно, эти «дружинники» не только знали, кто их враг, но так же и то, от кого следует скрывать свои намерения...

А мои дети... Анетта верует в бога, ненавидит коммунистов и чувствует отвращение к «простому народу». Трифон тоже верует в бога, но испытывает отвращение к роскоши и светским удовольствиям, считает всякое насилие грехом, скептически относится к научному знанию и уважает «священные» книги. Кузь считает себя коммунистом и поэтому всегда чувствует себя наготове резать буржуев, которых он пламенно ненавидит. Клавва тоже ненавидит буржуев за то, что они богаты, но в то же время убеждена, что буржуи и жидаы — это одно и то же, и всех их надо бить, а лавочники и торговцы — прекрасные люди, и их надо защищать от коммунистов...

Неужели так и оставить лежать и слеживаться, отвердевать этим напластованиям детских «убеждений»?

Обыкновенно утверждают, что нельзя говорить о мировоззрении применительно к детям: они, мол, не доросли до больших вопросов, и если «внушать» им мировоззрение, они могут усвоить преподанное лишь догматически. Что же делать, если дети приходят к нам до краев переполненные этими догмами, но догмами враждебными нашим взглядам на жизнь и к тому же догмами весьма импульсивного, действенного характера?

Зерна нашего учения мы должны сеять в «эмоционально» вспаханную землю» (стр. 196—198).

Учительница пытается бороться с идеологическими гнойниками. Правильно ли? — Тонкая, кропотливая, но благодарная работа:

«Я думала: поступить следует иначе, — привлечь симпатии мальчика к идеям коммунистов через симпатию к людям, которые являются носителями этих идей. Поэтому я очень дорожила дружбой Кузя с Трифоном. Мне казалось, что чем больше привяжется Трифон к Кузю, чем сильнее будет ценить его, тем ближе подойдет он, сам того не замечая, к признанию его идей. Я старалась объяснить это Кузю, сказала и Лева и Горик, что не следует дразнить Трифона и не следует также чуждаться его, что хорошо бы принять его в компанию, как своего, как равного, и незаметно для него сделать его действительно своим.

Важным казалось мне и другое обстоятельство: нужно было научить Трифона критически, скептически относиться к тому, что он слышит и видит. Хотелось направить его по пути сомнения, по пути опытной проверки всего того, что внушили ему с детства в качестве непреложных истин. Взамен уважения, почтения к религиозной книге, хотелось привить Трифону пытливість по отношению ко всему познаваемому, ко всему наблюдаемому.

Горик, по моему совету, привлек Трифона к работе в живом уголке. Любитель животных, аккуратный, добросовестный, исполнительный Трифон вскоре сделался помощником Горика в его «святой святых». Трифон, сам того не замечая, стал работать в качестве наблюдателя, экспериментатора, и я с радостью заметила, что ряд больших вопросов, навеянных практической работой по естествознанию, возникает в голове мальчика».

И, наконец:

«Увлечение естествознанием отвело мальчика от преклонения перед премудростью старых сказочных книг. Дружба с пионерами, общение со взрослыми коммунистами вытравили из сознания Трифона враждебность

к этому роду людей, а следовательно расслабили и корни протеста против их воззрений. Настало время вывести наружу подсознательно созревшее, и поэтому я нашла своевременным снять запрет с «идейных» разговоров» (199—201).

Использованные нами выдержки из книги не исчерпывают и пятой части вопросов, поставленных в «Дневнике учительницы». Мы взяли лишь наиболее характерный, основной материал. По всем страницам рассыпаны ценнейшие замечания о наших новых методических исканиях, о детском коллективизме, о детской эмоциональности, об общественном и половом воспитании. Впервые наша литература получает произведение, пытающееся художественно и общественно подойти к колоссальной и непрерывной твор-

ческой работы, проводимой сейчас в советской школе (в «Дневнике» дается 1927 год). Такую же попытку мы имели в интереснейшем «Дневнике Кости Рябцева» (Огнева), но там мы встречаем педагогический материал, субъективистически (автором) проведенный через голову подростка. Отсюда—великолепный рисунок, но некоторое искажение объективной перспективы. В книге Р. Григорьева об объективизм сохранен, так как «героем» этой художественной и, в то же время, общественно серьезнейшей книги является живой педагог — пытливый, чуткий, активный, умный, ищущий.

Советская школа, а вместе с нею вся советская общественность получили ценнейший подарок. Каждый культурный строитель СССР обязан прочитать «Дневник учительницы».

5. НОВЫЙ ЭТАП В СОВЕТСКОМ КИНО

Б. Алперс

1

Уже давно советское кино не пережило такого острого момента в своем развитии, как сейчас. Последний сезон оказался неожиданным во многих отношениях. Прежде всего, он обнаружил наличие затяжного кризиса, как-будто несвоевременного и ничем не оправданного.

Одна за другой потерпели крушение картины, по всем признакам имевшие шансы на общественный успех и на открытие новых художественных путей. «Октябрь» Эйзенштейна, «Звенигора» Довженко, «Одиннадцатый» Дзиги Вертова—фильмы, сделанные нашими лучшими режиссерами,—не только не имели успеха у широкого зрителя, но и по своим формально-художественным результатам оказались бесплодными и «пустыми».

Сезон не имел так называемого «гвоздя», т. е. фильма, суммирующего в данный момент отдельные разрозненные достижения и намечающего линию дальнейшего развития.

«Средние» фильмы, не ставящие серьезных экспериментальных задач и рассчитанные на массовое потребление, не восполнили этого отсутствия центральной точки опоры в сезоне. Большинство из них тоже потерпело неудачу. Из массы «средних» фильмов, выпущенных в этом году, более или менее оправдали себя только 5—6 картин, в роде «Водоворот», «Пленников моря», «Проданного аппетита», «Дон Диего и Пелагея»—в сущности, очень поверхностные по социальному содержанию и эклектичные по художественной форме фильмы.

И, вместе с тем, никогда еще не наблюдалось в советском кино такой сильной тяги к общественно значительным темам и крупным замыслам, как в истекшем сезоне.

Огромный тематический материал оказался охваченным нашим кино, причем в большинстве случаев самая разработка этого материала в идеологическом отношении была вполне приемлемой и как-будто правильной. Вопросы молодежного быта («Кружева», «Парижский сапожник», «В большом городе»,

«Китайская мельница»), расслоение деревни («Водоворот»), проблема семьи и брака («Ухабы», «Человек родился»), интеллигенция в революцию («Инженер Елагин», «Седьмой спутник»), Октябрьская революция («Октябрь», «Конец Санкт-Петербурга», «Москва в октябре», «Великий путь», «Два броневика»), вопросы индустриализации страны («Одиннадцатый»), борьба с беспризорностью («Золотой мед»), различные исторические эпохи, взятые в социологическом разрезе («Ледяной дом», «Булат Батыр» и даже «Калитанская дочка»), и т. д.—все эти темы были поставлены по-серьезному, со здоровой идеологической установкой и с честным намерением донести эту установку до зрителя.

На этом фоне отдельные нездоровые уклоны на первый взгляд имели второстепенное значение и быстро исчерпывали себя.

Но странная вещь,—явная тенденция к выправлению идеологической линии не привела к большим результатам. Все эти полезные и нужные темы, развернутые на экране, очень туго доходили до зрителя. В лучшем случае они оставались тезисами, едва задевающими сознание зрителя. Зачастую же эти темы совсем пропадали из поля зрения аудитории: картины становились бесцельными, и их замысел можно было установить только после длительных изысканий и догадок. Об этом свидетельствуют почти все отзывы о новых фильмах, появившиеся в печати за истекший сезон, наполненные недоуменными вопросами и жалобами на неясность и путанность в изложении темы.

Своеобразным косноязычием отмечено большинство фильмов последнего времени. Творческая воля к созданию социально значительного произведения, искренность в подходе к общественно нужным темам упираются в какие-то непреодолимые в данный момент препятствия. Поистине последний год может быть назван годом неосуществленных замыслов.

В чем причина этого странного кризисного состояния нашего кино?

Меньше всего как будто мы можем жаловаться на оскудение творческими

силами. За последнее время выросла целая плеяда режиссеров, обладающих превосходным и оригинальным мастерством. Мы имеем ряд талантливых киноактеров. В техническом отношении советские фильмы зачастую не уступают заграничным.

Стремясь найти подлинные причины кризиса, советская общественность и критика одно время заострили внимание на вопросах руководства киномделом. В середине года вокруг деятельности Совкино разгорелась ожесточенная дискуссия. Совкино подверглось беспощадному обстрелу.

Но уже дискуссия показала, что при всех ошибках Совкино, как руководящего органа, вся сложная ситуация кризиса не может быть объяснена таким легким и простым способом. А при ближайшем рассмотрении оказалось, что и самые недочеты руководства вовсе уже не имели такого решающего, катастрофического значения.

Причины этого временного кризиса лежат глубже. Они более сложны и более закономерны, чем это может показаться на первый взгляд.

Смысл момента заключается в том, что сложившаяся за последние годы в кино система художественных приемов оказывается недостаточной в данный момент для решения новых задач и тем, выдвигаемых сегодняшней действительностью. Мало того, этот комплекс художественных знаний, теорий и навыков—в свое время полезный и плодотворный—в данный момент является тормозом для дальнейшего развертывания советского социального фильма и для нормального роста творческих сил нашего кино.

2

При всем различии в темах и в художественном их оформлении большинство фильмов, выпущенных за последний год, имеет одно общее свойство, повидимому, типичное вообще для советского фильма данного периода.

Это свойство—своеобразная «болезнь масштабов», стремление к внешней грандиозности и к захвату в объектив аппарата огромного количества событий и фактов. Сильнее всего «болезнь

мя «штабов» сказала на экспериментальном фильме. Зачастую она превращает картину в своего рода прейскурант, в торопливое и сухое перечисление самых разнообразных событий, связанных между собой только темой, но не сюжетом.

Именно по такому принципу построен «Октябрь» — фильм, наиболее последовательно выразивший основные тенденции сегодняшнего кино.

Понятен тот энтузиазм, с которым сам автор картины говорил в печати о процессе работы над ней, выражая сожаление, что из общей массы снятого материала (40 000 метров пленки) удалось показать на экране только ничтожную часть.

Инсценировка октябрьских событий с привлечением десятков тысяч участников неизбежно должна была потрясти руководителей с'емки. Великий Октябрь снова повторился на улицах Ленинграда; снова выезжали из ворот Смольного грузовики, наполненные вооруженными рабочими. Снова осаждался Зимний дворец, и снова на цепном мостике с золоткрылыми львами кронштадтский матрос обращал в бегство толпу длинноволосых и очкастых «спасателей» родины и революции. Среди пышных лестниц и роскошных зал Зимнего дворца возникали призраки осени 1917 года, вновь вызванные к жизни приказом постановщика. То, что испытали режиссеры в дни с'емки Октября, провертывая 40.000 метров пленки и дирижуя историческими событиями, — должно быть поистине захватывающе и грандиозно. Это переживание было бы еще сильнее, если бы на с'емку было потрачено в десять раз больше пленки.

Беда в том, что для зрителя из всей этой массы заготовленного материала дошли только законные 2½ тыс. метров, т. е. разрозненные лоскутья какого-то широко задуманного произведения, которому никогда не суждено осуществиться на экране.

В «Октябре» режиссер силится объять необъятное: воспроизвести на экране самые исторические события в их последовательном порядке, вместо того, чтобы дать художественный рассказ о

них. Художник, отбирающий нужный ему материал и подчиняющий его своему замыслу, уступает место натуралисту, с добросовестной точностью воссоздающему внешний облик эпохи. Время от времени режиссер все-таки бывает вынужден прибегнуть к сжатию материала в один образный момент (Керенский, поднимающийся по лестнице дворца, пустые пальто в креслах министров). Но рядом с натуралистическим воспроизведением событий эти «обобщения» звучат несерьезно и неубедительно. При том методе построения картины, который был принят для «Октября», фильм уничтожается как художественное произведение. Законы композиции, лаконичная выразительность кадра рвутся под напором бешеной массы неорганизованного материала.

По тому же пути пошел и Дзига Вертов в «Одиннадцатом», решивший показать на экране все основные моменты советского строительства за десять лет. Задача непосильная для кино и приведшая к косноязычной и неполной хроникальной записи.

Приблизительно та же судьба постигла и «Звенигору», в которой Довженко попытался обнять всю историю Украины, начиная с ее полуполюгендарного прошлого и кончая советскими днями. Обширный материал взорвал изнутри положенные для полуторачасового сеанса рамки картины, уничтожил всякую возможность найти для нее цельную форму. При этом с «Звенигорой» дело обстояло еще хуже, потому что разнообразие эпох, которыми оперировал автор фильма, потребовало для каждой отдельной части, а иногда и для различных эпизодов одной и той же части, применения самостоятельного художественного приема и различных принципов строения кадра. Смешение стилей привело к невероятной художественной какофонии и безвкусице и сделало для зрителя невозможным понимание самой темы картины.

Этой «mania grandiosa» болеет и «средний» фильм.

«Пленники моря» — по существу не притязательная приключенческая кар-

тина — излагает историю гражданской войны, рисует обстановку мирного советского строительства, ставит и пытается разрешить спецовскую проблему, вскрывает приемы иностранного экономического шпионажа и т. д.

«Альбидум» — фильм о высоком сорте пшеницы — мало того, что начинает свой рассказ «от Адама», но попутно обегает чуть ли не все страны света, остаивается на различных фазах нашей борьбы на мировом хлебном рынке, рисует «разлагающийся Запад», захватывает ту же спецовскую проблему, вопросы бюрократизма, волокиты и т. д.

«Ледяной дом» — имевший все шансы стать наивной обстановочной картиной — неожиданно обнаруживает стремление рассказать всю сложную социально-экономическую обстановку времени Анны Иоанновны, пользуясь для этого многообразным подсобным материалом, вычерчивая различные политические линии того времени, обнажая запутанную сеть дворцовых интриг, в целом ряде эпизодов, обрисовывая народное движение, и т. д.

С большими или меньшими отклонениями по такому принципу сделаны почти все фильмы последнего года.

Правда, в «средней» картине мы всегда найдем драматическую интригу, преимущественно любовного порядка. Но она двигается в картину механически, тонет в массе разнообразных событий и играет роль необязательного привеска к так называемому «широкому полотну».

Это стремление исчерпать до конца поставленную тему путем обзора событий и явлений, имеющих какое-либо отношение к данной теме, до чрезвычайности затрудняет восприятие зрителем кинокартины.

Выбрасывая на экран разнообразный ассортимент событий и фактов, кино требует от зрителя, чтобы он самостоятельно организовывал этот материал, логическим путем связывал отдельные демонстрируемые моменты. В этих фильмах кино пытается говорить со зрителем языком логики. Анализ, разложение явления на ряд составных элементов вытесняют мышление обра-

зами. Аудитории предлагается во время сеанса рассуждать, взвешивать, делать те или иные заключения, вместо того, чтобы чувствовать, воспринимать и даже помимо своей воли подчиняться художественному замыслу картины.

Эмоциональная выхолощенность характерна для последнего периода советского кино.

В связи с этим стоит и преобладание «вещной» природы в сегодняшнем фильме.

Лихорадочные поиски новых пейзажей, новых, еще не показанных, машин, зданий и т. д. — в новых оригинальных ракурсах — пронизывают почти каждую выпускаемую сейчас картину. Подъемные краны, молотилки, тракторы, строящиеся дома, внутренность фабрик и заводов, дворцы, пейзажи, самые разнообразные предметы выводятся на экране не в качестве подсобного «игрового» материала, создающего нужный акцент для отдельных кусков строящегося действия, но в качестве самостоятельных суб'ектов действия.

Впервые игра вещей была последовательно проведена в «Броненосце Потемкине». Но здесь этот прием оправдал себя только потому, что он был использован на раскрытии одного определенного события, одного исторического эпизода, имеющего четкий сюжет и фабулу, отвечающую всем требованиям драматического произведения: завязка, нарастание и развязка. Мясные туши, жерла пушек, детская коляска, красный флаг рассказывали об одном и том же эпизоде; играющие предметы оказались связанными между собой не только общей темой, но и драматической интригой. Они явились участниками всего рассказанного эпизода и сыграли роль своего рода аккумуляторов действия, отчетливо выражая смысл его отдельных узловых моментов. Эти играющие предметы вызывали у зрителя ассоциации в одном определенном направлении. Именно поэтому «мертвая» природа «Броненосца» оказалась живой и наделенной человеческими чувствами и мыслями.

Тот же прием, примененный на более широком материале в бессюжетном фильме, т. е. в фильме, включающем в

себя энное количество равнозначных событий и эпизодов, не связанных друг с другом сюжетным стержнем, приводит к иным результатам. Вещь остается «мертвой». Она включается в действие только на один определенный момент для того, чтобы уступить место следующей вещи, и т. д. В лучшем случае она приобретает значение символического значка, с помощью которого режиссер абстрагирует, схематизирует сложное конкретное явление или факт, упрощает его до статического показа в одном моменте, как это сделано в «Октябре» с лесом винтовок, воткнутых штыками в землю, с пустыми пальто в креслах министров Временного правительства, или в «Звенигоре» с плывущими по реке венками, или в «Одиннадцатом» с наковальной, вознесенной над землей. В этих случаях «вещь» на экране используется, как плоская аллегория.

Но обычно «вещь» вводится в подобном фильме в ее непосредственном бытовом значении. Она берется как «натюра» и только внешне обновляется, «остраивается» новым ракурсом съёмки.

Мир вещей и предметов обрушивается с экрана на зрителя. Почти не связанные между собой, объединенные только темой, при том крайне расширенной и общей, предметы и вещи сменяют друг друга на экране, то превращаясь в условные символические знаки, то поворачиваясь к зрителю своей знакомой будничной стороной.

В результате тот пафос больших масштабов, которым одержимо советское кино последнего периода, становится близким пафосу Герострата. Стремительный поток разнообразных событий, вещей и предметов, не подчиненный законам художественной композиции, выходит из берегов фильма.

«Жизнь, как она есть», — так называется одна из первых работ «киноков» — течение, оказавшее решающее влияние на советское кино в целом за последние годы. Кино бросает вызов жизни. Оно пытается воспроизвести жизнь на экране, не обрабатывая ее средствами, присущими искусству, но тщателью фотографируя ее, сопоста-

вляя отдельные ее моменты между собой, стремясь дать в картине такое же внешнее многообразие и пестроту явлений, фактов и вещей, какое мы видим в действительности.

В этом стремлении к сверхнатурализму, в этом наивном соревновании с жизнью кино терпит неизбежное поражение.

Бессюжетный фильм прежде всего приводит к уничтожению кинокадра как смысловой единицы, как нормальной «меры вещей» в кино. В любом сегодняшнем фильме число кадров может быть произвольно увеличено без всякого ущерба для картины. Отдельный кадр теряет свою ощутимую связь с соседними кадрами, приобретая значение простого отрезка киноленты длиной в столько-то метров. Он распадается на ряд детальных фотографий, неполно и л ю с т р и р у ю щ и х тот или иной жизненный момент или факт, вместо того, чтобы создавать его заново на глазах у зрителя.

Распад кадра на ряд детальных снимков, снижение его значения до степени простой объяснительной надписи—титра (вещь—символический значек, аллегория)—приводит к чрезвычайному объединению языка кино, к предельному уменьшению его емкости и выразительности.

Не меньшая неудача в соревновании с жизнью постигает кино и во вне — в зрительном зале.

За молниеносной сменой разнообразных событий в современном фильме зритель в лучшем случае улавливает лишь бедную схему полнокровных жизненных явлений. За неустанным бегом вещей на экране встает перед ним враждебный и потревоженный мир мертвой материи.

Недаром в противовес «масштабным» и «вещным» фильмам этого сезона таким блистательным успехом у аудитории пользовались картины «Бабы рязанские» и «Человек из ресторана». Крайне наивные по содержанию, элементарные по форме, убогие, а зачастую и вредные по социальной установке, они побеждали зрителя своей эмоциональной теплотой, ясностью и доступностью своего языка.

3

Конфликт социального фильма со зрительным залом придает совершенно иное значение тем идеологическим шаптаням, которые наблюдались в советском кино за последний год.

Таких фильмов было сравнительно немного. Но их значение не исчерпывается количеством. В связи с кассовым неуспехом серьезного социального фильма, в связи с тем тупиком, которым завершилась экспериментальная линия советского кино, сильнее чем когда-либо в этом году реакционное течение пыталось не только практически завоевать рынок, но и создать спасительную теорию «нового», современного фильма.

Социальная тема, но обязательно в сопровождении «фонтанов» и «романов» — приблизительно так была сформулирована эта «теория» устами одного случайного и поэтому неосторожного идеолога этого течения.

Жанр мещанского фильма впервые за последнее время утверждал себя с такой самодовольной уверенностью и настырчивостью.

Особенности сегодняшнего мещанского фильма заключаются в том, что он оперирует тем же тематическим материалом, что и социальный фильм. Обычно он окрашен в защитный цвет какой-нибудь серьезной общественной проблемы. На первый взгляд он щеголяет подчеркнутой ортодоксальностью темы и ее разработкой.

Проблема раскрепощения женщины («Круг», «Такая женщина», «Наша знакомая», «Жена», «Земля в плену», «Мой сын»), путь к комсомолу («Девушка с далекой реки»), расслоение деревни («Бабы рязанские»), освещение прошлых исторических эпох («Поэт и царь», «Ася») — эти тематические задания как будто бесспорны и целиком лежат в поле зрения советского кино.

Но использование и разработка этих заданий в мещанском фильме идет по пути опошления социально цепного материала, приближения его к вкусам и запросам обывательско-напманской аудитории. Суровый и мужественный материал революционной эпохи снижается на тот уровень, где он стано-

вится понятным и близким мещанину. Из него вытравляется запах современной жизни с ее острыми социальными конфликтами. Он делается «нейтральным», одинаково приемлемым для любой по своему классовому составу аудитории.

В «Девушке с далекой реки» серьезная общественная тема переведена на язык сентиментального цыганского романса. (Интересно, что эта картина с точностью воспроизводит ситуацию одного салонного романса о чайке и о некоей девушке, жившей над озером. Эта ситуация лишь внешне замаскирована в фильме современными костюмами и «казенными», бытовыми деталями.) Перед зрителем встает на экране сусальный портрет революционной эпохи, приспособленный для украшения уютной комнаты с кисейными занавесками и с фотографиями кино-звезд.

Тема о современной женщине, поставленная в пяти фильмах, разрабатывается по классической схеме буржуазной адольтерной драмы. Бытовое содержание этой темы исчерпывается традиционным треугольником: муж, жена и любовник. В фильме показываются косынки работниц, толстовки советских служащих и кепки рабочих, но эти костюмные детали могут быть легко заменены смокингами и роскошными дамскими туалетами без всяких дополнительных изменений в сюжете фильма. Особенно любопытна в этом отношении картина «Мой сын». Тема о семейном раскрепощении женщины, на которую беспрестанно ссылается режиссер в объяснительных надписях, совершенно выпадает из сюжета фильма и вытесняется «общечеловеческой» адольтерной «интрижкой». Недаром картина заканчивается импрессионистическим обрывом сюжета и загадочным вопросом в зрительный зал: без этого приема оказалось бы слишком явной подлинная тенденция фильма. Салонные задачи сказались и на стремлении режиссера художественно «облагородить» современный рабочий быт. Вся картина построена на слащавых графических кадрах, напоминающих виньетки с конфетных коробок.

Приблизительно та же операция проделана и над современной деревней в «Бабах рязанских». Личная интрига заслоняет социальный смысл тех процессов, которые идут в советской деревне. Социальный фон нейтрализован. Цвет эпохи расплылся в туманное вневременное пятно. В той же обстановке могла быть показана на экране «Власть тьмы». Не случайно в «Бабах рязанских» так искусно стерты режиссером границы, разделяющие сюжет фильма на две части: деревня военного времени и деревня в революционную пору. Закон развития личной интриги позволил постановщику незаметно игнорировать в картине различия социальных эпох. Лицо старой дореволюционной деревни, с ее безнадежными тупиковыми драмами, обращается к аудитории как-будто и нетронутое революцией.

По тому же пути снижения и искажения социально ценного материала идет мещанский фильм в обработке исторических сюжетов для экрана. В «Поэт и царь», под флагом наибольшей занимательности и «доходчивости» до зрителя, сознательно искажаются исторические факты (в фильм введена любовная связь Николая I с женой Пушкина, не подтвержденная никакими документальными данными в пушкинской историографии). Глубокий по своему общественному значению конфликт между поэтом и окружающей его титулованной средой переведен в план той же занятой любовной «интрижки». Вместо серьезного подхода к освещению прошлой эпохи, фильм захлебывается в пышных и «красивых» деталях придворного быта. Самый образ Пушкина приобретает черты благодушествующего обывателя, «играющего» в поэта, с поднятыми к небу глазами читающего стихи и картинным жестом закидывающего на плечи полы испанского плаща.

В «Асе» эпоха 50-х годов послужила предлогом для рассказывания легких занимательных анекдотов из жизни великих людей.

Не следует думать, что в этих фильмах имеем дело всего-навсего с

недостаточно умелым подходом к крупным и сложным темам.

Современный мещанский фильм претендует на большее. Он утверждает неизменяемость бытовых норм и условий. Он стремится убедить зрителя, что, несмотря на революцию, все в жизни осталось «как прежде». В нем делается попытка обезвредить на экране содержание сегодняшней действительности, закрыть ее острые углы, изгнать с экрана социальную тематику крупного плана.

Не стоит преувеличивать опасность мещанского уклона в советской кинематографии, но не нужно и преуменьшать ее. Мещанский фильм не только отвечает запросам классово чуждой аудитории, но пытается подчинить своему влиянию рабочего зрителя («Бабы рязанские» пользовались исключительным успехом именно в рабочих районах). Самое мировоззрение, которое утверждается в фильмах этого типа, в его тезисной части легко может быть разоблачено самим зрителем. Но свои тезисы мещанский фильм одевает в удобопонятную и зачастую зрелищно занимательную форму. Он идет навстречу зрителю. Пользуясь готовыми, испытанными приемами мелодрамы, он не труден для восприятия аудитории, не требует от нее дополнительной работы во время сеанса.

Оживление мещанского жанра возможно только потому, что новый социальный фильм еще не вышел из лабораторного периода. Он еще не в состоянии противопоставить вульгарному, но понятному языку интимной психологической драмы своего нового художественного языка, столь же ясного, но наполненного иным содержанием и имеющего иную установку.

Преодоление лабораторного периода становится, таким образом, не только задачей чисто-художественного порядка, но и вырастает в боевую проблему широкого общественного значения.

Увлечение большими масштабами, показом вещей и предметов, свойственное передовому крылу советской ки-

нематографии и связанное с этим увлечением преобладание бессюжетного фильма, конечно, не вызвано простой прихотью того или иного сценариста и режиссера. Это—явление закономерное в советском кино.

Революционная эпоха раздвинула рамки интимного салонного фильма. Она развернула перед художником-общественником бесконечный ряд крупных тем, обнажила сложные процессы, идущие в общественном и личном быту. Она заставила его наблюдать жизнь в ее становлении, в ее динамике, заново ощупывать окружающую «мертвую» природу, получившую иное применение, иное назначение в новом социальном строе.

Ошеломленный многообразием развернувшегося перед ним материала, захлебывающийся в темах, которые неустанно рождает наша действительность, — художник выбрал единственно возможный для него на первых порах путь: путь учебы у жизни, путь аналитических выкладок, вычерчивания широких схем, собирания разнохарактерного материала и первичной организации его по внешним признакам.

Так создалась в советском кино форма обзорно-режиссерского фильма, в композиционном отношении чрезвычайно рыхлого и растрепанного, отличающегося внешней пестротой и повышенной динамичностью.

В обзорно-режиссерском фильме до крайности обострился глаз художника, научившегося по-новому видеть мир, схватывать налету многообразные явления перестраивающейся жизни. Распадающийся как смысловая единица, кинокадр в то же время достиг высокой степени пластической выразительности и реализма. Чрезвычайно усложнилась ритмическая ткань картины, построенная на разнообразии темпов и на остром чередовании их между собой. Это ритмическое богатство в отдельных случаях, как, например, в «Одиннадцатом», приближает картину к музыкальному произведению, к своему рода киносимфонии.

Но все эти учебные качества обзорно-режиссерского фильма за последнее время все больше приобретают чисто фор-

мально-художественное значение, обращаются в трафареты, постепенно утрачивая свою первоначальную социальную целесообразность.

Бессюжетный фильм-обзорение и связанная с ним система художественных приемов в данный момент не только оказались в резком конфликте со зрителем, не только пасуют перед развязностью мещанского фильма, но и исчерпали свои «учебные» возможности, свое экспериментальное значение. Бессюжетный фильм оказывается бессильным вобрать в себя все расширяющийся и усложняющийся социально-бытовой материал и внятно рассказать с экрана социальную тему.

Перед советским кино с новой силой встает задача художественного перевооружения. Максимальное сжатие материала, его концентрация в лаконичные и выразительные художественные образы, повышение смысловой емкости кадра, его эмоциональная насыщенность— те условия, вне которых невозможно дальнейшее овладение сложным материалом эпохи и создание фильма, активно воздействующего на аудиторию.

Трудность момента увеличивается тем, что новый этап требует не только смены системы художественных приемов, но и влечет за собой перестройку внутрипроизводственных отношений. Он требует иной расстановки отдельных творческих сил, создающих фильм и, прежде всего, на иное место ставит чересчур всеобъемлющего, чересчур всемогущего режиссера советского кино, выросшего за последнее время в единоличного автора картины (см. «Октябрь», «Одиннадцатый», «Звенигора», «Мой сын»).

Режиссер в кино, конечно, во всех случаях играет огромную роль. Но нигде его значение не поднималось так высоко, как в фильмах о вещах и событиях революционной эпохи — в обзорно-режиссерских фильмах. Мертвый материал, который преобладает в картинах этого типа, потребовал единоличного распорядителя, диктатора-формовщика и компановщика, исключаящего возможность всякого постороннего и «случайного» вмешательства в построение фильма.

Отсюда непомерное увлечение в советском кино так называемым «типажем». Человеческое лицо используется в его статической данности как готовая, сработанная по заказу «вещь». В типаже играет не исполнитель, обладающий разнообразием красок и оттенков, но одна его внешность сама по себе, неизменяемая от начала до конца фильма, так же как «играет» трактор, кузнечный молот и любой другой предмет, выбранный для данной картины. Ни индивидуального мастерства, ни самостоятельного творческого участия от исполнителя не требуется.

Закон «вещного» материала с исключительной последовательностью применяется и на использовании живого материала для картины.

По принципу «играющей» природы подобран весь состав участников в «Октябре» (Керенский, Ленин и т. д.). По принципу предметов — символических значков, механически передвигаемых из кадра в кадр, используются исполнители в «Звенигоре» (тысячелетний дед), в «Проданном аппетите» (капиталист, шофер) и в большинстве всех советских картин, даже тогда, когда в них имеется фабула.

Новый этап в кино и ставит прежде всего задачу коренного изменения роли и положения актера в строящемся фильме. Только с помощью актера — этого живого материала, легко поддающегося многократным изменениям и трансформациям на протяжении 2.500 метров пленки — советское кино имеет возможность организовать богатое содержание нашей эпохи в стройные и насыщенные образы, доступные пониманию зрителя и эмоционально воздействующие на него. Только с помощью актера можно повысить смысловую емкость кадра и приостановить его дальнейшее распадение на ряд детальных фотографических снимков.

Социальная тема, так косноязычно рассказываемая сейчас приемами наивного натурализма, путем обозрения всех явлений и фактов, имеющих к ней более или менее близкое отношение, должна найти свое основное разрешение на актерской игре, способной вместить при максимальной экономии художественных средств

огромное социально-бытовое и социально-психологическое содержание.

Задачи режиссера в этой области велики и сложны, хотя не так почетны, не так внешне импозантны как в «вещном», обозрительском фильме. Заставить актера «играть» на экране, раскрывая определенную тему, поставить его в наиболее выгодные условия, окружить его теми же действующими и говорящими вещами, — но не самоиграющими, а подсобными, — органически связать его с социальным фоном — здесь нетронутое поле для режиссерского мастерства и изобретательности. Но, конечно, помимо режиссерской изобретательности здесь требуется и самостоятельное мастерство актера и его активное участие в создании фильма.

Выход киноактера на широкий творческий путь — основная производственная задача советского кино в настоящий момент. Она не решается только более внимательным отношением режиссера к актеру, но влечет за собой совершенно иную сценарную разработку темы и выработку новых технических приемов композиции фильма. Она вызывает необходимость серьезного изучения основ актерского искусства в кино и детального изучения отдельных актерских индивидуальностей.

Культура актерского мастерства в советском кино стоит чрезвычайно низко. Актер обычно «вдвигается» в уже готовый костяк фильма и очень мало учитывается как ренающий фактор, от которого зависит удача картины, реализация ее темы.

Наши режиссеры умеют заснять вещь с самых неожиданных сторон, в самых разнообразных ракурсах, как например, это сделано с трактором в «Альбидуме». Для подъемных кранов, производственных заводских процессов, для строящихся зданий глаз наших режиссеров и операторов достаточно заострен, чтобы свежо и оригинально подать их на экране. Мы будем восхищаться великолепно заснятым животом генерала (вещь) в «Звенигоре», лестницей Зимнего дворца и механическими дверями в «Октябре», интересно скомпанованным акробатическим трюком и оригинальными сним-

ками города в «Проданном аппетите», лужайкой с качелями в «Водвороте» и т. д. Но все кадры с актерами сделаны по ужасающему трафарету и технически беспомощно. Для обработки живого материала в практике советского кино имеется очень ограниченный запас средств и приемов, к тому же недалеко ушедших от приемов Ермольево-Ханжонковского периода.

Не мудрено, что наших актеров хватает только на две, максимум, на три картины, в которых они используются как новая, свежая фактура или как «свежее» имя. Очень быстро они становятся однообразными и исчерпывают себя.

Такие превосходные актеры, как Чехов и Москвин снимаются в кино так, как будто они играют для театральных подмостков, без учета специфических условий киноискусства, с массой «нейтральных» повествовательных, небыгранных кадров. То же самое и с Ильинским, с Кторовым и др., которые демонстрируют из картины в картину выработанную ими в театре и для театра серию готовых поз и движений.

Молодая актриса Стен, обнаружившая в «Девушке с коробкой» незаурядное комедийное дарование, используется в чуждом ей амплу «страдающей героини» только потому, что у нее миловидное лицо и прекрасные выразительные глаза, которые в нужный момент так удобно подать на публику неизбежным крупным планом.

Даже наиболее выгодно показавшаяся в кино Малиновская из года в год принуждена повторять себя, меняя только костюмы и головные уборы. Этот мартиролог можно продолжить, включив в него Фогеля, Коваль-Самборского, Баталова и др., бесхитростно использующих в кино свои природные данные и ограниченное число одних и тех же приемов.

Экспериментальное кино до сих пор проходило мимо проблемы актера, ограничиваясь предельным снижением роли актера в фильме и заменой его «типажем». Между тем, новое разрешение этой проблемы открывает неисчерпаемые возможности в выработке сжа-

того и полновесного языка социального фильма.

Примером этому может служить немецкая картина «Жена статс-секретаря», прошедшая у нас на экране этим летом. Близкий к ней по приему фильм «Варьете» для нас мало показателен: при всем мастерстве актерской игры он остается в границах интимной психологической драмы, в то время как «Жена статс-секретаря», используя тот же художественный прием, переходит в план острой общественной сатиры.

Чрезвычайно прост и четок сюжет этой картины. В «Жене статс-секретаря» нет грандиозных «событий». Действие концентрируется на очень ограниченном участке. Все богатство красок, вся острота положений идут от разностороннего обыгрывания двух-трех «ведущих» исполнителей. Игра Вернера Крауса и Женни Юго в «Жене статс-секретаря» создает образцы предельного овладения поставленной темой. При этом она до конца кинематографична. Актер все время проецирует образ на экран: он играет не самого себя в данном образе, но свое отношение к образу, показанному на экране. Это совершенно новое по художественному приему использование актера, до сих пор недоступное кино. Оно открывает перед кино возможность затрагивать глубокие психологические темы, придавая им почти философский смысл и значение. Благодаря этому изощренному мастерству в создании образа-характера, безобидная салонная комедия, высмеивающая быт и нравы провинциального мещанства императорской Германии, поднимается до уровня жестокой сатиры, обнажающей лицемерие и продажность современного буржуазного общества в целом.

Наивно думать, что все в таких фильмах зависит исключительно от таланта и мастерства актера. Строгий учет всех отдельных положений и «состояний» образа, умелое чередование их, создание колорита и среды для центральных персонажей, распределение красок между второстепенными действующими лицами и т. д.,—за этими моментами скрывает-

ся сложнейшая партитура картины, разработанная совместными усилиями режиссера, актера и сценариста.

В «Жене статс-секретаря» мы не найдем ни одного кадра, который повторял бы уже показанное положение или мимический момент основных действующих лиц фильма. Каждый кадр с Краусом или с Юго выражает одно определенное состояние героев; так, шаг за шагом, постепенно вырастает на глазах у зрителя из разнообразных черточек полнокровный и волнующий образ. Актер безостановочно «обыгрывается» режиссером и оператором. Из массы его движений, поворотов и поз выбирается одно, наиболее характерное, наиболее острое и исчерпывающее данную ситуацию.

Этому высокому искусству использования и обработки живого материала советское кино должно научиться, наполнив его своим содержанием, подняв его до того пафоса общественного служения, до того пафоса «больших масштабов», которым оно болеет сейчас так мучительно и бесплодно, не находя нужных художественных средств для его выражения.

Тенденция к такой «учебе» начинает пробиваться в некоторых картинах последнего года. Всего ощутимее она сказалась в творчестве Пудовкина — этого наиболее «почвенного» из передовых режиссеров советского кино. В «Конце Санкт-Петербурга» эта тенденция вылилась в компромиссной форме. Как правильно отметила критика, в ней склеены механически два фильма, из которых один рассказывает тему путем демонстрации событий и вещей в приемах того же хроникального обозрения, а другой стремится раскрыть тему через сжатый, сконцентрированный образ (молодой крестьянин). Эта вторая часть сделана еще очень неуверенно и технически бедно, и тем не менее она оказалась более выразительной и более определяющей тему картины, чем ее обозренческая часть.

В «Потомке Чингис-хана» Пудовкин делает значительный шаг вперед. В этом фильме режиссер от начала до конца строит тему на центральном образе монгола (арт. Инкижинов) ге-

рой глубокий социально-психологический смысл, который раздвигает тезисные рамки фильма и придает ему значение живого документа эпохи. В этом образе монгола (арт. Инкижинов) героическая борьба Востока за свое освобождение встает перед зрителем во всей своей реальности и человеческой сложности.

Впервые в советском кино мы встречаемся здесь с таким мастерским построением сюжетно-психологического кадра. Любой кадр с Инкижиновым разработан в отдельный игровой эпизод. Пристальный взгляд монгола, следящего за борьбой партизана с английским офицером, улыбка, с которой он встречается в казарме солдата перед уводом на расстрел, превосходная по выразительности сцена с папироской перед расстрелом — эти моменты отличаются смысловой наполненностью и эмоциональным напряжением при должной экономии художественных выразительных средств.

По-новому используется режиссером и «вещный» материал, вводимый в действие. Особенно интересны кадры со шкуркой лисицы. Здесь использование вещи идет не по линии ее эстетического или бытового обыгрывания, но по пути психологической акцентировки опорных моментов драмы. «Вещь» соединяется с определенным переживанием или с состоянием персонажа. Ее появление на экране каждый раз предвещает близость трагического взрыва. Темный, блестящий мех, медленно развертывающийся во все полотно экрана, приобретает значение своеобразного лейтмотива в разыгрывающейся трагедии. Самые свойства материала служат раскрытию социально-психологической темы.

«Потомок Чингис-хана» еще несет в себе наследие обозренческого прошлого. Время от времени режиссер увлекается второстепенным чисто иллюстративным материалом. Быт английских колонизаторов, фольклорные сцены занимают еще несоразмерно много места в картине. Самый финал, такой «масштабный» по замыслу, — именно поэтому вышел плоским и неубедительным. Он переводит действие в условный полу-аллегорический план,

не связываясь по приему с предыдущими частями и оставляя зрителя в недоумении.

Эта часть страдает дешевой грандиозностью и обнажением агитационного тезиса фильма.

Но все эти недочеты не затушевывают основного приема, которым пользовался Пудовкин, создавая «Потомка». Интересно отметить, что на «Потомке Чингис-хана» в художественно-формальном отношении явно сказалось влияние немецких фильмов, о которых мы говорили выше.

Наряду с этим очень показательна неудача недавно выпущенной картины «Белый орел». В ней сделана попытка заострить внимание на немногих персонажах драмы и через них раскрыть лицо прошлой эпохи. Но, с одной стороны, и здесь авторы фильма увлеклись «широким полотном», вводя в большой дозе подсобный материал, не столько об'ясняющий эпоху, сколько иллюстрирующий ее: пластические живописные детали отодвинули на второй план действующих лиц, ведущих тему фильма. С другой стороны, актеры почти не обыгрываются режиссером, остаются предоставленными самим себе. Великолепное мастерство Качалова и Мейерхольда оказалось неиспользованным. Оно переклочено на экран в «добрых старых приемах» психологической драмы «золотой серии». Даже такие благодарные моменты, как игра с виолончелью, с платком и с бибобо — не развернуты режиссером. Они проведены в чисто театральном плане — рассказаны, как это делается на сцене, но не показаны, как это должно быть сделано в кино.

Эта художественно-техническая отсталость фильма вызвала и идеологически неверное раскрытие темы. Неумение показать на экране свое отношение к изображаемому персонажам, прием лирической экспозиции образа привели к идеализации героев фильма — сановных вешателей и хищников царской России.

Неудача этого опыта лишний раз говорит о том, что современную социальную тему нельзя раскрывать старыми средствами, как это упорно пытается

сделать Межрабпом-фильм в своих «актерских» картинах (исключая работы Пудовкина).

Сюжетный фильм, к которому идет сегодняшнее кино, не имеет ничего общего по своей установке и по художественным признакам с интимной кинодрамой недавнего прошлого. Целесообразное использование живого материала в социальном фильме советского кино — задача экспериментального, новаторского порядка.

И если говорить о преимуществах художественных приемов, то на новом этапе гораздо больше пригодится то изощренное мастерство в обыгрывании вещей, которое с таким блеском было разработано в обозренческом фильме. Только это мастерство будет применено по преимуществу не на мертвом, «вещном материале», но на более совершенном, на более гибком и богатом материале — на человеческом теле.

5

Одно время в журнальной литературе по кино наблюдалось стремление канонизировать форму бессюжетного обозренческого фильма. Бессюжетный фильм объявлялся новым откровением, положительным достижением советской кинематографии. В нем видели черты законченного стиля нового советского фильма.

Попытки преждевременно фиксировать стиль советского кино должны быть отвергнуты. Новый художественный стиль не рождается и не определяется на протяжении трех-четырех лет.

Обозренческий фильм интересен и значителен как переходный учебный момент в развитии советского кино. Он представляет собой сплав разнообразных художественных систем и жанров, частью отмирающих, частью возникающих вновь. В нем заключены в недифференцированном виде все возможные виды и жанры нового фильма, становление и кристаллизацию которых мы будем наблюдать в ближайшие годы.

Обозренческий фильм включает в себя на равных правах куски хроники, игрового художественного фильма,

культурфильма и т. д. Все эти куски смешаны в нем в каждом отдельном случае в различных пропорциях. Такая картина имеет сразу несколько различных целевых установок. Она требует при оценке применения к ней и различных критериев. Особенно наглядно это подтверждается на «Альбидуме», на фильме, в основу которого было положено научное задание, но который вобрал в себя и самую обыкновенную текущую хронику и элементы игровой картины, при чем соединение это сделано явно «белыми нитками».

Обозрительский фильм не имеет художественного оправдания; он слишком универсален, бесстыден и эклектичен даже в руках наших первоклассных мастеров. Но он оправдывается целиком как социально-закономерный факт, как средство разрушения отживающей системы кино, как процесс переплавки многообразного художественного материала и подчинения его единому социальному заданию. Организация этого материала по художественному признаку приходит несколько позднее и относится уже к более зрелому периоду.

Всякие преждевременные попытки искусственно предвосхитить этот период и создать художественно цельную, до конца выдержанную по приему картину, приводят к «культурным» и бонтонным, но таким головным и стерильным произведениям как «С.В.Д.» Фэкс'ов, где проделан опыт перенесения на экран «миriskунических» плотен—иллюстрационных упражнений Бенуа и Добужинского. Стилизация — не метод в искусстве. Это только средство для замазывания трещин и щелей, способ замаскировать отсутствие у художника своего взгляда на мир и своего самостоятельного отношения к материалу, его бессилие перед ним. Наша эпоха с ее мужественным активным отношением к материалу не нуждается в таком фальшивом оштукатуривании художественного произведения.

Задача сегодняшнего момента заключается не в создании во что бы то ни стало художественно-цельного и выдержанного произведения, но в кри-

сталлизации основных видов и жанров кино-картин, в определении для каждого из них его основного специфического материала и основных средств выразительности.

Будущий историк и исследователь советского кино сможет с ясностью проследить процесс отпочкования от общего ствола обозрительского фильма различных видов и жанров советского фильма. Но и сейчас уже мы можем уловить отдельные проявления этого процесса. Так, совершенно явно хроникальный материал, продолжая еще заполнять собой любой фильм, имеющий любое задание, в то же время параллельно создает и обособленный жанр хроникальной повести, объединяющей разнообразный документальный материал по признаку общей темы, как это сделано в работах Э. Шуб («Последние дни Романовых», «Россия Николая I и Лев Толстой») и в «Подвиге во льдах». Специфические особенности этого жанра еще только начинают осознаваться, и первые шаги в этом направлении грешат еще многими существенными недочетами.

Точно так же преобладание живого материала — актера — приведет к обособлению и художественно-игрового фильма, т. е. фильма, имеющего задание убеждать зрителя не логической цепью рассуждений и аналитических выкладок, не документальной точностью в записи фактов и событий, но яркой образностью и силой художественных обобщений.

Велики задачи советского кино. Ему отведена почетная и значительная роль в строительстве новой культуры. Перед ним поставлена высокая цель общественного служения, культурно-политического воспитания рабочей массы.

Не будет преувеличением сказать, что на 12-ом году революции эта цель и эти задачи осознаны советским кино в целом. Об этом с ясностью говорят не только отдельные его достижения, но и его поражения и неудачи, в которых вложено так много хороших намерений и блестящих замыслов, так много «варварской» смелости и подлинного энтузиазма строителей нового искусства.

Но за этим первоначальным периодом идеологического перевооружения советского кино идет новый этап, в котором решающее значение приобретает выработка точного художественного языка. Преодоление художественного косноязычия в передаче социальной темы становится одной из главных задач настоящего момента.

Осознание кино как искусства, выделение основных кино-жанров с преобладанием в них того или иного материала и особых методов его обработки — первые шаги на этом пути. Период всеобъемлющего «обозрительского» дилетантизма в советском кино заканчивается и наступает пора профессиональной зрелости.

6. ЧЕ-ЧЕ-О

(Областные организационно-философские очерки)

Андрей Платонов, Бор. Пильняк

Пишут, что хорошо выехать из Москвы, потому что, дескать, сразу окунаешься, во-первых, в травяную русскую природу, отдыхая душой, а во-вторых, в советские массы и строительство. Хотя писатели и пишут всегда о том, чего с них не спрашивают,—тем не менее слово печатное уважать надо: и мы поехали в город Воронеж на предмет изучения бюрократизма ЦЧО и ознакомления с массами, поселились за тремя окошками с палисадником и с цветами на подоконниках, известными от детства и с детства не имеющими имени. На окне у нашего хозяина, кроме цветов, помещался еще всесоюзный дьячок, как называют здесь радио за хрипоту его и поучительность. Хозяин наш Федор Федорович каждое утро уходил к себе в железнодорожные мастерские, а мы изучали, взяв предпочтительно в поле зрения нашего людей, а не учреждения, дабы не быть оглушенными гулом мероприятий, придерживаясь, при изучении матерьяла, статистических принципов.

Надо объяснить заглавие организационно-философских наших очерков. Были мы, изучали мы в ЦЧО—в Центрально-Черноземной Области, вновь организуемой. ЦЕ-ЧЕ-О по воронежскому говору выговорить трудно,—говорят ЧЕ-ЧЕ-О.

Город и историю его мы изучали пешком. Все вывески, где раньше было «губ», теперь перекрашены на «обл».

А пешком мы ходили по следующей причине. Трамваев в городе штук один-

надцать, примерно, на три городских маршрута. У посадок в трамвай всегда суетятся, сесть все не успевают, а трамваи ходят полупустыми. Трамвай—совершенно, как в Москве, только разница в букве В: ВКХ—вместо МКХ. На одиннадцать трамваев имеется двадцать семь человек контролеров—девять человек от ГЖД, остальные от Горсовета и прочих учреждений. В каждом вагоне едет не менее двух контролеров, кондуктор и—обязательно—милиционер, как бесплатное приложение контролеру и кондуктору, управляющемуся, в благодарность за провоз, со злостным пассажиром. Предпочитали мы ходить пешком не потому, что не испытывали затруднений от воронежских концов, где массы населения перебрасываются трамваями, но потому, что твердо установили, что со стороны ГЖД, Горсовета, Адмотдела и прочих организаций предпринято, в сущности, все, чтобы сделать поездки людей жизнеопасными и чреватými экономическими последствиями, т. е. приводами в милицию, штрафами и прочими ущербами для личности. Мы рассчитали статистически: московские трамвайные порядки усвоены Воронежем в кровь, но жителей в Москве больше в двадцать пять раз, трамваев—в сто раз,—и воронежцам осталась только трамвайно-административная энергия в количественном московском масштабе: число ежедневно-трамвайно-наказуемых в Воронеже равно московскому числу,—и

очень редко поэтому можно проехать в воронежском трамвае, не доплатив к билету особой квитанции об уплате штрафа, либо протокола, либо нравственного оскорбления.

Мы уже приступили к исследованию основной нашей темы о бюрократизме «Наши не хуже ваших».

Этим и объясняются свалки на остановках: кроме тройного надзора за собой, туземное население, полюбив административное благочиние, само помогает контролерам вылавливать трамвайных вредителей и добровольно устраивает давки на остановках, стоя на страже трамвайной законности.

Изучая принципы бюрократической давки, установили мы новую, раньше не бывшую здесь особенность—носить мужчинам бакенбарды. Бакенбард в Воронеже много, и все они с портфелями. Причина возникновения бакенбард необъяснима, но вид их очень напряжен. Федор Федорович, рабочий-ветеран железнодорожных мастерских, философ и наш хозяин, сказывал нам, будто в газете было воззвание Облсовета Физкультуры: «За советскую бакенбарду! Опрятная наружность есть символ идеологической устойчивости! Физкультурник, будь впереди! За новую наружность! За нового человека!».

Было ли такое воззвание или не было,—это на совести Федора Федоровича,—Федор Федорович любит говорить иносказательно, — мы же, при нашем изучении, обследуя газеты, ничего такого там не нашли. Нашли лишь снимки будущего здания облисполкома, будущего обпрофсовета и прочих будущих емких помещений. Мы рассматривали внимательно фотографии: нет ли в будущих камнях будущей областной архитектурной стойкости, либо впечатков будущего ума и организационного умения. Затем в газете напечатаны были портреты туземно-областных вождей, карта новой области и заметка об аржанской фабрике грубых сукон, расположенной в Тамбовской губернии и напечатанной исключительно ради областных масштабов. Больше ничего туземного в газете не было. Отмечалось подробно выступление тов. Терентьева в споре с архиереем. Тов. Те-

рентьев выполнял в областном масштабе то, что тов. Ярославский делает во всесоюзном, а тов. Вольтер делал во всемирном. В остальном газета следовала Вольтеру, занимаясь всемирно-историческими вопросами, давая искренние советы французам, англичанам и китайцам, и сожалея, что впрямь бывшие ее советы не приняты впрок этими странами. Судя по карте области, напечатанной в газете, область эта, по поводу которой в газете отмечены будущие здания и спор с архиереем,—размером много больше, чем Британские острова.

Федор Федорович, иносказательный человек, молвил однажды:

— Как вы думаете, приезжие люди, как надо устроить, чтобы на месте, где два колоса растут, три выросли бы? Ну, и как поступать, ежели колосьев попрежнему два?

Мы бросили внешнее изучение облгорода, потому что первым делом мы видели всегдашнюю воронежскую пыль, переулки, свиней—обыкновенное средне-русское устройство оседлости,—и дома стояли совершенно так же, как и в губернском отношении. На подоконниках цвели герани. Бакенбарды возвращались со службы, обедали и возвращались на службу, на вечерние заседания, а после них ели на бульваре мороженое у отходников из воронежских деревень. Книжная воронежская история интересовала нас мало, по причинам нашего уважения к предмету и краткости пребывания, хотя самой истории в городе не мало. Отметим лишь странное обстоятельство этого черноземного города,—именно то, что Воронеж есть колыбель русского морского флота, обстоятельство очень поучительное для российской истории и очень характерное. Проходит тут видная от Митрофаньевского монастыря древняя дорога из Варяг в Греки—Калмиюсская Сакма, обстоятельство для нас не особо важное, ибо нечего поминать нам о варягах. Было в этих местах много разных святых, один из них, Тихон Задонский, был даже приятелем русской литературы,—приятельствовал с Федором Михайловичем Достоевским,—но и это неважно нам. Су-

щественно отметить—опять о Петре: превратив степной город Воронеж в российский Амстердам, именно отсюда Петр людьми и приспособлениями начал водный канал, который должен был соединять Дон с Окою (Епифаньевские шлюзы живы были до 1910 г.),—Епифаньевские эти шлюзы суть прародители ныне, через двести лет после них, роемого Волго-Доца. Вот и все исторические справки. Пыль черноземная и пыль истории—вещи, ни с чем несравнимые. Еще задолго до европейской войны, несмотря на плодородие почвы, крестьянство Воронежской губернии и соседних с нею начало быстро беднеть, поставляя отходников в города и в Донбасс. Сельское хозяйство императоров завело крестьян в тупик, требовало крупной социальной и технической реорганизации. Столыпин тогда давал деревенской верхушке исход на хутора: остальное крестьянство нашло себе выход в революции.

Наш сосед и друг Федора Федоровича, Филипп Павлович, сам бывший крестьянин, ныне электро-монтер, рассуждает:

— Исход крестьянам найден правильный—коллективы. Прямо надо заочно считать, что от удачи коллективов зависит спасение деревни, и спешить с этим необходимо надо, прямо надо сказать: положение деревни теперь бедовое. Коллективы по деревням нам сейчас нужнее Днепростроя. Не удадутся коллективы,—мужик будет спасаться в одиночку, иначе сказать, пойдет по кулацкой дороге. Каждый трудящийся есть хочет. Государство должно всякому питанию помогать, и чтобы это содействие не буксовало на бумаге, как колесо на рельсе. А опасения от переусердия уже имеются,—я ведь далеко вижу. Колхозоцентр уже трудится, а кроме него—сосчитаем про себя—волостные, уездные, губернские, областные, разные там органы—норовят влипнуть в колхозное строительство,—и все хотят руководить, указать, увязать, согласовать, проработать, проинструктировать, подтянуть и проутюжить. Главное руководство, я полагаю, заключается в том, чтобы не мешать безвыходному желанию мужиков к

устройству своей судьбы через коллективы,—я сам мужик, я-то себя знаю. Что нужно деревне?—в первую очередь нужны — землеустройство, мелиорация и огнестойкое строительство. Агронмия, я так полагаю, — очередь вторая, особенно по теперешнему времени, когда участковый агроном еще кое-как усердствует, — а что выше участкового, — так те совсем не нужны, они все раз'езжают междуведомственно, согласуют будущее и к крестьянству не относятся.

Мы перебили себя сельскохозяйственными суждениями Филиппа Павловича, дабы малявинскими красками нарисовать черноземный пейзаж, имеющий, по существу говоря, краски в себе серые, медленные, длинные.

К сельскому же хозяйству относятся хлебозаготовки.

Видели мы хлебозаготовителей, ошибочно можно сказать, что на душах у них лежат тяжести, равные весу заготовленного ими хлеба. Народ они хороший, несчастный и молчаливый (молчаливый, быть может, потому, что на ссыпунктах неминуемо много приходится разговаривать, вплоть до тяжелого сердцу мата). Познакомились мы с молчаливым кооперативным членом правления и слышали его историю. Вызывал его проезжавший мимо в своем вагоне замнаркомторг для надлежащего подтягивания, дошел член правления до вагона, взялся за поручни — и ужаснулся тогда, а ужаснувшись, — пригнулся к земле и исчез в неполотых просяных полях, где и пробыл наедине с природой трое суток, не пивши, не евши. Его искали сельские милиционеры, — но разве сыщут кого эти люди, самые кроткие из всех попечителей благочиния на земле? — и член правления на четвертый день самовольно возвратился домой, с'ел две коржачки сметаны с хлебом и пошел в свое правление, а вагон замнаркомторга отбыл в даль по своему расписанию.

Гражданин этот — кооперативный член правления — был приятелем Федора Федоровича, забегал иной раз послушать нашего всесоюзного дьячка, и Федор Федорович, близкий к желез-

нодорожному делу человек, проектировал часто разные способы усиления хлебозаготовок, так как до его сердца слишком все касалось.

Например. Наглядным опытом, через окна вагонов, знал Федор Федорович, что еще с самой ранней весны, почти сейчас же после снега, самый главный пассажир, который едет мимо Воронежа на Кавказ, есть — отдыхающий. Уверял Федор Федорович, что эти нарицательно называемые отдыхающие, едущие по курортам, не есть ни рабочие, ни средние служащие, а явный бюрократический актив, вооруженный секретареподобными женами или женоподобными секретарями, умеющий пластическим путем фильтроваться сквозь государственные трущобы в страны, не им и не для него завоеванные в 1920 году. Так вот, Федор Федорович предлагал — перестать кормить этот бюрократический актив, не трогая пока пассива, прекратив одновременно его перевозку на юг для наращивания пластических сил, возя на его месте с'едобные мешки. Федор Федорович утверждал, что это способствует вывозу хлеба и ввозу машин из-за границы, а также и тому, что кооперативному нашему члену правления реже придется убежать со столбовой дороги социализма в просо, как прискорбно выразился Федор Федорович.

Федор же Федорович рассказал нам о встрече в поезде, когда ездил он поднимать из-под откоса под откос свалившийся паровоз.

В Рязске сел внимательный человек, развернул бумагу с колбасой и начал закусывать, безотчетно рассматривая пассажиров. Напитавшись, он зорко уставился в окошко и не отрываясь от зрелища великорусских пространств сто верст. Тогда он обратился к Федору Федоровичу, как к железнодорожнику.

— Никак не вижу межи! — сказал он с огорчением. — Здесь сразу должны кончаться суглинки и подзолы и должна начинаться сплошная чернота почвы, именно Че-Че-О.

— Какая межа? — спросил Федор Федорович.

— Межа Че-Че-О, Центральной Черноземной Области. Она, извольте ви-

деть, больше Англии и чуть меньше западно-европейских держав, а вот межи никак не видно, хотя на плане она ярко нарисована жирной чертой. Как же так?

Помолчали. Внимательный человек глядел в окно.

— Вы куда едете-то? — спросил Федор Федорович.

— В Воронеж — куда же больше? — вопросом ответил внимательный человек.

— Это почему же вы так говорите — «куда же больше»? — на вопрос вопросом ответил Федор Федорович.

— А там, видите ли, организована теперь Черноземная Область, Че-Че-О. Отстраиваются новые учреждения. Еду служить. Я человек сокращенный.

— Откуда? — сочувственно спросил Федор Федорович.

— Сократили?

— Да.

— Известно — из учреждения. Я человек служащий. Мы всю жизнь служим. Десять лет я состоял беспорочно в уездной архивной комиссии, а теперь свалили все документы в подвал статбюро, а в городе хорошего крысомора нету. Теперь звери всю мою работу поедят. А сколько трудов на те документы положили — уму не понять! — как же? — все остатки революции в них, больше их нигде нету.

— Думаете там работу найти, в Воронеже? — спросил Федор Федорович.

— Непременно, — ответил архивариус. — Люди моего сословия должны находиться в служебном состоянии. Непременно!

Федор Федорович в тот вечер, как рассказывал нам об этом своем свидании, совершенно разохался. — Ведь вот сукины суслики! — сколько их по советской земле ездит, службу ищет, колбасу жрет! — и смотри ты, как они в канцеляриях дела листают, как суслики рожь едят!..

Показывал нам потом Федор Федорович на улице этого внимательного суслика: устроился, вошел в свое состояние, служит, отпускает бакены, вошел в служебную схему. Федор Федорович уверен, что именно эти самые суслики такие, например, правила чинят по его железнодорожному делу: опоздал поезд на сорок три минуты,

стоять ему по расписанию пятьдесят минут в Воронеже. Прицепили свежий паровоз, полазили по крышам, добавили воды в уборные, служба технического осмотра проверила рессорные тележки и простукала бандажи, — дела на десять минут, а поезд стоит единственно из-за того, чтобы отстоять свое время ради точности расписания, хоть и мог бы сократить опоздание, — стоит по регламенту, а не по смыслу.

Видели мы областников, так сказать, строителей. Угощали они пивом москвича в столовой ЕПО, организационно обсуждали, опираясь на портфели, и пребывали в организационно-областной ярости. Многого из их разговоров подслушать нам не удалось, в силу естественного страха, который исходил к нам от них.

— Позвольте, Иван Сергеевич, — куда ж это годится! — говорил средний человек, утирая бредовой пот со лба прямо ладонью. — Надо всесторонне обсудить, как поделить нам организационно и исторически неделимое? Тамбовский край, эта культурная единица, существовал еще со времен Гавриила Романовича Державина, когда покойный был тамбовским губернатором. Тамбовский край уже тогда был государственным понятием, — а сейчас мы предполагаем северный кусок природного поцёнского края отхватить от Тамбова в другой округ. Извините, мы тоже пока еще губерния! — у нас есть ВЦИК! — Воронеж — это еще не Москва, это лишь губерния, и даже не из важных!

Нам показалось, что этот деятель, начав за здравие масштабов областных, заканчивал упокоем своей губернии, откуда, по всем видимостям, происходил родом и служебным положением. Другой собеседник был более областномыслящ, судя по его словам, в силу той причины, что происходил он из Кирсанова. На Тамбов он нападал, считая его тургеневским дворянским гнездом в вишневых садах, — но нападал и на Воронеж, отдавая дань его морскому прошлому, после которого в округе остались только одни леса местного значения; он даже не отстаивал Кирсанова, ибо вопрос Кирсанова

не касался, но сообщил все же, что отапливается теперь Кирсанов не кизяком, а торфом, и в прошлом году был вырыт первый артезианский колодезь. Поскольку дело не касалось Кирсанова, патристической ярости у кирсановца не замечалось.

— Нет, товарищи, — сказал третий, отпивая пиво. — Теперь такая эпоха, приходится все сверху донизу, снизу доверху, а также вдоль и поперек. Теперь самокритика пошла, нашего брата массы в плюшку жмут.

Величественный москвич, в честь которого пили пиво, рассудительно и таинственно молчавший, несколько оживился.

— Не совсем так, товарищ, не совсем! — сказал он. — Мы никак не привыкнем к равновесию... Я бы сейчас главным лозунгом объявил равновесие мероприятий. А то получается не самокритика, а — бичевание.

В этом месте своей речи, к слову сказать, не очень внятной и четкой, москвич предложил своим собеседникам папиросы «Герцеговины Флоры».

— Сделайте одолжение, — сказал он.

Кирсановец посмотрел коробку хозяйственным глазом, понюхал табак и спросил:

— А сколько же стоит такая одна папиросина?

— Пустяки, — сказал москвич, — шестьдесят пять копеек пачка.

— Ага. Без малого три копейки штука. У нас на три копейки можно пучек купурей купить, можно полбуханки хлеба с'есть, можно стакан молока выпить, за две папиросины тебе лапоть сплетут, а другой сам на дороге найдешь, — сказал кирсановец, выводя товарную стоимость трех копеек; еще раз осмотрел папиросу и сладко закурил.

— Это же и есть равновесие, о котором я говорю, — конкретно увязал москвич. — Я, допустим, с моими газетными статьями зарабатываю четырехста—пятьсот, а вы — сто. Но вы живете зато не в Москве, и мои четырехста, если подсчитаешь, равны вашим семидесяти рублям.

— Значит деньги у нас в пять раз дороже? — спросил тамбовец.

— Вот именно, — ответил москвич.

— Я вот курю папиросы Бокс, — сказал кирсановец, — значит мой Бокс выходит по вкусу, что и ваши Герцогги, либо даже лучше?

Москвич мягко поправил кирсановца, молвив учтиво:

— Одни папиросы брать, конечно, не следует. — Вы примите во внимание квартиру, ванну, отопление... Надо брать всю массу товарной продукции и учитывать по среднему...

— Не учтешь! — сказал грустно кирсановец. — Ванн, например, у нас не полагается, ходи в две недели раз в баню! У нас в одной волости пять лет под ряд двадцать тысяч десятин без обложения налогом существовали, а, говорят, город Лондон меньше этой площади. Значит, у нас город Лондон, в роде бы, стоял, а мы его и не видели... А найди виноватого, — виноватого учесть еще труднее, чем пропавшую площадь: та хоть травой зарастет, отговорка есть, что из-под травы не было видно.

— Равновесия нет, — молвил москвич, точно накладывая свою резолюцию на все местные беды. — Вы раньше сказали о самокритике, что масса на учреждения давит... Вот вам и результат! Разве это требуется? Никакое учреждение при таких условиях работать не может, потому что учреждение должно руководить. Не правда ли? — А иначе придет какой-нибудь болван в учреждение синдиката и скажет: вас я сокращаю, а себя сажаю, ступайте в молотобойцы... Ну, и что же будет? — будет хуже, будет плохой кузнец, только и всего... Нет, надо самокритику ввести в здоровое русло — придать энергии народа плановый темп!

— Русло тоже дело ненадежное, — сказал кирсановец, представив себе, должно быть, русло речное. — Реки иной раз размывают свои русла.

Тамбовец вернулся к теме в масштабах областных.

— Я полагаю, с областью мы явно спешим, — заявил он горестно. — Границы округов определены наспех, губернские и уездные работники далеко не все получили назначение на новые областные посты, а понаехало уже много иногородних. И вообще, в общем

и целом, будущее рисуется далеко не в четких перспективах.

Кирсановец молвил раздумчиво и печально:

— Говоря по совести, у меня ум за разум зашел... Крестьяне будут пахать попрежнему, как и в губернском масштабе, рабочие не бросят работать от того, что границы округов не уточнены. Это верно. Наше дело — руководить. Это тоже верно... Раздумываешься иной раз... Настоящее руководство — всегда, конечно, помощь. Ну, а бюрократическое иной раз обращается — прямо во вредительство, я на своей шкуре знаю. — Он помолчал и сказал твердо. — То руководство, которое обращается за помощью к массам, само, следовательно, способно помочь рабочему и крестьянину раздавить живой силой жизненные затруднения и прямо вести по дороге революции. В этом, я полагаю, и есть весь смысл самокритики.

Собеседники его посматривали неодобрительно.

Мы свое пиво выпили и оставили столовую ЕПО, а затем, не имея плана прогулки, пошли к Митрофаньевской площади, откуда видна Сакма Калмиусская. Лежала перед нами степь, и явно чувствовалось нам, что это не простые уже губернские поля с перелесками местного назначения, а — областные. Рожь, по подсчетам областных организаторов, расти будет гуще. Пусть растет! — и на густую рожь найдутся едоки!..

.....

Вечером однажды, в тишину русского дождика, валяясь на своих койках, разговорились мы о трамваях, о бакенбардах, о любви. Разговоры наши были скучны. Не могли мы не согласиться друг с другом, что впечатления наши совпадают совершенно, — о том, что служащая провинция уж очень много больше, чем следует, заражена бюрократизмом. Служащий человек ведет себя и на воле, как на службе. Он недоверчив, он одинок, этот чиновник, очень часто он хищен, он непрерывно боится за свою судьбу и занимается самоспасением. С ним трудно ехать в трамвае, с ним не о чем разговаривать, ибо он хитрит и готов подставить нож-

ку, жене и детям с ним неизмеримо скучно. Мы раздумались о женах этих мелких бюрократов, души которых повреждены бакенбардами. Жена и дети не знают, какие почки настояли сердце их отца и мужа, они чувствуют на себе всю гнетущую, мрачную, иссушающую силу этого родного сердца, которое и на детей своих смотрит затравленными и зайцем и волком одновременно. Мы договорились до того, что бюрократизм есть новая социальная болезнь, биологический признак целой самостоятельной породы людей. Он вышел за стены учреждений, он отнимает у нас друзей, он безотчетно скорбен, он сушит женщин и детей.

На печаль нашу зашел к нам Федор Федорович, бодрый человек. Послушал нас, сказал, как всегда, иносказательно:

— При диктатуре пролетарьята, я так полагаю, при советской власти дорог бояться не надо. К социализму надо идти—по пути трудному, а которые себя облегчают в дороге,—грошь тому цена. При пролетарской диктатуре всякие организации есть дело второстепенное и низкое. Первостепенно надо: делать вещи, покорять природу и—самое главное—искать дороги друг ко другу. Дружество — и есть коммунизм. Он есть как бы напряженное сочувствие между людьми.

Приходили к нам изредка гости—не наши друзья, но друзья Федора Федоровича, местные мастеровые, как любят называть себя рабочие. Каждый день беседовали мы с Федором Федоровичем. Он говорил иносказательно, но точно. Чтобы понимать Федора Федоровича, надо глядеть ему в глаза и сочувствовать тому, что он говорит, тогда его затруднения в речи имеют проясняющее значение. На подоконнике у нас, рядом с дьячком, росли кроткие цветы, не имеющие названия с детства.

Федор Федорович говаривал часто:

— Мастеровой в наши дни стал более скрытным, прямо углубленный и задумчивый человек. То ли это развитие личности, то ли печаль. В старое время общая безнадежность делала нас в своем кругу веселыми и само-

завенными. Теперь у молодых рабочих есть надежда и есть какая-то внутренняя неуверенность в ней.

Часто спрашивали мы Федора Федоровича: как он думает—одна область лучше четырех губерний?

К Федору Федоровичу изредка приходил гармонист. Федор Федорович не знал тогда, чем получше угостить гармониста, заслушивался его и волновался от музыки.

— Рабочий человек,—говаривал Федор Федорович,—должен глубоко понимать, что ведер и паровозов можно сделать сколько угодно, а песню и волнение сделать нарочно нельзя. Песня дороже вещей, она человека к человеку приближает. А это трудней и нужнее всего.

И однажды, слушая музыку, Федор Федорович сказал по поводу области:

— Вот видишь, чем надо людей смазывать. А вы говорите—организация. Она, понимаешь ты, как мучной клей. Помнишь, им газеты к заборам приклеивали, и ни черта не держалось. Нравучительность из нас куда-то пропала. В газетах пишут, что наша губерния вся запаршивела и оскудела. А по-моему, она не оскудела, а ее обели, и об'едали лет сто под ряд. Областью тут не поможешь.

Слушая гармонию, выпивали мы иногда по рюмке водки, и Федор Федорович всегда в таких случаях говаривал:

— Сердечность у нас пропала, необходимость оскудела. Раньше ты мне дорог был, а теперь и умрешь, — все равно.

Федор Федорович рассказывал о своих цеховых делах. — Живого его языка упомянуть невозможно, примерно, он таков:

— Например, так. Он человек молодой, а я уже почти старик. Он приходит в цех, ему дают работу. Я тридцать лет мастеровой, я не грубо знаю дело, а он мальчик, работать не умеет.—Ну, кого послать, скажем, в организацию?—посылаем его, нам он в работе не нужен, работать он не научился, а таких, как я,—я это по душам говорю, положи руку на сердце,—таких у нас во всех мастерских двадцать человек, мне от работы отойти

невозможно. Вот он там и делает власть за нас, а что он понимает!?. Юноши, попавшие в цех, никому не дороги, да и им самим не дорого работать за станком. Ими и затыкают всякие выборные должности, а потом они сами делаются профессиональными руководителями, без всяких прочных товарищеских связей с мастерами. Понятно, что многие молодые рабочие так и смотрят на завод, как на исходную точку своей будущей общественной карьеры, как на временное, бросовое ремесло. Оп поработает год, много два, по всем документам — он рабочий, и тогда начинает итти во всякие высокие двери проф-, парт- и сов-организации. А там наверху, в руководящих сферах, молодому человеку представляется теплота обеспеченной жизни, почетность положения и сладострастное занятие властью. Ну, и многие получают эти блага взамен равнодушия мастеровых, оставшихся при станке. Я своего станка ни на что не смеяю, потому что не уважаю ни имуществва, ни должности. А другие и хотели бы, да не всем же властвовать, ко власти лезут которые верткие, а всем не вместиться. А отсюда и скрытность и задумчивость рабочего советского человека...

Музыку Федор Федорович и его друзья слушали с упоением, еле сдерживая свои героические и жалобные чувства. Худой гармонист пил водку, играл, сохраняя серьезность и глядя на слушателей пустыми глазами, прислушивающимися к музыке. Однажды он сыграл шимми. Федор Федорович и Филипп Павлович и шимми прослушали с волнением. Они не знали, не видели этого таща шелкочулочных ног и бесполох тел, которые из этой музыки сделали провокацию акта размножения. Музыка им предстала очищенной от пошлости, они принимали ее, как музыку людей, а не бесполох ног, как искреннюю тонкую пьесу. По их лицам было видно, что эта музыка для них кажется нежною и энергической, грустью безымянного близкого человека, заблудившегося в сложном устройстве мира, среди людей, холодных, как сооружения. Гармонист кончил играть и выпил для организации

утомившейся души. Мы рассказали Федору Федоровичу правду этого мотива, о той пошлости, которая оплетает земной шар этой музыкой. Федор Федорович смутился на минуту за свои героические чувства, но скоро оправился, оправдав себя:

— Все можно изгадить, — сказал он. — Может, музыкант и не знал, что сделают из его песни. Я так думаю, любое искусство сделано по модели любви. Ну, а ты сам знаешь, что можно из любви сделать, какую мерзость, а чище любви — ничего необходимого нет.

Однажды, тоже после музыки и в дождливый вечер, был такой разговор. Заскрипело вдруг радио, Филипп Павлович сказал Федору Федоровичу:

— Федя, заткни ты этого хрипатога дьявола, мы не к обедне пришли, а к тебе.

Мы говорили о предприятиях, которые работают над объединением пролетариата. Рабочие подсчитали, что они громадны, дорого стоящи, многочисленны. Федор Федорович утверждал, что в них, вместо горячего клея, употребляется остуженный кисель, либо мучная пыль на воде, какими нельзя приклеить к забору газеты. Именно тогда Федор Федорович говорил о том, что у рабочих пропала нравоучительность. Филипп Павлович показал газету, там нарисованы были два пролетарских сапога, которые хотели растоптать попа и толстого лавочника.

— Не понимаешь? — сказал Филипп Павлович. — Поп, — ну, какой он нам нынче враг? — соринка! Лавочник, — да его и давить-то нечего: открой лишний кооператив, и лавочнику — гробик еловый!.. Другие враги теперь родились, вон, например, на шахтах и еще в прочих губерниях.

— А еще вот — грызун, помнишь, рассказывал, в поезде черту искал, — вставил Федор Федорович.

— Во-во, и он, — подтвердил Филипп Павлович, — и прочая бюрократическая бакенбарда, и которые по Кавказам ездят.

Филипп Павлович перебил себя, обратившись к нам:

— Ты вот что объясни нам, — сказал Филипп Павлович. — Почему это все в массы швыряют — прямо, как кирпичи летят. Книгу, пишут, — в массы, автомобиль — в массы, культуру — тоже, значит, в массы, то-есть, к нам, к одному месту, дьячка этого, — он кивнул на подоконник, — тоже в массы, критику — опять давай в массы. От таких швырков голова отлетит.

— Радио же вон дошвырнули!

— Радио — это да, только никто не швырял, я сам сделал на свои деньги. А вот другие вещи, на которые государство деньги тратит, до нас не долетают, на воздухе от трения сгорают, в роде, как звезды, небесные кирпичи.

Федор Федорович подтвердил:

— Зашвыряли массы, прожевать некогда.

Филипп Павлович закончил свою мысль, спеша опередить Федора Федоровича:

— А ведь это только сверху кажется, — крикнул он, — только сверху видеть, что внизу — масса, а на самом деле внизу отдельные люди живут, плещут свои наклонности, и один умнее другого.

Наутро после вечера разговоров о массах Федор Федорович рассказал нам странный свой сон. Сон этот волновал Федора Федоровича, говорил он сокрушенно. Он видел во сне, что он ехал по своему участку. И вдруг ему представилось, что он наяву видит, как под колесами поезда проскакивают границы губернии, области, РСФСР, уездов, райвиков, сельсоветов, районов тяготения к ссыпунктам и элеваторам, сферы действия уполномоченных по расширению площади посевов сахарной свеклы и ликбезов, профсоюзные линии, разграничивающие скрещивающиеся влияния райкомов, райуполномоченных, у-ов, губ-ов, обл-ов, и разных инструкторов и прочих деятелей, организующих труд и область. Федор Федорович видел тысячи линий, жирных, тонких и пунктирных, которые легли на землю так, что из-под них не было видно травы.

Федор Федорович был удивлен своим сном.

— Поди ж ты! — говорил он. — Ведь ежели издать генеральную карту организационного устройства области, чтобы не упустить чего-либо из памяти, чтобы любой ходок и ездок мог бы свободно узнать, под чьим непосредственным воздействием он находится в данную минуту своего жизненного существования, — так такую карту и издать невозможно, бумажный планшет, чего доброго, пришлось бы склеить размером в самую область. Иначе невозможно будет разместить все линии организационного размежевания, невозможно будет четким образом уместить все линии прямых и косвенных соподчинений, планирующих увязок, инструктирующего обслуживания и всего прочего необходимого. Линии, чего доброго, совпадут, лягут одна на другую, и получится сплошная тьма чернильная, в которой не разберешь, кто кем руководит, кто умнейший актив и кто отсталая масса, подлежащая срочной культурной революции... И поди ж ты! — видел я еще во сне архивариуса, — он не пойдет на надел землю пахать или на завод к станку, — он сидит на областном планшете, в щели, сукин сын, — в государственной, заметь, щели, — и чувствует себя спасителем революции!..

.....

Выехали мы из Воронежа степным скучным вечером, в тот час, когда в учреждениях кончили уже передвижку столов и распланировку отделов под областные органы, с тем, чтобы назавтра служащим людям сесть иначе, во имя нового режима писчего дня.

— Федор Федорович, — спросили мы последний раз, выполняя наше задание. — Что же, нужна вам область или нет?

— Не обязательно, — ответил Федор Федорович. — Все вторичное нужно, когда первая необходимость есть.

— А это что такое? — не поняли мы.

— Это, как тебе сказать, — когда мне и тебе отлично, и ребенка пустить к людям не страшно. А второе тебе будет хлеб с закуской. А третье — область твоя. Надоел ты мне с ней.

— А отчего нам станет отлично?

Федор Федорович стал втупик, ответил не сразу.

— От хороших людей, наверное? — полувопросом ответил он. — Наделать всего побольше, чтобы никто не сердчал, — богачей ведь у нас нету, никто не отымет, — и надо уважать друг друга, не бояться. Трудовой человек должен напряженно сочувствовать другому обремененному. Надо уважать человека. Это самое главное. Тогда и труд будем уважать.

Над областью лежала тьма, ровесница сотворения мира, когда мы уезжали от Воронежа, где в столах учреждений пожонились до утра сложные планы и бумаги для вдумчивого выполнения. Федор Федорович провожал нас, ехал на линию исправлять изгадившийся мост. Поездной машинист, поскучав на ненужных стоянках, гнал поезд. По сторонам пути стояли сигналы уклонов и подёмов, пакетажные столбики и прочие ориентировочные знаки, но никакой машинист сроду не справлялся с этими знаками: машинист чувствовал ногами работу паровозной тележки и настроенной душой безошибочно угадывал координату работы машины, скорости, времени, расписания, тяжести поезда и состояния тормозов. Старые паровозные машинисты по виду небрежны: если бы служилый суслик видел машиниста, как он рассеянно ведет поезд и, не глядя, шурует рычагами, то он непременно оставил бы поезд, вылетел бы из него пулей, боясь безусловной гибели, — и он потребовал бы приставить к машинисту контролера, чтобы контролер

«наблюдал». С машиной надо держать себя просто, искренне и самому быть не глупее ее, машина не терпит к себе неопределенных любительских отношений. Все эти мысли пришли Федору Федоровичу. Колеса вагонов отбивали свой речитатив, там проскакивали границы губерний, уездов, вигов и прочего благоустройства. И Федор Федорович сказал:

— Революция, — как паровоз. И революционеры должны быть машинистами.

Поезд подходил к станции, тормоза втугачку схватили разыгравшиеся колеса, под вагоном колыхнулись вагон стрелки и крестовины станции.

— Вот, слышите, — сказал Федор Федорович. — Ведь если бумажного суслика пустить на паровоз, он поставит там наблюдателя к машинисту. Он втугачку зажмет колеса, из-за бюрократической предосторожности, — колеса революции, и при нем, чего доброго, до социализма доедешь немного позже того момента, когда сам паровоз, ведущий историю, сторгит от форсированной работы, таща поезд волокитей на зажатых тормозах.

Федор Федорович сошел с поезда на этой станции. Мы распрощались с ним, расцеловавшись. В нашем вагоне ехали люди с Кавказа, накапливавшие там пластических сил. Нам казалось, что им следовало бы слезть на какой-либо черноземной станции, чтобы отправиться в колхоз на уборку урожая и для выделки кирпичей для новой огнестойкой деревни. Но они ехали — никак не в деревню, нагретые кавказским солнцем.

Ямское поле.
20 сент. 1928.

7. ПУТЕВЫЕ ОЧЕРКИ

Адалис

„Гузаль андижон“ (Андижан пре-
красный)

Вероятно, среди человеческих фантазий об Эдеме существует и такая: «Утром я не стану одеваться и застегиваться; в нижнем белье предстану я пред лице начальника моего, а постель моя останется неубранной, дабы

зреет виноград, где кипит хлопок, где мог я ложиться снова и снова!.. Ничто не заставит меня умыться холодной водой, и обед из 3-х блюд мне подадут в постель; тут же я буду есть дыню».

В стране, где по версии попов-вольгодумцев, отвергающих Тигр и Евфрат, помещался некогда земной рай, где

растет кооперация,—люди носят широкие белые штаны из мадаполама. Весь город—одно непроветренное жилище, защищенное от посторонних взоров легкими тростниковыми навесами; над ковровыми спальнями висит чад бесчисленных кухонь; по таинственным коридорам светотени шлепают ночные туфли сорока тысяч мужского населения, и крейсирует, неминуемо возвращаясь к исходной точке, продавец полотенец... Здесь национальный костюм—нижнее белье. Люди возлежат на пестрых нарах и пьют зеленый чай без сахара—днем и ночью, вечером и утром; испив очередной чай, человек, шутки ради, выжимает над пиналой фаянсовый чайник, как плод граната... В этом городе нет границы между сном и явью; есть час, когда затихают говор, говор, пенье,—но это никакой не сон, а короткое забытие на время горячего бреда... Огромный, позеленелый в трудах самовар воркует круглую ночь.

Потом снова солнце проступает сквозь далекую пыль дорог, по которым бредут верблюды, нанизанные на веревку, рокочут арбы, плетутся ишаки и скачут кони. К небу взвиваются белые паруса базарных навесов, играющие волнистыми мускулами ткани; отряхивая сонную пыль, скрипят ржавые шестеренки морожениц, хлопают голубые крылья лавченков, и долго, по минутам, визжат старинные нарезные замки. По улицам иступленно пробегают водоносы, нагруженные выпотрошенной, бескостной тушей барана; из горла ее, вместо крови, фонтаном хлещет вода... Из-за угла выходит продавец полотенец. Люди подымаются на локте и пьют чай.

Тогда степенно и мирно взмывает над лежащими толпами торговец хлебом. На голове его покоится круглое плетеное блюдо в метр диаметром, нагруженное вкусными хрустящими лепешками, с которых еще не успел сойти горячий загар. Заметив «руссов», булочник скандирует во все горло:

Ой, ей!
Самаркандски лаваш!
Ташкентски мука!
Андижански вода!
Московски продажа!..

Днем и ночью, утром и вечером вертятся эти сумасшедшие карусели...

Они начинаются у вокзала и тянутся на много верст; местами идут сплошным рядом, местами их перебивают улицы с веселыми, пестрыми вывесками—окрисполком, окрземоотдел, совпроф... Ночью карусели искрятся белым электричеством; днем пылают под серым пеплом рубиновые ковры, и узор их похож на план будущей, цветущей земли, обозреваемой с аэроплана... Над каруселями, высоко, в зелени столетних деревьев, висят древние заведения—мягкие сетки с тыквенным основанием; в этих жилищах пульсируют и поют серые перепелки. За так называемым Пьяным Базаром кончается вступительная часть: короткий антракт, заросший полынью и навозом,—и ферия развернулась... Карусель громоздится на карусель. Развесистой китайщиной вздымаются камышевые зонты: шурша лохмотьями, твердыми от пота, кружатся нищие; горными кряжами уходят вдаль арбузы и дыни... Истомленные ишаки и верблюды теснятся вокруг каруселей, не имея чем заплатить за вход...

Но апокрифические карусельные звери—только самовар и чайник. Карусель—это чайхана. А чайхана—это просто-напросто чайная, каких много и у нас, в Москве, на рынках, на вокзальных площадях.

Чайхана—могучее организующее начало; в ней заложен огромный потенциал Востока к общественной жизни. Чайхана—первобытный зародыш коллектива, дикорастущий тропический клуб, выкачавший своими корнями всю жизнь из дома и семьи.

Есть песня:

Женщины и дети лежат дома,
Нюхают свой запах и вдыхают свое дыханье.
Мужчина лежит среди людей,—
О—гей, хозяин, дай нам подушку под локоты!

Старые женщины скоро умрут;
Дочери будут лежать дома;
Сын прибежит к отцу и ляжет среди людей,—
О—гей, хозяин, дай нам подушку под локоты!

На жестких постелях чайханы устраиваются хитрые дела, завязываются мертвым узлом недоразумения, разрубаются дружбы, шумят третей-

ские суды... Здесь пьют из круговой пиалы бесконечный кок-чай, спят вповалку, едят из общей чашки плов, приготовленный вскладчину, и режут дыню за дыней кривым ножом с расцветенной рукояткой (такой нож в сафьяновых ножнах, похожих на стручок красного перца, носит у пояса каждый ферганец).

Можно ли, строя новый Восток, не учесть колоссального значения чайханы?.. В темноте и сырости, в самом центре базара, под плетеной крышей старинного чарсу стоит главная карусель. Ее коврам не дают покрыться пылью; навесы и деревья журчат сознательной прохладой. На красных нарах полулежат, дружески сблизив голы, граждане в широком белбе; под их темными пальцами вздрагивает горловая музыка дютаров. Но из недр карусели глядит, мудро и утвердительно усмехаясь, аккуратный человек монгольского типа в полной европейской форме.

Здесь самый многолюдный клуб старого города—красная чайхана. Когда тов. Мухамеддин зовет нас туда, он подчеркивает: — Очень красивый чайхана!

Кзыл-чайхан в Андижане девять. Плакаты, шахматы, шашки, газеты и брошюры. Десхане, совслужащие, партработники, комсомольцы. В будущем — радио, чтение вслух, народный театр.

Еще два года тому назад «красная чайхана»—это звучало скучно.

Стояли они дуры-дурами, развесив чинные государственные зонты, и завидовали исподлобья своим гулящим соседкам. В крошечных и безвоздушных задних комнатках, где принято испокон земного рая раскуривать зеленую гниль анаши, пылилась по столам ликвидация неграмотности. На месте веселого кума — «самоварчи» — угрюмо дремал лойяльный и высокомерный детина. Райские старожилы обходили «кзыл-чайхану», как притон трезвости и поста, ибо были наслышаны, что прежде, чем выпить чайник казенного чая, следует заполнить анкету. Молодежь забегала на часок почитать брошюры, но чаю из рук высокомерного детины не пила.. А в соседних верте-

пах звенели дютары; бродячие рассказчики и певцы собирали вокруг себя неистовую толпу...

В нынешнем году все переменялось. Чайхан не узнать. Они гудят и сверкают. Под их кооперативную сень перекочевали старейшие певцы Ферганы.

... Сегодня происходит замечательная сцена.

Пятница, праздник. Можно лежать, подложив подушку под локоть, целый день. Но молодой узбек в больших роговых очках и розовом халате недоумен; он строго и подозрительно обращается ко мне:

— Зачем слушаешь? (Это про песню о басмачах, разбитых кзыл-аскерами в ущельях Бадахшана.) Не надо слушать! Это деревенская песня. Ха! Шакал воет, знаешь? Мы, комсомол, любим новую, серьезную музыку!.. Ну, слушай.

Он поет узким, гортанным голосом дервиша и раскачивается в такт своей песне, молитвенно глядя вдаль:

Можно только у-влекача,
Можно только разлю-бить!..

Да, да, из «Сильвы». Из оперетки!

И вдруг взволнованно извиняется, кусая губы:

— Теперь азиатский дютар не годится, товарищ! Теперь нам балалайка нужен, нужен хороший виолончель! Новая жизнь!

Его приятель не дает мне возразить:

— Смейся над нами,—перебивает он меня на полуслове,—смейся, да? (У него юношеское худое лицо, с резкими и благородными чертами, глаза фанатика, чистый небольшой лоб.) Файзлэдин правду говорит — надо учиться. Надо электрический техникум, хозяйственный техникум, пивная, лото! Надо эта дрянь сорвать.—Он злобно одергивает на себе рукав халата. — Люди носят,—о-гей, люди что носят! Синий шевьот, записная книжка, вечный перо! Меня кишлак в Самарканд посылал, Самарканд в Ташкент посылал. Я все видел, краткосрочные курсы партработников слушал, «Заговор Императрицы» слушал, радио слушал, казино играл! Наш народ учить надо—темный народ.

Он задыхается. У него талант агитатора и слабое сердце.

— Где ты работаешь?—Вероятно, мой голос звучит резко и зло, потому что парень вытаскивает из-за пазухи пачку документов.

— На, смотри. Я бывший заведующий здесь. Кто велел из чайханы перепелки выбросить, мужиковские птицы? Я велел. Кто велел азиатские пиалы выбросить, стаканы, ложки купить? Кто велел певцов в шею гнать, чтобы не кричали, как баба рожает? Кто велел книги в шкаф прятать, дуракам не давать? Я велел. Учил «Гирпичики» петь, учил: не лежи, не кричи, сиди смирно. Теперь ругаются—бюрократ, уходи! Не уйду, жаловаться поеду!..

В разговор вмешивается нынешний председатель красной чайханы, высокий старик, склонившийся над шахматной доской. Это Олимджон Рагимов, ветеран борьбы с басмачами.

— Ты—ишак,—спокойно говорит по-узбекски старый Олимджон.—Темный народ посылал тебя на свои деньги учиться, напрасно посылал. Уметь читать не значит понимать, что читаешь, уметь видеть не значит понимать, что видишь. Говорят тебе, возвращайся в кишлак школу строить, больницу строить, почему отказываешься? Ты еще раз ишак.

— Азиат!—кричит, бледнея, «краткорочный партработник». — Режь мое горло, режь, кушай — в кишлак не вернусь! Шесть месяцев не для того учился, чтобы вшей давить в кишлаке! Вот на глазах твоих зарежусь!—Он выдергивает нож из ножен, висящих у пояса Файзлэдина.

Поднимается невообразимый гвалт.

— Растратчик!—ревет группа молодежи, теснящаяся на соседнем ковре.— Колонизатор!

— Националисты!— вопит Файзлэдин.

— Колонизатор! На кого колонизатор? На себя колонизатор!

— Дикари!

— Бюрократ! Вон из комсомола!

— Голодранцы!

— Растратчик! Кого растратчик! Себя растратчик!

— В Америку уеду!

— Самоубийца!

На мою руку ложится огромная, сухая рука старого Олимджона.

— Не бойся, товарищ, сиди, сиди. Это диспут.

Он видит мое удивление, усмехается и, отвернувшись от шахматной доски, начинает говорить. Говорит он медленно, обдуманно, нарочито просто, чтобы мне легче было понять слова чужого языка.

— Был большой народ греки. Хорошо жили, имели много наук. Каждое утро самые умные греки сходились померяться на площадь. Один одно говорил, другой другое, а народ решал кто прав, кто неправ. И чтобы весело было народу, приглашали умные одного дурака. Потом был большой народ арабы, имел науки, имел докторов. Кто такой Аверроэс, знаешь?—доктор. Абу-Новал, знаешь? — поэт. Арабские мудрецы ходили померяться на лестницу мечети. А рядом дурак сидит. Это по-новому называется диспут. Учиться надо нашему народу. Сегодня растратчика переспориваем, придет время—муллу переспорим. Будем диспуты устраивать в красной чайхане, какие диспуты! — на десять тысяч человек! Пей чай и слушай.

„Бухара-и-шариф“ (Благородная Бухара)

Грязные, но прохладные сарай эмирского времени, потайные коридорки, заваленные антикварным старьем, плоские глиняные синагоги, новые шелковые пассажи, пронизанные навывлет голубым сиянием, виноград, кишмиш, винные ягоды, старинные рукописные книги в подворье букинистов, мускатный орех из Аравии, проститутки из Ленинграда, гашиш в фунтиках из «Нашей Газеты», кованые сундуки,—и по черному бархату бухарской галантереи след иудейского влияния: узор хитрый и холодный, как символы каббалы...

Дома здесь узкие и высокие, со складом для торговли или сквозным подвалом для скота; переулки — шириной в раскнутые руки дервиша, а вместо неба—сверкающая вертикальная полоска; с крыш падают комья глины, с

карнизов—желтые кирпичи. По ночам бушует на базарах скудно электрифицированная жизнь, пылают свадебные факелы, стонут флейты. На главной площади гремят фанфары и хрипят казино — рулетка, шмендефер, алтчык — притоны спятившей с ума деткомиссии.

Вот за неделю моего пребывания в Бухаре третья купеческая ночная свадьба, узбекская или еврейская — не разберешь. Она идет с Регистана на Лебе-хоуз под предводительством городского юридивого; глаза его подведены голубым гримом Лейхнера, на голове венец из георгины и астр. Пламя факелов касается грандиозного полотенца, протянутого случайно поперек базарной тьмы. Это полотенце — реклама кино «Юлдуз»: «Женщина с миллиардами»... С бутафорским ликованием свадьба скрывается в тени глиняных небоскребов.

Но в четверг 2 октября по проторенному пути бухарских шествий проплывает процессия другого рода; ее могучие факелы коротки и коренасты; впереди властно выступает приземистый старичина, жонглирующий ножами: в сиянии факела округлые формы его ножей говорят о неискоренимом отвращении к убийству и многовековой войне с природой.

За процессией валят праздничные толпы; дети и милиционеры неистово свистят. Из рук в руки переходят росистые, крутые пучки мяты и тмина; обычно эта ясная зелень бывает холодна, как горный снег, но мне попался пучок уже подержанный и теплый; от смеси росы с человеческим потом он стал едким, как рыбацкий дым... Базарный глашатай трижды трубит в медную дудку и кричит:

— Вот идет кишлачный совет, который первым внес сельхозналог! Чествуйте его!

Кишлачная процессия буйно вываливается на главную площадь и пересекает ее, чтобы вернуться кружным путем на Регистан.

Главная площадь называется Лебе-хоуз. Она расположена в самом конце или начале базара — как считать. Посреди площади квадратной глыбой зелено-

го нефрита залег огромный хоуз-пруд. Ночь и электрификация. Вокруг пруда на скамейках бранятся самарским матом молодые торговые узбеки. Вокруг скамеек, на коврах чайхан, под стенами мечетей орут по-узбекски русские безработные. Библейские толпы стариков в парчевых шлафроках осаждают рулетку. На балконе кинематографа оркестр: фанфары, литавры и барабан. Наискосок «Кружки пива», в глухой разбойничьей пещере заброшенного медресе собирается по ночам играть в кости весь преступный мир города. Здесь нередки драки, возможна кровь. Милиционер — комсомолец; он с брезгливым и страдальческим видом гуляет вокруг этой рембрандтовской шушеры, и левая рука его перманентно сжата в кулак, а правая покочнется на кобуре кольца.

Деткомиссия буйствует. Старики в шлафроках ожидают, что под знаком деткомиссии откроется публичный дом, — это совершенно серьезно. Львиную долю гомерических деткомиссионных доходов — две трети — с'едает штат служащих. Большинство служащих деткомиссии — инвалиды; большинство инвалидов — без видимых повреждений. Расхлябанные, напудренные, похожие на актеров, они слоняются днем по харчевням, хулиганят и плевают:

Цыпленок жареный,
Цыпленок вареный...
Цыпленок тоже хочет жить!
Мне только тридцать лет,
А я припадочный,
И вы ничем меня не можете смутить!

Это тоже совершенно серьезно.

Рабочие и низовые совработники не навидят деткомиссию. Утверждают даже, что Лебе-Хоуз с'едает электрическую энергию Бухары. В красных чайханах невозможно читать; приходится играть в шашки.

Я сижу в клубе гормилиции и пишу очерк для газеты. Через мое плечо глядит работник окрфо.

Я пишу:

«В годы последних эмиров сюда стекались с утроенной яростью мусульманские паломники и русские купцы. По вечерам над малахитовыми болота-

ми хоузов билась в судорогах бродячие поэты из Хоросана и прогуливались персонажи Островского... После сотен лет болезни и мрака малахитовые болота осушены: бесы малярии и ришты изгнаны из них вместе с гнилыми поверьями; персонажи Островского густо поросли быльем, но Бухара-и-Шариф — все та же центральная ярмарка Средней Азии; Бухара должна остаться базаром и по исторической подготовке и по экономическому положению. Трех десятков настоящих работников с головой на плечах и трех лет работы без разгильдяйства достаточно, чтобы сделать из Бухары большой советский рынок...».

Работник Окрфо перебивает меня:

— Работник нет, товарищ! — резко говорит он. — Кем недоволен центр, того направляет к нам. А если кто сам едет, значит, хочет нажиться. Разве это инженеры здесь, разве красные купцы? Разве это учителя ведут культурабату? Это — налетчики!

Его слова покрывает истошный крик с Лебе-хоуза. Там «исправляются» в пивной те, кем был недоволен центр. Товарищ из Окрфо прислушивается; его волей-неволей тянет из темного клуба на люди и на электрификацию. Мы идем в «Кружку пива». Садимся. Слышно, как за стенами «Кружки» жужжит казино.

Центральный столик занимают почетные гости: молоденький инженер-строитель с тысячным окладом (областная цаца) и трое пожилых неизвестных с аккуратными проборами.

— Что же здесь делать, как не спиваться? — *задушевно* урчит строитель. — Время-то куда-нибудь девать надо? Работать ведь только три часа в сутки, да? — таков уговорчик, извините! Спину я гнуть сюда приехал, что ли? Жаль только — пить, как следует, не умею! Вот Хива пьет, Ташауз пьет!..

Он собутыльничает с людьми особой расы, потому что «интеллигенции в Бухаре мало, да?». Эта раса называется «минус шесть»; она явно отличается от трудового человечества скверной формой черепа и прекрасным цветом лица. Собутыльники лебезят перед спецом и пленяют его тем скромней-

шим достоинством манер, которое может дать человеку лишь один институт в мире — трудовой советский исправдом.

Рассказывают, будто после тяжелой маяты в Мацесте или в Ессентуках дается три недели в Кисловодске... После положенных лет социального лечения дается столько-то времени на теплых и многолюдных окраинах. Мягкие личности, окружающие пьяного спеца, заняты на общественных работах: роют арыки, грузят хлопок; это не мешает им составлять на досуге отчеты для перегруженных ответственных, консультировать нацвыдвиженцев, принимать поставки для госучреждений и вести, где подвернется, культурабату. Некоторые дают частные уроки языков и... обществоведения. По ночам для них звучат фанфары «Юлдуза», и цветет на прилавках позднего базара зеленая, как резеда, фисташковая халва.

— ...Среди работников же из коренного населения самое зло, — упрямо продолжает мой спутник из Окрфинтдела и запинается... — венерические болезни! — наконец, выпаливает он, преувеличенно роясь в деловых бумагах, брошенных на столик пивной...

Это дикое на первый слух утверждение подтвердили в здравотделе. И добавили, что семьдесят процентов знаменитого «бухарского» сифилиса падает и первую и вторую стадии. «Цветы цивилизации» ввозятся на Лебе-хоуз московскими и ленинградскими проститутками. Большинство проституток — административно-ссылные. Они переходят здесь на «натуральное хозяйство», на серьезные романы с молодыми узбеками. С кипящего Лебе-хоуза зараза кидается на тихие кишлаки...

Но если в городе бедствие гуляет скверным анекдотической в шимми и шелковых носках, то в далеких селах оно равняется по библейской проказе: может ли притти постыдное через круговую чашу и материнский поцелуй? Декхане не стыдятся сифилиса: они ездят лечиться целыми семьями, они со слезами и криками требуют врачебных пунктов на местах.

Случается даже так, что через «самое худшее» приходит в глухие углы бывшего бухарского ханства настоящая революционная победа; через затхлую «цивилизацию» Лебе-хоуза — новая культура и новый быт. Недавно, убедившись на венерическом примере в преимуществах «советского» лечения над заклинаньями знахаря, декхане четырех кишлаков, затхлых и отдаленных, выхлопотали себе целую светлую больницу с хиной и... детские ясли; пятый кишлак прослышал от молодого землемера о медицинских экспериментах Москвы — в первую очередь о наркотиопансерах. И вот является однажды в бухарский тропический институт старик, изъеденный люэсом и опиумом; он распахивает на груди рубаху и кричит по-таджикски:

— Пробуйте! Я согласен. Я хороший человек.

Этот старик оказывается кишлачным знахарем среднего идеологического веса. Бедный он старик, как ни крути: больной, грязный, ветхий и даже почти не опиум для народа, потому что ни баранов, ни пряжи декхане ему не волюсу¹ и ни единому слову его не верят.

Незаметный всеми Лебе-хоуз связан с недрами базара узким переулком. Неба над переулком нет, потому что верхние этажи домов выступают над нижними, как в старой Англии, а карнизы над верхними — как в пражском гетто. Переулок живет ночью; с левой руки тянутся озаренные керосиновыми лампами растворы восточных сластей, с правой — хорошо наэлектрифицированные ювелиры и австриец Лангбауэр, из военнопленных, торгующий лучшей в Туркестане кустарной колбасой. Сладкий ряд кончается зданием ГПУ; ювелиры упираются в красную читальню милиции... Земля переулка стала лиловой и скользкой от частых поливок.

В Бухаре, за пределами базара, земли нет: есть утоптанная военными веками белая пыль; в воспоминаниях Бухара кажется сработанной из разлагающегося мрамора. Особенно бледен Регистан.

Регистан — старая площадь, в отличие от новой площади, Лебе-хоуза. Здесь

расположены исторические памятники — цитадель бывшего эмира и главная мечеть; здесь же — административный центр всей Зеравшанской округи, средоточие советских и партийных учреждений. С базара сбегаются на Регистан колоссальные минареты, облицованные глазурью; у этих молитвенных башен форма фабричных труб.

На Регистане остались всего две чайханы, — и не чайханы это вовсе. Вот первая: в тени древней мечети пара утлых кроваток, полная могильных червей, развесистое дерево, каплющее душистыми жуками, и старик хозяин с огромным лбом, перламутровым от грязи и благочестия. Вторая: на земляном возвышении коврик уличных акробатов; на коврике — позелевший самовар; за самоваром — калекка, недавний басмач. Площадь пустынна; ее пересекают продавцы винных ягод. Винные ягоды протягиваются покупателю на шестипалом листе.

Напротив крепости стоит здание педтехникума, сложенное из сырцового кирпича. Многие думают, что вход туда воспрещен, как в монастырскую школу. «Алла акбар! Там учатся стать наркомками и, может быть, делают снаряды!..». Под стены техникума иногда приходит погордиться своим племянником холодный сапожник. Бывший басмач поит сапожника кок-чаем, и оба долго, не мигая, созерцают окна техникума. Наконец, бывший басмач говорит:

— В позапрошлую пятницу я уразумел, что сын старше отца, ибо, чем позже родился человек, тем больше лет прошло до его рождения от первого года Гиджры!

— О-а! — восхищенно возражает холодный сапожник, — я хотел бы, чтоб это было так! Мы могли бы с чистой совестью почитать своих детей, и, полагаясь во всем на их мудрость, сидеть, сложа руки!

Но из мечетной чайханы откликнется старик с перламутровым лбом, погрязшим в благочестии (слух у бедняги, как у совы):

— Слава Аялаху! Творения Пифагора и Аффлатуна¹⁾ приучили меня начи-

¹⁾ Платона.

нать летоисчисление не с первого, а с последнего дня существования мира! Мой сын должен целовать мне ноги, а что касается техникума, то да будет он проклят!

У сапожника багровеют скулы:

— Досточтимый! — орет он.—Ты любишь смерть, как старая ворона! Да вздоржает баранина для таких, как ты, вдвое, и да отсохнут от земли твои ноги!..

Он встает пофланировать немного мимо техникума и скоро сворачивает к базару...

На Регистане зной и тишина. 60° зноя и тишины по Реомюру... Продавцы винных ягод засыпают на веранде мечети. Потом из исполкома выходят люди с потными портфелями.

Ранним вечером одиночки, сидящие на земле Регистана, вполголоса сплетничают о далеком, нечестивом Лебехоузе, что там делается сейчас, и кто, наверное, пошел уже в «Кружку пива»...

Можно встретить в Бухаре и Шариф квадраты чистоты—площадки на задворках базара... Как драгоценная мегильная плита, лежит посредине зеленый хоуз, и кривые деревья свистят на знойном ветру. На ветвях висят темные бурдюки водоносов, сверкающие, как потные конские бока... Это—висячее стадо без голов и без ног, мертвый и бесполой табун, не приносящий приплода, коллективное хозяйство десятка нищих пастухов!.. Посмертная жизнь барана длинна и сурова: иному бурдюку лет двадцать, иному—пятьдесят; он переживает своего хозяина и переходит по наследству к его сыну. Когда у Абдукадыра умер брат, Абдукадыр, плача, сказал: «Брат мой умер и скоро от него ничего не останется. Поистине, зверь счастливее человека! Баран, издохший десять лет назад, стал бурдюком; он работает на меня и видит солнце. Ветер сушит его, и вода смягчает...».

Водоносы приходят к хоузам седмижды в день. Кряхтя и вздыхая, каждый снимает с ветвей родного барана и спускается с ним к зеленой воде; напоив бурдюк, водонос взваливает его на пле-

чи и уходит в город для коммунальных услуг.

Труд водоноса — древний труд. Эту согбенную спину, этот сухой рот, полуоткрытый от натуги, этот клокочущий хрип встретишь в дебрях «Тысяча и одной ночи». Водонос поливает базар и площадь. На старой социальной лестнице Востока водоносу отведена низшая ступень, ступень позорной нищеты, заслуженной глупостью и беспутством, в отличие от лестной аллаху нищеты бездельников и святых. Быть нищим и работать, иншаллах (!), совсем не то, что быть нищим и молиться! Водонос на сухом Востоке—морзяк; он может браниться, горланить непристойные песни, харкать собственной печепкой и кормить вшей...

Вот он идет, старый Абдукадыр, брат покойника; он спешит в полдень к своему стаду; еще без поклажи на спине, он согнулся под полувековой нищетой, принявшей вес наполненного бурдюка... С ним встречаются двое таких же, как он, и все вместе сходят по ступенькам к хоузу освежить свои сухие ступни. В квадрате тишины светло и чисто. Сюда не долетает базарный шум. Здесь не пахнет ни азартным потом торговли, ни мясной пищей, потому что седьмой пот водоноса—пресный пот, и лепешка нищего не имеет запаха, как верблюжья кость, омытая песками. Спутник Абдукадыра говорит, ритмически повышая и понижая голос, вращая глазами и воздевая к небу худые руки: так читаются сунны Корана. Он говорит:

— И я внес в союз коммунальников двадцать девять копеек! И, когда я вошел, сам союз коммунальников сидел на стуле. Он сказал, что даст нам башмаки, облегчающие походку, и седла для спин, чтоб вода не просачивалась через кожу в кровь! Тогда я ответил: «Сын мой, я видел тебя выигравшим в лото большой котел! Что ты знаешь о нашей воде? Что ты знаешь о нашей крови? Мы сложены аллахом в подставку для бурдюков. Дай лучше моему внуку учиться в Ташкенте, чтобы он сделался наркомом пастушества, и, авось, с его помощью наши бараны будут доживать до дыр в шкуре!.. Плани-

вать же базар обязана пожарная машина с кишкой!

Друзья одобрительно цокают. Они уже с'ели свои лепешки, не имеющие запаха пищи, и поднимаются к деревьям, свистящим на знойном ветру. Каждый снимает с ветвей свою ношу, хлопает ее по бокам и по крупу и прополаскивает в хоузе. Черный бурдюк — последний баран водоноса...

А за светлой площадкой чайхана железнодорожников похожа на маленький блиндированный вагон, оторвавшийся от коллектива и ставший в тупик. Вче-

ра тут остался переночевать парень в серой рубашке. Он остановился по пути в тот самый кишлак, что ко 2 октября внес полностью сельхозналог. Парня зовут Солейман. Он едет из Москвы.

— Что ты там делал? — строго спросил хромой узбек, приходящий по вечерам помогать заведующему чайханой раздавать самовары.

— Я учился.

— Но чему ты выучился?

— Я выучился работать.

— Но почему же ты возвращаешься обратно?

— Меня послали из кишлака, чтобы я вернулся в кишлак.

8. ПИСЬМА О ЗАПАДНОМ ТЕАТРЕ

Театры Берлина

Н. Волков

I.

Грохочет автобусами Фридрихштрассе. Точно узкий канал, тянется она с севера на юг, торгуя всем, начиная от фильмов и кончая галантерейной мелочью. Ближе к Хаалишестор разместились многочисленные фильмовые конторы; от них — у современной Фридрихштрассе репутация кинематографического проспекта. Вечером над Фридрихштрассе зажигаются электрические рекламы, вспыхивающие и гаснущие, золотым дождем льется в бокал электрическое шампанское, а по карнизу пассажира бесконечной лентой тянутся движущиеся надписи. Перед выборами в рейхстаг по этому карнизу плыли лозунги социал-демократов.

Я вспомнил о Фридрихштрассе потому, что разителен контраст, когда сворачиваешь с неё на Unter den Linden. Старая улица «под липами» сейчас утратила свое бывшее прогулочное значение, её «забила» модная Kurfürstendamm, но под вечер приятно пройти между рядами высоких, еще по весеннему свежих, ярко-зеленых деревьев. Вы подходите к университету и смотрите на расстилающуюся перед

вами спокойную площадь. На одной из сторон этой площади — знаменитый оперный театр Берлина, за которым виднеется громадный собор. Последние два года театр был закрыт для капитального ремонта, и только в апреле этого года вновь торжественно открылся.

В тот вечер, когда я был в опере, здесь шла одна из ранних композиций Верди — «Сила Судьбы». На сцене разыгрывалась мрачная итальянская трагедия с многочисленными смертями, монастырями и замками. Как все оперы Верди, и «Сила Судьбы» требовала большого вокального искусства, и это искусство было налицо. Но — боже мой! — какая вопиющая рутинность сковывала каждое движение актеров, какая затхлая эстетика определяла весь стиль этого торжественно текущего спектакля! Тенора, баритоны и сопрано любили, мстили, страдали и спасались под сень католического креста, прижимая руки к груди или воздевая их к небу, подходя к самой авансцене, чтобы бросить в публику высокую ногу, и грузно опускаясь на колени в сценах молитвы. И над всеми этими «братьями» и «сестрами»,

«возлюбленными» и «невестами» голубым потоком лился лунный свет, управляемый искусной рукой электротехника, или тянулись тяжелые дождевые облака, когда голубую ночь сменял пасмурный день сраженья.

Так обстояло с Верди, но не лучше в сценическом отношении обстояло и с Вагнером. В другом оперном театре (Städtiche Oper) я слушал «Тристана и Изольду».

Казалось бы, вот произведение, где партитура дает такие широкие просторы для воображения режиссера и художника, где можно применить столь уместный для вагнеровских музыкальных драм принцип архитектурной трехмерности. Ничего подобного! Декорации выглядели бездушными заливанными олеографиями, совершенно безразличными к стилю письма. И такими же ходульными выглядели и сами герои — и рыцарь Тристан и его белокурая Изольда. Только в оркестре жила душа Вагнера и заставляла невольно закрывать глаза, чтобы слушать музыку, но не видеть сцены.

В этом же театре мне удалось познакомиться с новой оперой Кшенека «Джонни наигрывает» (Jonny spielt auf). Опера эта современна не только по своему автору, но и по своему сюжету, по своим действующим лицам и по своей музыке, впитавшей в свою инструментовку все острые звучания современного джазбанда. Я не берусь делать музыкального разбора «Джонни», но меня интересовал вопрос: как режиссер и декоратор разрешат проблему того сатирического и



«Ткачи» Г. Гауптмана в постановке Л. Иесснера



«Ткчай» Г. Гауптмана в постановке Л. Иесснера.

насмешливого подхода, в каком Кшенек взял джазбандную современность. И что же? Вновь на сцене — «красивенькие» декорации, комнаты, напоминающие обложки модных журналов, — в лучшем случае, наивный натурализм, выражающийся в настоящем автомобиле или в иллюзии подходящего к станции поезда. Только в главном исполнителе оперы — негре Джонни, которого отлично пел и играл молодой бас Гоффман — жил беспокойный синкопический ритм джаз-банда.

Неподвижность и рутинность берлинской оперной режиссуры (в тех спектаклях, которые я видел) еще больше почувствовались мною, когда я получил возможность осмотреть оперный театр на Unter den Linden со стороны его технического оборудования.

Если с внешней стороны театр сохранил свой исключительно исторический облик, то за гранью рампы была произведена полная техническая революция. Технический директор Люнебах, по чьим планам и под чьим руководством производилось переустройство сцены, дал полную волю своей инженерской фантазии. И вот перед вами — не театр, а завод, где всё механизировано, машинизировано, где всё сделано для того, чтобы каждый художественный замысел получал свое легкое и быстрое осуществление. Вместо одной сценической площадки, — их пять или шесть, и на них одновременно ставится полное декоративное оборудование каждого акта. Площадки сменяют друг друга в 6—7 секунд. Две — выдвигаясь с боков, одна — при-

двигаясь сзади, одна — поднимаясь снизу. И всё это движется, как часовой механизм, с помощью гидравлических колоссальных машин.

Извлечены ли из этих технических возможностей какие-нибудь художественные эффекты, кроме самых обычных? Нет, пока не извлечены. Усовершенствованный механизм театра использован лишь со стороны технической. Убыстрилась перемена декораций, получилась возможность сократить на 50 проц. технический персонал (раньше было 100, теперь 50 рабочих) и только. Великолепный театральный завод, дающий возможность динамизировать сценическое пространство, пока остается орудием для производства устарелых сценических композиций. Техника переигнала режиссерскую эстетику и ждет, пока постановочная часть учтет предоставленные ей машинные ресурсы.

II

В государственных драматических театрах нет принципа серийности в репертуаре. Еженедельная афиша включает в себе как произведения классиков, так и больших писателей недавнего прошлого или современных авторов — немецких и иностранных. Рядом с Гёте и Шиллером (I ч. «Фауста», трилогия о Валленштейне) вы встретите «Меру за меру» Шекспира, «Пера Гюнта» Ибсена, «Ткачей» Гауптмана; «Принц Прусский», одна из последних пьес фон-Унру, перемежается с итальянской комедией «Среди танцующих платьев» и мелодрамой «Калькутта».

Большинство пьес идет в постановке Леопольда Иесснера. Иесснер управляет берлинскими государственными театрами уже десять лет. На пост главного интенданта выдвинул его новый республиканский режим. Для того, чтобы судить о его режиссерской мощи, нужно было бы посмотреть не одну иесснеровскую постановку; я выбрал для ознакомления лишь одну из последних его постановок — «Ткачей» Гауптмана.

«Ткачи» поставлены Иесснером очень реалистически, с подчеркиванием от-

дельных бытовых подробностей и явным уклоном в натурализм. Первый акт открывается сценой сдачи ткачами хозяину вытканной материи. Иесснер строит эту сцену на растянутом ритме, стараясь повторением одних и тех же впечатлений создать настроение угнетенности и беспросветности. Непрерывной очередью движется землистая масса ткачей, приказчики бросают на весы штуки материи, обсчитывая и обегоривая рабочих. Самый бунт ткачей Иесснер показывает как взрыв слепой стихии. Когда в третьем действии ткачи громят квартиру фабриканта, то ярость, с какой разрушается мебель, бьются зеркала и люстры, представлена Иесснером в чертах бессмысленного погрома. Хороша лишь деталь: прежде чем начаться погрому, на сцене не полная и зловещая тишина, и потом сразу — звон, дребезг, разрушения. В последнем акте — квартира ткача, не успевшего присоединиться к стачечникам, — Иесснер дает попытку символического обобщения. В центре картины он сажает слепую и глухую старуху-ткачиху, которая придет без усталости, как античная Парка, свою политу горькими слезами пряжу, и, кажется, нет конца этому прядению; как нет его униженному и угнетенному положению ткачей.

Может быть, Иесснер ставил так безусловно «Ткачей», не желая нарушить авторскую волю Гауптмана. Как бы то ни было, но Иесснер от этой переоценки гауптмановского текста уклонился, и потому его «Ткачи» остаются лишь картиной мрачного быта. Полог пессимизма нигде не освещен даже проблеском героических мелодий революции.

В театре на Bulowplatz, принадлежащем Volksbühne, я смотрел «Двенадцатую ночь» Шекспира. Bulowplatz находится на севере Берлина в рабочем и бедном районе. Когда, прорезав в вагоне подземки город, поднимаешься на поверхность, — в глаза резко бросается какая-то неустроенность и запущенность северного Берлина. Сама площадь изрыта там и сям ямами, недоделана, завалена в отдельных частях

обломками кирпича и ничем не радуется взгляда. Здание театра, построенное в манере модернизованного классицизма, стоит точно на юру, одиноко и случайно.

«Двенадцатую ночь» Москва знает по постановке первой студии Художественного театра. Тогда студия не была еще МХАТ'ом 2, «Двенадцатая ночь» шла в небольшом зале на Советской площади и представляла увлекательный и веселый спектакль. Бесперебойная смена многочисленных картин разрешалась путем применения остроумно скомбинированных занавесей. Вообще была в этом студийном спектакле удивительная легкость (увы! во многом исчезнувшая при переходе на большую сцену).

Я вспомнил сейчас об этом потому, что велик контраст между «крещенским вечерком», созданным Станиславским, и очень плотной и грузной постановкой той же «Двенадцатой ночи» в Volksbühne. Условная декорация в виде трех смежных арок-ворот, возвышающихся на площадке лестницы, и не-



«Живой труп» Л. Н. Толстого в постановке Макса Рейнгардта



«Живой труп» Л. Н. Толстого в постановке Макса Рейнгардта

большая узкая авансцена служили местом игры. В арки виднелся белый горизонт, на который наводились световые декорации, изображающие то гавань с кораблями, то сад, то улицу города. Все это световое убранство было выдержано в нестерпимо голубой тональности. Лазурь напоминала те «лазурные дали», какие видишь на туристских плакатах, зазывающих посетить Ривьеру.

Но самое главное, — актерская игра показалась мне построенной на чисто внешней трактовке и лирических и смешных мест. Комики звонко шлепали друг друга и произносили текст с жирным нажимом. Вся любовная интрига развивалась сухо и угловато. Казалось, что режиссер сделал все, чтобы уничтожить поэзию шекспировской шутки, всю эту радугу любви, музыки, мрачной романтики кораблекрушений и пьяного разгула «старой Англии».

Знаменитый режиссер Макс Рейнгардт «ведает» четырьмя берлинскими театрами. Но этом совсем не означает,

что именно в Берлине можно познакомиться с постановочным искусством знаменитого режиссера. Макса Рейнгардта больше увлекают заокеанские гастроли в Северной Америке и летние фестивали на родине Моцарта — в Зальцбурге. К тому же период бури и натиска в биографии Рейнгардта уже остался позади, и для того, чтобы по настоящему оценить место Рейнгардта в истории современного театра, следует обратиться к монографиям, ему посвященным, а не к спектаклям его театра.

Однако мне посчастливилось, потому что в «Дейтшес Театр» вскоре после моего приезда была объявлена новая американская пьеса «Artisten», приспособленная для немецких сцен Осипом Дымовым. Эта мелодрама, в которой изображаются нравы американских варьете, должна была идти как раз в постановке самого Рейнгардта и потому вызвала к себе повышенный интерес. Для нас, москвичей, интерес этой премьеры еще увеличился от того, что в главной роли выступал бывший актер Камерного театра Владимир Соколов, играющий теперь на немецком языке и являющийся одним из премьеров рейнгардтовского театра. Кроме Соколова, в пьесе были заняты одна из молодых звезд Берлина — Грета Мосгейм и венский комик Мозер.

Содержание пьесы чем-то напоминало старого «Кина». Соколов играл гениального, но беспутного эксцентрика. На фоне варьете разыгрывалась несложная любовная драма с благополучным, однако, концом. Для того, чтобы лучше представить варьете, Рейнгардт ввел в состав исполнителей настоящих эксцентриков, танцоров, джазбандистов и среди них такого замечательного тандора, как негр Дуглас. Сама постановка была реалистической, с подчеркиванием характерных штрихов и деталей. Действия дробились на отдельные картины, и смена их в пределах актов происходила на глазах публики путем вращения сцены. Во время этого вращения неожиданно открывался вид со сцены варьете в его зрительный зал и, таким образом, настоящий зритель оказывался сидящим как бы за кулисами мюзик-

холля и смотрел на других «зрителей». Этот прием был несомненно интересен, но, повторяясь неоднократно на протяжении спектакля, скоро переставал волновать. Однако главное противоречие этой рейнгардтовской работы заключалось в какой-то неслиянности театра с подлинным варьете, куски которого были щедро вкомпанованы в общий ход спектакля. Отдельные аттракционные номера казались слишком подлинными и натуральными. Они не были театрализованы, поэтому мешали драматическим актерам, играющим артистов варьете. Особенно трудно приходилось Соколову, которому нужно было убедить публику в том, что он — гениальный клоун. Этой гениальности, по-моему, Соколов не передал, но его трактовка роли все же давала много интересного для суждения о манере игры. По сравнению с московским периодом, Соколов стал играть гораздо мягче и психологичнее. Его образ не носит былой гротескной заостренности. Вероятно, немцы этот психологизм Соколова очень ценят, да и, действительно, в оправе немецкого языка и немецкого ансамбля он придает особую прелесть Соколову.

Рядом с Соколовым очень выделялось и большое дарование Мозера. Мозер играл режиссера варьете, и его исполнение одинаково отвечало бытовой правдивости и какому-то особому умному юмору, который бывает всегда у первоклассных характерных комиков, скажем, типа Давыдова. Наконец, Мосгейм, артистка лирического склада, давала в своей игре прозрачность и чистоту, какая бывает всегда у артистов с легким холодком.

На английской пьесе «Поступила ли Констанс правильно?», принадлежащей перу Сомерсета Могама, тоже стоит остановиться. Эта пьеса шла в другом рейнгардтовском театре — «Камер-шпиле», находящемся под одной крышей с «Дейтшес Театр». Самую Констанс играла одна из первых актрис Берлина — Леопольдина Константин.

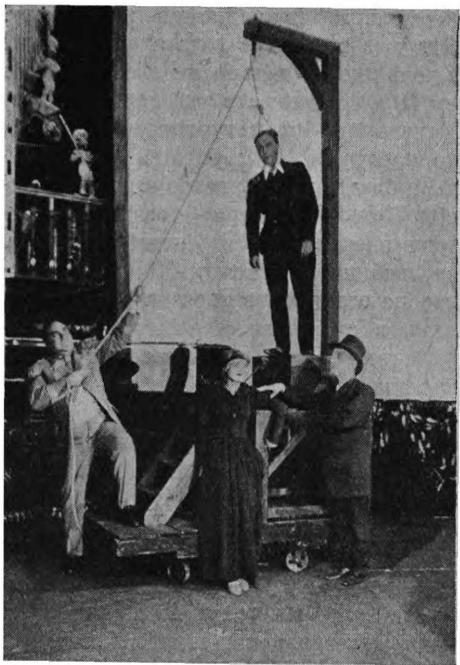
Констанс — умная и проницательная женщина, умеющая находить

выход из тех щекотливых положений, в которые ее ставит легкомысленное поведение мужа. Пьеса построена в виде иллюстрации к заключительному вопросу, предъявляемому зрителю — «Поступила ли Констанс правильно?».

Я не знаю, ломают ли посетители «Камер-шпиле» голову над этим вопросом, но пьеса настолько пришлась по вкусу буржуазному Берлину, что обеспечила театру сборы чуть ли не в течение полугода.

Успех Констанс очень показательный. Он ясно рисует один из путей современного немецкого театра. Этот путь можно назвать путем разговорного театра, не ставящего никаких больших проблем, не вызывающего никаких сильных волнений или потрясений, но дающего возможность провести два—два с половиной часа отдохновительно и бездумно.

Зрительный зал во время таких спектаклей выглядит гостиной, в которой сидят и слушают бойкий диалог, остроумную игру слов, а опытные в этом жанре актеры не столько играют, сколько замечательно произ-



«Трехгрошевая опера». Постановка Ф. Энгеля (Театр на Шифбауердамм)



«Трехгрошевая опера». Постановка Ф. Энгеля (Театр на Шифбауердамм)

носят свои роли. А надо признать, что немецкие актеры владеют искусством сценической речи превосходно. Слушая их, невольно забываешь, что для актеров произносимые ими слова чужие, — так они хорошо усвоены и произнесены. Когда же перед вами появляется настоящий сценический талант, то соответственно возрастает и художественное наслаждение. Такое наслаждение получаешь, например, от игры Леопольдины Константин, играющей свою роль с той превосходной сдержанностью и тактом, которые так требуются для настоящей комедийной актрисы. Но не следует задавать вопрос, является ли подобный разговорный театр выразителем каких-то чаяний и надежд, каких-то стремлений к далекому или близкому идеалу. Нет, конечно, нет. Это — театр, низведенный со своих высот, театр, дающий материалы для суждения о вкусах определенных слоев общества, но не имеющий никакого общественного значения.

Вершиной такого разговорного театра является спектакль в театре

«Трюбине», принадлежащем Роберту. Вот уже скоро два года здесь изо дня в день идет одна и та же пьеса «Шпиль им Шлосс» («Игра в замке»). Эта пьеса Мольнара — драматургический пустяк, но мастерски сделанный и расцвеченный блестящим и остроумным диалогом. Цель Мольнара — создать у зрителя впечатление не столько театра, сколько игры в театр. Я не буду подробно останавливаться на содержании этой, в сущности чрезвычайно бессодержательной пьесы, но расскажу лишь, как она начинается. За небольшим столом в гостиной замка сидят трое мужчин в смокингах — двое пожилых и один молодой — и ведут самый непринужденный разговор. Один из них, драматург, жалуется на то, что ужасно трудно начинать пьесу. Это неожиданное вступление сразу определяет тон спектакля. Слова «драматурга» воспринимаются равно как признание самого Мольнара и как своеобразная завязка к тому, что произойдет дальше, а так как «драматург» пишет в течение трех актов нужную по ходу действия пьесу, то и получается забавный жанр, который можно назвать пьесой в пьесе. Немцам этот прием Мольнара чрезвычайно нравится и, действительно, с точки зрения драматургической техники, он превосходен. В театре «Трюбине» вполне разгадали стиль Мольнара, и актеры с удивительным мастерством осуществляют замысел Мольнара создавать иллюзию жизни, а не искусства. Они даже играют без грима, и этим еще больше стирается грань между подмостками и партером.

Несмотря на свое громкое название, театр «Трюбине» — театр интимный. Эта тяга к интимности не случайна — она присуща буржуазной Германии. И такой тонкий знаток психологии зрителя, как Рейнгардт, отлично учел это течение вкуса. Если в начале немецкой революции Рейнгардт мечтал о театре на 5.000 зрителей и работал над монументальными постановками, то в последующие годы он стал думать о театрике на 200—300 зрителей и о репертуаре, состоящем из пьес, посвященных переживанию пяти-шести людей. Таким театриком на 300 зрителей является театр «Комеди», открытый Рейнгардтом в са-

мом центре богатого Берлина, на Курфюрстендамме. Два яруса лож и несколько рядов кресел, в которых удобно и комфортабельно сидеть, вот и весь «партер» театра.

Я видел в «Комеди» два спектакля: комедию Штернгейма «Die Kassete» и небольшое обозрение «Es liegt in der Luft».

Штернгейма, как драматурга, у нас мало знают. Его пьесы переводились, но не ставились, хотя не раз то или другое название комедии Штернгейма встречалось в предполагаемом репертуаре московских и ленинградских театров. Штернгейм воспринимает современное общество сатирически и стремится показать психологические силы, которые определяют поступки людей. Эти элементы психологической сатиры мы находим и в «Кассете». Перед нами проходит история провинциального педагога, возвращающегося в свой городок после свадебной поездки. Этот инспектор гимназии женился вторично, но он не учел враждебного отношения к его новому браку со стороны богатой тетки. И вот тетка, решив отомстить племяннику, придумывает коварный план мести. Она отдает ему на хранение шкатулку (Die Kassete) с принадлежащими ей ценными бумагами и этим как бы авансует племянника насчет наследства. На самом же деле, тайком от всех она составляет завещание, согласно которому все содержание шкатулки отдается в пользу церкви.

Я не сказал бы, что «Ди Кассете» драматургически сделана безупречно. Автор, хорошо завязав узел сюжета, слишком быстро дает разгадку, и уже во втором действии вы знаете, чем кончится пьеса. Но по своему психологическому материалу «Шкатулка» очень интересна, потому что она дает отличный образ педагога, совершенно перерождающегося под влиянием охватившей его алчности. Страсть к деньгам поглощает все сознание учителя.

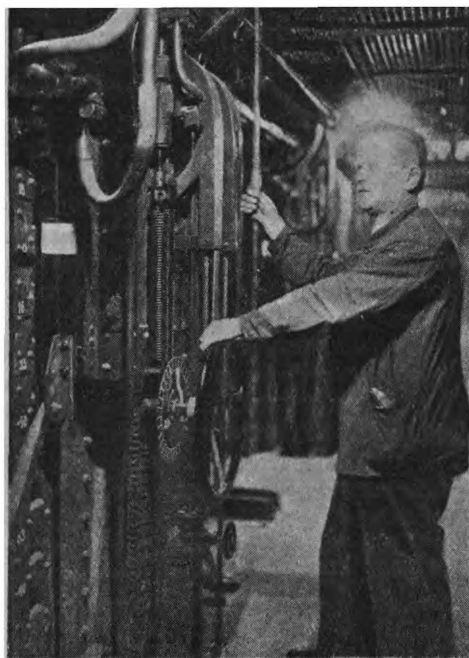
«Кассету» на сцене «Комеди» сменило небольшое обозрение, имевшее хороший успех в силу своих типично берлинских черт. Это — ряд коротеньких эпизодов, рисующих различные стороны большого универсального магазина. То это отделения товаров: игрушечных, парфюмер-

ных, грамофонных, то это бюро забытых вещей, лифт и т. д. В обозрении были заняты, главным образом, драматические актеры, и смешные диалоги с типично берлинскими выражениями чередовались танцами и исполнениями куплетов. Один из куплетов носил социальный оттенок. Автор скорбел об упадке духовной жизни современной Германии.

Театры Барновского — «Театр им Кенигретцерштрассе» и «Комедиенхауз» в общем похожи на театры Рейнгардта. В них также идут легкие комедии немецких и иностранных авторов и также делается акцент на каком-нибудь крупном артисте и вообще на актерах, а не на постановке. Шедшая в «Комедиенхауз» американская пьеса «Бродвей» отчасти напоминает пьесу «Артистен». Бродвей рисует закулисный мир подозрительно-американского мюзик-холла, где находят себе приют самые темные короли-бандиты. Борьба одного из таких королей с сыщиком и любовь артиста к артистке скомбинированы достаточно умело, чтобы занять внимание зрителя. Но режиссерски спектакль сделан очень бедно, а исполнение — я, к сожалению, видел уже второй состав — было посредственным. В другом театре Барновского шла австрийская комедия «Лейненаус Ирланд», рисующая старую Вену. Сюжет пьесы вертелся вокруг постановок ирландского полотна, действующими лицами были чиновники и коммерсанты, в центре незамысловатой интриги стояла борьба между любовью и долгом честного молодого чиновника, влюбившегося в дочь богатого поставщика. Главный интерес спектакля сосредоточивался на исполнении артистом Курт Буа роли одного из «поставщиков», редактора какой-то албанской газеты, неугомонного, назойливого, пролезавшего в каждую щель.

Театр Пискатора ко времени моего приезда в Берлин фактически почти не существовал. Правда, его имя еще стояло на здании театра на Ноллендорф-платц, но уже с афиш исчезли все пискаторские постановки. Объявленная для весеннего сезона французская комедия «Мальбрук в поход собрался» Ашара шла под режиссерством одного из уче-

ников Пискатора и, может быть, лишь с его корректурой. Самая пьеса Ашара не представляет большого интереса, хотя она и претендует на «социальную сатиру». Направленная против представителей и защитников милитаризма, изображая «генерала Мальбрука», она не поднимается над самым примитивным фарсом, прямолинейно и несложно вычерчивая драматургическую схему. У



Новый оперный театр. Машинная часть для спуска сцены

Пискатора ашаровский фарс поставили с соответствующей наивностью. В сцене сражения с колосников спускались маленькие куски полотна, на которых были нарисованы разрывы бомб. В жестах актеров подчеркивалась какая-то кукольность. Недолгий по времени спектакль казался недостаточным, чтобы заполнить вечер, и его можно было бы еще смотреть в условиях какой-нибудь маленькой студии, но отнюдь не в обстановке большого, рассчитанного на значительную аудиторию театра.

Сопоставляя между собой слышанные мною разговоры о Пискаторе и его театре, можно было понять, что этот театр, безусловно интересный и по

своим идеологическим и режиссерским задачам и достижениям, был раздраем целым рядом внутренних противоречий. Театр с установкой на революционность должен был играть в одном из самых буржуазных районов Берлина. И на премьерах можно было видеть самые «верхи» богатого Вестена, для которого революционный спектакль был всего лишь острым блюдом, не более. Очень большой размах, с каким начал Писка-тор свое дело, также отразился губи-тельно на его деле. Аренда второго те-атра («Лессинг-Театр») не оправдала на-дежд и легла тяжелым бременем на бюджет. Однако, независимо от того, будет ли существовать впредь писка-торский театр — его односезонное бы-тие, видимо, не останется бесследным для сценического искусства Германии и по линии репертуара и по линии ре-жиссуры. Пискатор смело вдвинул в обиход Берлина ряд революционно зву-чащих пьес и лозунгов, он показал не-сколько конструктивных постановок, применил к театральным декорациям начала инженерии, дал удачные сочета-ния кино и театра. Я, повторяю, не имел возможности видеть постановки Пискатора, но, насколько я могу судить по снимкам, они больше всего напо-минают постановки «Театра Револю-ции», особенно прежней его поры.

IV

В дополнение к своим драматическим и оперным впечатлениям остановлюсь на одном опереточном спектакле, кото-рый мне пришлось видеть.

В «Crosses Schauspielhaus» все лето шла оперетта «Drei Mädelhaus» («Дом трех девушек»), посвященная 100-летне-му юбилею Шуберта. Музыка этой оперетты была вся целиком скомпано-вана из мелодий и песен Шуберта, а сам сюжет был взят из биографии само-го композитора. На сцене проходил его несчастливый роман с одной из обита-тельниц «дома трех девушек», и раз-вязка этого романа сплеталась со зву-ками «неоконченной симфонии».

Может быть, с точки зрения строгой музыки, и было варварским сделать из Шуберта оперетту, но все же романти-

ческая меланхолия, шубертовская пе-вучесть облагораживающе действовали на зрителя. И даже сквозь чрезмерную сладость всего внешнего облика спек-такля проступало ощущение внутрен-ней драмы. Вот почему — небывалая вещь в опереточном театре — в публи-ке слышались всхлипывания, а в руках мелькали белые комочки платков.

Я не думаю, чтобы указанный мною шубертовский спектакль в какой-либо мере был характерен для современного опереточного жанра, но он указывает на возможность использования в плане лирического спектакля биографическо-го сюжета, гораздо более осмысленного, чем все выдуманные «Графы Люксем-бурги», «Дамы в горностах» и проч. Недаром одна из последних оперетт Ле-гара посвящена «Паганини», а в этом году пойдет в Берлине оперетта на те-му об одной из героинь жизненных ро-манов Гёте. Таким образом, параллель-но жанру биографического романа, столь популярного сейчас во Франции, начинает развиваться и жанр «биогра-фической» оперетты.

V

Таков театральный Берлин, каким он представляется при первом знакомстве глазами чужестранца. Я не берусь де-лать сейчас каких-либо решительных обобщений и итогов. Для этого нужны иные сроки и знакомство с творчеством тех актеров, каких мне не пришлось ви-деть. Но все же несколько заклю-чительных замечаний мне хотелось бы сделать.

Перебирая в памяти виденные мною спектакли и мысленно перечитывая афиши Берлина, я не могу отделаться от ощущения кризиса немецкой драма-тургии. Репертуарная проблема берлин-скими драматическими театрами разрь-шается главным образом за счет ино-странных авторов — главным образом, английских и американских.

Экспериментаторские постановки в Берлине редки. И «Ткачи» в постанов-ке Иесснера и «Артисты» в постановке Рейнгардта кажутся культурными, но умеренными по остроте работами. Искан-ия Пискатора идут все же против об-

щего течения театральной жизни Берлина. В триаде автор—актер—режиссер последний занимает очень скромное место.

Искусство немецких актеров очень интересно и значительно. Отличная сценическая речь, умение общаться и связываться с партнером, движение и «игра вещами», — все это свидетельствует о хорошей школе и крепких сценических навыках. Успех незначительных комедий объясняется во многом участием крупных актеров, придающих своим ролям черты больших и характерных образов. За их игрой следить с интересом, даже когда она протекает на фоне невыносимо шаблонной «салонной» истории.

Не будем ставить точек над «и», но кажется, что слишком коммерческий уклад преобладающего большинства берлинских театров замораживает смелые и дерзкие искания. «Театр—предприятие» — эта формула в условиях частного хозяйствования кажется опасной и губительной.

P. S. Все написанное мною в настоящем очерке относится к весне и лету 1928 года. Летом в сентябре я имел случай еще раз остановиться в Берлине и посмотреть несколько постановок нового сезона. О них стоит дополнительно упомянуть.

Столетний юбилей рождения Л. Н. Толстого нашел свое отражение в репертуаре театра «Фольксбюне» и у Рейнгардта в «Берлинер-театр». В обоих театрах был возобновлен «Живой труп».

Рейнгардт придал возобновлению характер новой режиссерской работы, и эта работа оказалась хотя и спорной, но очень интересной. Прежде всего Рейнгардт осовременил героев Толстого. Он отказался от намерения передать эпоху и старую Россию. Героиням пьесы он придал современный облик в костюмах и прическах. В «Живом трупе» эта современность оказалась не очень анахроничной. Лишенная бытовой плотности пьеса-«костяк» даже приобрела известную остроту от перенесения действия в «наши дни» (хотя наши дни в России — и совсем другие). Эпизодичность «Живого трупа» Рейн-

гардт отлично подчеркнул переключением света и темноты. Боковые прожектора и верхние лампы вырывали из мрака, царящего на сцене, тот или иной эпизод, выделяя лишь самое существенное и центральное. Правда, в этой изменчивой светотени было больше Достоевского, чем Толстого, но все же налицо имелось большое и смелое режиссерское искусство.

Толстовский юбилей отметило и «Общество друзей новой России», поставившее специальный спектакль «Власть тьмы». Режиссером этого спектакля был молодой русский режиссер И. Мотылев. Играли немецкие актеры. Слаженный на скорую руку спектакль с грошевыми тратами на постановку, тем не менее, оставил впечатление культурной и бережной работы. На сцене не было развесистой клюквы, мрачная драма доходила до аудитории, весьма далекой от русской деревни.

В «Камер-шпиле», где я смотрел веселую комедию Могама, я видел теперь новую пьесу Кайзера «Октябрьский день». Название имеет только тот смысл, что события, о которых идет речь в пьесе, происходили в один из дней октября.

Пьеса эта очень характерна, как образец тех настроений, в полосе которых находится теперь и сам Кайзер и тот слой буржуазной интеллигенции, на которую «Октябрьский день» рассчитан. Эта пьеса насквозь мистическая и идеалистическая. Она утверждает, что, если человек что-нибудь переживает с полной силой убеждения, то не реальный факт, а вот это переживание имеет решающее и действительно реальное значение. В данном случае дело идет о ребенке, который родился у мистически настроенной девушки от грубого мясника. Но в то время, когда происходило свидание, девушка мысленно находилась в объятиях другого избранника сердца — офицера. Дело происходит во Франции, девушка — дочь владельца замка. У нее черты ангела, а сам офицер — воплощение рыцарственности и благородства. И вот автор устами этого офицера утверждает, что именно он и есть настоящий отец ребенка. Налицо, как

можно легко видеть, модернизация идеи мистического брака и непорочного зачатия.

Прямой противоположностью этому анемичному и безжизненному спектаклю является полнокровная и яркая постановка музыкальной пьесы «Трехгрошевая опера» в театре на Шиффбауэрдам. Пьеса со столь необычным названием — не новинка. Она относится к XVIII веку, и сочинена английским писателем Гаем. В ней фигурируют и действуют темные подонки беднейших кварталов Лондона — Сохо и Уайтчепел: профессиональные нищие, проститутки и бандиты. По своей структуре пьеса напоминает балладу. В ней рассказывается о судьбе Мекки, главы воровской шайки, о его женитьбе и конце на виселице. Параллельно показывается торговый дом готового платья для нищих. Здесь любой человек может с помощью лохмотьев и грима преобразиться в самого ужасного калеку.

Есть что-то зловещее и мрачное в тексте этого полного поэзии произведе-

дения. Ирония его сцен полна неподдельного отчаяния. Немецкий поэт Брехт при переводе включил в текст еще отдельные баллады знаменитого поэта-бродяги Франсуа Вилона и Редьярда Киплинга. Музыка Курта Вейля, написанная для джазбандного оркестра, дает прихотливый и острый аккомпанемент. Постановка режиссера Ф. Энгеля осуществлена в тонах острого реалистического гротеска. Наконец, пьеса великолепно исполняется актерами. Все это захватывает и потрясает зрителя до самой глубины души.

«Трехгрошевая опера» закончила круг моих берлинских впечатлений. Надо признаться, что эта концовка оказалась чрезвычайно удачной. Она ясно показала, что там, где берлинские театральные деятели перестают угождать богатому партеру и стремятся вести публику за собой, там у них есть сила создавать настоящие, а не только кассовые произведения театра.

8. „П А Р А Д И З“

Л. Никулин

В Берлине, на обратном пути, я снова остановился в пансионе господина Эшенберга на Таунценштрассе. Пансион Эшенберга мало походил на пансион. В сущности, — это большая, немного запущенная квартира, в которой до инфляции, повидимому, жили состоятельные люди. После инфляции здесь поселился господин Эшенберг и сдавал комнаты приезжающим. Господин Эшенберг дал мне два ключа, похожие на ключи от Варшавы, врученные Паскевичу-Эриванскому. Эшенберг объяснил мне, как обращаться с ключами, чтобы после девяти часов вечера проникнуть в пансион. Он показал мне комнату с балконом, выходящим на две улицы. В комнате все выглядело, как четыре месяца назад: монументальная кровать, высокие, пышные, взбитые подушки и пуховики, зеркальный шкаф и мраморный

умывальник, кружевные занавески, этажерки и швейцарские пейзажи по стенам. Все сияло сравнительной чистотой и умиляло особым уютом, созданным старенькими, уютными вещами, о которых много заботятся. Господин Эшенберг наружностью походил на профессора провинциального университета. Седой, гладко выбритый благодушный старичок обмахивал пыль щеточкой из перьев, похожей на султан итальянского берсальера. Не знаю, где собственно жил сам господин Эшенберг, где была его комната, но с шести часов утра он находился рядом с моей комнатой, в том углу коридора, где поставлена белая садовая мебель. Здесь находился камин, и на каминной полке в черной рамке — портрет молодого человека в военной форме. Над портретом, тоже в черной рамке, висел красивый диплом коро-

левского прусского казначейства, выданный господину Эшенбергу в благодарность за то, что в 1916 году, в год войны, он добровольно сдал королевскому казначейству сто золотых марок. В этом же году он отдал Прусскому королевству и Германской империи своего сына, который погиб под Верденом. По утрам господин Эшенберг читал газету «Крейц-цейтунг», «Крестовую газету». Каждый день он читал ее вслух, вполголоса мохнатой, черной, круглой собаке, у которой шерсть торчала во все стороны, как мокрые перья. Эта порода называется «ризеншнауцер», мюнхенский ризеншнауцер. Собака имела свирепый вид, но была умна, добра и благовоспитанна.

— Also, Рекс, — начинает господин Эшенберг, и читает собаке от слова до слова передовую статью, — also, ты понимаешь, чего они хотят: они хотят погубить Германию.

Трудно сказать, кто именно хотел погубить Германию: ротфронт, коммунисты, а может быть, социал-демократы или центр. Ризеншнауцер стучал коротким, твердым хвостом о пол и строго смотрел из-под косматой черной папахи. Господин Эшенберг прочитывал собаке всю газету. Затем он вел долгие беседы с мюнхенским ризеншнауцером. Собака, конечно, молчала и стучала хвостом, но, как известно, она происходила из Мюнхена, из католической добродетельной и строгой Баварии и, повидимому, разделяла взгляды господина Эшенберга и «Крестовой газеты».

Но господин Эшенберг любил поговорить и с людьми. Он рассказал мне несколько любовных историй. Например, двадцать пять лет назад он жил в Швейцарии, вблизи Цюриха. У него тоже был пансион, и в пансионе жили русские, жил даже — и он называет известное всему миру имя, — русский революционер. Там же жили русские дамы и настоящий русский генерал. Однажды дамы попросили русского революционера получить для них письма из почтовой конторы. Русский генерал тоже просил об этом, но он, революционер, принес письма только для дам, а с генералом отказался

разговаривать. Однако русский революционер был образованный и добрый человек, он помогал своим товарищам, которые были в нужде. От давнего прошлого Эшенберг переходил к настоящему. Он рассказал мне о молодой даме, которая живет в маленькой комнате. Муж этой дамы — еврей, капельмейстер. Они жили в Румынии, а в Румынии не любят евреев. Румыны выслали капельмейстера и его жену. Однако этот капельмейстер, должно быть, очень нужен этим румынам, потому что они выписывают его каждое лето в казино, на курорт возле Констанцы. Он дирижирует оркестром на курорте ровно три месяца, затем его высылают. Когда он уезжает, жена остается здесь, в Берлине, в пансионе Эшенберга. Очень милая дама, она скучает, ей очень скучно... И господин Эшенберг поднимает голову, голову провинциального профессора, и глядит на меня как бы с готовностью. Выцветшие голубые глаза щурятся и подмигивают сквозь стекла очков в золотой оправе. Удивительный и вместе с тем неожиданный контраст с такой благообразной наружностью. Я молчу, и господин Эшенберг продолжает:

— В комнате возле кухни живет пожилая дама с двумя дочерьми. Она — жена профессора. Ее муж читал лекции в лицее цесаревича Николая в Москве. И вот что случилось, мой друг. Они приехали ко мне весной из Праги и поселились в самой дорогой комнате — восемнадцать марок с утренним завтраком. Господин профессор получил французскую визу и уехал на неделю в Париж. Фрау профессорша с дочками осталась здесь. Профессор обещал выслать им визу в тот же день. Прошел месяц, два и три. Она прожила все деньги, теперь у нее нет ни гроша. Я сам не богат, вы это знаете, мой друг. Я перевел их в маленькую комнату возле кухни. Кажется, вы видели их сегодня?..

Я вспоминаю черноволосую, худенькую девочку-подростка, трехлетнюю девочку и седеющую, подстриженную даму с папироской. Я встретил их в коридоре.

— Я думаю, что он их бросил, — продолжает Эшенберг. — Он совсем

им не пишет, а главное—он не посылает им ни гроша. Я пошел к одному богатому человеку — у него дом на Курфюрстендам. Я объяснил ему: «Профессор бросил жену. Они — русские. Они ваши компатриоты. Помогите же им». Он ответил: «Мне надоело». — «Но дети же не виноваты!». «Да,— сказал он, — дети не виноваты. Так и быть, для детей я даю пятнадцать марок в неделю». И он дает им шестьдесят марок в месяц. Их трое, — разве можно жить в Берлине втроем на шестьдесят марок в месяц? Они сидят у меня на шее.

И он показывает на затылок, горестно вздыхает и обращается в пространство:

— Что же вы думаете об этом, господин профессор?

Но господин профессор в Париже и не думает, вернее, старается не думать обо всем этом.

— Я сказал ей: «Фрау профессорша, пусть ваша старшая дочь помогает моей Мине работать на кухне. Я ей буду платить,—немного, но я ей буду платить». «Моя дочь—не прислуга», — отвечает она. Очень хорошо, она — не прислуга, но чем это место хуже места на улице, на Фридрихштрассе. Она уже мажет губы и подводит глаза. Что же ее ждет, мой друг, что ее ждет? — спрашивает господин Эшенберг, по привычке обращаясь к своей собаке. Собака молчит и стучит хвостом об пол.

Вечером господин Эшенберг надевает черную пару и берет котелок и зонтик. Это очень странно, он редко выходит из дома. Он замечает мой взгляд и говорит:

— Сегодня мне шестьдесят четыре. Благодарю вас. В сущности, меня не с чем поздравлять. Слава богу, я сохранил силы и работаю не хуже тридцатилетней Мины. Но сегодня я устроил себе маленький праздник. Я еду в Луна-парк.

Я тоже беру мою шляпу.

— Минуту, господин Эшенберг. Я еду с вами. Я еще не был в Луна-парке в Берлине.

— Вы не были в Луна-парке!—удивляется он. — Все иностранцы бываю

в Луна-парке. Это — третий Луна-парк в мире. Первый — в Нью-Йорке. Я долго думал над тем, как провести этот день моей жизни, день моего рождения, но лучше Луна-парка не придумаешь.

Рекс поднимается со своей подушки и идет следом за хозяином.

— На место, Рекс. Спи, Рекс. Это не для тебя, — говорит Эшенберг, и мохнатый мюнхенский пес поворачивается и обиженно возвращается на подушку у камина.

Мы с Эшенбергом выходим и в коридоре встречаем профессоршу. Она опускает глаза и старается проскользнуть между мной и хозяином пансиона. И хозяин, господин Эшенберг, смотрит на нее строго и многозначительно.

Мы плывем на империале большого белого автобуса по зеркальной глади Курфюрстендам. Немцы доводят берлинский асфальт до зеркального сияния, чуть не до прозрачности. Огни домов и реклам и самые дома кажутся поставленными на зеркало. Полицейские на перекрестках играют оранжевым, красным и зеленым огнями семафора. Автобус плывет, и мимо нас проплывают готический шпиль Геденкнискирхе. «Церковь, в которой венчался Вильгельм», — почтительно сообщает Эшенберг. Позади церкви встает электрический контур и светящийся, как экран кинематографа, кафе «Ам Цоо». Дальше плывут одинаковые шестиэтажные дома с палисадниками, веранды кафе с белой плетеной мебелью, пестрыми абажурами и цветочными вазами на баллюстраде. Шрифты электрических реклам и рекламируемые вещи стилизованы в одинаковом ультрамодернистском стиле, который в общем сделался стилем современного Берлина. Этот сухой, выхолощенный стиль всюду в фасадах новых домов, в рисунках иллюстрированных журналов, в корпусах новых моделей Мерседес-Бенц, на ресторанных меню, на программах мюзик-холлей и вывесках и рекламах магазинов и кафе. Выхолощенная, щегольская, четкая линия, утилитарность, экономия места и при всем том претензия на модерн, на

элегантное новшество. Париж пренебрегает этим стилем. Париж позволяет себе громоздить кубы и плоскости современной архитектуры за чертой города. В центре же все должно оставаться так, как было при второй империи — пятиэтажные дома, торбачьи кровли, высокие железные трубы на кровлях. Рекламы тоже расточают электричество, но это — беспорядочно разбросанные световые пятна, а не претенциозные световые линии, навязывающие городу стиль. Германская империя, пожалуй, тоже отвергла бы этот навязчивый модерн, но германская республика приняла его беспрекословно, как некоторый, свойственный республике, либерализм.

Курфюрстендам — гостиницы, кафе, кабаре, бирхалле и вайнштубе — разворачивается по обе стороны непрерывной, успокаивающей глаз панорамой. Только от белых квадратиков на картах таксомоторов рябит в глазах. Автобусы и автомобили блестят, как новенькие, — в самом деле, они выпущены не так давно, и все чинно, чисто и благоприспособлено в машинах, домах и людях Берлин-Вестенс—«W» в этой части города.

— Двадцать пять лет назад здесь были огороды, — говорит господин Эшенберг, и неизвестно, жалеет ли он о прошлом или гордится настоящим.

Мы под'езжаем к Луна-парку. Розовое электрическое зарево дрожит в небе над большим участком земли, от которого отступили дома. Сотни и тысячи людей оставляют автобусы и трамваи и толпятся у турникетов. Нельзя понять, где живет и где работает молодой человек в сером пальто и мягкой зеленой шляпе впереди меня. Возможно, утром он продавал мне запонки в универсальном магазине «КДВ», а может быть, я видел его в собственном Пакарде на Унтер-ден-Линден. Но может быть и то, что он приехал из далекого Нордена, из рабочих кварталов, и его зеленая шляпа и серое пальто пахнут копотью фабричных труб и бензином, которым он отчищал свое единственное праздничное платье. Это радужное, расточительное сияние электрических лун —

обманчивое, миражное сияние. Оно скрывает морщинки, и смягчает резкий грим у состарившихся женщин, оно скрывает вытертое сукно и заштопанные локти бедняков. Мы идем галлереей витрин, — это магазины Унтер-ден-Линден, Фридрихштрассе и Курфюрстендам выставили здесь обувь и зонтики, одетые в шелк манекены, приборы для маникюра и духи, английские чемоданы и трости, котелки, цилиндры и перчатки, — все, о чем вожделем Карлы и Мицци, Лины и Гансы. Мы идем довольно долго вдоль витрин и выходим на террасу.

— А... — протяжно и глубоко вздыхает господин Эшенберг.

Мы стоим как бы на террасе египетского храма. Широкая ластница ведет вниз, — широкая и монументальная лестница, выкрашенная в кирпично-коричневый цвет. Все вместе похоже на грандиозную декорацию из «Аиды» в обыкновенном оперном театре. Но внизу разворачивается неограниченное пространство, заполненное шатрами, тентами, павильонами, куполами, башенками, шпилями, поддельными утесами, прудом, похожим на озеро, и искусственным островком среди пруда, и непонятным скелетообразным сооружением на островке. Все это залито чуть ли не полуденным светом электрических ламп и глушит и опарашивает оркестрами, оркестрионами, рожками, саксофонами, сиренами и гудками.

— Парадиз! — говорит широкоплечая, мальчишкообразная девица.

— Парадиз, — повторяет господин Эшенберг и спускается по египетской лестнице так, как если бы мы спускались в Дантов ад, в чистилище, а не в «парадиз» — в рай мальчишкообразной девицы.

Кажется, я вижу удивленное лицо читателя. В самом деле, нужно ли писать о нескольких десятинах в центре Берлина, застроенных стальными, бетонными, каменными, деревянными сооружениями, нужно ли писать о сотнях машин и механизмов, которые каждый вечер употребляются для развлечения двадцати, сорока тысяч людей. Однако представим себе, какое

количество электрической энергии употребляется для полумиллиона ламп и для моторов, приводящих в движение аттракционы, какое количество людей обслуживает эти аттракционы, какое количество пива и сосисок уничтожается в барах и пивных Луна-парка. Русский эмигрант в годы инфляции купил запущенный и забытый парадиз и обогатился и увеличил его до размеров могущественного коммерческого предприятия. Развлекать десятки тысяч обывателей, развлекать миллионный город не так уж легко, нельзя отмахиваться от больших — от шестизначных и семизначных чисел. Нельзя уклоняться от разгадки вкусов господина обывателя, потому что часто и пролетарий тяготеет к этому потерянному во время инфляции и ныне возвращенному раю господина обывателя.

Господин обыватель любит быть честно обманутым. Он любит неуклюжие шалости, грубоватые мистификации Луна-парка, комнаты с фальшивыми дверями, вращающиеся полы, проволочные лабиринты, горы, которые у нас в России называют «американскими», а в Америке — «русскими». По бетонным скалам вверх и вниз скачутся платформы, проваливаются в темноту, вылетают на свет и, наконец, с сумасшедшей быстротой сваливаются в пруд, в воду, поднимая саженную волну. Наконец, обыватель любит тайну, завлекательную таинственность, вход в виде пасти дракона, и за таинственной драпировкой черного бархата — многоголосый, пронзительный, интригующий визг.

— Что там происходит? — спрашивает господин Эшенберг. И действительно, что может происходить за таинственной драпировкой? Что надо делать с людьми, чтобы они визжали такими звонкими, пронзительными голосами? Мы платим марку, входим и видим круг, составленный из странного вида табуреток. На кожаных сиденьях сидят дети в возрасте от десяти до двенадцати лет. Они подпрыгивают на табуретках и визжат так, как могут визжать дети в этом возрасте. Трюк же состоит в следующем:

предполагается, что солидный мужчина средних лет, уплатив пятьдесят пфеннигов, сядет верхом на кожаное сиденье, которое представляет собой скрытые меха. От мехов вверх идет тонкая резиновая кишка и заканчивается цветным гуттаперчевым пузырем. Взрослый и солидный человек до тех пор подскакивает и подпрыгивает на кожаном сиденье, пока воздух из скрытых в сиденье мехов не надует гуттаперчевый пузырь и пока этот пузырь не лопнет. Пузырь лопается, и первый из счастливых получает приз-ордер на кружку пива в баре напротив. «Хорошо, но при чем же тут дети?» — спрашивает обстоятельный Эшенберг. Дети, разумеется, не при чем. Детям давно надоело подпрыгивать и визжать, но дети специально наняты на предмет визга. Они, вернее их родители, получают от импрессарио аттракциона определенную плату за визг. Они визжат за плату и привлекают публику в аттракцион. «Неглупо придумано» — говорит господин Эшенберг. Действительно, неглупо придумано. Каждый зарабатывает, чем может. Но какой смысл солидным дядям платить пятьдесят пфеннигов и, обливаясь потом, подпрыгивать на кожаных сиденьях, развлекая нас? Не все, однако, глупо в Луна-парке. За одну марку вы можете сами себя снять в автоматической фотографии и через восемь минут получить ленту из двенадцати более или менее схожих с вами снимков. В Америке такие фотографические аппараты-автоматы получили распространение. У нас, к сожалению, самые несложные автоматы привлекают в первую очередь озорников и хулиганов, изобретательность которых направлена, главным образом, на то, чтобы обмануть машинку.

Если вы член автодора или сочувствуете ему, то здесь, в Луна-парке, можете попробовать управлять автомобилем. Маленький автомобиль двигается по металлическому полу, покорно слушается руля, поворачивает вправо и влево, но, разумеется, двигается без мотора, по принципу движения обыкновенного трамвая, при

чем, вместо трамвайного провода, вверху находится сплошная проволочная сетка, по которой проходит ток.

Мы бродим от аттракциона к аттракциону, от тира к тире, от бара к бару, от манежа с настоящими живыми лошадьми к каруселям с кукольными лошадками и лебедями из Леографина. Мы буравим толпу во всех направлениях. Господин Эшенберг розовеет и выглядит моложе своих лет, и я думаю о том, будут ли мои сэрстники в шестьдесят четыре года находить удовольствие в суеде, суматохе и толкотне Луна-парка.

Первый привал—в баварской пивной Мюнхенер-брей, в настоящем храме темного и светлого пива и сосисок с картофельным салатом. Семипудовые колоссы — специально подобранные кельнерши-баварки—разносят тяжелые пивные кружки. Четыре больших кружки располагаются в их толстых пальцах, как лепестки чудовищного цветка. Из баварской пивной мы приходим к искусственному пляжу. После двадцатитысячной толпы благопристойно одетых с головы до ног мужчин и женщин совершенно странное впечатление производит несколько сот полуголых мужчин и женщин в купальных костюмах в одиннадцать часов вечера. В бассейне с проточной водой, величиной в теннисную площадку, набегает искусственный вал, искусственная волна. Плеск воды, визг и смех, полуголые тела и электрические солнца под стеклянной крышей—иллюзия настоящего пляжа, а молодые люди за столиками вокруг бассейна—иллюзия щеголей морских купаний в Свинемюнде.

Господин Эшенберг ведет меня в кабаре над прудом. Кабаре—плохое подражание Монмартру, но выглядит оно живописно. Венецианские цветные фонарики отражаются в воде. Далеко впереди, над открытой площадкой, на высоте пятиэтажного дома, как заводные куклы, перелетают с трапеции на трапецию акробаты. Достаточно обнаженные девицы в малиновых перьях танцуют под джаз-банд, и каждые четверть часа с высоты сорока метров в тихие воды пруда сваливается плат-

форма с дюжиной любителей американских гор. Отчаянный женский визг и хохот, плеск саженой волны заглушают даже джаз-банд и пение девиц в малиновых перьях. Вокруг пруда гаснут огни, девицы уходят, акробаты слезают с вышки, и платформа американских гор больше не обрушивается в пруд с бетонного утеса. На островке, посередине пруда, готовятся к фейерверку. Скелетообразное сооружение на островке оказывается произведением пиротехника. Несгораемая часть этого сооружения — греческий портик. Хотя вокруг погасли огни, но с балкона восточной кофейни нам отлично видны три дамы в халатах, которые располагаются в картинных позах в греческом портике. Взрываюсь и дымясь, как гейзер, начинают бить фонтаны, и снизу их освещают разноцветные лучи прожекторов. Дамы в греческом портике снимают халаты и оказываются, как и следовало ожидать, совершенно раздетыми. Лопаются ракета, и рядом с водяными начинают бить огненные, вращающиеся фонтаны фейерверка. Три дамы на островке принимают позы трех граций, и прожектора добросовестно показывают их тысячам людей на берегу. Тысячи людей почти одновременно вздыхают: «Ах!..» Через две-три минуты шипя угасают последние угли фейерверка, и три мокрые грации, закутавшись в купальные халаты, уезжают в лодке на берег. Однако трудно сказать, что они промкли до нитки, так как на них во время их номера не было ни клочка, ни нитки материи.

Господин Эшенберг и я уходим. Оркестры и джаз-банды провожают нас маршами. С террасы мы смотрим вниз—на фонарики, лампы, лампы, прожекторы, потоп электричества, которого хватило бы на электрификацию многих и многих волостей.

Дома господин Эшенберг желает мне спокойной ночи. Сегодня—день его рождения, шестьдесят четыре года. Завтра—будни, метелка из перьев, споры с Миной, неисправные плательщижи, неоплаченные счета, «Крейццайтунг», диалоги с Рексом. А пока в стеклышках его очков еще отража-

ется миллионы разноцветных лампочек и фейерверк Луна-парка.

Парадиз!..

Я прохожу по коридору. В комнатке возле кухни свет и голоса. Дочь про-

фессорши из Москвы читает по-русски вслух матери:

«Есть в русской природе уста-
лая нежность...»

Но акцент у девочки уже немецкий.

Ю. САТИРЫ И ПАРОДИИ

Борис Анибал

1. СЕРГЕЙ КЛЫЧКОВ

Темный корень

Как теперь приниматься за рассказку, когда многое уже позабылось, а коль вспоминать, так нельзя ж не при- врать, к тому же слепой без очков раз- глядит, что ты еще рта не раскрыл, а тебе уж наперед никто на грошик не верит.

Начнем же теперь издаека, но с са- мого корня: откуда в нашей литерату- ре пошел и повелся Сергей Антоныч Клычков.

* * *

В тот самый вечер, исписав на «Со- рочье Царство» новую стопу бумаги, Сергей Антоныч вышел было до ветру на двор...

— Экую весну бог посылат раннюю, да теплую! — сказал он, становясь за куток.

Смотрит Сергей Антоныч: плывет над Чертухиным месяц и словно янит- ся, что больно светел да высок...

— Отчего это только луна круглая, а роман мой нигде не печатают? — спро- сил сам себя Сергей Антоныч. — Ишь ведь какая, словно обточенная! Разве что какого редактора охмурить!

— Есть о чем подумать, нечего ска- зать... Эх ты, балакиры! — услышал тут Сергей Антоныч насмешливый голос и разглядел в темноте лешего Анютютика. — Садись, — говорит Анютютик, — ко мне на закужорки, айда в Москву за славой!

Ну, Сергей Антоныч, не долго думая, рубаху оправил, влез к нему на заку- жорки, вцепился в лохматую шерсть что есть силы и тут только их и ви- дели.

* * *

Приезжают они в Москву, с Савелов- ского вокзала и прямо в редакцию, в главный кабинет.

Смотрит Сергей Антоныч: за столом в кабинете такой плешивый недотепок сиднем сидит, красным карандашом бу- магу черкает.

— Давайте, — говорит, — сюда ваш ро- ман, мне все равно, карандаша, — гово- рит, — не жалко, секретари очинят.

— Ну, — говорит Анютютик Сергей Антонычу, — не бойся, иди, делай ему сунгуз!

А Сергей Антоныч схватил Анютюти- ка под микитки и прошелся с ним та- кого круга по кабинету, что у недо- тепка глаза вылезли на лоб — больно уж Сергей Антоныч мастер отрабатывать ногами и языком в скороговорку раз- ные хитрые завитухи:

Я не сам пишу:
Меня черти трясут...
Чертеняточки
За пяточки
Подяргивают.

Но тут со всех сторон вдруг повалил густой молочный туман, и сам Сергей Антоныч не помнит, что было дальше. Ну, может, и помнит, да не говорит, хоть врать-то он больно здоров — уши развесил. Из ничего такого накрутит, что диву даешься, откуда только бе- рется.

А впрочем, у нас все чертухинские Петра Кириллыча заправлять любят...

* * *

Вот с той поры и пошло. Стал Сергей Антоныч знаменитым писателем, и, мо-



Шарж Бор. Ефимова

Сергей Клычков

жет, сам не рассчитывает, а уж в классики выйдет, будьте покойны.

Давеча Николай Васильич Гоголь на Никитском бульваре попался. Очень одобрял Сергей Антоныча.

— Хитрый, — говорит, — мужик; маленько меня обдирает, но, — говорит, — ничего, для хорошего, — говорит, — человека не жалко, а что Белый обижается,

так не обращаешь внимания, сам он с меня посдирал порядочно...

И ведь что тут скажешь — на лешем Сергей Антоныч в литературу в'ехал, да так в ней и остался, а вы говорите — теперь леших нет! — Мы с этим очень даже согласны, но также правда и то, что лешие были. Как тут ни верти, а уж были!..

М. 1928.

2. ВИКТОР ШКЛОВСКИЙ

К а д р ы

Отрывок из, к счастью неопубликованной, книги «Болтовня».

Пишу на арапа.

Арапа я никогда не видел, даже когда смотрюсь в зеркало.

Пишу, чувствуя зуд в руке. У меня часто зудит язык, и я стараюсь острить. Острию плохо, но все смеются. В этом весь секрет.

Дон-Кихот сделан, как автомобиль. Неважно, что он ездил на дохлой кляче, а Санчо на осле. Ослов вообще мно-

го. Ездить на них надо умеючи. Я не падаю. Ослы меня любят.

У меня сильно развернутый лоб, и мой друг, профессор черной магии Дрик, часто меня хвалит, сравнивая мою голову с хорошо сработанным горшком.

Но я не радуюсь. Я скромный. Даже не спрашиваю, с каким горшком оп сравнивает.

«Третья фабрика» вышла без дверей. Но лазают и в окно. Говорят, Стэрн одобрял этот способ сообщения. Если хотят — пусть лазают.

В автороте меня любили. Я хороший парень и понимаю в магнете больше, чем в литературе.

Теперь вообще критики пошли из сапожников.

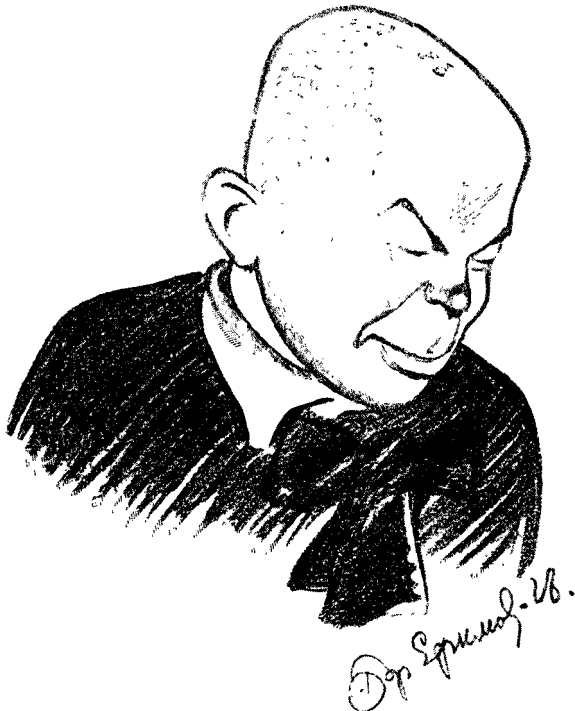
У Маяковского замечательная нижняя челюсть. Она как дредноут. Если бы Самсон при избиении филистимлян воспользовался ей, он достиг бы большего успеха.

Литература — фикция. Но я не теряюсь, сдираю с Ро-

занова. Способный был человек. Потихоньку зарабатываю.

Одни в искусстве проливают кровь и семья. Другие мочатся. Я пишу. Постепенно выписываюсь.

Шарж Бор. Ефимова



Виктор Шкловский

К гамбургскому счету я приписал два нуля. Мог бы и больше, но не захотел. Я считаю только до двух, вот почему третья фабрика не удалась.

Сейчас у меня на сморк. Кроме того, сын Никита — замечательный мальчуган.

А знаете ли, что у алжирского бея под самым носом шишка?

3. КАК ПИСАТЬ РЕЦЕНЗИИ

Руководство для начинающих. ГУС'ом пока не утверждено.

Введение

Читать книжки, писать о том, что прочел, и за это получают деньги, и не малые, судя по той дряни, которая печатается в наших журналах, конечно, каждому лестно.

А между тем, дело это очень простое, и каждый, даже только что ликвидировавший свою неграмотность, без всяких затрат может стать рецензентом.

Глава первая

Писать рецензии лучше всего на толстые книги, эдак страниц на четыреста. Лучше потому, что отзывы оплачиваются по количеству прочитанных страниц.

Однако каждый начинающий должен твердо запомнить, что нет никакой необходимости читать рецензируемую книгу от доски до доски, достаточно ознакомиться лишь с сутью ее, хороший же, опытный рецензент и этого не делает. Ему нужны лишь бумага, перо и чернила. «А книга?» — спросите вы. Книга вовсе не требуется, можно написать отзыв и без нее, для этого нужно только знать имя автора, заглавие, издание, год и место его, число страниц и цену книги. А выругать каждого автора всегда есть за что и не читая его книги.

Еще не было такого случая, когда ругань рецензента приходилась не по адресу, похвалы же в большинстве случаев идут мимо цели.

Глава вторая

Вообще, как правило, ругательские рецензии писать легче, чем хвалебные, ибо, кроме того, что каждого обругать всегда есть за что, это интереснее читателю, и автор в этом заинтересован, так как доказано, что выруганная книга идет лучше, чем расхваленная.

Как на пример этого можно указать на Калининские «Мощи», на Булгаковскую «Дьяволиаду», Малашкинскую «Луну», Романовскую «Без черемухи» и пр.

Однако не следует, как это делают некоторые в журнале «На Литературном Посту», вводить в отзыв матерные выраженья, надо писать так, чтобы и на мат было похоже и читателю было приятно.

Глава третья

В рецензии хорошо сослаться, как на пример, на какого-нибудь классика, но тут необходимо действовать с осторожностью, чтобы не попасть в просак, что случилось, например, в прошлом году с тов. Зониным, не отличившим «Записок сумасшедшего» от «Носа».

Нет нужды путать Льва Толстого с Аркадием Аверченю, Бебеля с Бабелем и Гоголя с Гегелем. Это, как говорят некоторые рецензенты, две большие разницы.

Глава четвертая

Каждый отзыв состоит из введения, изложения и заключения, при чем первые две части могут меняться местами.

Во введении рецензент должен показать, что то, о чем он пишет, ему отлично известно. Напр.:

«Елдокимов выпустил уже третью книгу, однако, он попрежнему пишет корову через ять, несмотря на то, что даже бык через эту букву никогда не писался».

В изложении следует сказать о самой сути книги, изображаемых в ней типах (напр., такой-то суций бандит, такая-то — настоящая марафетчица), ее сюжете, стиле и идеологии автора (напр., гнилая, буржуазная идеология автора, не знающего радости коллективных устремлений, вызывает у нас расстройство желудка).

Последняя часть отзыва, заключение, дает возможность рецензенту без всяких обиняков хвалить или ругать автора, но все же нельзя открыто призывать читателя к избению последнего, так как весь тираж его книги может разойтись в один день.

Глава пятая

Для руководства мы даем образец так называемой стандартной рецензии, которая при совсем незначительных изменениях (имени автора, названия книги, 2—3 фраз о сюжете) может служить отзывом на целый ряд книг (см. гл. 2 и заключение¹⁾).

Сергей Машкин. — «Через пень колоду». Роман. Изд. «Современные Проблемы». М. 1928. Стр. 950. Ц. 15 коп.

Сергей Машкин—человек с огромным личным опытом, бывший во всяких переплетах вплоть до кожного с золотым обрезом,—искренне рассказывает о том, как он, вступая на литературное поприще, валил через пень колоду.

Для скрепа материала, имеющего в первую очередь общественное значение, автор проткнул его сюжетным стержнем с любовной интригой, и эта операция произведена им почти на ять. Однако личная судьба героя, как это и должно быть по Карлу Марксу, теряется в суммарной значимости организованных или коллективных устремлений других персонажей романа повалить через пень колоду.

Очевидно, Машкин делал свои зарисовки на близком расстоянии во времени и пространстве и внес в них много психологической находчивости. Герои романа заштрихованы очень выпукло. Язык его—хороший, но местами туманный, кроме того, временами короят конферийные оговорки автора.

Однако через пень колоду он повалил, хотя потратил на это целых 950 страниц, и когда я их прочел, то совершенно вспотел. Воображаем, как потел автор.

Но роман все же хороший.

¹⁾ В основу ее положены рецензии, печатавшиеся в «Вечерней Москве», «Нашей Газете» и «ЧИП».

Если же в этой рецензии сделать несколько грамматических и синтаксических ошибок, то, напр., в «ЧИП'е» и в «На Лит. Посту» у вас ее оторвут с руками.

Заключение

Идя навстречу начинающим, мы дали образец наиболее трудной рецензии — хвалебной, но ее легко можно превратить в ругательную, соответственно

заменяя положительные утверждения — отрицательными.

Никогда не надо забывать, что одну и ту же рецензию на одну и ту же книгу можно печатать до тех пор, пока в редакциях этого не заметят. А когда заметят — то, переменяя кое-что в стандарте (см. гл. 5), снова нести в редакцию.

Опытный рецензент одним отзывом может питаться около полугода.



Книжное обозрение

1. «ПЕРЕВАЛ». Сборник шестой. Ник. Смирнова.—2. БОРИС ГУБЕР «Простая причина». Владимира Шишова.—3. МИЛИЙ ЕЗЕРСКИЙ «Самоядь». А. Старчакова.—4. Е. БРАЖНЕВ «Стучит рабочая кровь». Арк. Глаголева.—5. ВЕРА ИНБЕР «Соловей и роза». К. Локса.—6. С. БРОЙДЕ «Дни и ночи». Ник. Богословского.—7. ЛЕСНИК «Щучья свадьба». Ник. Смирнова.—8. МАРИЯ ДОМБРОВСКАЯ «Люди оттуда». К. Локса.—9. СЕМЕН КИРСАНОВ «Моя именинная». И. Поступальского.—10. С. ОБРАДОВИЧ «О молодости». И. Поступальского.—11. П. Е. ЩЕГОЛЕВ «Пушкин и мужчины». Н. Ашукина.—12. Ю. СОЛОВЬЕВ «25 лет моей дипломатической службы». А. Дивильковского.—13. И. ЕМЕЛЬЯНОВ «На этом берегу».

А. Дивильковского.

«Перевал». Литературно-художественный альманах, **сборник шестой**. ГИЗ. 1928 г. Стр. 380.

«Перевал», группа литературной молодежи, настойчиво декларирующая углубленную творческую работу, выпускает уже шестой сборник. Сборник, попрежнему ставящий своей задачей показ художественных достижений группы, отличается от своих предшественников обилием и широтой материала, далеко выходящего за групповые пределы. В нем, на ряду с молодыми перевальскими писателями, представлены писатели и критики «старшего поколения»: М. Горький, И. Бабель, Н. Огнев, А. К. Воронский.

Материал — рассказы, статьи и очерки, — данный этими «беспорными» авторами, безусловно значителен, но, к сожалению, не нов. Очерк М. Горького о Кнуде Гамсуне был напечатан в его книге «О писателях», полгода назад вышедшей в издательстве «Федера-

ция». Прекрасная статья А. Воронского «Марсель Пруст» вошла в его сборник «Искусство видеть мир», выпущенный тем же изд-вом (и в тот же срок). Давно, еще до революции, печатались бабелевские рассказы «В щелочку» и «Ходя» — рассказы, несмотря на свою словесную отшлифовку, совсем непоказательные для Бабеля позднейших лет. А единственно оригинальный рассказ — Н. Огнева (отрывок из его будущего романа) — случаен. Писатель напрасно поспешил с его печатанием: вырванный из романа отрывок оставляет впечатление хаотичности, необработанности и творческой нервности. Он, подобно новеллам Бабеля, совсем не характерен для автора «Кости Рябцева»: Огнев возвращается в нем к уже оставленным им творческим приемам — к гиперболичности, риторичности и взвинченной порывистости. Такие «обороты», как: «гробы домов вертелись, прыгали, неслись в вечность

на пламенных колесах рекламы... — или: «Тверская вставала... клеймённым билетом, сифилитическим билетом, прожженным гноем на три аршина под камни мостовой» — кажутся и художественно неоправданными и стилистически безвкусными.

Однако основной интерес сборника — не в этих очерках и рассказах, присутствующих здесь на правах «почетных гостей». Интерес сборника — в материале, принадлежащем писателям и поэтам, составляющим творческое ядро «Перевала».

Рассказ Бор. Губера «Осколки», идущий «заглавным» в сборнике, заостряет чрезвычайно сложную тему — трагедию человека, исключенного из ВКП. Но психологически рассказ неубедителен и, несмотря на попытки типовых обобщений, остается только эскизом, схемой, «черновиком». Рассказ наглядно доказывает, что Бор. Губер — писатель, беспорно, талантливый, чувствующий слово и имеющий художественно-зоркий глаз, — не движется вперед, оставаясь целиком в рамках бескрылого бытовизма. Умело создающий жанровые сцены, живо владеющий диалогом, Губер беспомощен в психологическом раскрытии человеческого образа. Ему грозит участь бытописателя. В его творчестве преобладают серые тона. В нем мало щедрой внутренней красочности, заставляющей литературное произведение жить волнующей и живой жизнью.

Все это, в известной степени, можно отнести и к повести М. Барсукова «Нерассказанная любовь», тематически соприкасающейся — отчасти — с рассказом Губера (душевный разлад и гибель художника Саши, бывшего партийца).

Барсукову опять-таки удалось бытовые, зарисовочные сцены: встречи Саши с друзьями, с любимой им женой своего друга, прогулка за город и т. д., — многие из этих сцен написаны с большой изобразительностью, но ему совсем не удалось внутренний показ своих героев: писатель остался на поверхности темы, творчески не озарив ее глубин. Образ Саши не доходит до читателя: он смутен. Душевный раз-

лад Саши — современного «лишнего человека», «упадочника», случайного путчика в партии — неясен и не мотивирован. Повесть, оваянная горькой тоской одиночества, смята и недосказана. Но написана она довольно хорошо, хотя и с явной оглядкой на первоклассные образцы, — она подражательна: писатель не раз перечитывал, очевидно, бунинскую «Митину любовь».

Удачнее и значительнее повесть Ив. Катаева «Сердце». Эта повесть — доказательство несомненной даровитости автора. Оригинальность творческих приемов, выдержанный язык, целеустремленность и волевая наполненность действия — все это привлекает к ней пристальное внимание. В повести дан синтетический образ героя — коммуниста, бойца и хозяйственника, образ живой, естественный, мягко-человеческий, свободный от всяческой «сахарности», без меча, щита и изменной «кожаной куртки». К сожалению, в повести, на ряду с ее достоинствами, есть и досадные срывы: искусственность конца и излишнее увлечение вещностью, граничащее с эстетическим «любованием».

Но, за всем тем, повесть выделяется и своей талантливостью, и своим — несмотря на трагический конец — бодрим тоном жизнеутверждения и труда. «Сердце» — одна из лучших вещей в сборнике.

В сборнике много стихов. Стихи, как и проза, говорят о некоторой застылости перевальцев, о трудности (а иногда и запутанности) их творческих путей.

Архаичны, за исключением «Крестов», перепевы В. Наседкина, плохи — безголосы и вялы — «Съворцы» Ант. Пришельца.

Гораздо лучше, проще и мягче, пейзажная живопись Евсея Эркина. Остра и горька ирония Михаила Голодного. Определенно хороша вещь Дм. Семеновского «Поэт», трогающая своей искренностью и глубиной, органически-талантливой лиричностью. Среди стихов Ник. Зарудина надо отметить «Песню» — вариацию старинных охотничьих величаний — и торжественно-строгое и сильное «Памяти Ивана Ива-

новича» — комиссара, одиноко зарытого в далекой и тихой степи.

Безусловно удачна — и по композиции, и по стилизованной чеканке стиха-частушки — большая (быть может, несколько утомительная) сатирически-грустная поэма П. Дружинина «Бабыя доля».

Отделы: «По большакам и проселкам» и «Злые рифмы» подобраны случайно. В критическом отделе, кроме уже упомянутых, имеется статья-рецензия А. Лежнева — единственная статья на «боевую» злободневную тему — о поэмах Вл. Маяковского и Ник. Асеева («Хорошо» и «Семен Проскаков»).

Сборник, перегруженный материалом, частично уже опубликованным, теряет значение литературной новинки. Однако всячески, — дважды, трижды! — следует подчеркнуть, что в этом повинны не авторы, а издательство, «мариновавшее» сборник больше года, выпустившее его в крайне ограниченном тираже (2.000 экз.!) и по рекордной цене — 3 руб. 75 коп., — всем этим уподобив себя «классической вдове из бесмертной пьесы».

Ник. Смирнов.

Борис Губер. — «Простая причина». Рассказы. М. Изд-во «Федерация». 1928 г. Стр. 166. Ц. 1 р. 35, в переплете 1 р. 60 к.

Рассказы, входящие в настоящую книгу Б. Губера, относятся к 1927—1928 гг. Все они, за исключением «Веселого заговения», довольно точно определяются понятием новеллы. Сюжетом своим имеют они единичное действие, с небольшим числом героев, начинающееся и завершающееся на глазах читателя. Действующие лица рассказов Б. Губера — люди так или иначе чувствующие разлад с окружающей их средой и стремящиеся искренне преодолеть его, заняв свое место в общественном деле. Причина оторванности у одних заключается в их личных неудачах, неумении работать в изменившихся условиях жизни. Таков Фомин, бывший комиссар, ныне безработный и униженно вымаливающий службу («Осколки»). Для других препятствием к сближению с людьми служит их за-

стенчивость, чрезмерное развитие воображения. К их числу относятся Чубаров («Известная Шурка Шапкина»), Ярцев («Управдел»), Фаворский («Пассажир»). Но автор дает возможность своим героям выйти из романтического одиночества, преодолеть его. Преодоление это совершается, в зависимости от личных особенностей действующих лиц, то в сфере личной, лирической, то в сфере общественной.

Значителен рассказ «Управдел», в котором автор обнаруживает тонкое понимание современной деревни и умение воспроизвести ее во всем бытовом и общественном многообразии в противоположность многим другим современным описаниям деревни, ограничивающимся или агитационно-плакатным шаблоном или фольклорным нагромождением сырого языкового материала.

«Простая причина» свидетельствует о значительной зрелости, достигнутой Б. Губером. В его повествовании стройно размещены и уравновешены описательные моменты, с одной стороны, и сюжетно-идеологические, — с другой. Автору следует поставить в заслугу чистоту языка и сдержанность в выборе изобразительных средств, с помощью которых он достигает значительного живописного и психологического воздействия.

Владимир Шишов.

Милий Езерский. — «Самоядь». Изд. «Федерация». М. Стр. 203. Цена 1 р. 50 к.

Любовь, ревность, супружеские измены — вот те коллизии, которые движут романом Милия Езерского. Однако это так хорошо знакомые сюжетные схемы развернуты на совершенно новом материале. М. Езерский переносит нас на далекий север, в круг самоедов, быт которых, повидимому, ему хорошо знаком. М. Езерский увлекает читателя фольклором, необычностью новой среды. История самоеда Сяско из рода Лаптандер-Тысии, кочующего со своими женами и оленями в далекой тундре, столкновение его с батраком Мюсем, влюбленным в дочь самоеда, неразделенная любовь молодой жены старого хозяина к батраку, сложный переплет взаимоотношений внутри зажиточной самоедской семьи, живущей в первобыт-

ных условиях далекого севера,—такова фабула романа.

Несмотря на скромность изобразительных приемов, М. Езерский сумел передать колорит самоедских кочевий, потерянных в бесконечных пространствах северной тундры. Прекрасно сделаны лукавый шаман Танага — старый циник, самоед Хемгора, хромая престелница Майда. Нужно ли было вводить в круг «самояди» двух белых офицеров, бежавших из Архангельска в тундру, и не нарушило ли это цельности полотна? Нужно отдать справедливость Езерскому, что аборигены севера удались ему гораздо лучше, чем его соотечественники. «Самоядь» М. Езерского носит характер законченного художественного произведения и ни в какой мере не походит на ту сюжетную этнографию, образцы которой имеются в нашей литературе.

А. Старчаков.

Е. Бражнев. — «Стучит рабочая кровь». Роман. ГИЗ. М.—Л. 1928. Стр. 324. Ц. 1 р. 90 ж.

Подобно более ранней книжке Бражнева «В дыму костров», и настоящая по характеру своего художественного исполнения является не романом, а произведением мемуарного типа. Это — больше материалы для романа, чем законченный и художественно отшлифованный роман. В этой вещи, например, нет какого-либо строго определенного и четкого сюжета. Огромное количество (несколько десятков) мелькающих перед глазами читателя силуэтов человеческих фигур, длинная вереница разнообразных эпизодов и фактов композиционно скрепляются лишь только одним образом самого мемуариста, от лица которого ведутся эти своеобразные записи из истории дореволюционного бытия российского пролетариата на юге России в начале 900-х гг.

Но, несмотря на этот полусырой характер вещи, ее архитектурную нечеткость, несмотря даже на некоторые стилистические дефекты повествования, Бражневу удается, в целом, довольно выразительно передать общую атмосферу той эпохи, когда «рабочая

кровь» начинала «стучать» все сильнее и увереннее.

Основой повествования служит «история» перехода «автора» «мемуаров» из мира ростовско-нахичеванских босяков в пролетарские ряды, в ряды партийной организации. Автором привлекается многообразный социальнo-бытовой материал. Даются зарисовки рабочих города, «береговых», рабочей молодежи, деклассированных, обильно зарисовываются различные стороны нелегального революционного быта. Постепенное оформление стихийного рабочего движения, процесс организации классового сознания широких рабочих масс — такова тематика романа.

Книжку Бражнева, в которой рабочая молодежь занимает значительное место, прочесть нашему молодому читателю будет небезынтересно.

Арк. Глаголев.

Вера Инбер. — «Соловей и розы». Рассказы. Изд. «Пролетарий». 1928 г. Стр. 283. Цена 1 р. 70 ж.

Если взрослый человек притворяется маленьким, то иногда, в играх с детьми, для стороннего наблюдателя это бывает мило. Полчаса, час можно умиляться душой и сердцем, взирая на серьезную тетю Веру или дядю Поля, пускающих вместе с ребятишками мыльные пузыри. Тетя Вера, достаточно серьезная по существу, надолго притворилась невзрослой, а нас, читателей, она считает такими малюсенькими, что не умеет иначе разговаривать с нами, как в детской. Она любит объяснять самые простые вещи, рассказывает о наших повседневных трагикомедиях так мило, так задушевно, что начинаешь себя чувствовать в детской постельке. Не будем поэтому предъявлять к ней тех требований, которые предъявляются к взрослым. Скажем только одно: хорошо, но зачем же так долго, так много по поводу бородатых и серьезных людей, притворившихся взрослыми? Один рассказ, два рассказа, но... целая книга! Не слишком ли это много? Читатель все равно поймет, что тетя Вера ужасно какая притворщица и, пожалуй, отнесется к ней с легкой и снисходительной улыбкой. Критиковать серьезно книгу тети

Веры нельзя. Каждый ее рассказик мал, но мил, или, если хотите, наоборот,—мил, но мал: каждый образ в этом рассказике обличает достаточно искусное умение притворяться в нелегкой игре с серьезными деловыми людьми. Один рассказ, впрочем («Мая»), ей удался вполне. Вот если бы остальные вышли в таком же роде, мы бы читали их несколько иначе. Неплохо, хотя и немного похуже «Корни и плоды». Ну, а в общем пора перестать притворяться незрелой. Уж как-то слишком легко делается это. Вот если бы как-нибудь потруднее, посложнее,—мы бы заинтересовались больше.

К. Локс.

Бройде, С. — «Дни и ночи». Рассказы. М. Изд. «Федерация». 1928. Стр. 229. Ц. 2 р. 25 к.

Круг тем С. Бройде крайне ограничен. В первых своих книгах он писал о преступниках и душевнобольных, о тюрьме и сумасшедшем доме. Рассказы новой книги «Дни и ночи» также целиком посвящены обитателям и быту этих учреждений.

Нам неизвестно—создавались ли произведения Бройде на основе его личного опыта и наблюдений, или только при помощи вымысла, но и в том и в другом случае они абсолютно лишни в литературе; прежде всего, в силу своей полной антихудожественности.

Отсутствие у автора творческого такта и меры сказалось в беспорядочном и нелепом нагромождении трагических событий (насилие, самоубийства, расстрелы и пр.), которыми уснащен каждый крохотный рассказ Бройде. Читатель с первых же страниц настолько свыкается с этими происшествиями, что в дальнейшем перестает их замечать...

Однообразие сюжетов и убогость языка рассказов делают их просто скучными. Читая «Дни и ночи», с нетерпением ждешь конца утомительного шествия маниаков, садистов, «смертников», убийц, симулянтов и сумасшедших.

Повествовательный стиль Бройде в большинстве случаев мало чем отличается от плохих судебных отчетов и газетной хроники, напр.: «он быстро

ориентировался в тюремной обстановке. Он скоро сумел извлечь выгоды из своего фаворитизма у тюремной администрации». Или: «Нинка-передатчица. Ее дело таскать через тюремный двор и разносить по коридорам всякую еду, белье и другие вещи. По вторникам для А, Б, В, Г, Д, по средам—Д, Е, Ж, и т. д.»

Но частые «лирические отступления» приводят его еще и к подражанию самым скверным образцам провинциальной декадентщины довоенного времени: «Стихия улеглась. Волны покорно лижут берега. И на нем (на них? Н. Б.) стали оседать люди. Сначала зашагали робко и неуверенно, а потом стали искать уголки и проходы, где не воет ветер и не грозит слизнуть волна, разъяренная, опрокидывающая все каноны жизни...» Редкое безвкусие!

Любуясь «пороками» и «преступлениями» своих героев, Бройде совершенно забывает о здравом смысле:

«Переходили мы оба спокойно с тамбура нашего вагона на тамбур соседнего. Здесь я ее, доверчиво ко мне прижавшуюся, любящую, единым движением, по какому-то молниеносному душевному толчку, сбросил с вагона под рельсы» (??). «Убитый бомбой красноармеец умирает. Горло продрано, воздух глотает». В первый раз приходится об «убитых» такие истины читать.

Названия рассказов («Сумасшедшие новеллы», «Бред адвоката», «Скучные рассказы») очень удачно характеризуют книгу Бройде в целом.

Изд-во «Федерация» оказывает плохую услугу литературе, выпуская книги, которые рассчитаны лишь на нездоровый интерес некоторых читателей к патологическому и антихудожественному творчеству.

Ник. Богословский.

Лесник. — «Щучья свадьба». Изд. «Прибой», Ленинград. 1928 г. Стр. 173. Цена 1 р. 35 к.

Прочтешь книжку Лесника то же, что сделать прогулку по Зоологическому саду или выехать за город. Она освежает, бодрит, обогащает знаниями,

она подкупает своей глубокой и искренней талантливостью.

Лесник — писатель неширокого тематического охвата, но он — настоящий художник. Он почти по-аксаковски (или по-пришвински) чувствует природу и отлично знает сказочный «быт» зверя и птицы. Его небольшие, всегда отточенные и законченные новеллы преизбыточно пахнут полевой и лесной зеленью, а его богатый язык и картинная изобразительность придают им (новеллам) удивительную, тончайшую живость. Плеснувшая в реке щука, вальдшнеп, проносающийся над сумеречным апрельским лесом, тяжело движущийся лось или розово белеющий в вышине лебедь, — все это прочно и отчетливо запечатлевается в памяти читателя, все это, в большинстве случаев, дано Лесником по-новому, по-своему — ярко и свежо.

Лесник самобытен. Но он, разумеется, не безоговорочен. Слабые места его творчества — юмор, часто навязчивый и неприятный, и философичность, — на семинарски-чувствительный лад, — к счастью, встречающаяся сравнительно не часто, но всегда «смазывающая» рассказ (пример — «Летающие цветы»).

Это — художественные недостатки Лесника. Но его книга имеет не только художественное, но и научное значение. В этом убеждает целый ряд рассказов, имеющих все права на внимание зоолога и орнитолога, — если не в качестве бесспорного открытия, то в качестве смелой и яркой гипотезы («Болотная повесть», «Из утиной жизни», «Неведомая» и др.). Лесник пишет о том, что он хорошо знает, — знания его, кстати, очень обширны и разносторонни, — но и с научной стороны у него встречаются изредка кое-какие промахи. Из них отметим, как наиболее существенный, утверждение об отсутствии у глухаря языка (!) в рассказе «Весенние голоса». Это «утверждение», в свое время еще опровергнутое Брэмом, взято из области охотничьих анекдотов, — в вроде того, что кукушка не улетает на зиму, а превращается в ястреба, как всерьез думали древние «ученые».

Заметна в творчестве Лесника и подражательность: описание вальдшнепи-

ной тяги («Сон и пробуждение») чрезвычайно напоминает, в смысле некоторых образов и сравнений, классические страницы из «Анны Карениной». Встречаются также в новеллах Лесника и отдельные стилистические погрешности («стаи уток летели от одной воды к другой»...).

Но все эти погрешности — и художественного, и научного порядка — почти не ослабляют ценности книги, не заглушают ее аромата, напоминающего аромат, хранящийся на росистых лепестках осенних цветов и на листьях июньской березовой ветви.

Ник. Смирнов.

Мария Домбровская. — «Люди оттуда». Перевод с польского М. Е. Абкиной. М.—Л. ГИЗ. 1928. Стр. 190. Ц. 1 р. 25 коп.

Рассказы Марии Домбровской из жизни польских крестьян и батраков реалистичны, отмечены несомненным знанием среды, но несколько монотонны и однообразны. Социальное положение и тяжелая материальная зависимость интересуют ее, главным образом, как повод к какой-нибудь безысходной семейной или личной драме, которую она прослеживает с большим старанием, густо накладывая краски. Временами эта драма превращается в истерику, и тогда суррогат сострадания вытесняет все остальное.

Правда, мотивы страстей и трагических неудач довольно яственно сведены к социальному положению героев, но слишком узкий, тупой и безысходный круг переживаний окрашивают весь материал как-то совсем по-иному, теми оттенками, которые встречались в ранних рассказах Л. Андреева. Лесно — для писательницы суть заключается в «психологии», хотя надо отдать ей справедливость; достаточно хорошо обоснованной. В изображении Домбровской польский крестьянин забит и суеверен. У него нет классовой одаренности; помещик и ксендз — вот весь его мир, из которого он и не пытается вырваться. По этому поводу отметим, кстати, что по всем признакам действие рассказов происходит в разделенной Польше, до войны 1914 года; в предисловии же Р. Арского

утверждается следующее: «Книга Домбровской «Люди отсюда» рисует объективную картину жизни и быта наименее сознательных слоев польского крестьянства. Несмотря на великие потрясения, вызванные мировой войной и социальной революцией в соседней стране, положение этой части крестьян в Польше изменилось, как видно, довольно мало», и т. д. и т. д. Хорошенькое «руководящее предисловие! Не все рассказы М. Домбровской одинаково удачны. Лучшие — «Дальний путь» и «Часы с кукушкой».

К. Локс.

Семен Кирсанов. — «Моя именинная». Поэма. Изд-во «Земля и Фабрика», М.—Л. 1928. Стр. 52. Ц. 1 р.

«Моя именинная» появляется после «Опытов». В «предварительной книге» С. Кирсанова было много совсем юношеского материала, вещи идейно зрелые встречались в ней не часто. Вместе с тем, уже в «Опытах» С. Кирсанов явился образцовым версификатором, интересным техником стиха, умеющим опережать и своих многочисленных учителей. В «Моей именинной» есть движение вперед.

Прежде всего, это — первая крупная вещь поэта. Скомбинирована она довольно оригинально. Внешне поэма представляется относящейся к детской литературе. Однако неподготовленным детям читать ее трудно. В поэме встречаем сложную ритмику, ловкое графическое деление, нередко изощренную рифму, моменты монтажа, всегда остроумные, а порою и злые, пародии, полемику и т. д. Все это требует и книжных знаний, и представлений о литературной современности. Поэтому основным планом поэмы (сон мальчика, убаюканного пародийной колыбельной и просыпающегося, когда ему пора уходить «в поход, в молодой, красноармейский Двадцать Первый Год») обольщаться не надо. «Моя именинная» рассчитана и на старшее поколение.

Формально поэма изредка повторяет и ненужные сейчас для С. Кирсанова фокусы «Опытов»: «Сон сам сел в сон сов» — в сущности — это повторение старого: «лушь всклянь лень клюнь клен». Но большей частью страницы книги

радуют неподдельным юмором, не переходящим в поэме данного типа в несерьезность, свежими образами («яичницы ромашка на сковороде») или интересными ритмами:

Кринолиновые ангелы
за лампою,
Замерзающая Англия
сомнамбула...
Ты семейной скуки Чарльза
паутина,
Ах, кончайся, ах кончайся,
сонатина.

Сколько-нибудь крупного общественного значения «Моя именинная» не имеет. Но ее место — в ряду произведений современной поэзии.

Цена книги высока.

И. Поступальский

С. Обрадович. — «О молодости». ГИЗ. М.—Л. 1928. Стр. 84. Ц. 90 коп.

И уходит слово в бездорожье,
И у слова может быть рахит...

Еще в ту пору, когда особенной популярностью пользовались неудачные «символисты» пролетарской поэзии, — автор разбираемого сборника отличался реалистичностью своих образов, способностью усваивать формальные завоевания наиболее смелых поэтов, попытками отойти от абстрактных схем. Все это С. Обрадовичу не всегда удавалось, некоторая «рахитичность» существует в его поэзии и сейчас, но все же у него есть настоящие стихотворения в прошлом и определенные намерения относительно будущего.

Как поэт, С. Обрадович сначала воспитывался на символизме, но вскоре стал заглядывать к футуристам и к Тихонову. Сейчас голос его можно считать «самостоятельным». Выручает во многом собственный материал («Будет жизнь и радостней и краше, в лад слова, как с рычагом рука, но одной, одной минуте нашей позавидуют потомки и века»).

Стих С. Обрадовича и в этом сборнике подчас неловок (иногда виною небрежность поэта, чаще — нежелание сдаваться силе готовой поэтики), и многие вещи ничем не удивляют. К другой, определенно стоящей, категории стихов С. Обрадовича относятся: «Столяры», «Баллада», «Глаза». «Зре-

лость», «И уходит слово в бездорожье», «Жатва», «Волга», «Волна», «Ночь», «О молодости». В перечисленных стихах нужные мысли живут в окружении отчетливых, почти живописных строк:

И вот у порога встревоженный шаг,
И с плеч моих нежно и ловко
Снимала она, волнуясь, спеша,
Патроны, шинель и винтовку...

Темнея кипарис вдали одинок,
Как юноша тихий и стройный,
И море седое билось у ног
Вечностью беспокойной...

Ценность очередного сборника С. Обрадовича будет определяться стихами такого, например, достоинства.

И. Поступальский.

П. Е. Щеголев — «Пушкин и мужики». По неизданным материалам. С автографами Пушкина и иллюстрациями. Изд. «Федерация». М. 1928 г. Стр. 287. Цена в переплете 3 р. 25 к.

Новая книга известного пушкиниста П. Е. Щеголева вводит читателя в ту социальную обстановку, которая окружала Пушкина и в которой складывалось его художественное восприятие.

Социальные корни творчества Пушкина глубоко уходят в почву крепостного права, и материальный быт Пушкина-помещика, владельца «крепостных душ», неразрывно связан с литературной продукцией Пушкина-поэта. Его «поэтическое хозяйство» находится в сильнейшей зависимости от его «крепостного хозяйства». Задачей работы П. Е. Щеголева и является, как он пишет в предисловии, «поставить вопрос о помещичьем быте Пушкина, о Пушкине и мужиках, и дать почувствовать это давление крепостной атмосферы, которое до самого последнего времени исследователями жизни и творчества Пушкина оставалось почти без всякого расследования. В книге П. Е. Щеголева развернута широкая и красочная картина крепостного быта, в котором протекали «труды и дни» Пушкина.

Читателям «Нового Мира» работа Щеголева в некоторой своей части знакома: извлечение из нее под заглавием «Пушкин и мужики» было напечатано в журнале (X и XII книги 1927 г.).

История любви Пушкина-помещика к своей крепостной крестьянке служит для Щеголева как бы отправным пунктом для экскурсов в область отношений Пушкина к «мужикам», к анализу зависимости его от своего «крепостного хозяйства». Эта часть книги, быть может, наиболее увлекательная как «чтение», в своих построениях и выводах в значительной мере гипотетична, что ощущается и самим автором, который по поводу некоторых своих заключений предусмотрительно замечает в скобках: «утверждать не смею», «вот для этого предположения у меня нет данных, но уж очень оно напрашивается!»... В остальной же части, непосредственно касающейся помещичьего хозяйства Пушкина, работа Щеголева, основанная на тщательном изучении и анализе документальных данных, представляет исключительный интерес и дает чрезвычайно много ценного для понимания «давления крепостной атмосферы на жизнь и творчество поэта».

Яркий пример такого «давления», убедительно доказанный Щеголевым: автобиографичность Пушкинской «Истории села Горюхина», тема которой — взаимоотношения помещика и крестьян — выросла у Пушкина из наблюдений над окружающим его бытом в своем имении Болдино в Нижегородской губ. Записи в «памятной» книге, сохранившейся в остатках вотчинного архива с. Болдина, в которую заносились факты болдинской жизни, могут служить, как показано Щеголевым, реальным комментарием к отрывку из «Истории села Горюхина».

В основу книги положены неизданные материалы: «бухгалтерские записи» Пушкина по управлению Болдиным и др. документы, связанные с помещичьим хозяйством поэта (в их числе и упомянутая выше «Памятная книга села Болдина 1833 года»), и пр. Эти «хозяйственные памятники помещичьего быта Пушкина» тщательно разработаны и проанализированы П. Е. Щеголевым, и его книга представляет большую ценность для социологического изучения Пушкина.

Н. Ашукин.

Ю. Соловьев.—25 лет моей дипломатической службы (1893—1918). С предисл. Ф. Ротштейна. ГИЗ. М.—Л. 1928. Стр. 301. Цена 2 р. 25 к.

Спокойные, как летопись, воспоминания, рисующие при всей «дипломатической» сдержанности все же достаточно выразительно рост империализма, особенно в России, за 25 лет, и лихорадочную подготовку мировой войны, особенно с 1908 г. С этого именно года, по свидетельству автора, окончательно возобладало, вместе с появлением Извольского во главе мининдел, влияние Парижа и Лондона, что в тогдашней обстановке означало бешеную скачку группы держав Антанты наперез Германии с Австрией в их экономическом захвате Балкан.

Автор, чистокровный дипломат царских времен, сын сенатора, камергер и владелец крупного майората в Польше, подтверждает «империалистические устремления царской России на Балканах». Они-то и стали лично для автора исходным пунктом к повороту против всей политики самодержавия, по его убеждению, ведшей всю страну к гибели. В итоге военный разгром привел автора сейчас же после Октября к признанию советской власти (он был временным заместителем посланника в Испании). Сейчас автор, по словам т. Ротштейна, «делает с большим знанием и тактом весьма полезное дело в качестве секретаря объединенных Красных Крестов и Полумесяцев Сов. Союза».

Книга важна как свидетельство несомненного знатока общего хода развития империалистических махинаций царской дипломатии.

Однако документов и фактов «центрального» масштаба в книге нет. Автор, повидимому, именно своей «опозиционностью» господствующим течениям был осужден на службу во втором лишь ряду и на периферии. Тем не менее, в его книге, богатой опытом и бытовыми деталями, часто очень живописными (Китай, Греция, Испания и т. д.), общая линия, разоблачающая господствующий империализм, по своему дана довольно явственно. Тем больший вес получает его предупреждающий голос против новой шайки

буржуазных дипломатов—во главе с тем же Пуанкаре—в смысле опасности новой войны (см. «Заключение»).

А. Дивильковский.

И. Емельянов.—«На этом берегу». Очерки советской общественности и государственности. С предисловием М. Б. Вольфсона. ГИЗ. 1928. Стр. 239. Ц. 2 р.

Довольно оригинальная книжка и по содержанию, и по форме. По содержанию — несколько необычное популярное изложение достижений советской пролетарской демократии, сравнительно с буржуазными якобы демократиями Запада. Необычное — ибо направленное преимущественно к читателю из «честной советской» интеллигенции, из среды служащих, учителей и т. д., поэтому стремящееся разбить всевозможные «образованные» предрассудки, все еще нередкие в этой среде. Форма избрана автором соответствующая такому содержанию: род непрерывной, многодневной дискуссии между советскими интеллигентами в летнем отпуску (учительницей, врачом, инженером с женою-машинисткой, литератором из Госиздата, лаборантом Биологической станции и проч), случайно собравшимися на пароходе. Писатель Сидоренко Федя читает им свою свежее-испеченную рукопись, а прочие более или менее сочувственно, более или менее упорно спорят.

Форма получила естественная и живая, читается книжка легко. Выдержки из газет (почти исключительно центральных) и книг иллюстрируют спор большей частью очень яркими и показательными фактами. И надо согласиться с автором предисловия М. Б. Вольфсоном, что книжка интересна не только для интеллигенции, но и для всех кругов советского общества, ибо довольно хорошо напоминает слегка уже забывающиеся черты издевательства царизма и барства над человеческим достоинством масс. И мнимые «прелести» угнетательского режима в мещанских «демократиях» Запада тоже даны достаточно выразительно. Положение рабочих и крестьян, ремесленников и солдат, женщин и угнетенных национальностей, тюремная система

«на том» и «на этом берегу», затем школа, печать и социальный быт вообще, — все это находит в авторе энергичного («там») обвинителя и одушевленного («здесь») защитника. Некоторые иллюстрации выбраны особо удачно. Так, относительно тюрем советских приводится не только ведение в них работы лекционной, клубной, библиотечной, кружковой и работы по ликвидации политбезграмотности (где на земле даже снится что-либо подобное?), но и установка радиоприемников в одиночных камерах «изоляторов»! Представьте себе нечто хотя бы отдаленно напоминающее в... карцерах при царе. Или факт газетной полемики «главы государства» М. И. Калинина с крестьянином Одесского округа Владимиром Я., который винил советскую власть в насилиях и злоупотреблениях, не хуже, мол, «романовых». И резкое до крайности письмо это напеча-

тано целиком в «Крестьянской газете» и спокойный, картинно-убедительный ответ «президента».

А история постройки (при совласти) горных дорог балкарским народом у подножья Эльбруса: 7.000 добровольных рабочих сработали в общем на 10—15 млн. рублей и, взрывая гранит динамитом, приблизили свои аулы всего до 7 часов пути к городу, где было неделя пути по диким ущельям! И много таких и подобных фактов. Перечитать их, собранными вместе, поучительно.

Есть, конечно, «недомолвки» теоретического характера. Следовало бы сильнее выделить факты крестьянских страданий прежде и достижений сейчас. На этом фоне желательно бы особо выдвинуть всю спасительность диктатуры пролетариата. Но это уж—для возможного нового издания...

А. Дивильковский.

Содержание журнала „Новый Мир“

ЗА 1928 ГОД ¹⁾

Романы, повести, рассказы, пьесы:

1. **Бабель, И.** Закат, пьеса. II—5.
2. **Вересаев, В.** Исанка, рассказ. III—5.
3. **Веселый, Артем.** Жар-птица (из романа «Россия, кровью умытая»). X—5.
4. **Веселый, Артем.** Партизаны (из романа «Россия, кровью умытая»). XI—24.
5. **Веселый, Артем.** В походе (из романа «Россия, кровью умытая»). XII—49.
6. **Волков, Михаил.** Жилтоварищество № 1331, повесть. V—129, VI—143.
7. **Горький, Максим.** Жизнь Клима Самгина, роман (2-я часть трилогии «Сорок лет»). V—5, VI—5, VII—5, VIII—5, IX—12.
8. **Губер, Борис.** Управдел, рассказ. VII—61.
9. **Диков, Михаил.** Сеятель, рассказ. II—178.
10. **Завадовский, Л.** Игрок, рассказ. IV—56.
11. **Завадовский, Л.** Фантастические мечты, рассказ. X—43.
12. **Инбер, Вера.** Место под солнцем, лирическая хроника. XI—97, XII—104.
13. **Караваева, Анна.** Дымная межа, рассказ. IX—76.
14. **Копылова, Любовь.** Богатый источник, повесть. V—104.
15. **Крутиков, Д.** Кудеяров вир, повесть. II—58.
16. **Леонов, Леонид.** Провинциальная история, повесть. I—5.
17. **Леонов, Леонид.** Белая ночь, повесть. XII—5.
18. **Леонов, Леонид.** Унтиловск, пьеса. III—41.
19. **Лидин, Вл.** Обычай ветра, рассказ. I—137.
20. **Лидин, Вл.** Младость, рассказ. IV—73.
21. **Лидин, Вл.** Ледники, рассказ. X—97.
22. **Липатов, Б.** Письмо в Америку, рассказ. X—79.
23. **Никифоров, Г.** Запоздавшая весна, рассказ. VIII—66.
24. **Нитобург, Лев.** Семья Замковых (главы из романа «Возмездие»). IX—104.
25. **Огнев, Н.** Дневник Кости Рябцева, повесть. I—103, II—36, III—114, IV—95, X—104, XI—73.
26. **Павленко, Петр и Пильняк, Бор.** Лорд Байрон, рассказ. I—171.
27. **Павленко, Петр.** Два короля, рассказ. XI—140.
28. **Пильняк, Бор.** Мальчик из Тралл, рассказ. II—141.
29. **Пильняк Бор.** Синее море, рассказ. III—97.
30. **Пильняк, Бор.** Немецкая история, рассказ. IX—64.
31. **Пильняк, Бор. и проф. Н. М. Федоровский.** Дело смерти, рассказ. II—133.
32. **Платонов, Алексей.** Калоши, рассказ. VIII—132.
33. **Платонов, Андрей.** Приключение, рассказ. VI—136.
34. **Пришвин, Михаил.** «Юный Фауст». Седьмое звено романа «Кашеева цепь». IV—5, «Брачный полет», восьмое звено. V—40, «Положение», девятое звено. VI—101, «Живая ночь», десятое звено. VII—129.
35. **Пришвин, Михаил.** Рассказы из книги «Журавлиная родина». XII—42.
36. **Романов, Пант.** Новая скрижаль, роман. I—43, II—145, III—136, IV—118, V—164.
37. **Сергеев-Ценский, С.** Поэт и чернь, повесть. VII—90, VIII—95.
38. **Соколов-Микитов, И.** Сын, рассказ. IV—36.
39. **Сухотин, Павел.** Игрушка, рассказ. VI—55.
40. **Тихонов, Н.** Река и шляпа, рассказ. XII—84.

¹⁾ Содержание составлено в алфавитном порядке. Римские цифры обозначают номер книги, арабские — страницу.

41. Толстой, Ал. Хождение по мукам, роман. I—143, II—103, V—70, VI—70, VII—149.
 42. Толстой, Ал. Подкидные дураки, рассказ. XI—59.
 43. Урин, Д. Клавдия, рассказ. XII—62.
 44. Ширяев, Петр. Четверг Наташиной жизни, рассказ. III—162.
 45. Эрлих, А. Зимние дни, рассказ I—90.
 46. Яковлев, Александр. Воробьи, рассказ. XI—5.
 47. Яковлев, Александр. Благополучие, рассказ. XI—12.

П о з м ы:

48. Багрицкий, Э. Веселые нищие. IX—5.
 49. Багрицкий, Э. Cyprinus Carpio. XII—59.
 50. Безыменский, А. Парки. VIII—55.
 51. Дементьев, Николай. Одиннадцатый день. III—3.
 52. Инбер, Вера. Неоконченная поэма о «Черном принце». V—67.
 53. Молчанов, Иван. Баллада о Дон Жуане. VI—51.
 54. Пастернак, Бор. Две вставки в поэму «Высокая болезнь». XI—18.
 55. Пастернак, Бор. Приписка к поэме «Город». XI—20.
 56. Светлов, М. Хлеб. I—131, II—126.
 57. Сельвинский, И. Весна, из романа «Пушторг». V—162.
 58. Сельвинский, И. Лирическое отступление, из романа «Пушторг». IX—101.

С т и х и:

59. Александровский, В. Бьюга. IV—54.
 60. Алтаузен, Джек. Дед. II—56.
 61. Алымов, Сергей. Москва. VII—58.
 62. Багрицкий, Э. Трясина. II—53.
 63. Багрицкий, Э. Смерть. IV—34.
 64. Безыменский, А. Перед поднятием занавеса. V—36.
 65. Бродский, Д. Поэзия. VII—145.
 66. Герасимов, Мих. Я снова солнечный, веселый. III—96.
 67. Герасимов, Мих. В кузнице. VI—69.
 68. Герасимов, Мих. На жарком пляже. VIII—142.
 69. Герасимов, Мих. На покое. X—78.
 70. Герасимов, Мих. Искал тебя во всех просторах. XII—145.
 71. Герасимов, Мих. Светлячок. XII—145.
 72. Голодный, Мих. Вопросы и ответы. I—180.
 73. Голодный, Мих. Степь. III—95.
 74. Голодный, Мих. Романтикам. V—102.
 75. Голодный, Мих. Общежитие на Покровке. VII—180.

76. Голодный, Мих. Ответственная дама. IX—63.
 77. Голодный, Мих. Сон. XI—153.
 78. Гусев, Виктор. Поход вещей. VII—147.
 79. Данилов, Мих. Негр Джим. IX—103.
 80. Дементьев, Николай. Голос из провинции. II—176.
 81. Дементьев, Николай. Наводнение в Ленинграде. VI—135.
 82. Дементьев, Николай. Арбат. VII—127.
 83. Дружинин, П. Сивко. IV—94.
 84. Дружинин, П. Ветер. X—133.
 85. Зарудин, Николай. Косочки заиграли. III—161.
 86. Зарудин, Николай. Что эти книжки? III—161.
 87. Зарудин, Николай. С первой птицей. IV—92.
 88. Зарудин, Николай. Песня. IV—93.
 89. Клычков, С. Была душа моя светла. I—181.
 90. Луговской, Владимир. Фронты. VI—68.
 91. Миних, А. Спичка. VIII—143.
 92. Незлобин, Н. На кордоне. XI—154.
 93. Орешин, Петр. Странник. II—187.
 94. Орешин, Петр. Люблю отдалиться песенному строю. III—170.
 95. Орешин, Петр. Лунные заборы. V—128.
 96. Орешин, Петр. Досадное счастье. XII—147.
 97. Пастернак, Бор. Когда смертельный треск сосны скрипучей. I—169.
 98. Пастернак, Бор. Зимняя ночь. XI—21.
 99. Пастернак, Бор. Оттепелями из магазинов. XII—38.
 100. Пастернак, Бор. Мельницы. XII—38.
 101. Пастернак, Бор. Отрывок. XII—38.
 102. Пестюхин, Ан. Мурманская весна. IV—144.
 103. Петников, Григ. Ленинград. V—69.
 104. Петров, Сергей. Весной. V—186.
 105. Петровский, Дм. Реквием Красному Дундичу. I—170.
 106. Петровский, Дм. Ночь. IV—55.
 107. Петровский, Дм. Прощание казака. VII—88.
 108. Полонская, Е. Стукнули в окна древка знамен. IV—72.
 109. Пришелец, Антон. Сады. VI—141.
 110. Рождественский, Вс. Парижские работницы. VIII—92.
 111. Садофьев, Илья. Твои глаза. I—89.
 112. Саянов, В. О литературном герое. X—76.
 113. Светлов, Мих. Большая дорога. XI—22.
 114. Сельвинский, И. Здорово! XI—72.
 115. Спасский, Сергей. Гроза. VII—128.

116. **Тарловский, Марк.** Чудило. VI—172.
 117. **Тихонов, Николай.** Гладиатор. III—39.
 118. **Тихонов, Николай.** Кольцевая почта. III—40.
 119. **Уткин, Иосиф.** Волосы (из «Второй книги стихов»). I—86.
 120. **Уткин, Иосиф.** Лучшему другу (из «Второй книги стихов»). IX—62.
 121. **Ушаков, Н.** Легкая погода хороша. X—132.
 122. **Ушаков, Н.** Осень. XII—82.
 123. **Хуторянин, Андрей.** Инвалид. IV—145.
 124. **Чачиков, А.** Конное. VIII—131.
 125. **Шамов, Петр.** Воспоминание. V—103.
 126. **Шенгели, Георгий.** Канун. VI—100.
 127. **Шенгели, Георгий.** Трудовые слова. VIII—93.
 128. **Эркин, Евсей.** Зимой. II—188.
 129. **Эркин, Евсей.** Поэт. X—96.
 130. **Ясный, А.** На рассвете. VI—142.

Письма, воспоминания, материалы:

131. **Бонч-Бруевич, Влад.** Мои встречи с Горьким. V—187.
 132. **Вишневский, А.** Как начинался МХАТ (из воспоминаний). X—200.
 133. **Воронский, А.** За живой и мертвой водой. XI—154, X—134, XI—156, XII—148.
 134. **Горев, Мих.,** Безбожник-большевик (из воспоминаний об И. И. Скворцове-Степанове). XI—193.
 135. **Горький, Максим.** Письма к Коцюбинскому (с предисл. и примеч. Л. Милويدова). I—182.
 136. **Некрасов, Н. А.** Потанин, отрывок из неопубликованной повести (с предисл. К. Чуковского). II—205.
 137. **Перцов, П.** Поездка к Толстому. IX—213.
 138. **Руднев, В.** Горький-революционер (неизданные материалы). III—190, IV—165.
 139. **Святыцкий, Н.** 5—6 января 1918 г. (из воспоминаний бывшего эсера). II—220.
 140. **Щеголев, П. Е.** Притчи А. А. Сырнева (из архива Н. Г. Чернышевского). VII—162.
 141. **Щеголев, П. Е.** Встречи с Толстым. IX—209.

Статьи и очерки:

142. **Адалис.** Путевые очерки. XII—258.
 143. **Алгасов, П. и Пакентрейгер, С.** Брянские «разбойники», очерк. IV—239.
 144. **Алперс, Б.** Новый этап в советском кино. XII—236.
 145. **Анибал, Б.** На швейной фабрике, очерк. I—277.
 146. **Анибал, Б.** Сатиры и пародии (с шаржами Бор. Ефимова). XII—282.

147. **Арсеньев, В. В.** тундре, очерк. XI—258.
 148. **Бенни, Як.** О романах Т. Дрейзера. IX—240.
 149. **Бляжер, Л.** Причинный анализ развития признаков организма. VII—231.
 150. **Бонч-Осмоловский, А.** Англо-американское соперничество. XII—183.
 151. **Браз, М.** Больные места спецства. VIII—144.
 152. **Брауде, В. Л.** СССР и Япония. IV—233.
 153. **Браудо, Евг.** Музыкальная жизнь Москвы. I—272.
 154. **Буданцев, С.** Днепропетровск, очерк. VI—209.
 155. **Буданцев, С.** Днепропетровское строительство, очерк. VII—213.
 156. **Версаев, В.** Заметки о Пушкине. II—189.
 157. **Ветошкин, М.** Союзники и белогвардейцы на Севере России. I—225.
 158. **Виноградская, Софья.** Весна, очерк. I—298.
 159. **Виноградская, Софья.** Марсель. очерк. VIII—208.
 160. **Войтоловский, Л.** Проблема войны и революции в произведениях Л. Н. Толстого. IX—192.
 161. **Волков, Н.** «Бронепоезд 14.69» в МХАТе (с иллюстр.). I—269.
 162. **Волков, Н.** «Унтиловск» в МХАТе. IV—231.
 163. **Волков, Н.** 30 лет Художественного театра. X—192.
 164. **Волков, Н.** Письма о Западном театре. Театры Берлина (с иллюстрациями). XII—266.
 165. **Вольфсон, С. Я.** Семья и брак в современной Германии. VI—174.
 166. **Галкин, Н. А.** В собачьем царстве, очерк. I—284, II—273.
 167. **Гаузнер, Г.** Гинчвишский лес, очерк. XI—275.
 168. **Горбов, Д.** Путь М. Горького. III—171.
 169. **Горбов, Д.** Леонид Леонов. X—212.
 170. **Горбов, Д.** Оправдание зависти. XI—218.
 171. **Гринько, Гр.** Работа над пятилеткой, как общественная задача. IV—187.
 172. **Груздев, Илья.** Литературная бурса М. Горького. IV—46.
 173. **Дивильковский, А.** Деревня Старожилыха образуется. VI—217.
 174. **Доржелес, Р.** В стране миражей, очерк. VIII—199.
 175. **Дынник, Вал.** Кенозеро, очерк. II—250.
 176. **Ефремин, А.** Несколько замечаний о стиле Д. Бедного. VI—197.
 177. **Залкинд, А.** Очерки школьной жизни в СССР. XII—227.
 178. **Замошкин, Н.** Сердце кооператора (об Ив. Катаеве). XII—208.

179. **Зелинский, Корнелий.** Переход-ниж (об Э. Багрицком). XI—231.
180. **Зенкевич, Мих.** В потоке стихов. I—255.
181. **Зенкевич, Мих.** Пять книг стихов. III—234.
182. **Зорич, А.** Об одном «инциденте». XII—221.
183. **Коган, П. С.** Л. Н. Толстой. IX—185.
184. **Козлов, П.** Тибет, очерк. II—256.
185. **Кривошеина, Евг.** Михаил Николаевич Покровский (к 60-летию дня рожд.). XI—185.
186. **Лани, Е.** Литература современной Америки. Вальдо Фрэнк. II—237.
187. **Лани, Е.** Современная русская литература в освещении англо-американских критиков. IV—209.
188. **Лежнев, А.** От Аничкова к Матвееву (четыре романа). V—234.
189. **Лежнев, А.** Два молодых (о Панферове и Слетове). VIII—183.
190. **Луначарский, А. В.** Тезисы о задачах марксистской критики. VI—188.
191. **Малов, Ф.** Средняя, очерк. VIII—189.
192. **Мальцев, В.** Советское кино на новых путях. V—243.
193. **Мариинский, А.** Поповщина и сектанство. XI—267.
194. **Марков, П.** Октябрьские постановки (с иллюстр.). I—258.
195. **Марков, П.** Очерки театральной жизни. IV—222, VI—243.
196. **Машбиц-Веров, И.** Михаил Шолохов. X—225.
197. **Машбиц-Веров, И.** Разговор по душам (о романе М. Чумандрина). XII—215.
198. **Мещеряков, Н.** Просветитель пролетариата (об И. И. Скворцове-Степанове). XII—176.
199. **Никулин, Н.** Воображаемые прогулки, очерк. III—250.
200. **Никулин, Н.** Парадиз, очерк. XII—276.
201. **Нюрина, Ф.** Гримасы быта. VIII—166.
202. **Outsider.** Очередной этап «разоружения». V—210.
203. **Outsider.** Пакт Келлога. X—166.
204. **Outsider.** Англо-французское соглашение. XI—206.
205. **Павленко, П.** Азия Анатолийская, очерк. II—267.
206. **Пацентрейгер, С.** Кафедра халтуры. XI—248.
207. **Песис, Б.** Французские писатели и Америка. XI—254.
208. **Пильняк, Бор.** Красное Сормово, очерк. VII—223.
209. **Платонов, Андрей и Пильняк, Бор.** Че-Че-О, очерк. XII—249.
210. **Полонский, Вяч.** Листки из блокнота. XI—242.
211. **Полянский, Валерьян.** Георгий Валентинович Плеханов. V—224.
212. **Полянский, Валерьян.** Литература—орудие организации и строительства. VII—195.
213. **Поступальский, И.** Борис Пастернак. II—229.
214. **Рамм, Е.** Рекордная книга. IX—237.
215. **Рогинская, Ф.** Изобразительное искусство к 10-летию Октября. III—238.
216. **Рогинская, Ф.** Художественная жизнь Москвы. IV—217, VI—237, VII—239.
217. **Рыклин, Г.** Деньги едят. XI—251.
218. **Сандомирский, Г.** В когтях белого орла. III—260.
219. **Сандомирский, Г.** Умиряющая романтика. VI—229.
220. **Сандомирский, Г.** Старик из Дроперо. IX—242.
221. **Сандомирский, Г.** Неугомонный Радич. X—254.
222. **Серебрякова, Галина.** Женщины эпохи французской революции. Елизавета Леба. III—226.
223. **Скворцов, Б.** Опустошенная душа. XI—238.
224. **Скобеев, Флор.** Литературный ларек. III—248, X—251.
225. **Смирнов, Ник.** По альманахам («Земля и Фабрика», «Недра», «Утро»). I—246.
226. **Смолянский, Г.** «Стабилизированная» Европа на выборах. VII—205.
227. **Соболев, Юр.** Литературный быт в записях прошлого. V—256.
228. **Старчаков, А.** Брест. III—219.
229. **Старчаков, А.** Неизданный Толстой. IX—232.
230. **Стрешнев, Е.** Обмен любезностями. IX—250.
231. **Тайгин, И.** Японский империализм и Китай. VIII—156, IX—221.
232. **Тугендхольд, Я.** Парижская школа (с иллюстр.). X—236.
233. **Фрид, Я.** «Романизированные» биографии. X—249.
234. **Чичибабин, А. Е., проф.** Новый поворот материальной культуры. V—195.
235. **Шафир, А.** Победитель или побежденный (о Яковлеве). VIII—174.
236. **Шор, Р.** О «порче» русского языка. V—251.
237. **Штейн, Б.** СССР в борьбе за разоружение. I—195.
238. **Якубовский, Г.** О крестьянском писателе Семене Подъячеве. VIII—180.

Книжное обозрение:

1. **Алексеев, Глеб.** Свет трех окон. Рассказы. Изд. «Недра». М. 1928. Стр. 143. VI—253. Н. Замошкин.
2. **Алексеев, Михаил.** Зеленая радуга. Роман. ЗИФ. М.-Л. Стр. 355. I—309. Арк. Глаголев.
3. **Багрицкий, Э.** Югозапад. Стихи. ЗИФ. М. 1928. V—264. М. Зенкевич.
4. **Баррингтон, Э.** Сердце поэта (повесть о Байроне). Перевод А. И. Гес-

сен. Изд. «Библиотека Всемирной Литературы». Л. 1928. Стр. 323. **XI—287.** Я. Фрид.

5. **Баршев, Николай.** Большие Пузырьки. Рассказы. ГИЗ. М.-Л. 1928 г. Стр. 229. **X—270.** Борис Анибал.

6. **Березовский, Феоктист.** К вершинам. Собр. соч. том. III. ЗИФ. 1928. Стр. 381. **VII—252.** Анна Шафир.

7. **Берендгоф, Николай.** Бег. Изд. Моск. Цеха Поэтов. 1928. Стр. 48. **VI—256.** И. Поступальский.

8. **Бибики, А.** Жесткая учеба. Изд. «Недра». 1927. Стр. 186. **II—298.** С. Пакентрейгер.

9. **Бибики, А.** Новая Бавария. Рассказы. Изд. «Недра». М. 1928. Стр. 223. **V—270.** Борис Гроссман.

10. **Большаков, Конст.** Путь прокаженных. Рассказы. Моск. Т-во Писателей. Стр. 228. **IV—254.** Борис Анибал.

11. **Боярская, З.** Женщина под гнетом капитала. ГИЗ. М.-Л. Стр. 96. **X—268.** Р. Ковнатор.

12. **Бражнев, Е.** Стучит рабочая кровь. Стр. 234. **XII—290.** Арк. Глаголев.

13. **Бройде, С.** Дни и ночи. Стр. 229. **XII—291.** Ник. Богословский.

14. **Бромлей, Н.** Исповедь неразумных. Рассказы. Изд. «Круг». М. 1927. Стр. 275. **I—310.** А. Р. Палей.

15. **Буданцев, Сергей.** Японская дуэль. Рассказы. Изд. «Прибой». Л. 1927. Стр. 215. **II—301.** А. Р. Палей.

16. **Вагиндов, Константин.** Козлиная песнь. Роман. Изд. «Прибой». Л. 1928. Стр. 197. **XI—284.** И. Сергиевский.

17. **Вознесенский, А. Н.** Москва в 1917 г. ГИЗ. М.-Л. 1928. Стр. 196. **X—267.** А. Дивильковский.

18. **Гладиов, Федор.** Кровью сердца. Повести и рассказы. Собр. соч. Том III. ЗИФ. 1928. Стр. 363. **VIII—221.** Виктор Красильников.

19. **Горбов, Д.** У нас и за рубежом. Литературные очерки. Изд. «Круг». 1928. Стр. 224. **VIII—214.** И. Нусинов.

20. **Гроссман, Леонид.** Борьба за стиль. Опыты по критике и поэтике. М. Изд. «Никитинские субботники». 1927. Стр. 336. **I—311.** Д. Горбов.

21. **Губер, Б.** Простая причина. Стр. 166. **XII—289.** В. Шишов.

22. **Гуковский, А. И.** Французская интервенция на юге России 1918—1919 г. ГИЗ. 1928. Стр. 267. **X—267.** П. Китайгородский.

23. **Домбровская, М.** Люди оттуда. Стр. 190. **XII—292.** Л. Локс.

24. **Дроздов, Ал.** Лохмотья. Роман. Изд. «Пролетарий». Стр. 288. **V—269.** А. Р. Палей.

25. **Дружинин, Павел.** Черный хлеб. Стихи. М. Изд. «Федерация». 1928. Стр. 104. **XI—286.** В. Шишов.

26. **Евдокимов, Иван.** Чистые пруды. Роман. Изд. «Пролетарий». Стр. 230. **I—309.** Борис Анибал.

27. **Евдокимов, Иван.** Зеленые горы. Повести и рассказы. Собр. соч. Том. I. ЗИФ. М.-Л. 1928. Стр. 375. **VII—253.** Бор. Анибал.

28. **Езерский, М.** Самоядь. Стр. 203. **XII—289.** А. Старчаков.

29. **Емельянов, И.** На этом берегу. Стр. 239. **XII—295.** А. Давильковский.

30. **Еремеев, К. С.** Пламя. Эпизоды Октябрьских дней. Изд. «Федерация». М. 1928. Стр. 231. **IX—253.** А. Дивильский.

31. **Завалишин, А.** Пепел. Рассказы. Изд. «Недра». М. 1928. Стр. 181. **VIII—223.** Валентина Дынник.

32. **Зорич, А.** Ровно в четыре. ГИЗ. Стр. 188. **XI—183.** С. Пакентрейгер.

33. **Инбер, В.** Соловей и розы. Стр. 283. **XII—290.** К. Локс.

34. **«Искусство».** Журнал Гос. Академии Худож. Наук. Книга 2—3. Изд. ГАХН. М. 1927. Стр. 211. **V—265.** Г. Поспелов.

35. **Казин, Василий.** Признания. Стихи. ГИЗ. М.-Л. 1928. Стр. 80. **III—271.** И. Поступальский.

36. **Караваева, Анна.** Золотой клюв. Роман. ГИЗ. М.-Л. 1927. **II—299.** Е. Мустангова.

37. **Караваева, А.** Лесозавод. Роман. Изд. «Пролетарий». Стр. 415. **VIII—218.** А. Ефремин.

38. **Караваева, А.** Голубая заводь. Рассказы. Изд. «Пролетарий». Стр. 183. **VIII—218.** А. Ефремин.

39. **Кириллов, В.** Вечерние ритмы. М. Изд. «Федерация». **XI—287.** Мих. Рудерман.

40. **Кирсанов, С.** Моя именинная. Стр. 52. **XII—293.** И. Поступальский.

41. **Клычков, Сергей.** Князь мира. Роман. Изд. «Круг». 1928. Стр. 406. **VII—246.** Валентина Дынник.

42. **Кольцов, Мих.** Сотворение мира. Собр. соч. Том I, с предисл. Н. И. Бухарина. ЗИФ. М.-Л. Стр. 473. **VII—250.** А. Дивильковский.

43. **Комиссарова, Мария.** Первопуток. Стихотворения. «Изд. Писателей в Ленинграде». 1928. Стр. 56. **IX—255.** И. Поступальский.

44. **Крашенинников, Н. А.** Столп огненный. Роман-хроника. Л. 1928. Стр. 238. **VIII—217.** Ник. Богословский.

45. **Крептюков, Д.** Мамзер. Повесть. Изд. «Молодая Гвардия». 1928. **V—271.** Валентина Дынник.

46. **Крутиков, Д.** Черная половина. Роман. Изд. «Недра». 1928. 164. **IV—254.** С. Пакентрейгер.

47. **Крутиков, Д.** Кудеяров вир. Повесть. Изд. «Недра». М. 1928. Стр. 148. **VI—254.** Н. Юргин.

48. **Крутиков, Д.** Люди конные. Рассказы. С предисл. С. М. Буденного. Изд. «Недра». М. 1928. Стр. 194. **IX—254.** П. Алгасов.

49. **Лесник, Щучья свадьба.** Стр. 173. XII—291. Ник. Смирнов.
50. **Ловцов, Николай.** За Яблоновым хребтом. Изд. Моск. Т-ва Писателей. М. 1927. Стр. 160. I—308. Сергей Обручев.
51. **Логинов-Лесняк, Пав.** Степные тавуны. Повесть. ЗИФ. 1927. Стр. 157. I—306. Г. Якубовский.
52. **Логинов-Лесняк, П.** Дикое поле. Роман. Изд. «Моск. Раб.» 1928. Стр. 190. XI—282. И. Машбиц-Веров.
53. **Львов-Марсианин, П.** Победа. Роман из эпохи революции. ГИЗ. М.-Л. 1928. Стр. 228. XI—283. Ник. Богословский.
54. **Мандельштам, О.** Стихотворения. ГИЗ. 1928. Стр. 194. VIII—222. Мих. Рудерман.
55. **Морозов, Николай.** Повести моей жизни. Том I. Как я стал революционером. Стр. 287. Том II. Из эмиграции в заточение. Стр. 230. ГИЗ. М.-Л. X—266. В. Горев.
56. **Мстиславский, С.** На крови. Роман. С предисл. Ульриха. ГИЗ. М.-Л. 1928. Стр. 456. VII—247. А. Е.
57. «**Недра**». Лит.-худож. сборники. Книга XIII. Изд. «Недра». М. 1928. Стр. 185. II—296. Д. Горбов.
58. «**Недра**». Лит.-худ. сборники. Книга XIV. Изд. «Недра». М. 1928. Стр. 211. VI—252. Н. Кременский.
59. **Никитин, Николай.** Преступление Кирика Руденко. Роман. Изд. «Пролетарий». VII—249. А. Р. Палей.
60. **Никитин, Николай.** Обыкновенные повести. Изд. «Пролетарий». Стр. 224. VIII—219. А. Р. Палей.
61. **Обрадович, С.** О молодости. Стихи. Стр. 84. XII—293. И. Поступальский.
62. **Орешин, Петр.** Жизнь учит. Повесть. ГИЗ. 1928. Стр. 243. XI—285. Анна Шафир.
63. **Орешин, Петр.** Откровенная лира. Том 4-й. Изд. «Федерация». 1928. Стр. 148. XI—285. В. Шишов.
64. **Пасынков, Л.** Атаман Серьга. Роман. ЗИФ. М.-Л. 1928. Стр. 216. X—271. Виктор Гольцев.
65. «**Перевал**». Сборник 6-й. Стр. 380. XII—287. Ник. Смирнов.
66. **Петровский, Дмитрий.** Галька. Стихи. Изд. «Круг». 1927. Стр. 108. II—302. И. Поступальский.
67. «**Печать и революция**». Журнал литературы, искусства, критики и библиографии. Книга 6-я. ГИЗ. 1928. Стр. 224. X—269. Д. Горбов.
68. **Пильняк, Борис.** Расплеснутое время. ГИЗ. 1927. Стр. 228. V—266. М. О.
69. **Пильняк, Борис.** Очердные новости. Изд. «Круг». Стр. 286. V—266. М. О.
70. **Платонов, Андрей.** Сокровенный человек. Повести. Изд. «Молодая Гвардия». М. 1928. Стр. 226. III—269. Н. Замошкин.
71. **Полонская, Е.** Карбонарий. Повесть. Изд. «Пролетарий». Стр. 199. III—270. А. Р. Палей.
72. **Пришвин, Михаил.** Собрание сочинений. Том I. Охота за счастьем. Том II. Колобок. ГИЗ. 1927. III—266. Валентина Дынная.
73. «**Рабочее движение в 1917 году**». Подготовили к печати. В. Меллер. и А. Панкратова. С предисл. Я. Яковлева. Архив Октябрьской революции. Центрархив. 1917 г. в документах и материалах. Под редакцией М. Покровского и Я. Яковлева. ГИЗ. М.-Л. Стр. 371. IX—255. В. Невский.
74. **Рождественский, Всеволод.** Большая медведица. Книга лирики. Издат. «Академия». Л. 1927. Стр. 96. I—311. И. Поступальский.
75. **Рожицин, Валентин.** Атеизм Пушкина. Изд. «Атеист». Стр. 90. VI—250. Н. Михайловский.
76. **Савич, О.** Короткое замыкание. Рассказы. ГИЗ. М.-Л. 1927. Стр. 236. I—305. Яков Бенни.
77. **Сергеев-Ценский, С. Н.** Жестокость. Повести и рассказы. Изд. «Мысль». Л. 1928. Стр. 229. IV—250. Г. Якубовский.
78. **Синклер, Эптон.** Нефть. Часть I и II. ГИЗ. М.-Л. Стр. 315 и 539. VII—254. Ю. Данилин.
79. **Слонимский, Мих.** Средний проспект. ГИЗ. 1928. Стр. 161. IV—252. Анна Шафир.
80. **Смирнова, Нина.** Закон земли. ГИЗ. 1927. Стр. 265. I—307. Анна Шафир.
81. **Соколов-Микитов, Ив.** Голубые дни. Рассказы. Изд. «Прибой». 1928. Стр. 157. VII—251. А. Р. Палей.
82. **Соловьев, Борис.** Вехи. Стихи. Изд. «Прибой». Л. Стр. 96. II—303. И. Поступальский.
83. **Соловьев, Ю.** 25 лет моей дипломатической службы. Стр. 301. XII—295. А. Дивильковский.
84. **Стонов, Дмитрий.** Люди и вещи. ГИЗ. 1928. Стр. 192. X—271. Анна Шафир.
85. **Стюарт, Д. О.** История человечества в изложении тети Полли. Перевод с англ. Евг. Ланна. ГИЗ. М.-Л. 1928. Стр. 152. VII—255. Н. Замошкин.
86. **Сухово-Кобылин, А. В.** Трилогия «Свадьба Кречинского», «Дело», «Смерть Тарелкина». ГИЗ. 1927. Стр. 560. IV—253. И. Кубиков.
87. **Тарасов-Родионов.** Февраль. Роман-хроника. ГИЗ. Стр. 668. IV—251. М. О.
88. **Тверяк, Алексей.** У зеленого озера. Рассказы. Изд. «Недра». М. 1928. Стр. 208. II—299. Виктор Красильников.
89. **Томашевский, Б. В.** «Александр Сергеевич Пушкин». ГИЗ. М.-Л. 1927. Стр. 32. III—272. И. Сергневский.

90. **Тренев, Н.** Батраки. Рассказы. Изд. «Недра». М. 1927. Стр. 174. II—302. Виктор Гольцев.

91. **Федоровский, Н. М.** (Степан). Борьба за Свеаборг в 1906 г. (Из воспоминаний). ГИЗ. М.-Л. 1928. Стр. 56. IX—256. М. Клевенский.

92. **Фиш, Геннадий.** Разведка. Стихи. Изд. «Прибой». Л. 1927. Стр. 64. II—303. И. Поступальский.

93. **Форш, Ольга.** Пятый зверь. Собр. соч. Том. I. Рассказы. ГИЗ. М.-Л. 1928. Стр. 369. III—268. Виктор Гольцев.

94. **Хаит, Д.** Кровь. Повести. Изд. «Недра». М. 1928. Стр. 163. IV—255. Г. Мунблит.

95. **Чалыгин, А.** Собр. соч. Том. 3-й. «По звериной тропе». ГИЗ. М.-Л. 1928. Стр. 414. V—262. Ник. Смирнов.

96. **Четвериков, Дм.** Заиграй Овражки. Роман. Изд. «Пролетарий». 1928. Стр. 331. X—272 Мих. Рудерман.

97. **Чехов, А. П.** «Несобранные письма». Ред. Н. К. Пиксанова. Комментарии Л. М. Фриджеса. ГИЗ. М.-Л. 1927. Стр. 148. VI—249. Юр. Соболев.

98. **Ширяев, Петр.** Цикута. Рассказы. Изд. «Недра». Стр. 141. II—297. А. Лежнев.

99. **Щеголев, П. Е.** Пушкин и мужики. Стр. 287. XII—294. Н. Ашукин.

100. **Юрезанский, Вл.** Яблони. Рассказы. Изд. «Пролетарий». Стр. 224. VI—255. А. Р. Палей.

101. **Эренбург, Илья.** В Проточном переулке. Роман. Зиф. 1927 г. Стр. 195. I—307. Д. Горбов.

102. **Яров, Н.** Девятнадцатый год. Изд. «Пролетарий». Стр. 385. II—300. Арк. Глаголев.

Письма в редакцию:

Письмо Иосифа Уткина. VI—256.

Письмо Б. Томашевского. V—272.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО

9-й год
издания

ОТКРЫТА ПОДПИСКА

9-й год
издания

на 1929 год

на журнал литературы, искусства, критики библиографии

„ПЕЧАТЬ И РЕВОЛЮЦИЯ“

под редакцией Вяч. ПОЛОНСКОГО

при ближайшем участии А. В. ЛУНАЧАРСКОГО, Н. Л. МЕЩЕРЯКОВА, М. Н. ПОКРОВСКОГО

С ЯНВАРЯ 1929 г. ЖУРНАЛ БУДЕТ ВЫХОДИТЬ ЕЖЕМЕСЯЧНО

В 1929 ГОДУ РЕДАКЦИЯ ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ ОБРАТИТ НА РАЗВИТИЕ ОТДЕЛОВ:

1. ТЕОРИЯ ЛИТЕРАТУРЫ (методология изучения литературы, теоретическая поэтика).
2. ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ.
3. ИСТОРИЯ ЛИТЕРАТУРЫ (статьи и исследования).
4. КРИТИКА СОВРЕМЕННЫХ ИСКУССТВ И ЛИТЕРАТУРЫ.
5. ОБОЗРЕНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ИСКУССТВ И ЛИТЕРАТУРЫ СССР И ЗАПАДА.
В последнем отделе будет уделено особое место
6. ЛИТЕРАТУРАМ И ИСКУССТВАМ НАРОДОВ СССР.
Применение МАРКСИСТСКОГО МЕТОДА при изучении и критике литературных явлений и искусства будет попрежнему руководящей задачей журнала.
7. ДИСКУССИОННЫЙ ОТДЕЛ. В этом отделе будут отражены методологические искания, которыми характеризуется состояние современного литературного движения. К участию в этом отделе будут привлечены представители существующих школ и направлений.
8. МАТЕРИАЛЫ И ДОКУМЕНТЫ ПО ИСТОРИИ ЛИТЕРАТУРЫ И РЕВОЛЮЦИИ. Здесь по примеру прежних лет будут печататься неопубликованные: переписка, мемуары, произведения деятелей литературы, искусства и революции.
9. БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ОБЗОРЫ НОВЕЙШИХ ЛИТЕРАТУР СССР И ЗАПАДА.
10. ОТЗЫВЫ О КНИГАХ.
11. ХРОНИКА литературной и культурной жизни СССР и других стран.

С ПЕРЕХОДОМ НА ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ВЫПУСК ЖУРНАЛУ УДАСТСЯ БЫСТРЕЕ ОТКЛИКАТЬСЯ НА ТЕКУЩИЕ ВОПРОСЫ, КОТОРЫЕ ВЫДВИГАЕТ ЛИТЕРАТУРНОЕ ДВИЖЕНИЕ. ЭТО СОЗДАЕТ ЕЩЕ БОЛЕЕ ТЕСНУЮ СВЯЗЬ МЕЖДУ ЖУРНАЛОМ И ЕГО ЧИТАТЕЛЯМИ.

КАК И В ПРЕЖНИЕ ГОДЫ, ЖУРНАЛ „ПЕЧАТЬ И РЕВОЛЮЦИЯ“ БУДЕТ ИЛЛЮСТРИРОВАН.

ОБЩИЙ ОБЪЕМ ЖУРНАЛА ОСТАЕТСЯ ПРЕЖНИМ, ТАК ЖЕ, КАК И ПОДПИСНАЯ ПЛАТА.

К участию в журнале, кроме прежних сотрудников, будут привлечены молодые ученые, критики, исследователи, которыми начинают пополняться наши ряды.

**КУРС НА ТАЛАНТЛИВУЮ УЧЕНУЮ МОЛОДЕЖЬ
ЯВЛЯЕТСЯ ДЛЯ НАШЕГО ЖУРНАЛА НЕИЗМЕННЫМ.**

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА НА ГОД: 12 р., НА ПОЛГОДА 6 р. 50 к., НА 3 МЕСЯЦА 3 р. 75 к. Цена отдельного номера 1 р. 50 к.

ПОДПИСКУ НАПРАВЛЯТЬ:

Москва, Центр, Ильинка, 3, Периодсектор Госиздата, тел. 4-87-19; Ленинград, пр. 25 Октября 28, Ленотгиз, тел. 5-48-05; в отделения, магазины и киоски Госиздата, уполномоченным, снабженным специальными удостоверениями, во все киоски Всесоюзного контрагентства печати, во все почтово-телеграфные конторы, а также письмоносцам.